

# КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

## 79



Там берег моря,  
оседа,  
Желтел, а где ска-  
ла блеснула,  
Там как-то девочка  
седа  
В глаза мне с ужа-  
сом взглянула.

*Владимир Соколов*



— Я буду играющий судья! — крикнул Чик уверенно. Столь люю съеденная булка и выпитое молоко придавали ему уверенность в себе: бедный Чик, он не знал, что нельзя быть судьей и игроком одновременно. Впрочем, об этом не знали и до сих пор не знают многие взрослые люди, от чего вся мировая история скособочивалась то в одну, то в другую сторону. В зависимости от того, кто кому подсуживал.

*Фазиль Искандер*

Литература ушла в игру. И тот самый премиальный процесс, который стал ее непрямым спутником, — не вариант ли игры? Причем, кажется, вариант предельно жесткой. Произведение редуцируется до чисто внешних своих сторон: подвергается формальным манипуляциям, отборочным процедурам, презентациям...



*Евгений Ермолин*

Думаю, отец Александр верил в то, что церковь является богочеловеческим Организмом, который жонглет на земле. Он никогда не сомневался в необходимости канонической структуры: патриарх, епископы, священники. До этого в Американской Церкви царил некий канонический беспорядок. Она была сторвана от корней.



*Юлиания Шмеман*

Но это мой вызов человеческому быдлу. Пусть хавают! И, увидите, съавают! Я заставляю их съавать! Если бы вы знали, как я их всех презираю! Их квадратные особняки, квадратные челюсти, квадратные машины и таких же квадратных баб! С каким бы наслаждением я облил бы все это жирное стадо бензином и поджег!

*Владимир Максимов*







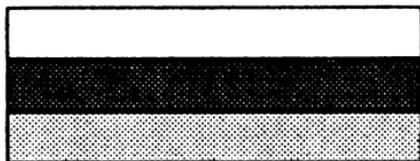


**ИНКОМ  
БАНК**

**Журнал издается при содействии  
ИНКОМБАНКа**

# КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический  
и религиозный журнал*



*Выходит 4 раза в год*

МОСКВА • ПАРИЖ

---

**79**

# КОНТИНЕНТ — CONTINENT

**Издатели:**

**Редакция журнала "Континент",  
Ассоциация друзей журнала "Континент"  
(Париж, Президент Ассоциации и основатель-  
учредитель журнала "Континент"  
Владимир Максимов),  
Издательство "Московский рабочий"**

**Адрес редакции: 101923, Москва,  
Чистопрудный бульвар, 8а.  
Телефон: (095) 928-97-42.  
Факс: (095) 201-57-41**

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,  
и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции,  
не рассматриваются.

При перепечатке наших материалов ссылка на "Континент"  
обязательна.

Авторы несут ответственность за достоверность  
приводимых ими фактов и цитат.

*Главный редактор:* Игорь Виноградов

*Зам. главного редактора:* Игорь Тарасевич

*Ответственный секретарь:* Сергей Юров

*Редакционная коллегия:*

Василий Аксенов • Виктор Астафьев • Ценко Барев •

Александр Блок • Армандо Вальядарес •

Галина Вишневская • Георгий Владимов •

Ежи Гедройц • Густав Герлинг-Грудзинский •

Пауль Гома • Алла Демидова •

Милован Джилас • Пьер Дэкс •

Вячеслав Иванов • Эжен Ионеско • Фазиль Искандер •

Оливье Клеман • Роберт Конквест • Наум Коржавин •

Эдуард Кузнецов • Николаус Лобковиц •

Эдуард Лозанский • Эрнст Неизвестный •

Жорж Нива • Амос Oz • Булат Окуджава •

Ярослав Пеленский • Андрей Седых • Виктор Спарре •

Витторио Страда • Юзеф Чапский •

Карл-Густав Штрем • Юлиу Эдлис • Сергей Юрский •

## Представители "Континента"

- Израиль           Юлия Эйдельман  
Hashaftim 22  
64365 TEL-AVIV, ISRAEL  
☎ (03) 69-67-375
- Италия           Джулия Филиппелли  
Via Olmetto, 5  
20100 MILANO, ITALIA  
☎ (2) 86-45-47-23
- Канада           Ольга Бутенко  
1221, Boul.Rene Levesque  
SILLERY QC G1S1V8, CANADA  
☎/fax (418) 688-1221
- США              Эдуард Лозанский  
3001 Veazey Terrace, N.W.  
WASHINGTON, D.C. 20008 USA  
☎ (202) 362-7855
- Франция         Татьяна Максимова  
9 rue Lauriston, 75116 PARIS, FRANCE  
☎ (1) 45-00-67-56
- Швейцария  
Женева           Жан-Филипп Жаккард  
104 rue de Carouge  
1205 GENÈVE, SUISSE  
☎ (22) 321-4052
- Берн             Юрий Гальперин  
Scheuermattweg 14  
3007 BERN, SUISSE  
☎ (31) 459-463
- Япония           Госуке Утимура  
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7  
189 TOKYO, JAPAN

## СОДЕРЖАНИЕ

Владимир СОКОЛОВ	
<i>Два стихотворения</i> . . . . .	9
Фазиль ИСКАНДЕР	
<i>Чик, играющий судья</i> . Рассказ. . . . .	13
Евгений РЕЙН	
<i>Венецианский дождь</i> . Стихотворения . . . . .	31
Владимир МАКСИМОВ	
<i>Кочевание до смерти</i> . Главы из романа . . . . .	37
Юрий ГАЛЬПЕРИН	
<i>Кошка под окнами казармы</i> . Рассказы . . . . .	109
Иван ОГАНОВ	
<i>Кровь Пастернака</i> . Реквием . . . . .	131
Аркадий ПАХОМОВ	
<i>Не изменить порядка жизни, нет</i> . Стихотворения . . . . .	169
Анатолий АЗОЛЬСКИЙ	
<i>Берлин - Москва - Берлин</i> . Повесть . . . . .	172
РОССИЯ	
Лев ИГОШЕВ	
<i>Петушиное слово</i> . . . . .	210
РЕЛИГИЯ	
Александр КЫРЛЕЖЕВ	
<i>Радикальный традиционализм</i> <i>о. Александра Шмемана</i> . . . . .	218

## ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

*Радость и мир. Беседа с Юлианией Шмеман.*  
Записал С.Бычков . . . . . 234

*Воспоминания О.В.Татариновой*  
*о Василии Зеньковском.* Публикация А.Козырева . . . . . 243

## ГНОЗИС

**Д м и т р и й   Г а л к о в с к и й**  
*"Ха!!..блягер!..дура!..бим, бам!"*.  
*Н.Ленин в "Бесконечном тупике"*. . . . . 261

## ПРОЧТЕНИЕ

**М и х а и л   Э п ш т е й н**  
*Роза Мира и Царство Антихриста:*  
*о парадоксах русской эсхатологии* . . . . . 283

## ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

**Е в г е н и й   Е р м о л и н**  
*Зона премиабельности.* . . . . . 335

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА "КОНТИНЕНТА" . . . 355**

**РАЗНОЕ. . . . . 381**

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### УЧЕНИК

...Мои осенние побеги,  
Особенно в девятом классе,  
Особенно при первом снеге,  
Когда зима еще в запасе...

Тянулись серые заборы  
Вдруг открывавшихся окраин,  
Щелястых досок переборы.  
Сквозь щелку сад казался раем.

В раю высокий рос татарник  
И розовел над лопухами.  
А там, у вишен стародавних,  
Сирень, дышавшая стихами.

А за сиренью — чем-то хлопать  
И бить Депо не уставало,  
Пар паровозный рос, но копать  
До райских кущ не доставала.

Я видел страшное пространство  
С каким-то сдвинувшимся небом,  
Даль зова и непостоянства,  
Где я и был и словно не был.

---

**Владимир  
СОКОЛОВ**

— родился в 1928 году в г.Лихославле (Тверская область). Окончил Литературный институт. Автор многих сборников стихотворений и поэм. Лауреат Государственной премии за книгу "Сюжет".

Там берег моря, оседаю,  
Желтел, а где скала блеснула,  
Там как-то девочка седею  
В глаза мне с ужасом взглянула.

И я отпрянул от забора:  
Когда я, где ее обидел?  
Такого темного укора  
Я в жизни более не видел.

А иногда горела в щелке  
Листва осенняя, как слитки,  
А соловей, как в мае, щелкал.  
В заборе не было калитки...

(Но я вошел, и плотным паром  
С путей меня заволокло.  
И разом, как одним ударом,  
В огромный воздух вознесло.

Я плыл, земли не узнавая.  
Внизу светился белый храм.  
Гора... Я плыл, не уставая,  
К пирамидальным городам...

Хочу пониже опуститься,  
Чтоб разглядеть — кто машет мне.  
...Вагонный лязг посторониться  
Велит. Стою на полотне.

Вот и забор. Как сон о снеге,  
Скользят сирени по террасе...)  
Мои осенние побег.  
Особенно в девятом классе...

И возвращаясь в ад кромешный  
Московских дней послевоенных,  
Слагал я, маленький и грешный,  
Стихи о далях сокровенных.

Не оттого ль так холодела  
Душа, теряя всю беспечность,  
Что я, блуждая, то и дело,  
Как в лужи, оступался в вечность.

1994

## ПОЛНОЛУНЬЕ

Я живу на другой планете.  
Надо мной другие созвездья  
Так пугающе, непривычно  
Близко движутся... Но как мало

У меня ночей и ландшафта  
Гипнотически голубого.  
Скоро, скоро мне улетать.

Это здесь говорят мне люди:  
"Наконец-то ты прилетел!  
Как живешь ты с мечтой о чуде  
Там, где есть у всего предел?"

"Что вы, что вы, — я отвечаю. —  
Там, за вечностью, в тех часах,  
Я давно уже не мечтаю  
И не знаю о чудесах.  
А у вас разве нет предела?"

"Нет, конечно". — "А мера есть? —  
"Мера — это душа и тело,  
Мысль и разум, останься здесь!"

"Нет. Совсем на другой планете  
Я живу. И звезды не эти  
Ночью движутся надо мной.  
И вопрос у меня земной —  
Почему мы все, как родня,  
А общение

б е з ы м я н н о ?

То, что знаете вы меня,  
А я вас, для меня не странно.  
Странно — как я попал сюда,  
В Никуда или в Никогда?"

"Это просто. Как в полнолуние  
Помнишь, в детстве было с тобой  
Засыпал ты в одной комнате,  
А глаза открывал в другой..."

"Почему голос мой немеет,  
А слова на душе растут?  
Почему мой язык не смеет  
Вас спросить, как меня зовут?"

"Ты оставишь еще в Подлунной  
Стих из золота и серебра...  
А теперь и о нас подумай,  
Нам давно уже спать пора.

Ведь покуда ты так встревожен  
Фосфорическим днем луны,  
Мы тут тоже уснуть не можем  
И зазвездные видим сны.

Окунай в синеву ресницы.  
Над тобой нарастает Дом.  
Мы тебе будем часто сниться  
И когда-нибудь позовем.

Мы окликнем тебя.  
— Будь с ними! —  
Скажет Дом. И взойдет звезда...  
И свое настоящее имя  
Ты узнаешь только тогда".

1993

В декабре прошлого года члену редколлегии "Континента", замечательному писателю нашего времени Фазилю Абдуловичу Искандеру была присуждена Государственная премия России, а в нынешнем марте он встречает свое шестидесятипятилетие. Мы сердечно поздравляем нашего Искандера с обоими этими событиями и от души желаем ему долгих лет жизни, неслабеющего здоровья, неостанавливающегося творческого труда и счастья — и столь же постоянных встреч с читателями его и нашего журнала.

*Редакция журнала "КОНТИНЕНТ"*

## Фазиль ИСКАНДЕР

### ЧИК, ИГРАЮЩИЙ СУДЬЯ

Был жаркий солнечный день начала лета. Ребята в парке играли в футбол. Играли улица на улицу. Третья Подгорная против Четвертой Подгорной, на которой жил Чик. Девочки и малышня с обеих улиц следили за игрой. Они были болельщиками и зрителями. Среди девочек были Сонька и Ника. Они сидели на траве. На Нике был такой широкий сарафан, что он сейчас расстилался вокруг нее, как голубой парашют. Кажется, она только что с небес опустилась сюда.

Воротами служили сброшенные одежды мальчиков. Некоторые мальчики разделись до трусов, но Чик, пришедший сюда в майке, в коротких штанах и сандалиях, так и играл.

Настоящую боевую форму футболиста носил только один мальчик, капитан команды Третьей Подгорной. Звали его Гектор. На нем была настоящая динамовская майка с закатанными рукавами и с голубой полосой на груди, настоящие динамовские трусы, сидевшие на нем, как юбка, настоящие гамашы и ботинки. Дело в том, что старший брат капитана играл в мест-

ной взрослой команде и было только не ясно, сам брат выдал ему всю эту одежду или он у него ее украл на время игры.

Чик был капитаном своей команды и нападающим. Чик одинаково хорошо, а иногда и одинаково плохо, бил правой и левой ногой. Он никакой разницы не чувствовал между правой и левой ногой. Ему было все равно, какой ногой лупить мяч, что правой, что левой.

Он гордился этим. Он до того удивительно не отличал правую ногу от левой, что иногда ему приходилось сравнивать ногу с соответствующей рукой, чтобы определить, какая, собственно, это нога — правая или левая. Чик гордился таким свойством своих ног, но другие этого не замечали или из зависти делали вид, что не замечают.

Сонька и Ника внимательно следили за его игрой, и если ему удавалось красиво обвести игрока или тем более забить гол, они хлопали в ладоши и кричали: — Молодец, Чик! Браво, Чик!

Но Сонька чересчур восторженно следила за его игрой. — Молодец, Чик! — кричала она, как только он ударял по воротам, еще не дождавшись результатов удара. Это было хорошо и уместно, когда Чик забивал гол. Это было уместно и тогда, когда вратарь ловил трудный мяч. Но это бывало довольно глупо, когда Чик промахивался, и мяч летел мимо ворот.

— Ненавижу, когда кричат под ноги! — говорил Чик в таких случаях, взглянув на Соньку. В такие минуты ему казалось, что ее крик или ожидание ее крика помешали ему хорошо пробить по мячу.

Бочо, друг Чика, сейчас играл против него, потому что он был с Третьей Подгорной. Чик впервые играл против Бочо. Все знали, что Чик победил Бочо в честной драке, в невыгодных условиях, когда вокруг были одни друзья Бочо. Они не вмешивались в драку, но Чик же не мог знать об этом заранее. Чик побеждал Бочо и в обыкновенной борьбе. Но Бочо как-то быстро рос и тяжелел. Чик это было довольно обидно, тем более, что сам он рос гораздо медленнее и, кажется, совсем не тяжелел.

И вот во время игры в футбол, когда Чик прорывался к воротам противника, Бочо иногда его догонял и как бы не нарушая правил, наваливался на него и оттеснял от мяча. Но ведь Чик был сильнее Бочо, куда же в этих случаях испарялась его сила? Да, Бочо был тяжелее Чика, и Чик как-то смутно угадывал, что тут все зависит от тяжести Бочо. Чик, в сущности говоря, был близок к открытию закона о действии массы, помноженной на ускорение. Но Чик так и не открыл этого закона.

Чик воспринимал давящую тяжесть Бочо во время борьбы за мяч как тяжесть нахальства. Но какое он имеет право на тяжесть нахальства и именно во время игры?

Ведь всем известно, что Чик победил Бочо в честной драке да еще в невыгодных условиях, когда кругом были одни друзья Бочо. Неужто прямо сейчас снова затевать драку? Но это как-то глупо и даже нечестно, все поймут, что дело в том, что Бочо часто срывает атаки Чика, переигрывает его. Это было бы нехорошо. Но сам Бочо должен помнить о той драке? Не ему ли Чик тогда поставил фонарь? Нет, ничего не помнит! Пользуясь тем, что он одинаково бьет обеими ногами, Чик уходил от Бочо с правого края на левый, но тот преследовал его и там. Видно, капитан ему заранее сказал:

— Твоя задача держать Чика. И мы выиграем. — Вот он и прилип к нему.

Да, странные вещи происходят в мире. Прошлым летом Чик отдыхал в горах в доме дедушки. И вот Чик в конце лета приезжает на школьные занятия в город и встречается на улице Бочо. И что он видит? Пока Чик бегал по горам и пил козье молоко, Бочо здесь так вырос, что перерос его чуть ли не на полголовы. Чику как-то стало больно и неприятно, как будто Бочо его обманул и предал.

Да, Чик чувствовал себя преданным. Как будто Бочо должен был его предупредить, прислать в Чегем телеграмму, что ли: «Чик, принимай меры. Я очень быстро расту. Все еще твой Бочо.»

Да и какие меры Чик мог принять? Нажимать на мамалыгу? На копченое мясо? Или часами висеть на какой-нибудь ветке? Но ведь так только руки вытянутся? Да, Чик чувствовал, что Бочо его предал, но ему было бы ужасно стыдно в этом признаться. Чик изо всех сил сдерживался, чтобы Бочо не заметил его остолбенения. Но вдруг Бочо, глядя на Чика, стал ухмыляться. До чего же неприятная ухмылка!

— Ты чего ухмыляешься? — дрогнувшим голосом спросил Чик.

— Да так, ничего, — ответил Бочо, продолжая ухмыляться.

— Нет, ты скажи честно!

— Я так просто...

— Я же знаю, что ты чего-то думаешь!

— Да ничего я не думаю, Чик.

— Нет, ты что-то думаешь и от того разлился.

— Не обижайся, Чик, но ты какой-то маленький стал.

Лучше бы Чик этого не слышал! Внутри у него все похолодело. Но Чик взял себя в руки и постарался вспомнить, что по этому поводу говорят в Чегеме.

— Плохое дерево быстро растет, — сказал Чик.

— Какое такое плохое дерево? — просипел Бочо с некоторой тревогой.

— Например, ольха, — пояснил Чик, — у нее слабая древесина, и она быстро растет. А грецкий орех, дуб, самшит — они растут медленно. Зато у них мощные мускулы. Даже топор затупляется, когда рубят самшит.

— То дерево, а то люди, — уперся было Бочо, но усмехаться перестал.

— Хочешь, давай поборемся?

— Давай, — согласился Бочо и усмешкой напомнил о своем теперешнем преимуществе.

— С подножкой включительно, — предупредил Чик.

— Идет.

Они сцепились друг в друга. Чик с трудом обхватил потолстевшее тело Бочо. Он сразу почувствовал, что устойчивости в нем прибавилось. Но Чик хорошо помнил и о своем преимуществе: ему все равно было, какой ногой ставить подножку, что левой зацепить, что правой. А Бочо надеялся, что теперь его Чик не может свалить.

Они некоторое время кряхтели, сцепившись друг с другом, и Чик пару раз для понта цеплял его ногу своей правой ногой, но Бочо успевал отцеплять. Ноги его теперь казались тяжелыми, как колонны. И когда Чик удалось отвлечь внимание Бочо на свою правую ногу, он заплел его ногу своей левой ногой и изо всех сил толкнул его назад. Бочо рухнул, как гнилая ольха. Чик сел на него, показывая, что преимущество надолго, если не навсегда, остается за ним.

Чик тогда удивился, что свалил Бочо даже легче, чем раньше. Он не понимал, что обида за так неожиданно и так насмешливо выросшего Бочо придавала ему дополнительные силы. Да и горный воздух с козьим молоком, видно, не прошли даром. Но Чик тогда решил, что Бочо слишком быстро нарастил мясо и это мясо еще не приспособилось к борьбе и даже мешает старым мускулам.

Но, оказалось, что Чик не совсем прав. Оказалось, в футболе эта лишняя тяжесть помогает Бочо. И главное, Бочо во время игры начисто забывал, кто победил в честной драке, в невыгодных условиях, когда кругом были друзья Бочо, и кто рухнул,

как гнилая ольха, когда они в последний раз боролись. Нет, только пытит, догоняя Чика, и довольно удачно оттесняет его от мяча нахальной тяжестью своего тела.

В сущности, иногда надо было давать штрафной за грубую игру. И Чик, когда Бочо особенно нахально отбирал у него мяч, замирал на месте в полусогнутом виде, показывая судье, что любой другой мог свалиться от этого грубого толчка и только он удержался за счет одинаковой цепкости своих ног. Но судья, ради которого Чик замирал в этой неудобной позе, или не смотрел на него, или руками показывал: мол, продолжайте игру, все правильно.

Ничего себе — все правильно! И это было тем более обидно, что игру судил Оник, сын Богатого Портной. Они жили не только на одной улице, но и в одном доме. И сейчас Оник форсит своей честностью, показывая всем: вот мы с Чиком живем в одном доме, а я ему не подсуживаю, я честный судья.

Ничего себе честный! Да другой на месте Чика отлетел бы от Бочо, пропахав землю метров на пять! И если Чик не отлетел за счет своих ног, то значит, все честно?!

Да и какой Оник судья! Просто отец Оника, Богатый Портной, достал ему настоящий судейский свисток, и поэтому его в последнее время назначают судьей. Правда, Оник быстроног. Что есть, то есть. Везде поспекает, хотя то и дело свистит по поводу и без повода. А когда Бочо наваливается на Чика, как дикий кабан, он никак не может продуть в свой свисток.

И Чик, продолжая играть, все сильнее и сильнее злился на Оника. У него сердце не кусается! Так в Чегеме называли толстокожих, равнодушных людей.

Чик считал, что это метко замечено.

И вдруг пришло возмездие.

В парк, где они играли, явился Богатый Портной с кружкой молока и поджаристой булкой. Родители Оника считали, что у него слабые легкие и что его надо время от времени прикармливать. Богатый Портной иногда и в школу приносил Онику пирожки с мясом или что-нибудь еще не менее вкусное. Это длилось так долго, что в классе уже к этому привыкли и почти не смеялись, когда Богатый Портной, не дожидаясь звонка, просовывал свою голову в дверь класса и предлагал Онику пирожки.

Но принести булку и кружку с молоком сюда, в парк, где идет непримиримая игра улица на улицу, где многие даже не знают о пирожках, годами носимых в класс, потому что учатся совсем в другой школе, а многие и вообще не знают, что Бога-

тый Портной со своими закидонами — отец Оника, это было слишком.

— Оник, молоко и булочка! — крикнул Богатый Портной таким естественным голосом, как будто это общеизвестный в мировом футболе завтрак судьи.

Оник быстро взглянул на отца и, махнув рукой, побежал туда, где сцепились игроки. Он делал вид, что этот курчавый мужчина с ленточкой сантиметра на шее, с кружкой молока в одной руке и с поджаристой булкой в другой не такое уж большое отношение имеет к нему. На что он надеялся? Трудно сказать. Во всяком случае, Оник, как и все слабохарактерные люди, пытался оттянуть то, что будет ему неприятно.

Чик ожидал, что Богатый Портной сейчас скажет: — Мой Оник симпатичка! — И все попадают от смеха. Но Богатый Портной вел себя здесь посдержанней, чем в школе или на своей улице, хотя ленточку сантиметра с себя не снял перед тем, как идти в парк. Может быть, нарочно, чтобы удивленным встречным другие люди говорили: — Как, вы не знаете его? Так это ж Богатый Портной.

Видя, что Оник не сразу его признал, Богатый Портной решил немного переждать.

— Оник, пей молоко и суди отсюда! — крикнул через некоторое время Богатый Портной, надеясь, что нашел вариант, при котором и сын будет есть, и игра не будет останавливаться. Интересно, подумал Чик, как это он будет судить, булькая свистком в молоке?

— Потом! Потом! — резко крикнул Оник, пробегая мимо отца и продолжая делать вид, что между этим человеком с ленточкой сантиметра на шее и им, строгим судьей, большой близости нет, хотя некоторая близость, может, и существует. Чик заметил, что Оник ни разу отца не назвал папой. Все еще надеялся, что пронесет.

Уже некоторые игроки и зрители стали посмеиваться над этой странной картиной, тем более, что никто не подозревал, что у Оника, бегающего, как борзая, слабые легкие. Чик вообще сомневался, что у Оника слабые легкие, просто, по мнению Чика, Богатый Портной хотел иметь более упитанного сына.

Тем более, никому из тех, что учились в другой школе, в голову не приходило, что сына со слабыми легкими надо ловить, где попало, и подсовывать ему булочку с молоком. Между тем, Оник, раздраженный присутствием отца, еще чаще стал свистеть невпопад.

— Оник, хенца не было! — вдруг громким голосом вмешался Богатый Портной в спор Оника с игроками, — клянусь твоей жизнью! Покушай булочку с молоком и тогда точнее будешь судить!

И тут все стали смеяться, и игроки, и зрители. Гектор, капитан Третьей Подгорной, выбрав на поле место потравянистей, повалился, как бы обессилив от смехотворности происходящего и стал дрыгать ногами в воздухе, гордясь своими пятнистыми гамашами.

— Папа! — крикнул Оник и, покраснев от ярости, топнул ногой: — Сколько раз я тебе говорил — не приходи, когда я играю с ребятами!

С этими словами он швырнул свисток на поле, побежал в глубь парка и через минуту скрылся за деревьями.

— Оник, — растерянно выдохнул Богатый Портной, глядя ему вслед и уже совершенно бесплодно протягивая туда булку и кружку с молоком. Такой силы сопротивления он не ожидал. Такого не бывало. И тут Чик почти бессознательно, пользуясь его растерянностью и желая, чтобы всем снова стало смешно, подошел к нему и смиренно сказал:

— Дядя Сурен, я поем булочку с молоком.

Раздался новый взрыв хохота. Богатый Портной окончательно растерялся и крепко задумался. Он до того крепко задумался, что лоб у него вспотел и он рукой, сжимающей булку, подобрал один конец ленточного сантиметра, висевшего у него на шее, и вытер лоб. Чик ясно видел, как он соображает или ему казалось, что он это ясно видит.

... С кружкой молока и булкой в руках плутать по парку в поисках удравшего Оника глупо и бесполезно... Первая мысль Богатого Портного.

... Уносить домой кружку с молоком и булку еще глупей, потому что это бросит тень на его прозвище, которым он тайно гордится... Вторая мысль Богатого Портного.

... Съесть эту булку самому, запивая ее молоком, на глазах у хохочущих пацанов было бы совсем глупо... Третья мысль Богатого Портного.

И так как четвертая мысль, видимо, не последовала, он с ненавистью протянул кружку и булку Чику.

Чик взял этот тяжелый дар. Некоторые стали снова смеяться, а некоторые даже аплодировали Чику. Чик надкусил хрустящую булку и хлебнул жирное, вкусное молоко.

— Чик, оставь сорок! — крикнул кто-то в шутку, и все опять рассмеялись.

Чик прекрасно себя чувствовал. Оник сейчас был забыт. Все смеются, но это сейчас не обидный смех, смеются молодечеству Чика. Через две минуты он умял булку и, выпив все молоко, вернул кружку Богатому Портному. Сумрачно приняв кружку, тот сильно плеснул ею, по-видимому, пытаясь выплеснуть оттуда дух Чика, потому что больше оттуда выплеснуть было нечего. После этого он повернулся и, время от времени нервно взмахивая кружкой, может, все еще вытряхивая дух Чика, вышел из парка.

— Кто же будет судить? — спросил Гектор.

— Я буду судить! — крикнул Чик, как бы чувствуя, что раз он съел предназначенное судьбе, он и должен судить. Он подбежал к свистку Оника, подобрал его и вытер о штаны.

— А кто будет за тебя играть? — спросил Бочо своим сиплым голосом, как бы умоляя Чика дать еще потолкать себя. Видно, не натолкался.

— Я буду играющим судьей! — крикнул Чик уверенно. Столь лихо съеденная булка и выпитое молоко придавали ему уверенность в себе. Бедный Чик, он не знал, что нельзя быть судьей и игроком одновременно. Впрочем, об этом не знали и до сих пор не знают многие взрослые люди, от чего вся мировая история скособочивалась то в одну, то в другую сторону. В зависимости от того, кто кому подсуживал.

— Восемь-восемь! Игра продолжается! — громко закричал Чик и протяжно свистнул в свисток.

Чик судил и играл. И сначала все было хорошо. Только, разыгрывая комбинацию, ему приходилось жестами показывать, кому куда бежать и кому он собирается подавать мяч, потому что изо рта у него торчал свисток. Поначалу странно было свистеть самому себе и самому пробивать штрафной или выбрасывать мяч из аута.

Несколько раз он, не нарочно, а от избытка чувств свистком останавливал игру. Один раз он так остановил игру, когда Гектор прорывался к воротам. Чик хотел крикнуть беку, чтобы он выбежал навстречу атакующему капитану, а вместо этого свистнул в свисток. Игра остановилась.

Гектор был в ярости. С криком: — Что я сделал не так?! — он ринулся на Чика с тем, чтобы подраться с ним. Но Бочо вцепился в своего капитана, чтобы избежать драки. Когда игра останавливалась, Бочо иногда вспоминал, что они с Чиком друзья. Гектор был в такой ярости, что проволока Бочо несколько шагов, истошно крича: — Что я сделал не так?!

— За попытку драться с судьей — последнее предупреждение! — холодно сказал ему Чик, но в душе чувствовал смущение. Он неправильно остановил игру.

Команда Третьей Подгорной подняла галдеж, и Чик с трудом оправдался, что свистнул невольно, потому что хотел предупредить бека. После этого все игроки были расставлены так, как они стояли до свистка.

Игра снова началась, но теперь и защита была внимательней, и разъяренный капитан действовал не слишком точно. Атака была отбита, а Гектор, подтягивая гамаши, злобно исподлобья взглянул на Чика, показывая, что это ему даром не пройдет.

Через некоторое время Чик не дал себя оттолкнуть Бочо, обвел его, прорвался к воротам и долбанул мяч в правый угол. Это был верный гол, вратарь даже не успел шелохнуться в сторону мяча. Но, к несчастью, Чик в момент удара от избытка чувств опять свистнул в свисток. Черт бы его побрал!

— Офсайд! — очнувшись, крикнул вратарь.

— Офсайд! Офсайд! — подхватили игроки его команды.

Это было чудовищной ложью. Чик вынул свисток изо рта и крикнул:

— Какой офсайд! Я же сам прорвался! Мне никто не подавал!

— Ничего не знаю — офсайд! — крикнул вратарь, — ты свистнул! Я решил — офсайд и потому не взял мяч!

Чик задохнулся от возмущения.

— Ты и не мог его взять! — крикнул Чик, — я свистнул случайно!

Гектор радостно побежал за мячом, принес его и, поставив на штрафной площадке, приготовился выбивать.

— Когда я атакую и ты свистком останавливаешь игру — это ничего, — ехидно сказал он, — а когда из-за твоего свистка наш вратарь не прыгнул на мяч, ты не виноват!

Это была чудовищная несправедливость, но Чик им ничего не мог втолковать. Да, он во время прорыва их капитана ошибочно свистнул. Но там еще бабка надвое сказала, забьет он гол или нет. А тут готовый гол. Ну и что, что свистнул! Ясно же — вратарь даже не шелохнулся, он не мог взять этот мяч!

Все-таки после долгих споров решили, что этот мяч будет разыгран. Отстоять розыгрыш мяча было нелегко. Чик расставил всех игроков там, где они стояли до его удара по воротам. Но за это команда Гектора потребовала, чтобы он бил в тот же угол, куда он ударил тогда.

Чик до хрипоты доказывал, что это полная глупость, что, если вратарь будет ждать мяч именно в этот угол, он, конечно, его возьмет. Но на это противники дружно утверждали, что он сам говорил: тогда вратарь шелохнуться не успел. Вратарь стоит на том же месте, Чик будет бить с того же расстояния, значит, вратарь и сейчас шелохнуться не успеет. Чтобы продолжить игру, Чик вынужден был пойти на эту гнилую уступку.

Чик внимательно оглядел вратаря и ворота. Он должен был бить с места, как в атаке. Чтобы окончательно затерроризировать вратаря тем, что он одинаково бьет обеими ногами, Чик то одну ногу отставлял для удара, то другую. То одну, то другую.

— Старый фраерский номер Чика, — крикнул Гектор, — делает вид, что ударит правой, а сам ударит левой.

Чик проглотил обиду и уже вынужден был ударить правой. Чик волновался, что, может, опять сначала ударит, а потом свистнет. Он даже слегка обалдел от всех этих дел и про себя повторял: сначала свисток, потом удар, сначала удар, тьфу, сначала свисток, свисток!

Свисток! Удар! Вратарь и на этот раз шелохнуться не успел, но, увы, теперь мяч пролетел мимо ворот. Чик слишком круто взял, но что он мог сделать, если вратарь заранее знал, в какой угол он будет бить. К тому же Гектор своим подлым замечанием заставил его изменить отработанный прием.

Чик так долго терроризировал вратаря возможностью ударить любой ногой, что теперь, когда он промазал, все это со стороны могло показаться смешноватым. Чик это признавал.

Но Гектор дико захохотал и, найдя глазами место на поле, которое было потравянистей, шлепнулся на него и задрогал ногами, как бы потеряв все силы от смехотворности Чика. Кое-кто из игроков заулыбался, и раздался смех со стороны зрительниц. Чик быстро посмотрел на Соньку и Нику. У Ники лицо было грустное, а Сонька рванулась ему навстречу своим веснущатым лицом и громко крикнула:

— Чик, ты все равно прав!

Гектор продолжал кататься по траве, дрыгать ногами в гамахах и делать вид, что не может остановить свой фальшивый смех.

— Я умру от этого фраерского номера Чика, — говорил он, как бы с трудом продавливая слова сквозь смех, — этот номер уже даже в Армавире не хавают...

И Чик не выдержал. Что-то лопнуло внутри. Он выплюнул свисток и громовым голосом закричал:

— Я убью тебя, гадина!

Да, у Чика был голос нешуточной силы! Гектор, до этого изнемогавший от смехотворности Чика, вдруг с необычной бодростью вскочил и, увидев, что Чик мчится на него, побежал. Чик гнался за ним, как Ахиллес за Гектором вокруг Трои! Они дважды успели обежать поле, на котором играли, причем Гектор, надо полагать, в отличие от гомеровского Гектора, успевал оглянуться и показать язык своему преследователю. Это только раскаляло Чика. Расстояние между ними сокращалось, возмездие было неминуемо, но тут вдруг на Чика бросился Бочо и, проволочившись за ним всей своей тяжестью несколько метров, закричал:

— Чик, ты же судья!

И Чик вдруг остыл. В конце концов, все видели, как этот герой бежал от него вокруг игрового поля. Кто-то подал ему свисток, Чик вытер его о штаны, сунул в рот и засвистел в знак продолжения игры.

Игра возобновилась. Чик теперь очень боялся, как бы случайно не свистнуть в ненужном месте. Это как-то сковывало, мешало играть. И теперь иногда он опаздывал дать свисток там, где это было необходимо.

Через некоторое время два капитана схлестнулись в центре поля. Чик принял на голову мяч и так удачно, что повел его головой в сторону ворот противника. Он успел пять раз отбить мяч, подавая его себе на голову и рвась к воротам противника! Гектор, как смешной козлик, прыгал рядом с ним, стараясь собственной головой добраться до мяча, но это ему никак не удавалось. Конечно, со стороны это выглядело красиво, и Сонька, не утерпев, закричала:

— Браво, Чик!

И тут голова Чика промахнулась, мяч упал ему на грудь, отскочил и ударился о руку Гектора, все еще подпрыгивающего возле него, как козлик. Чик свистком остановил игру, взял в руки мяч, поставил его на место, где проштрафился Гектор, и приготовился бить.

И тут вдруг многие начали смеяться. Даже Анести из команды Чика ехидно улыбнулся, а потом рассмеялся, что было особенно обидно. Гектор, который до этого пять раз неудачно пытался в прыжке боднуть мяч, сейчас зашелся в притворном хохоте, побежал до травянистого места и опять повалился, громко хохоча и дрыгая ногами. Такого фальшивого пацана Чик никогда не встречал. Если на тебя на самом деле напал

неудержимый смехач, почему ты не падаешь там, где стоял, а ищешь место потравянистей?!

Кровь опять ударила в голову Чика! Чего они смеются? Он же совершенно ясно видел, как мяч ударил в руку Гектора. Штрафной! Какого черта они смеются?!

— Хенц! Хенц! — громко закричал Чик и, вложив в рот свисток, приготовился бить, одновременно руками показывая, чтобы его игроки шли вперед. Но они не двигались, и многие из них уже смеялись вместе с противниками. Измена! Бунт на корабле! Однако вместе с игроками смеялись и болельщицы. Чик метнул взгляд в сторону Соньки и Ники.

— Чик, ты прав! — громко крикнула Сонька и героически рванулась к нему своим веснушчатым лицом. Но Ника, Ника! Красивая Ника улыбнулась ему снисходительной улыбкой старшей сестры и покачала головой. Какое снисхождение?! Какая там старшая сестра, когда они однолетки?! Фальшь! Фальшь!

Голубой парашют сарафана все еще безмятежно расстилался вокруг нее. И Чик у вдруг захотелось подбежать к ней, стать ногами на ее безмятежный парашют, схватить ее под голые руки и вырвать ее из парашюта! Но Чик не мог сделать этого. Он знал, что его неправильно поймут.

Чик, сдерживая себя из последних сил, вынул свисток изо рта и громко крикнул:

— Бью штрафной! Хенц!

Тут к смеявшимся присоединились и те, что не смеялись до этого. Гектор, катавшийся по траве, стал делать вид, что от смеха сходит с ума и начал кусать траву.

— Чик, хенц был у тебя! — крикнул Бочо, подскочив к нему.

— У меня?! — взревел Чик. От возмущения он больше ничего не мог сказать. Он швырнул свисток на землю, показывая, что ни играть с этими варварами, ни судить их больше не намерен. Футбол для них слишком культурная игра!

— Да, Чик, у тебя был хенц! — повторил Бочо умоляющим, дружеским голосом.

И тогда Чик подбежал к Гектору, который все еще катался по траве. Если даже все ослепли и никто не заметил, что мяч ударил его по руке, сам он, сам он никак не мог этого не почувствовать!

Чик схватил его за шиворот и приподнял его голову над травой.

— Мяч тебя ударил по руке или нет?! Ударил или нет?! — вопрошал Чик, держа его за шиворот и тряся его.

Тот мотал головой и делал вид, что не может ничего сказать от душащего его хохота. Наконец он выплюнул себе на ладонь кусок травы и показал Чику. Что это могло означать? Что он сумасшедший и не отвечает за свои слова? Нет, он издевается!

Проклятье! Чик тряс его, держа за шиворот, а тот, разинув рот, тянулся к траве, словно в самом деле сошел с ума и теперь жить не может без этой травы. Тут несколько игроков вместе с Бочо подскочили к Чику и стали оттаскивать от своего капитана. Они что-то объясняли ему. Чик сперва ничего не понимал, но потом до него стало доходить. Он бросил Гектора и начал прислушиваться к ним.

— Мяч сперва ударил тебя по руке, а потом отскочил и ударил по руке Гектора, — донеслось до него сквозь шум в голове.

— Мяч ударил меня по груди! — крикнул Чик и выпятил свою широкую грудь, показывая, что было куда попасть мячу.

— Чик, ты прав. Они врут! — героически крикнула Сонька.

— Он сразу ударил тебя по груди и по руке! — сиплым голосом настаивал Бочо и даже хлопнул его ладонью по груди и предплечью, показывая, куда попал мяч. Он ударил его довольно увесисто, чтобы до Чика лучше дошло.

— Да! Да! По груди и по руке! — подхватили другие ребята, и каждый считал своим долгом как можно крепче хлопнуть Чика по тому месту, куда ударил мяч. От этих однообразных увесистых ударов Чик как-то отрезвел и с тоской подумал: а может, так оно и было?

Но почему, почему я не почувствовал, что он ударил меня по груди и по руке одновременно? Чик вспомнил, с какой яростью иногда футболисты налетали на судью, который их штрафовал, они не понимали, что допустили нарушение правил. И он успокоился. Он только подумал, как, оказывается, трудно быть и судьей, и игроком в одно и то же время.

Чик поднял свисток, вытер его о штаны и сунул в рот. Гектор, забыв, что он сумасшедший, жующий траву, подбежал к мячу, чтобы бить штрафной. Только теперь в обратную сторону.

Игра продолжалась. Счет был двенадцать-одиннадцать в пользу команды Чика. Чик был уязвлен. Получалось, что он, подсуживая себе, подсуживает своей команде, а это было нечестно.

Поэтому он теперь строго следил за нарушениями своей команды. Особенно строго он следил за Анести. Он помнил его ехидную улыбочку и ехидный смех, когда противники смеялись над ним. Но Чик был бы очень удивлен, если бы ему

сказали, что именно этим обстоятельством вызвано его пристальное внимание к игре Анести.

По слухам, которые сам же Анести распространял и поддерживал, он на Четвертой Подгорной лучше всех играл головой. Но Чик что-то не мог припомнить, чтобы Анести в атаке пять раз подряд головой ударил мяч. Стоя на месте, он и десять, и двадцать раз мог отбить головой мяч, если его в это время никто не атакует. А ты попробуй в атаке вести мяч головой, не отпуская его пять раз, когда рядом Гектор подпрыгивает, как козлик, и толкает. Но Анести больше всего на свете любил играть головой и всю игру просил, чтобы ему накидывали мяч на голову. Но его никто не слушал. Разве что с аута подадут или иногда с корнера. А он всю игру кричит по гречески:

— Алихора со кифале! Дос со кифале! (Скорее на голову! Давайте на голову!)

Он всегда об этом кричал по-гречески, делая вид, что скрывает от вражеской команды свой невероятно хитрый замысел. Но все и так понимали, что он кричит, да и в команде противника было несколько греков, не считая капитана Гектора.

Игра шла полным ходом, как вдруг Анести прорвался с мячом, обвел одного защитника, обвел второго, столкнулся с третьим и упал. Анести быстро подставил ногу защитнику, который отнял у него мяч, и тот тоже упал. Анести вскочил и овладел мячом. Но тут раздался строгий свисток судьи. Чик сурово показал рукой в сторону своих ворот: вот что значит — честный судья!

Но вдруг всполошилась вся его команда.

— Судью на мыло, — закричал Анести, — Чик подкуплен!

— Чик, ты ошибся! — стали кричать пацаны из его команды. Они ему объяснили, что хотя Анести лежа и подставил ногу хавбеку, но он это сделал в отместку, потому что сам хавбек, столкнувшись с Анести, сделал ему подножку, и Анести упал. А Чик проморгал этот момент.

При этом самые горячие из них подходили к Чику, подставляли собственную ногу и пытались Чика завалить через нее, чтобы ему было яснее, как и почему упал Анести. Но Чик, пользуясь тем, что у него обе ноги были одинаково устойчивые, не давал себя завалить, тем самым показывая, что никакой подножки не было и Анести мог устоять на ногах. Однако в душе он был сильно смущен.

Ему вдруг показалось, что он видел, как хавбек ставит подножку Анести. Почему же он не свистнул, а свистнул тогда,

когда Анести уже на земле сам подставил ногу хавбеку? Чик не мог понять, что с ним случилось: он видел, но не заметил? Или заметил, но не видел? Чик сейчас никак не мог понять, что ему очень хотелось оштрафовать Анести и поэтому так получилось. Но он этого не понимал и потому обратился к хавбеку:

— Эдик, только честно, была подножка?

Хавбек блудливо опустил глаза и, пожав плечами, сказал:

— Не знаю. Я не хотел ставить подножку.

Тут Анести подбежал к Чику и, дергая его за майку, стал кричать: — Олух царя небесного! Разве судья спрашивает у нарушителя, ставил он подножку или нет?

За такую наглость можно было и звездануть Анести, но Чик сдержался: нельзя, чтобы судья сам начинал на поле драку. К тому же, он был виноват перед Анести. Сильно виноват. Теперь ясно, что хавбек ему первым поставил подножку, а Чик этого как бы не заметил.

В конце концов решили, что этот спорный мяч надо разыграть. Спорящие игроки встали друг против друга. Чик должен был подбросить мяч между ними. Когда Чик с мячом в руке подошел к ним, Анести, как ни в чем не бывало, шепнул ему:

— Дос со кифале.

Чик сделал суровое лицо, показывая, что ни при каких обстоятельствах он не отклонит мяч в сторону Анести. И в то же время он чувствовал себя перед ним виновным. Сейчас он забыл, как ехидно улыбался Анести, но помнил, как он был близко от ворот противника, когда ему сделали подножку, а Чик этого не заметил. Чик точно подкинул мяч между игроками, но мяч сам почему-то стал падать ближе к Анести.

Великий игрок головой в прыжке достал мяч, но вместо того, чтобы перекинуть его через хавбека и ринуться в атаку, он попал мячом ему в грудь, и тот сам пошел в атаку.

Через несколько минут Чику удалось уйти от преследующего его Бочо и забить гол. И эта была самая прекрасная минута в игре! Это был чистый и честный гол, никто даже пикнуть не посмел.

Вратарь от досады так ударил по мячу, что мяч вышел на аут и застрял на мушмуле. Стали камнями пытаться его сбить, но он так плотно застрял, что не падал.

— Я залезу на мушмулу и стряхну его! — крикнул Чик. Пока Чик залезал на дерево, игроки вспомнили, что им хочется пить, и все побежали к колонке.

Этот парк когда-то принадлежал какому-то богачу. Сейчас это был государственный парк. Здесь было много деревьев мушмулы. Когда она попевала, сюда ребят не пускали, боясь, что они оборвут все плоды. В это время по парку верхом на лошади ездил свирепый сторож с камчой, и редко кто осмеливался воровать мушмулу. Очень уж свиреп был этот сторож с камчой. Но сейчас урожай уже собрали, и парк никто не сторожил.

Чик залез на дерево. Пробираясь по ветке в сторону мяча, Чик отодвинул руками рогатульку с кожистыми листьями и вдруг увидел под ними две великолепные двойчатки мушмулы. Ярко-рыжие плоды как бы томились от своей сахаристости. Чик осторожно сорвал одну двойчатку и с удовольствием высосал каждый плод, брызжащий сладким соком. Он выплюнул скользкие косточки. Второй двойчаткой он решил угостить девочек. Он отломал черенок, на котором они росли, и взял его в зубы, чтобы руки были свободны. Он двинулся дальше по ветке, пробираясь к мячу. Два сладких плода, странно и аппетитно щекоча его губы, торчали изо рта. Мгновеньями Чик хотелось, клацнув зубами, вобрать в рот эту сладкую и сочную двойчатку, выплюнув черенок вместе с косточками. Но Чик терпел, все время чувствуя щекочущее губы прикосновение плодов, он хотел обязательно угостить девочек. Одновременно он шарил глазами по веткам в поисках забытых сборщиками плодов. Он думал, что если ему попадутся еще две мушмулы, он эти съест, а те сорвет девочкам. Но больше ни одной мушмулы не заметил.

Чик близко подполз к мячу и, сев верхом на ветку, стал ее трясти. Мяч все не падал. Рискуя вместе со сломанной веткой слететь вниз, Чик сильнее и сильнее ее тряс. Наконец, мяч тяжело скатился с ветки и упал вниз. Чик быстро дополз до ствола. Он спешил. Он хотел успеть угостить мушмулой девочек, пока ребята не вернулись с водопоая. Он не хотел, чтобы над ним смеялись за то, что он угощает девочек. Продолжая сжимать зубами черенок с плодами, щекочущими губы, Чик соскользнул с дерева.

— Это вам, — сказал Чик и, стараясь быть небрежным, подал двойчатку Нике.

— О, Чик, — сказала Ника, принимая двойчатку. Она слегка покраснела и взглянула на Чика с благодарностью.

— Спасибо, Чик! — вспыхнула Сонька всеми своими веснушками и взяла у Ники свою мушмулу. Каждая из них поло-

жила сладкий плод в рот и, разжевывая его и чувствуя, какой он вкусный, каждая из них стала оглядывать ближайшую мушмулу в поисках забытых сборщиками плодов. Если бы они нашли глазами мушмулу, Чику пришлось бы снова лезть на дерево.

Чик находил такое поведение девочек не слишком приличным. Девочки вообще должны есть более сдержанно, чем мальчики. И тем более, когда их угощают мушмулой, не зыркать глазами по дереву: — Мало! Дай еще! Чик, ты только раззудил нам аппетит!

Но, слава Богу, они ничего не выискали на дереве. А то пришлось бы снова карабкаться по стволу, чтобы не портить первое угощение. Нет, девочки ничего не отыскивали на дереве и, облизавшись, опустили глаза. Чику просто повезло. Те двойчатки удачно прятались за листьями маленькой веточки, и сборщики забыли отвернуть эти ушастые листья.

Пришли ребята с водопоая, и игра была продолжена. Напившись воды, Бочо окончательно осатанел. Он ни на шаг не отходил от Чика. Видно, Гектор после того, как Чик забил последний гол, дал ему нагоняй и велел еще плотнее наседать на Чика. И он наседали и наседали и часто оттеснял Чика от мяча.

И Чик ничего не мог поделать. Потное тело Бочо во время бега приобретало неостановимую, толкающую мощь. Но Чик удерживался на ногах и, уже устав от многих споров, не свистел, не назначал штрафной.

Но обида в нем копилась и копилась. Он мрачнел и мрачнел, и ему было горько, что ни один игрок его команды, хотя бы не возмутится вслух, что с Чиком играют грубо, не дают ему прорваться к воротам. Может, дело в том, что он сам был судьей и сам должен наказывать за грубую игру? Должен-то должен, но себя защищать трудно, особенно, когда ты сам судья.

И Чик пошел в последнюю атаку, пытаясь изо всех сил оторваться от Бочо. Но Бочо дышал у самого уха, наседали и наседали своим тяжелым, потным телом, а Чик цепко удерживал мяч и уже был в штрафной площадке, и уже собирался ударить по воротам, безразлично, правой или левой, как вдруг Бочо его так толкнул, что Чик, отлетев на несколько метров, растянулся на пыльной траве. Обида его была так велика, что он на мгновение задохнулся, обо всем забыл, выплюнул свисток и закричал во все горло:

— Куда смотрит судья?!

Этого уже нельзя было исправить. Смеялись обе команды, смеялись зрители. Гектор мгновенно выбрал место потравянистей, ласточкой прыгнул на него и зашелся в хохоте, цапая зубами траву. Смеялась Ника, смеялась даже всегда преданная Сонька! И лишь один Бочо не смеялся, видимо, чувствуя, что на этот раз переборщил. Но Чик его не замечал.

Чик вскочил и побежал в глубь парка, куда час назад бежал Оник. Об Онике он сейчас не помнил. Добежав до самшитовой клумбы, где плотным зеленым кольцом росли корявые, густо-курчавые деревца, он решил войти в это укрытие, чтобы больше никогда не видеть людей. Он вошел в клумбу и увидел Оника. Оник лежал на траве и внимательно приглядывался к чему-то на земле.

— Что ты тут делаешь? — спросил Чик.

— Слежу за муравьями, — ответил Оник, не оборачиваясь на Чика, — в сто раз интересней футбола.

Чик подошел к нему и заметил перед ним шевелившийся муравейник. Он лег рядом с Оником и стал следить за муравьями. И вдруг все, что было на футболе, отодвинулось куда-то далеко, как будто ничего и не было. Казалось, они следят за другой жизнью на другой планете. Из муравейника в муравейник деловито шныряли муравьи. Один из них тащил дохлую осу, долго, упорно, а главное, абсолютно уверенный, что дотащит.

Чик у этого муравейника показался похожим на его чегемского дедушку. Вот так и тот, бывало, с огромной вязанкой ореховых веток на плече, — корм для козлят, целый зеленый холм — карабкается из котловины Сабида. Казалось, муравьи — это люди какой-то другой планеты, где все живут дружно, каждый делает свое дело и никто ни над кем не смеется.

— Пахан ушел? — как-то безразлично спросил Оник, не отрываясь от муравьев.

— Ушел, — сказал Чик и положил руку на плечо Оника. Он сказал об этом, как о случившемся давным-давно, в другой жизни.

Оник продолжал следить за муравьями.

— А где мой свисток? — спросил он, не отрываясь от муравейника.

— Там, — сказал Чик, тоже не отрываясь от муравейника. Подробней почему-то объяснить не хотелось.

— Там, — повторил Чик, и они надолго замолкли над муравейником.

## ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДОЖДЬ

### БЕЗУМЕЦ У ФОНТАНА "ТРИТОН" НА ПЬЯЦЦА БАРБЕРИНИ В РИМЕ

Тритон захлебывался струей и прыскал,  
А он стоял к нему спиной так близко.  
На голове колпак газетный, флаг из газеты,  
И словно говорил прохожим: "А, ну, глазейте".  
Бросался он под "Мерседесы", пинал он "Ланчи",  
В разодранной своей одежде он ждал реванша  
За всех таких, как он, безумцев, как я, безумцев,  
И на его лице стояла вода бесшумно.  
А он выкрикивал все громче такую правду,  
Что падала вода тритону взახлеб, обратно.  
И говорил он: "Все в мире братья, я брат тритона".  
Он "прего" говорил и "грацци", просил пардона.  
Я подошел к нему и тоже забил в ладоши.  
Я говорил: "Великий Боже, ведь Ты хороший,  
Верни нам разум, а вернее, пусть мир свихнется,  
И, в вечном Риме сатанея, бедлам начнется.  
Пускай Троянова колонна войдет в Боргезе,  
А Петр и Павел изумленно бьют по железу,  
Пусть Рафаэль и Леонардо играют в жмурки,  
И выйдет бедный Муссолини в одной тужурке.  
Пускай, пускай и я, безумный, и я, несчастный,  
Открою в этом переулке бордельчик частный.

---

**Евгений  
РЕЙН**

— родился в 1935 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил Ленинградский технологический институт. Автор книг стихов "Имена мостов" (1984), "Темнота зеркал" (1990), "Береговая полоса" (1990), "Непоправимый день" (1991), "Против часовой стрелки" (1991).

Ко мне, друзья, ко мне, девицы. Пляшите хором!  
Не вопросить, не удавиться в чаду, в котором  
Мы выровняем крен планеты, спасем живое.  
И в кепку падают монеты для нас с тобою.

## УЕЗЖАЯ ИЗ РИМА

Виллы трехэтажные в Пареоли  
до свиданья! Мечтавший о худшей доле,  
проезжаю мимо вас в карантине,  
и теперь не будет меня в помине.  
То кафе, где забыл я очки и пачку  
"Магны" кинь мне свою подачку,  
все оставь себе обо мне на память,  
не забудь ее только в печаль обрамить.  
Вы, фонтаны, где падали струи скопом,  
до свиданья, поездили по Европам,  
и пора обратно, но вечно, вечно  
буду помнить вас бедственно и сердечно.  
Да и вы, Великие Петр и Павел —  
я один из вас, с вами общих правил,  
говорю вам истинно в самом деле  
я вернусь и к куполу, и к купели.  
Вы, коты Колизея, о, вы, "il catto",  
вот без вас мне будет тяжеловато.  
Передам от вас дорогое "мяу",  
я особо ревную к такому праву.  
До свиданья бешеные мотоциклисты,  
вы безумцы, вы подлинно метафористы,  
круче Парщикова или Жданова Вани...  
До свиданья, милые, до свиданья.  
И чучмеки, кочующие у вокзала,  
Чебуреки, воняющие от сала,  
И хозяин "Годфри" в серебряном фраке,  
и все прочие римские зодиаки.  
Каплет римский дождик на толстую морду,  
Колизей является. И аккорду  
Вот такому истинно благодарен.  
Римский плебс, я ведь тоже не очень барин.

Я вернусь в этот город, сменю рубаху,  
положу за ворот побольше страху,  
и немного смелости, как монету  
в кулаке зажму и тогда приеду.  
Повстречайте на виа на старой пьядце  
дурака, обманщика и паяца  
из далекой бедственной Гипербореи,  
одинаково русского и еврея.  
Я пойду по булыжнику, по асфальту,  
Запою я в лад золотому альту  
и твоим тромбонам, гобоям, трубам.  
Будем жить — это значит  
мы в Риме будем.

## ГОЛОС

*И.Б.*

Издали, из двадцатипятилетней воронки  
Голуби, горлицы, жаворонки...  
В сумрачном зале под Тинторетто,  
Словно бы облик сошедший с портрета,  
Ключик скрипичный с нотной линейки,  
Поезд с развинченной узкоколейки,  
Ангел чугунный с палаццо зимы,  
Раны отдельно от пальцев Фомы.  
Он долетел до меня из растрещины  
Смутного времени, словно от женщины -  
Дети и свет — от прожектора в море,  
Пасти тоннеля, свечи в коридоре.  
Голос почти монотонный, но он  
Больше раската и ярче, чем сон.

## ВЕНЕЦИЯ. ПРИЧАЛ "АКАДЕМИЯ"

Долго, долго бежал ваппорето до Академии,  
Не речной ведь трамвай с Малой Невки и где ему  
Обогнать то, что было когда-то на Балтике.  
Но сияли так вкусно фонарики, хоть облизывай пальчики.  
Но стояли палаццо темны сундуками закованными.

Боже мой, ну, зачем ты явился сюда со своими законами,  
Отгони это все, как от борта волну,  
Пусть уходит ко дну.  
За каналом канал, за Фонтанкой Нева,  
Наливайте скорей два стакана вина.  
Пей, товарищ, до дна, председатель стола,  
Эти годы стоят за тобой, что шпана.  
Пей за мост Чернышев, за рубец и за шов.  
Пей за этот причал, ты его обличал,  
Потому что всю жизнь тебя катер качал,  
И ни с места.  
И вот добежала вода,  
Твое жидкое время — оттуда сюда.

### ПАМЯТИ Д.Б.

Я думаю, ты стал на Мопассана,  
А может быть, на Горького похож.  
О, как ты был на Троицкой хорош  
С той волосней до плеч, как у Тарзана.

И где твои гримасы павиана  
И пара гуттаперчевых калош?  
Вот римский сон — мы вместе. Не тревожь,  
Проснувшись, мне не пережить обмана.

На Венето я дом твой отыскал,  
Во дворике фонтан, вздыхая слезно,  
Напоминал, что времени оскал  
Кусает не особенно серьезно.

И Рим прошел, и кончен Ленинград.  
Я думаю — пройдут и рай, и ад.

### ВЕНЕЦИАНСКИЙ ДОЖДЬ

Дождь над Венецией с утра,  
Перебесились катера,  
Ларьки поникли,

Собор в полоску, что костюм,  
И отраженья бьют хвостом  
На мокром никеле.

Согревшись граппой на часок,  
Пройду еще один кусок  
По лужам.  
Зачем звонят колокола?  
Мой сапожок — Калигула!  
Положим.

Над Адриатикой вода,  
И осьминоги без труда  
Плывут на небо.  
Залез за шиворот лангуст,  
Стал мандовошкой, прохвост.  
Не треба!

Вернись домой, напейся в дым,  
Глянь в зеркало бобром седым,  
Пиши сонеты,  
Играй в бирюльки, без туза,  
Снимай штаны и лги в глаза,  
Гони монеты.

А он идет, идет, идет,  
И ты сидишь, как идиот  
В своем отеле.  
Иди ты к дьяволу, дурак!  
Гаси свечу и Жанну д'Арк,  
Но будь при деле.

Чего ты хочешь от меня,  
Мои прогулки отменя,  
Подлюга.  
Уж лучше финкой замочи,  
Но не шурши, но замолчи,  
Не дли недуга.

Мне тяжело вспомнить, чем ты стал.  
Зачем ты здесь меня достал,  
Предатель?

Зачем тебе долбить одно,  
И головою бить бревно,  
Как дятел.

Отстань. В Сахару — мыть песок,  
Налить в Рязани туесок,  
Тех окропи — на Мавзолее,  
Но до Реальто дай дойти,  
За кофе с граппой заплати.  
Я не жалею  
И ни себя, и ни тебя.  
На час единый отступя,  
Дай сушу.  
Клянусь тебе — повсюду твой,  
Тот прежний, лучший, холостой,  
Напьюся пролитой водой  
В душу.

## КОЧЕВАНИЕ ДО СМЕРТИ\*

"В конце концов, изнуренная половым стремлением и голодом, она погибает, и уже в среднем течении реки начинают встречаться во множестве уснувшие экземпляры, а берега в верхнем течении бывают усеяны мертвой рыбой, издающей зловоние. Все эти страдания, переживаемые рыбой в период любви, называются "кочеванием до смерти", потому что неизбежно ведут к смерти, и ни одна из рыб не возвращается в оксан, а погибают в реках."

А.П. Чехов.  
"Остров Сахалин"

---

\* Новый роман Владимира Максимова построен на переплетении трех основных сюжетно-тематических линий: парижская эмигрантская жизнь главного героя романа, советского писателя-"невозвращенца" Михаила Мамина / по отчиму—Бармина/, от имени которого и ведется повествование; его рассказ о своем детстве и о годах своей российской одиссеи по тюрьмам, лагерям, городам и весям страны; и, наконец, главы рукописи, над которой работает Михаил Бармин—романа о гражданской войне, во время которой начинает свой путь отец Михаила и некоторые другие герои романа и обращение к которой и помогает читателю связать все три повествовательных линии в единый проблемный узел—прочсть "Кочеванье до смерти" как роман-размышление о судьбах революции, о судьбах России.

Не имея возможности из-за редкой / всего четыре раза в год/ периодичности журнала и, соответственно, ограниченности его печатного пространства познакомить наших читателей с романом бывшего главного редактора "Континента" полностью, мы, с любезного согласия автора, публикуем (с небольшим сокращением) лишь первую его часть—за вычетом двух "исторических" главок и с добавлением из последующих частей тоже двух главок российского и парижского циклов, которые придадут публикуемому тексту относительную сюжетную завершенность и тематическую самостоятельность.

Полностью роман В.Е. Максимова выходит в издательстве "Тerra"

Самое трудное для меня — просыпаться. Обрывки сна, наподобие конфетных фантиков в мутном омуте, плавают в моей памяти, голова, будто с похмелья, чугунно позванивает, и, кажется, стоит мне пошевелиться, потная плоть моя рассыплется, растечется под собственной тяжестью, ложками не соберешь. Я уже представляю себе ожидающий меня день, такой же бесцветный и плоский, как и все предыдущие. Видно, это и зовется "излет жизни", а у меня даже и не излет, а излишек, отпущенный мне по недосмотру сверх судьбы, что давно изжила, исчерпала себя, оставив от меня на земле лишь полую скорлупу, в чьей смрадной пустоте лениво кружатся фантомы и химеры прошлого. И я пришпориваю себя ими, как токсикоман подручным зельем, якобы только ощущать собственное существование. Впрочем, кто его знает, может быть, я давно уже умер, а хоровод памяти и есть загробная жизнь? Так сказать, наш рай и наш ад? Все зависит от того, чего было больше в твоей судьбе, того или другого. Любопытная мысль, стоит обдумать.

Сколько я себя помню, единственное, что было всегда во мне и со мной — тоска. Сосушая, выматывающая душу тоска. Она, наверное, и родилась вместе со мною, разъедая меня, как ржавчина, пока я весь не стал сплошной ржавчиной. Мешком ржавой трухи, почему-то сохранившим память. Скорее, агонию памяти.

Дом стоял на набережной Москвы-реки, занимая пространство между Каменными мостами — Большим и Малым. Его серая громада зимою казалась голубой, а летом, особенно ночью — почти белой. Дом занимал чуть ни целый квартал, и, если бы не цветные пятна рекламы универсама и кинотеатра по лицевой стороне, он издали вполне походил бы на громоздкий мемориал или официальную гробницу. Для полного сходства не хватало бы тогда только часовых.

В некотором роде дом и был гробницей. Жизнь населяющих его людей едва ли можно было назвать жизнью в обычном значении этого слова, скорее — неким сумеречным зависанием между реальной явью и запредельной бездной.

Эти люди еще двигались, спали и ели, занимались повседневными делами, отмечали праздники и новоселья, с кем-то

ссорились, в кого-то влюблялись, даже рожали детей, но уже запечатленная в них фатальная обреченность накладывала на их повседневную суету отпечаток вымороченной тщеты и как бы невсамделишности.

Наверное, они это чувствовали и сами, отчего усиленно, и тем заметнее старались выглядеть как можно будничнее и беззаботней. Смотрите, смотрите, словно бы взывало все в них, мы такие же, как вы, мы так же выгуливаем детей и собак, спешим на работу и ходим вместе с вами в кино, у нас, как и у всех вас, те же заботы, те же радости и та же печаль, уделяйте нам ровно столько интереса, сколько заслуживает наше общественное положение, только, ради Бога, не более того! Но эти их отчаянные усилия не вызывали в окружающих ничего, кроме еще большей подозрительности и страха. Гибельный рок проступал в их лицах, смыкая вокруг них заколдованный круг всеобщего отчуждения.

Иные, прежде чем пропасть, жили в доме годами, другие исчезали так же быстро, как и появлялись, успев за несколько недель или месяцев сделать сказочную карьеру в заоблачных высотах власти. Их тут же вычеркивали из списков жильцов, из памяти, чтобы наследовать от них их невольную месть — тягостную пытку ожидания. Революция пожирала своих детей, порождая новых — проще и поговорчивее.

Мне даже трудно вспомнить теперь, как я возник в этом доме и сделался его частью. До этого отец возил нас с матерью из одного кавалерийского гарнизона в другой, куда его переводили после очередной пьяной выходки еще сидевшие наверху сердобольные приятели по Гражданской войне. Выбился он из иногородней гольтубы, нрава был склочного, вздорного, но отходчивого. В трезвом состоянии я его почти никогда не видел, а если и случалась у него такая пора, к нему было не подступиться, он ходил хмурый, подозрительный, словно все сущее вокруг становилось сплошным заговором против него лично. Он искренне считал себя незаслуженно обойденным славой и почестями, злобился на весь белый свет и, за неимением других возможностей, вымещал эту свою злобу на тех, кто оказывался у него под рукой: жене, сыне, подчиненных.

— Пенек иногородний, — материл он оплощавшего конника, — тебя на трамвае и то привязывать надо, а ты на коня лезешь. Сукины дети, просрали революцию!..

Угодившему под ногу сыну:

— Чего крутишься на пути, места другого не нашел, пащенок! — Носатое, с чахоточно впалыми щеками лицо его болез-

ненно морщилось, а висячие усы "под Городовикова" опускались еще ниже. — У, барский выbleядок, порченная кровь, породил вражину на свою голову!

С матерью моей, своей женой, он и вовсе не церемонился, поскольку, вытащив ее из-под целого эскадрона где-то на беженских дорогах между Тихорецкой и Екатеринодаром, полагал себя ее страждущим благодетелем:

— Чего, кобелиным духом потянуло, курва дворянская? Расфуфырилась, как блядь на выдании! Поплачь, поплачь, тебе прослезиться, что мне сапог обоссать! — И матерился при этом умело и самозабвенно.

В памяти у меня от него остались только унылый нос над висячими усами, ромб в петлице и орден Красного Знамени на застиранной гимнастерке.

Мне неведомо, как развязался этот семейный узел, но однажды, заснув в купе поезда, отходившего в Москву, я проснулся в большой, очень светлой комнате с видом из окна на реку, мост через нее и Кремль на другом берегу.

Словно отзываясь на мое пробуждение, скрипнула дверь, и в комнату робко заглянула мать:

— Миша, с тобой хочет познакомиться Павел Егорыч. — Она явно заискивала передо мной. — Мы будем теперь жить здесь. — Ей, видно, приходилось подыскивать слова, отчего она еще более терялась. — Я тебе потом все объясню...

В эту минуту дверь широко распахнулась, и в комнате появился невысокий, плотный, с бритой наголо, уверенно посаженной головой человек в форме авиационного полковника. Он неспешно подошел к дивану, на котором я лежал, опустился рядом и положил мне на запястье холодную, будто обескровленную руку с холеными ногтями:

— Здравствуй. Меня зовут Павел Егорович Бармин. — Он смотрел на меня в упор блеклыми немигающими глазами. — Можешь называть меня, как тебе легче: по имени-отчеству, дядей, отцом. Решай сам. — Слова он складывал, будто отдавал команду, но пергаментное лицо его при этом оставалось отчужденно бесстрастным. — Вопросы есть?

Вопросов у меня не было. Но только с этого утра я по-настоящему и начал помнить себя.

На дворе плавился июнь одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года от Рождества Христова, когда, спустившись однажды вниз, я увидел у подъезда мальчишку чуть старше меня, с ассирийским профилем, в голубой тенниске, заправленной в

спортивные трусы, и стоптанных сандалиях на босу ногу. Мальчишка с такой углубленной сосредоточенностью колдовал над сцеплением прислоненного к цоколю дома нарядного велосипеда, что мне пришлось довольно долго топтаться возле него, прежде чем он поднял на меня желтые глаза и нехотя спросил — судя по всему, просто так, чтобы только о чем-то спросить:

— Тебе чего?

— Ничего, — смешался я под этой его желтизной. — Живу здесь.

— Ты кто?

Вот тогда-то я и назвал фамилию, которая сделалась затем моим знаком, тавром, проклятьем на всю мою последующую жизнь:

— Бармин.

— А-а, — проблеск некоторого интереса возник, но тут же растворился в изжелта-светлых зрачках, — значит, с пятого?

— Ага.

— Покататься хочешь?

— Я не умею.

— Научишься, а пока на раму сядешь...

Он произносил слова без какого-нибудь выражения, не заискивая и не снисходя, только говорил и все, будто ничего вокруг него давно не нуждалось в каких-либо чувствах или объяснениях.

Затем, когда мы уже катили вдоль парапета набережной в сторону речной стрелки, он, напряженно глядя перед собой, спросил меня все с тем же ровным безразличием:

— Тебя как зовут?

— Миша.

— А меня Сергей. Я — Леонидзе...

Фамилия Леонидзе изредка мелькала по радио и в газетах, но в доме жили такие знаменитости, что по сравнению с ними эта выглядела почти неизвестной... Мы катили вдоль набережной, а река, дымясь и посверкивая, плыла нам навстречу вместе с отраженным в ней городом под пронзительным от солнечной рези небом. Душа моя, словно пробивший скорлупу птенец, вдруг впервые увидевший свет, распахнулась перед ним в упоительном восхищении от его красоты и бесконечности. Скажите, есть ли в жизни человека чувство более благодарное, чем открывать для себя, наконец, что он на этой земле не один?

— Слышишь, музыка, — празднично обмирал я.  
— С теплохода, по динамику, — было ответом.  
— Запах тоже, — не унимался я.  
— Кондитерская фабрика тут. "Красный Октябрь" называется, — буднично приземлял он меня.

У него были свои отношения со вселенной.

Ссаживая меня у того же подъезда, Сергей обронил, и тоже как бы невзначай, походя:

— Выходи вечером во двор, посидим...

Целый день в блаженном полужабытии я слонялся по комнатам нашей пустоватой квартиры в ожидании предстоящего вечера. То и дело натываясь на меня, приходящая домработница Катя только посмеивалась снисходительно:

— Прикатил в Москву разгонять тоску, теперь держись, она кого хочешь закружит, чего говорить — столица!

Даже мать, вечно занятая одной собой, посматривала на меня с рассеянным любопытством:

— Что это с тобой сегодня, Миша, сияешь, будто на именины собрался, поделись с матерью.

Непостижимым человеком оставалась для меня она, моя мать. Можно было лишь удивляться, как, после всего пережитого ею в Гражданскую войну и после, в первом замужестве, ей удалось сохранить не только девичью свежесть лица и фигуры, но и первозданную веру в то, что мир вокруг создан ради нее лично и ни для чего другого. И ничто извне — ни гибель родителей, ни опыт с лихим эскадром, ни пьяные побои мужа-кавалериста — так и не разубедило ее в этом. Всякий раз после очередной переделки эта невозмутимая птица лишь встряхивалась, оправляя помятое оперенье, чтобы устремиться дальше в поисках тепла и пропитания. Видно, в Смольном институте, где застала ее Февральская революция, девиц благородного происхождения учили не только хорошим манерам, но и чему-то куда более практическому. Хотя, вполне возможно, это было заложено в ней самой природой. Скорее всего, так и было.

Ужинали мы вдвоем с нею. Отчим по обыкновению появлялся, когда я уже спал или не появлялся вообще, лишь предупреждал по телефону, оставаясь ночевать на службе. Что это за служба, знали они только вдвоем с матерью, но хотя он и возникал передо мною чаще всего в форме полковника авиации, разговоров на летную тему я от него никогда не слышал. По правде говоря, я от него вообще ничего никогда не слышал. Появляясь дома, он наскоро перекусывал в столовой, а затем

со стаканом чая запирался у себя в кабинете. Не раз, распалеймый любопытством, я прикивал ухом к его двери, но улавливал за нею только шаги, тихие, размеренные, чуть слышные: шесть туда и шесть обратно. Иногда это продолжалось часами. В этом непрерывном хождении он словно пытался избавиться от какой-то отягощавшей его ноши.

Итак, мы ужинали с матерью вдвоем. Она близоруко всматривалась в меня, и в который уже раз заученно повторила:

— Господи, и в кого ты такой?

"Какой", она предпочитала не уточнять. Но мне-то известно, что я для нее обуза, крест, наказание Божье. Мало того, что самим своим существованием я напоминаю ей ее недавнее прошлое, о котором ей хотелось бы побыстрее забыть, я еще к тому же некрасив, своеволен, мочусь до сих пор под себя по ночам и не проявляю никаких признаков если не к исчезновению, то хотя бы к раскаянию.

— Господи, — снова вздохнула она, — что с тобой будет, если я, не дай Бог, умру!

Умирать она, разумеется, не собиралась, но ее хлебом не корми, дай только лишний раз почувствовать себя невинной жертвой окружающих обстоятельств. Ужин мы закончили молча, после чего мать ушла к себе, а я поспешно выскользнул из квартиры...

Город остывал от дневного зноя. Сумерки лишь наметились, но двор уже затих, обезлюдел, притаился в ожидании наступления темноты, чтобы тут же ожить огнями и звуками открытых окон.

Сергей ждал у ворот, и, едва завидев меня, двинулся мне навстречу.

— Пошли, — его ассирийский профиль вновь возник передо мною и проплыл мимо, указывая путь перед собою, — тут близко...

Удивительная была у него походка: легкая, почти скользящая, с наклоном вперед, будто направленная против ветра. Мы обогнули дом, миновали квартал вдоль набережной и завернули в сквозной проезд перед забором фабрики.

— Подожди...

Сергей придержал меня за рукав и тронулся было дальше, но тут же, словно сговорившись с ним, из-под арки соседнего строения появилась девочка, и, оглянувшись вокруг, пошла нам наперерез...

Пройдут годы и годы, в крови и блевотине обрушится целый век, меня протащит через такие горючие огни и такие щелоч-

ные воды, что от одной памяти от них душа способна замерзнуть и окаменеть, но этого ее выхода наперерез нам в тот июньский вечер тридцать седьмого мне не забыть уже до гробовой доски.

— Валя, — кивнув Сергею, она протянула мне потную ладонь и деловито предупредила: — Я с Сережей дружу...

Казалось бы, что в ней было, в этой дворовой пигалице в застиранном ситчике? Букет ржаных веснушек с тощими кошечками по бокам? Но от первого же прикосновения к ней все во мне обрушилось, а затем, наподобие взрывной волны, хлынуло вверх, к горлу, перехватывая дыхание и гулко отдаваясь в висках. Господи, зачем ты не уберечь меня тогда от нее, но если бы и в самом деле уберечь, я бы, прости мою душу грешную, возроптал на Тебя!

— Давайте во дворе посидим, — снова повернула она к арке, а мы покорно поплелись за ней, — наши сегодня гуляют, Валерка вернулся, говорит, отпустили, а я думаю — сбежал...

Потом мы сидели втроем на скамейке в темнеющем дворе, она словно бы в ознобе тесно прижималась к Сергею, искоса с вызовом посматривала в мою сторону, а я обмирал рядом, затаив дыхание и млея от накатившего на меня сладкого одурения. Мне казалось, что если я пошевелюсь, все вокруг меня рухнет, рассыплется, как сон, наваждение, фата-моргана. Вот тогда-то, на той скамейке во дворе, мне и надо было умереть!

Из освещенных окон дворницкого полуподвала раскатывались звон посуды, обрывки нестройных песен и разговоров, вялые всплески тут же угасавшей ругани. Со стороны фабрики густо тянуло прямой духотой. В гулкой ночи над нами тихо шелестела тополиная листва, в которой беззвучно поплескивали теплые звезды, и, казалось, мы восхищенно летим среди них вместе со скамейкой, двором, городом и землей. Боже мой, только бы мне тогда не вставать, не приходиться в себя, не просыпаться!

\* \* \*

Хочу — не хочу, подниматься надо. Вставать и тащиться под душ, после него на кухню — к плите и столу, а затем через весь город в местную радиоловачку на рю де Ренн, где четыре раза в месяц я зарабатываю себе на хлеб без масла, рассказывая свои десятиминутные байки о своей сибирской одиссее миллионам простаков в России, наивно полагающих, что глушилки на границе поставлены зловердными коммунистами, лишь бы только скрыть от них святую правду. Прекраснодушные чуда-

ки, если бы они знали, какого сорта публика и какую прокисшую лапшу вешает им на уши! Те же самые и ту же самую, просто наизнанку. Взять хотя бы этих — здешних с рю де Ренн. Один начальничек чего стоит! Меня выворачивает наизнанку от одной мысли, что я сегодня должен встречаться с ним, видеть его мокрогубую рожу со скольльзящим мимо тебя взглядом уклончивых глаз, пить с ним, выслушивать его творческие советы насчет заострения, боевитости и прочей конъюнктурной мути. Как же, ведь этот хмырь — принципиальный борец против мирового зла тоталитаризма, правда, с советским паспортом в кармане и женой - коммунисткой французского разлива на подстраховке. Такой в любое время готов бороться с чем и с кем угодно, но за соответствующую, разумеется, плату. Я помню его еще по Москве в редакции одной разухабистой газетенки, тогда он числился по ведомству записных патриотов. Боже мой, неужели мне стоило резать по живому, с кровью обрывать переплетения, казалось, нерасторжимых связей с землей, на которой родился и вырос, с людьми, которых знал и любил, с родными могилами, наконец, чтобы осесть в этой вонючей цэрэушной дыре, на побегушках у заезжего прохиндея, где меня и держат-то до первого окрика сверху? Только здесь я понял, что изменить обстоятельства — это не значит перехитрить судьбу, от перемены местожительства человек не становится ни умнее, ни добрее, ни талантливее. Скорее — наоборот. Это я уже заметил по себе. Я давно избавился от претензий удивить человечество, поделившись с ним тем, что переполняло меня. Поведать ему, так сказать, о невиданных потрясениях и неслыханных мятежах. Увы, для этого у меня, как выяснилось, не оказалось ни дарования, ни воли. Видно, мало знать, нужно еще и мочь, и уметь, а вот с этим-то у меня, судя по всему, и не вышло. Впрочем, иногда что-то наплывает на меня из далекого далека, манит призрачными химерами, рассыпается дробной мозаикой, которую я силюсь собрать на бумаге в одно целое, но обманчивое наваждение вскоре линяет, и я снова остаюсь наедине со своей тоской и беспомощностью перед чистым листом бумаги. Вот уже сколько лет листочки, листочки, отдельные листочки, разорванная связь времен. От отца сыну и еще дальше и шире.

\* \* \*

Влюбчивость моя была моим несчастьем. Влюбленные рушивались на меня, как стихийные бедствия, от

было спасения. К двенадцати годам я уже перелюбил с полдюжины прелестниц в возрасте от пяти до пятнадцати. Страсть настигала меня внезапно, словно удар из-за угла, и я отдавался ей целиком, без остатка, сразу же теряя сон, аппетит и последние остатки воли. Ее виновницы в такие поры могли бы вить из меня веревки, но они, увы, чаще всего просто не замечали меня, а если и замечали, то высокомерно отфыркивались: судя по всему, я не был героем их романа.

Иногда, догадываясь о моем состоянии, мать навевалась ко мне перед сном, язвила:

— Горишь без температуры, боишься поделиться, все секреты от родной матери, все секреты! — И сердито добавляла, почему-то краснея при этом:

— Не спи на животе, слышишь, это вредно!..

Но я продолжал спать на животе, задышался в беспомощности от срамных снов. Я восторженно взлетал и тут же падал в изнеможении: как хорошо!

С Валентиной у меня все было по-другому. Мне хватало уверенности в том, что она живет за углом, что, отправляясь к ней, Сергей никогда не забудет взять меня с собой и что до позднего вечера мы будем сидеть втроем на скамейке у нее во дворе или отправимся к речной стрелке смотреть с ее волнореза в полпескивающую у самых ног воду, в опрокинутый в нее город, в плывущие сквозь наступающую ночь огни барж и теплоходов. И так каждый день, а о большем я даже не мечтал.

Вскоре я знал о ней все. Семейка у них собралась — не соскучишься. Отец, колченогий водопроводчик дядя Саша, пил по-черному, хотя во хмелю был тих, незлобив, даже благостен. Напившись, он усаживался у окна, и, подперев кулаком небритую щеку, тихонько пел в пространство перед собой:

— Там, вдали за рекой, зажигались огни, на востоке заря догорала, сотня юных бойцов из буденновских рот на разведку в поля поскакала...

И блаженно улыбался, и плакал при этом, пытаюсь заговаривать с проходящими мимо окна соседями. — Да, Петрович, было дело, не жалели себя за ради революции, проливали горячую кровь молодую, зато живу теперь, как у Бога за пазухой: сыт, пьян и нос в табаке...

Правда, кровь дядя Саша если и проливал, то по пьянке, ногу ему, Валентина как-то проговорила, искалечило по той же

причине еще в деревне: падая с воза, он угодил ступней между спицами тележного колеса, а Божьей пазухой служила их семье двенадцатиметровая клеть в полуподвале, откуда его уже не могла выловить цепкая петля коллективизации. Но, как известно, душевный комфорт зависит от взгляда на мир и нашего воображения.

Жена его — Алевтина, нестарая еще, но издерганная женщина с вечной озабоченностью в обвисшем лице и быстрых движениях — в такие дни торопливо сновала между продмагом и домом, сердито проборматывая себе под нос одно и то же:

— Нажрался, черт старый, а я бегай, как нанятая, ему бы только ханку трескать, бесстыжему, а мне по миру ходить, людям кланяться, на хлеб собирать. И куда только в него лезет, в прорву его ненасытную? Когда же меня Бог приберет, неужто по грехам моим?..

Было еще два брата — Колян и Валера. Первого я так ни разу и не увидел. Он лишь призрачно возникал иногда в валиных проговорках и оговорках, то на Краснопресненской пересылке, то на лесоповале под Архангельском, то в психбольнице в Казани, а Валера время от времени объявлялся дома, чтобы, покуролесив какое-то время во дворе и окрестностях, снова, в который уже раз, угодить в очередную бессрочку\*.

Что-то было лягушачье в этом Валере: большой и как бы вымокший рот, крупная, почти без шеи голова, влажные глаза навывкате, тонкие, но в кистях разлапистые руки и даже брюшко сумочкой. Причем, он всегда хотел есть, готовый ради съестного и на жертвенный героизм и на любую пакость. Он потрошил соседские чуланы и сараюшки, обкладывал данью фабричных фезеушников, правдами и неправдами выносивших за проходную сладкую всячину, ухитрялся поживиться при разгрузке у булочной и в поисках еды взламывал по ночам окрестные ларьки и забегаловки. Замоскворечье стоном стонало от его пиратских набегов, заваливая райотдел милиции челобитными с мольбами избавить район от этой чумы, отправить нечестивца в колонию, где он в конце концов обычно и приземлялся.

Заискивая в нем покровительства перед Валентиной, мы с Сергеем таскали ему из дома все что попадало под руку — хлеб, сыр, масло, котлеты, даже кочерыжки от капусты. Он, едва

---

\* "Бессрочка" — детская колония. (Жарг.)

прожевывая, жадно сглатывал принесенное, но все-таки продолжал канючить:

— Вальке, ссыкухе, попкушем\* кидаете: пирожки, яблочки, халвы тоже вчера притаранили, а мне, как курве с котелком, что останется. — И вдруг злорадно взвизывался: — И чего вы к ней клеетесь, сохачи вонючие, не даст она вам, все равно не даст, сколько не носите! Нюхать и то не даст! Она Левке Карзубому дает, она Володьке Боксеру дала, а вам не обломится. Она, зассыха, свое дело знает, у ней на вас не стоит, понятно!..

Но иногда, если Валере удавалось по-настоящему насытиться, он умиротворенно размягчался, и, проваливаясь в себя серыми глазами, рассказывал нам, а скорее самому себе:

— Эх, пацаны, как мы гужевались в Кандалакше, когда вагон-лавку на путях раскурочили. Сахар с маслом грабками\*\* хавали, копченой колбасой заедали, я тогда одних пряников целый мешок унес, гульнули мы тот раз по буфету. — Валера мечтательно умолкал, переживая сказанное, а затем пускался дальше. — Или, помню, мы в Закаталах в зоне анархию объявили, легавые все на вахту смылись, а мы каптерку с кухней курочить пошли, мне одному ведро повидла обломилось, больше половины схавал, пока из ушей не полезло, дохавал бы, только меня легавые повязали и на этап в Уфу отправили, рот бы я их мотал!..

Валера, наверное, и привирал, но самые слова, которые он произносил — "Кандалакша", "зона", "каптерка", "этап" — завораживали меня. От них веяло обещанием и тревогой, а еще гарью, золой и снегом. Сердце обмирало во мне в предчувствии грозных событий и роковых перемен. И сквознячок безотчетного страха все чаще будил меня по ночам...

Утром я застал отчима в столовой за чаем с газетой в руках. Обычно в это время дня его уже не было. Он, что тоже случилось редко, оказался в штатском. Белая накрахмаленная рубашка, туго повязанная синим, в полоску, галстуком только еще резче оттеняла пористую пергаментность его лица. Но куда удивительнее — он улыбался! Такого я за ним действительно не помнил. В его застывшей маске никогда раньше нельзя было прочесть ничего, кроме усталой озабоченности. Оказывается, и маска способна к преображению.

---

\* "Поскушем" — получше. (Жарг.)

\*\* "Грабками" — руками. (Жарг.)

— А вот и Миша, — продолжая улыбаться, он отложил газету в сторону, — садись. Нам необходимо с тобой поговорить. — Его глаза, казавшиеся мне всегда отчужденно стоячими, ожили. — Как мужчина с женщиной. — Пригасив улыбку, он смотрел на меня в упор, будто изучая. — Я уезжаю в долгую командировку, вы пока остаетесь вдвоем с матерью. Как только устроюсь, я вас с матерью вызову. Будем снова жить вместе. Ты теперь в доме за мужчину, береги мать, хорошо учись, будь примером для товарищей. — Тут он благодушно расплылся: — Море видал когда-нибудь? Скоро увидишь, только не подводи меня, чтобы мать не жаловалась, а то раздумаю. — И вдруг слегка отвердел: — Ты, кажется, дружишь с Сережей Леонидзе? Это дело, конечно, твое, тебе видней, хотя время сейчас, сам знаешь, какое, по-всякому может повернуться. Но уж коли выбираешь друга, сразу реши, сумеешь ли постоять за него в тяжелую минуту. А парнишка он, по-моему, ничего. Серьезный.

Он улыбался уже чему-то своему, не имеющему ко мне отношения. Я вдруг поймал себя на том, что недавно уже видел такую улыбку и тут же вспомнил обложку цветного журнала с лицом чемпиона-парашютиста после затяжного прыжка с самолета: приземлился!

В столовую заглянула мать, искательно спросила:

— К вам можно?

Но мне уже было не до них. Почти не вникая в их последующий разговор, я лихорадочно думал о предстоящей встрече с Сергеем. И хотя отчим упомянул о нем вскользь, между прочим, к слову, в самом этом упоминании чувствовалось нечто нарочитое, настораживающее, какое-то едва уловимое дуновение грозы, как скользящая тень от летучего облака или внезапный шелест листвы в знойный полдень. Оказавшись в этой квартире и в этом доме, я быстро усвоил, что здесь ничего, никогда не говорится просто так, невзначай, проходя, потому что случайно оброненное на людях слово могло стоять сказавшему жизни. Сергей должен был узнать о моем разговоре с отчимом, и чем скорее, тем лучше!.. В обычное время Сергей не появился. До самых сумерек я кружил по двору, слонялся вдоль набережной, заглядывал на стрелку в слабой надежде перехватить его где-нибудь по дороге и лишь когда, отчаявшись, повернул к своему подъезду, услышал из темноты знакомый голос:

— Мишаня!

Так он назвал меня первым, но, однажды прозвучав, это имя, словно камень, прочно осело во мне, окончательно определив мои позывные на земле и среди людей.

— Мишаня, — лицо Сергея смутно маячило передо мной в матерееющих сумерках, — ты больше не ходи со мной...

Мне стало понятно, что с рассказом моим я опоздал, но оставить сейчас его одного у меня не хватило духа:

— Серга...

Так я назвал его тоже первым и тоже, как оказалось впоследствии, навсегда.

— У нас отец застрелился, — голос его пресекался и опадал, — вышел от Сталина... И в машине... Нам шофер рассказал... Он живой еще был, сказал "Вези меня домой", а он его в Склифасовского... Там и умер... А забрать не дают... Говорят, не положено...

Нетрудно было догадаться, что это могло означать: я рано повзрослел в этом мире, чтобы продолжать обманываться. Вечерняя тень качнулась надо мной и тихо поплыла перед глазами от сразу хлынувшего в меня клейкого страха. Я еще барахтался в нем, в этом страхе, пытался выбраться из него, цепляясь за первые попавшиеся слова, но страх, наподобие речной воронки, втягивал меня в свою гибельную пропасть, а слова лишь добавляли мне излишней тяжести:

— Бывает... Наверное, разбираются... У них там всегда так... По правилам... Мне отец рассказывал... Завтра сообщат...

Видимо, он еще надеялся, что я выберусь, выплыву, освобожусь, наконец, от затягивающей меня жути, но, услышав мой голос, мгновенно все понял и отступился. Сказал, как когда-то прежде, без всякого выражения:

— Ладно, сходи только к Вале, скажи, что больше не приду, если боишься, ничего не говори, она сама догадается...

Нет, к Валентине я так и не пошел. На следующий день мы провожали отчима, затем мать увезла меня на дачу, а когда к началу учебного года я вернулся, в списке жильцов, вывешенном в подъезде, фамилии Леонидзе уже не значилось.

Только среди осени, проходя как-то мимо "Ударника", я увидел Валу в окружении нескольких ребят из нашей округи. Продолжая оживленно переговариваться с ними, она, заметив меня, скосила насмешливый взгляд в мою сторону, и я отчетливо прочитал слово, неслышно слетевшее с ее презрительных губ:

— Говно...

И мне ничего не оставалось, как покорно согласиться с ней: я — говно.

Да еще какое! Впрочем, не лучше и не хуже других. Человек вообще, по-моему, по определению — дерьмо. Пишут, что в нем девяносто пять процентов воды, а из чего состоит остальное? Вот-вот, совершенно верно. Плюс — инстинкты: жажда, зависть, похоть. И сколько ни украшай эту его звериную сущность красивыми виньетками веры, красоты, культуры, вонючее животное просыпается в нем всякий раз, когда доходит до его собственной шкуры. Тогда с него быстро облетают словесные гирлянды и он разворачивается к ближнему своему подлинным обликом: смесью шакала с крысой. В лучшем случае — с волком. При мне брат замачивал брата, не поделив место на нарах, а вчерашняя монахиня ложилась под лагерного сифилитика за полпайку или миску баланды. На моих глазах гнали родных детей на панель, насиловали собственных матерей, не брезговали свальным грехом и не гнушались человечинной. Если же я не падал так низко, то не потому, что был не способен на это, а лишь оттого, что судьба, поиграв со мной в свои жестокие игры, все-таки не доводила меня до самого края. Вспоминая о людях, во всяком случае, о тех, с которыми пересекался в жизни, мне хочется тоненько, по-щенячьи, заскулить от безнадежности и тоски. Хотя бывало и не без редких просветов, скорее даже редчайших. Только много ли их — этих просветов? По пальцам пересчитать. Серега, еще два-три, ну и этот вот, здешний — Вадим.

Я познакомился с ним в той же лавочке на рю де Ренн. Он явился тогда в Париже героем довольно громкого политического процесса, но, в отличие от своих собратьев по диссидентству, не раздувался, не борзел, не предлагал человечеству рецептов освобождения от тоталитарного ига, а только на все лады рассказывал желающим слушать о тех трех минутах бузы на Красной площади, за которые он склопотал свой лагерный срок. "Понимаешь, старик, — сиял он детской улыбкой к собеседнику, — может, все это лажа, говна пирога, подумаешь, на Лобном месте малость потоптались! Только вся моя жизнь в эти три минуты и уместилась, после этого уже живу, а доживаю". К тому же, он заметно торопился дожить, заливал дотлевающую душу дешевым вином и пивом, гнал лошадей без дороги и передышки, но, впрочем, во хмелю оставался таким же безмятежным и незлобивым, как и на трезвую голову.

Мы обычно встречаемся с ним в гонорарный день, сидим в ближайшем кафе, а затем, уже изрядно набравшись, отправ-

ляемся ко мне допивать. Пьянеет он чуть не со второго захода, но продержаться в таком состоянии, не отключаясь, может ровень со мной. Напиваясь, мы больше молчим, чем разговариваем. Слишком мало между нами сходства, слишком много разделяет нас: возраст — тридцать лет разрыва, отношение к окружающему, даже лагерный опыт наш был разный. Просто нам было легко друг с другом: мне не приходится напрягаться, ему — приспособливаться к этому напряжению. Вадим время от времени сочинял стихи. Наивные, хотя искренние. И, наверное, если бы он занялся этим всерьез, из него со временем мог бы выработаться хороший поэт, но для него весь смысл существования давно сосредоточился на дне следующего стакана. Менять образ жизни Вадим, судя по всему, не собирался, а это в конце концов означает кратчайший маршрут на Сент-Женевьев де Буа...\*

Сегодня мы так же сидим с ним в том же кафе, и между дежурными гостями вроде "бывай" и "твое", лениво вяжем обязательный для нас обоих разговор:

— Ты о чем сегодня? — спрашиваю я без всякого, впрочем, интереса, лишь бы начать треп.

— Все о том же.

— Не надоело?

— А мне больше не о чем.

— Стихи бы почитал.

— Им это даром не нужно. — Он по обыкновению добродушно озаряется. — Их нравы.

— Мне иногда удается.

— Мне — нет. Говорят, давай о правах человека или о демократическом движении. Можно, говорят, еще о лагерях и психушках.

— О подвигах, о доблести, о славе?

— Во-во...

День за окном кафе мокнет в тусклой измороси. Париж в такую пору тих и бесприютен, как склад случайных декораций. Город походит сейчас на аквариум, в котором, среди нагромождения камней крейсируют машины и люди.

— Атас, — одними губами складывает сидящий лицом к двери Вадим, — начальство корячится.

А начальственная длань уже ложится мне на плечо:

---

\* Сент-Женевьев де Буа — кладбище под Парижем.

— Гужуетесь?

Из-за плеча у меня появляется, возникая над столом, размашистая фигура нашего непосредственного работодателя из Мюнхена Евсея Парагвайского.

— В кампанию примете?

Не ожидая согласия, он по-хозяйски придвигает стул от соседнего стола к нашему, садится рядом:

— Что пьем?

Он разыгрывает перед нами босса-в американском стиле: сочетание уверенности в своей власти с панибратской демократичностью. Но я-то знаю, что и показная его размашистость, и его напускной американизм, и его деланная уверенность в себе — навынос, напоказ, для несведущих, а на самом деле в этих гремящих доспехах прячется тварь мелкая, жестокая, завистливая, готовая в любое время на любую гадость, даже не из выгоды, в лишь по врожденной низости души. Служил он в последнюю войну то ли ординарцем, то ли денщиком Власова, людской крови за ним было выше головы, поэтому у новых хозяев он держался на коротком поводке, числился в политических обозревателях, но по большей части занимался тем, что поставлял русских девок приезжим ревизорам из Вашингтона.

Я, кстати, ненавижу всякую власть вообще, а как она называется, для меня не имеет значения. Любое, пусть самое косвенное проявление кем-либо власти надо мной вызывает во мне такой прилив слепого бешенства, что я мгновенно теряю самообладание. И мне неважно при этом, кто пытается диктовать мне свою волю — лагерный вертухай или здешний работодатель. И в какой форме, тоже не имеет значения. Главное в том, что он насилует мою волю, и этого для меня достаточно, чтобы его ненавидеть.

Мы продолжаем пить под непрерывную болтовню Парагвайского о его влиянии в высших сферах, успехе на половом поприще, сногшибательном материальном преуспевании.

Ох, уж мне эти цветные фантазии эмигрантской мегаломании! Их не заткнешь никакими фактами или логикой, ведь они самозаряжаются из неистощимых источников собственного ничтожества, зависти, страха перед неумолимостью окружающих обстоятельств. Эмиграция — гетто для побежденных, загон для отступающих, анклав для банкротов. В ней, как на войне или в лагере, в человеке обнажается животное, обращенное всей своей сущностью к одной единственной цели — выжить. Отсюда эти болезненные претензии, эта упорная страсть

выдать себя за нечто большее, чем ты есть на самом деле, эта почти маниакальная подозрительность. Одна только фамилия сидящего рядом с нами хмыря чего стоит: Парагвайский! Всего лишь потому, что после войны ему удалось унести ноги в эту страну, отсидеться там до лучших времен. Ни на что более удобоваримое у него просто фантазии не хватило.

Когда он, наконец, оставляет нас, Вадим, глядя ему вслед, печально заключает:

— Эх, Мишаня, с кем нам теперь приходится пить! Я бы с ним в Москве не только пить, какать бы на одно поле не сел, а тут он к тебе подходит и сам садится. Прямо как в том анекдоте: смешанная группа хищников — львы и мандавошки...

Допивали мы, по обыкновению, у меня. У меня же на этот раз он и остался ночевать.

\* \* \*

Я чувствовал: в нашей семье что-то происходило. Мне еще трудно было понять, что именно, но с недавних пор меня неотступно преследовало ощущение некой смутной тревоги.

Сначала умолк телефон. Если раньше мать умудрялась часами перезваниваться с приятельницами и знакомыми, то теперь она целыми днями бесцельно слонялась по квартире, с тоскливым ожиданием поглядывала на аппарат, но тот упорно молчал, не откликаясь на ее умоляющий зов.

Правда, хотя и крайне редко, телефон все же оживал. Мать судорожно хваталась за трубку, и тут же, мертвенно опадая лицом, принималась односложно складывать необязательные слова:

— Слушаю... Да, да... Конечно... Когда?.. Как вы скажете. — Она словно огораживалась этими словами от голоса, напиравшего на нее с той стороны провода. — Разумеется, разумеется. — И снова: — Да, да. Конечно. Постараюсь. До свидания.

После этого, наскоро принарядившись, она чуть не на целый день исчезала из дома, а когда возвращалась, ко мне не заглядывала, спешила к себе в комнату, где проводила теперь большую часть времени. Она показывалась оттуда лишь затем, чтобы, наскоро состряпав мне что-нибудь малосъедобное, молча покормить меня и так же молча скрыться у себя снова.

Писем тоже не было. Отчим третий год не подавал голоса. Мать утверждала, что оттуда, где он находится, писем писать нельзя. Может быть; но куда в таком случае, спрашивал я себя, по каким особо важным командировкам разлетелись все наши

многочисленные родственники, еще совсем недавно осаждавшие нас своими эпистолярными просьбами?

Улетучилась и наша домработница Катя. Как-то незаметно, была, и вдруг не стало. Теперь мне многое приходилось делать самому: мыть посуду, убирать у себя в комнате, доставалось и стирать. Еще вчера налаженный, быт разваливался, распадался на множество загромождавших существование упрямых мелочей, в которых, как зерно в мусоре, тонул самый смысл этого существования: внезапно рвалась обувь, гас свет, скапливалась порожняя посуда, отказывало отопление и, наконец, кончались деньги. И так одно за одним, до бесконечности.

К тому же еще и школа, которую я ненавидел. Меня тошнило от одной только мысли, что утром мне надо вставать и чуть свет тащиться на давно опостылевшие занятия, где я буду полдня изнывать от скуки в ожидании последнего звонка. То, чему меня пытались научить взрослые дяди и тети в классе, я считал себя вправе постичь самостоятельно. Поэтому в задачке, где меня спрашивали, к примеру, какое время нужно поезду, чтобы при известных условиях покрыть расстояние от пункта А до пункта Б, времени я предпочитал поезд.

Я сбегал с уроков, часами шатался по городу, сидел в кино, разъезжал на подножках трамваев, бродил по бульварам, толкался на вокзалах, и запах свободы забивал мои легкие. Она пахла бензиновой гарью, речной тиной, паровозным дымом, дорожной снедью, древесиной, мазутом, морем. В ней таился бередящий душу зов, маячило обещание, манила надежда.

Друзей у меня больше не было, но я и не старался приобрести их. Мой первый горький опыт подсказывал мне, что праздник слишком близкого общения с человеком скоропреходящ и обманчив. Вдобавок, за него надо очень дорого платить, а это, как оказалось, мне было не по возможностям. Наверное, по этой причине лучше всего мне было одному.

Оставаясь один, я хватался за первую попавшуюся книжку и враждебный мир вокруг переставал для меня существовать. Другая явь — в звуках, ароматах, красках — целиком заполняла меня, отодвигая тусклую повседневность за пределы моего сознания. Она, эта бесподобная явь, кричала и плакала, смеялась и пела, цвела и линяла, а, главное, звала, звала, звала. Но куда, я еще не догадывался.

Наконец, однажды мать появилась в моей комнате перед сном, села на краешек моей постели и заговорила, скользая заплаканными глазами куда-то мимо меня:

— Рано или поздно ты должен узнать об этом, Миша. — Она с усилием вобрала в себя воздух и облегченно выдохнула. — Павел Егорыч погиб на боевом задании, разбился. Теперь у меня только ты один, помоги мне.

Но чем я мог помочь этой уже побитой возрастом девочке, еще не утратившей надежды на обязательный реванш? Увы, ни время, ни удары судьбы так и не смогли хоть сколько-нибудь поколебать в ней этой ее уверенности. Даже сейчас, в неподдельном горе и на ночь глядя, она не забыла накраситься и принарядиться, будто собиралась в гости или на званый вечер, где ее ожидал очередной шанс. Отец, кстати, тоже не подавал нам о себе никаких вестей, но его, видно, давно выветрило у нее из головы. Природа одарила эту женщину удивительным свойством запоминать лишь то, что способствовало ее душевному равновесию.

С тех пор я словно с цепи сорвался, бешеный хмель своеволия ударил мне в голову, приподнял над землей и закружил в своем провальном водовороте. Школу я бросил окончательно, дома появлялся, чтобы только помыться и выспаться, а остальное время убивал как мог и где мог: торчал в бильярдной в Сокольниках, где уже играл "под интерес"\* и делал ставки в "железку"\*\*, приторговывал рассыпными папиросами у Тишинского рынка, сбывал с наценкой билеты на вечерние киносеансы. Выручку я спускал в Елисеевском, откуда затем, нагруженный свертками, отправлялся на Тверской бульвар, в заранее облюбованный мной "теремок" на детской площадке, чтобы устроить там себе единоличное пиршество.

Я словно бы окончательно захлопнул за собой некую дверь, за которую мне уже не было возврата. Судьба выталкивала меня в свободное парение, где я был обречен на собственный выбор спасительных ориентиров. Наверное, это и было тем, что называют свободой. И я, как случайно выпавший из гнезда птенец, что есть сил хлопал по воздуху отростками крыльев, взмывал и падал, пытаюсь удержаться над бездной под собой и перейти наконец в свободный полет.

Для матери меня снова не существовало. Перед ней опять, судя по некоторым признакам, замаячила возможность начать все сначала, звонки и вечерние отлучки возобновились вновь,

---

\* "Под интерес" — то есть, на деньги. (Жарг.).

\*\* "Железка" — игра на цифры банкнот.

встречались мы теперь совсем редко, а когда встречались, она, едва скользнув по мне торопливым взглядом, бездумно выговаривала первое попавшееся ей на язык:

— Боже мой, как быстро летит время, еще, кажется, вчера я носила тебя на руках, а сегодня у тебя уже собственная личная жизнь! Подумать страшно! Ну, ну, не буду, ты уже взрослый человек, не мне тебя учить.

На том мы с нею и расстались. И я снова пускался во все тяжкие, будто наверстывал некогда упущенное.

Однажды ранним утром я проснулся один. Опустошенный и невесомый, я отрешено смотрел в окошко под потолком в набирающее синеву небо. Я пока толком не мог объяснить себе, что же в конце концов со мной произошло, но одно я знал теперь определенно: к прошлому возврата нет, связи, соединявшие меня с ним, вырваны с корнем, все начинается с чистого листа, и впереди лишь пустыня, а что мне светит за нею — зависит теперь только от меня самого.

Дома я никого не застал и это само по себе облегчило мне дальнейшее. Наскоро побросав в дачный вещмешок свои личные пожитки, я добавил к ним кое-что из модных тряпок матери на продажу и, не задерживаясь более, захлопнул за собой дверь квартиры. Навсегда. Пожалуй, только к концу жизни начинаешь в действительности понимать, что это по-настоящему означает: навсегда.

\* \* \*

Телефонная трель распарывает мой сон пополам. Я выпрастываюсь из него, как бабочка из лопнувшего кокона, отряхиваюсь во все стороны от его остатков. Вот так и бывает: иногда думаешь, что ты уже на дне высушенного колодца и никому больше нет до тебя дела, но вдруг кто-то из мимо идущих заглядывает в колодезную отдушину, правда, лишь для того, чтобы плюнуть в нее и отправиться себе дальше своей дорогой, а тебе остается только вытереть макушку и выругаться ему вдогонку. Как в воду гляжу: в трубке фонит международный: "Старичок, — слышу я вибрирующую от почти нескрываемого злорадства скороговорку моего непосредственного заказчика, литературного босса из Мюнхена, Толи Кучкина, — московские правозащитники недовольны твоим циклом, отсюда пришла телега, есть мнение сменить пластинку." "Говори прямо, — на корню пресекаю я его заходы, — это отказ?" "Нет, зачем же, — продолжает вибрировать трубка, — ищи другой

сюжет с учетом пожеланий уважаемых слушателей. — Он уже откровенно издевается. — Жду предложений. Улавливаешь? Пока, старичок!" Еще бы не уловить!

Я знаком с этим хмырем лет двадцать. Мы чуть ни вместе начинали в Москве. Ему удалось всплыть на поверхность на волне молодежной темы, Кучкин был одно время даже популярен, но дыхания у него хватило только на первый забег, он стал повторяться, мельчать, сереть, сереть и сереть, пока совсем не сошел с дистанции. Где-то служил, где-то халтурил, выкраивал на две повисшие на нем еще в лучшую пору семьи, но в годы Большого Исхода быстро сообразил, что выгоднее слинять. Слинял он не без помощи той же "Галины Борисовны"\* , с которой был в давнишних и небескорыстных отношениях, чего, впрочем, и сам не скрывал. "Старички, — под пьяную руку откровенничал Толя, — правда, стучу, но, бля буду, только на иностранцев, а что делать, откажешься, совсем кислород перекроют". Перед отъездом Кучкин что-то там подписал, какому-то инкору дал интервью и объявился здесь инакомыслящим интеллектуалом и жертвой режима. С этого трамплина он и спланировал в свое нынешнее кресло в Мюнхене. Меня Толя ненавидел последовательно и упоенно: видно, по его мнению, я слишком много о нем знал. Ему никак не терпелось отделаться от меня, как от зеркала, неизменно напоминавшего ему не только о корявой щербатости его рожи, но и о низости его души. Глядя на него, я неизменно вспоминал одну гениальную старуху\*\* : "В своем одичании и падении писатели превосходят всех". Она знала, что говорила: ее мужа — великого поэта — эта братия затоптала походя, в драке за место в раю с центральным отоплением и раздельным санузлом. На своем веку я часто оказывался на таком дне, где говорить о добродетели было так же бессмысленно, как проповедовать воздержание среди онанистов, но никогда и нигде, кроме писательской братии, мне не доводилось встречать столь безукоризненной и ничем не затуманенной аморальности. За редчайшим и, прямо скажем, непростительным исключением. Стыдно сказать, ради какой мизерной малости — жалкой публикации, лестного упоминания в рецензии, гонорарной подачи — любой из них был готов на любое преступление и святотатство, разумеется, если это

---

\* "Галина Борисовна" — КГБ. (Жарг.)

\*\* Н.Мандельштам

могло сойти с рук безнаказанно. Если бы я мог предположить, что меня ожидает на этом гнусном торжище уязвленных самолюбий, я бы предпочел худшую суму и злейшую тюрьму всем на свете медным трубам избранной мной доли. Но начало было так далеко, так близок первый интерес!

Неужели я так и обречен буду остаться в своем деле одним из тысяч и тысяч Кучкиных? Подлым, бездарным, сжигаемым бессильной завистью Кучкиным? Не дай-то Бог! Тогда уж лучше в петлю...

\* \* \*

Зима меня застала в Ашхабаде. Я прикатил сюда следом за погодой. Московская осень отступила вместе со мной сначала на Украину, затем на Северный Кавказ, потом в Закавказье, и, наконец, перемахнув через Каспий, в Среднюю Азию. Дальше пути не было. Была заграница, за которой простирались иные пределы и другая жизнь.

Пустыня начиналась прямо у порога окраины, и город — глинобитный табор под плоскими крышами с редкими вкраплениями трехэтажных коробок новой застройки — казалось, сгрудился на ней, как рассыпь сухого гороха на желтой ладони.

Здесь же, и тоже упираясь в барханы, располагался местный кирпичный завод, куда брали на сезонную работу без особых формальностей любого залетного искателя приключений, среди горожан охотников погибать в этом местном чистилище, видно, было немного.

Прокуренная тетка-кадровичка, попыхивая папироской, вскинула на меня монгольские глаза поверх протянутой мною "липы", брезгливо поморщилась:

— Оставь себе на память, мне твоя анкета даром не нужна. Украсть у нас нечего. Тачку толкать осилишь, а остальное меня не касается. — После долгой затяжки хмуро предупредила: — Общежития у нас нет, устраивайся, как все — на печи, без мебели, зато тепло. Оплата сдельная: что потопашь, то полопашь. Не понравится, аля-улю, дуй на все четыре стороны, страна большая, тосковать не станем. Прохорыч! — Зычно отнеслась она к кому-то за фанерной перегородкой. — Проводи человека, введи в курс!..

Прохорыч оказался словоохотливым мужичком лет пятидесяти в армейских обносках явно с чужого плеча. Пересекая заводской двор, он пружинисто пританцовывал рядом со мной, косил в мою сторону веселым глазом, рассыпался:

— Москвич, говоришь? Известные водохлебы. Тут чай тоже любят гонять. Только без сахарку, кислые. Правда, у нас и на них не заработаешь, больше кипяточком пробавляемся. Народ у нас тут до первого солнышка, лишь бы перезимовать. Ну, да ты, видно, парень бывалый, сам знаешь, с чем пироги едят, а с чем сухарики. Не ты первый, не ты последний, обомнешься, сам сообразишь, что к чему. А я тут, — он глумливо осклабился щербатым ртом, — за сторожа, за холуя и за политрука для вашего брата. Как тебя зовут-то?

— Мишаней.

— Мишаня, так Мишаня, мое дело постороннее, мне это так, для памятки, чтобы со счету не сбиться. Сам знаешь, гудит и воет родной завод...

"Завод" это, конечно, громко было сказано. Кроме конторы, весь он состоял из сушильного сарая и двух больших навесов: под одним — глиномешалка с формовочной, под другой — гофмановская печь на две камеры, от которой тянулся деревянный трап к погрузочной площадке, откуда вывозилась готовая продукция, а дальше, насколько хватало глаз, вспухали барханы в редких рогатках саксаула с самого края.

— Учти только, — признался я, — у меня специальность одна: бери больше, кидай дальше, кроме этого ничего не умею.

— От тебя пока больше и не требуется, а потом видно будет. У нас как раз самая разгрузка, бери любую тачку и втягивайся.

— Когда?

— Да хоть сейчас! С непривычки не надрывайся, а то завтра не подымешься...

Поначалу тачка еще покапризничала, побрыкалась у меня под рукой, хотя я ее сильно и не перегружал, просто сказывалось отсутствие навыка, но после десятки ездов она все-таки приноровилась, покорила мне, и к обеду мы уже шабашили с напарником наравне.

Но от конторы к нам потянулся звон сигнальной рельсы, возвещавший обеденный перерыв. Пустынная до этого заводская территория вдруг ожила: во всех ее концах стал появляться народ, словно люди перед этим не работали, а лишь прятались в ожидании зова, знака, звука или заранее обусловленного известия о еде. Они стекались к конторе, вытягиваясь у ее порога в небольшую, но шумную очередь.

— Чего сегодня?

- Суп-кандей из бараньих мудей!
- Чего, по натуре?
- Сегодня выходной.
- Еще чего?
- Повар заболел.
- Что с ним?
- Холодным хером горячую кашу мешал, простудился.
- Кончай базар, братва, жрать охота.
- Девятый хер без соли отсасывай!
- Я тебе свой с проглотом дам!
- Чего, чего?

Если бы не возникший в проеме двери Прохорыч, драки было бы не миновать. Но, опытным глазом мгновенно оценив обстановку, он, посмеиваясь, разрядил грозу:

— Не толпись, мужики, всем хватит, сегодня перловая с салом, считай, плов, как в ресторане, от пуза, ешь — не хочу. — Не удержался, поерничал. — Герои Перекопа есть? Так, отдыхают в санаториях. Ударники труда? Тоже нету. Тогда в порядке живой очереди или у кого рожа толще. — Он освободил проход, пропуская мимо себя рослого малого в заношенной тубетейке и ободранном ватнике. — Давай, Ченчик, ты у нас, как Чапаев, всегда впереди, с ложкой вместо сабли, не задерживайся, самую пенку съешь. По одному, мужики, по одному, говорю, всем достанется!..

По одному и выходили, каждый со своей миской и куском хлеба в руках, растекались по территории, устраивались кто где мог и хотел, лишь бы с глаз долой, и вскоре заводской двор снова опустел, словно в нем никого никогда не было.

Едва в полутьме остывающей печи я сел за кашу, как снаружи заглянул тот самый парень в расхристанном ватнике, которого Прохорыч перед этим назвал Ченчиком.

— Новенький? — Кадыкастую шею его подпирал засаленный ворот ветхой тельняшки, на продолговатом, словно вытянутом к подбородку лице тускло светились белесые глаза. — Откуда?

Горло мне сдавил неуютный холодок, но я, пересилив себя, неуверенно огрызнулся:

- Чего тебе?
- Смотри, заговорил! — Он поднялся, поворачивая к выходу. — Вечером подгребай, потолкуем.
- Отметелит вечером, — сказал мой напарник.
- За что?

— За старое, за новое и за три года вперед. — Под оранжевыми ресницами его занялась тоска. — Он с "краснушниками"\* водится, они на станции пломбированный товарняк курочат. Ты не смотри, что он в рванье, это для понта, а бабок у него навалом. Он и ночует больше в городе, у них там хата. Они пацанов для прополи\*\* ищут, вот и пристал к тебе. Меня они тоже ломают, а я несогласный, боюсь, если срок схвачу, кранты мне, замордуют по лагерям...

Когда он закончил, я вдруг поймал себя на том, что несколько не испугался. Скорее наоборот: передо мной словно приоткрылась дверь, за которой мне почудился манящий простор дорог, перемен, событий. Мое бродяжье кружение последних месяцев наконец приобрело определенный смысл и хоть какую-то цель. Над тем, что ждет меня от этого в будущем, я даже не задумывался. Какая разница, чему быть, того не миновать!

— Не дрейфь, — я доел кашу, отставил миску в сторону и поднялся, — прорвемся.

До вечера я еле дотянул. Работенка с непривычки оказалась для меня не из легких. И хотя над душой никто не стоял, напрягаться особо не приходилось, загружался я в меру, в конце дня тело налилось чугушной тяжестью, от которой гудела голова и подкашивались ноги. Одна мысль о том, что завтра эта каторга продолжится, приводила меня в тихое иступление. Все во мне яростно протестовало против этого: "Не хочу больше, не хочу, не хочу, не хочу!"

Ужин состоял из кипятка и хлеба, к которому напарник от себя добавил огрызок колотого сахара, но и это я проглотил с трудом, не чувствуя ни вкуса, ни насыщения. Хотелось рухнуть пластом на землю и беспamięтно отключиться.

— Ништяк, пройдет, — видно, проникшись моей мукой, утешил меня напарник, — в первый раз всегда так. — Он потянул откуда-то из угла и придвинул ко мне растрепанный рогожный мешок. — Сегодня наверх не полезем, там с одного бока течет, а с другого морозит, целую ночь вертишься, как вошь на сковородке. Когда разгрузка, здесь с кушем: тепло, темно и мухи не кусают. Залезай...

Ночь, накрыв Кара-Кумы, вознеслась над городом непроглядной тьмой, в которой его и без того пугливые огни выгляде-

---

\* Краснушник — взломщик товарных вагонов. (Жарг.)

\*\* Прополь — промежуточная передача краденого. (Жарг.)

ли еще бесприютнее и сиротливей. Со стороны пустыни тянуло резким, сухим холодом. Тишина держалась такая, что от нее ломило виски и тревожно обмирало сердце. Невольно хотелось затаиться, не двигаться, не чувствовать, не дышать: живая тварь маялась наедине с вечностью.

Голос Ченчика в этой тишине показался почти неправдоподобным:

— Кемарите, сачки? — Тень его во входном проеме надломилась. — Ну, давай, дровичло-мученик, ползи отсюда, у меня к человеку разговор есть. Давай, давай!

— Не бей, Ченчик, — заскулил, завозился в темноте напарник, — я так уйду. — И уже снаружи: — Я тут подожду.

— Ползи, говорю, дальше, не скреби душу, бить буду.

— Не доверяешь, Ченчик, — откликнулась ночь уже издалека. — Меня пацаны по всей дороге знают.

— Дрочить меньше надо, — уже снисходительно напутствовал его Ченчик, — меньше знать будут. — И сразу ко мне. — Значит, москвич? Люблю москвичей, народ они духовитый, ушлый, пальца в рот не клади, своего не упустят. Мишаней, я слышал, зовут? Так, Мишаня, и будешь тут до весны загибаться? Тебе видней: дураков работа любит. — От него хмельно папахивало. — Вы же, москвичи, народ головастый, сам посуди, чего ты им задолжал, чтобы задарма тут горбатился? Пускай на них верблюд вкальвает, у него шея длинная. Хочешь сразу куш иметь? Тогда слушай меня...

Чудак, он зря меня уговаривал. Я слушал его вполуха, заранее соглашаясь на все. Уже в первые дни после Москвы я быстро спустил барахло, прихваченное мною из дома. Базарные барыги, бывалым глазом мгновенно определив мою неопытность, выуживали его у меня за бесценок. Вскоре я остался без копейки, кружился по привокзальным толкучкам, подворовывал по мелочам, чего греха таить, огрызками тоже не брезговал, метался в поисках надежных стай, слухи о которых роились вокруг меня, но выйти на них до сих пор мне так и не удалось. Здесь же удача сама плыла ко мне в руки...

— А не наколешь? — опасаясь выдать себя слишком легким согласием, слукавил я. — Наобещаешь, а потом тебе — куш, а мне от жилетки рукава.

Тень Ченчика вновь возникла надо мной:

— А ты молодчик, Мишаня, у тебя, я гляжу, не голова, а Дом советов. — И довольный, хохотнул на прощанье. — Далеко, Мишаня, пойдешь, если тебя легавые не остановят. — А снару-

жи добавили — Стычкой себе жевоюй, пускай отдыхает, галочки Прохорыч тебе так и так поставит, мы с ним вась-вась...

Несколько дней Ченчик не подавал голоса. Встречаясь со мной на заводском дворе, лишь искоса подмигивал мне и молча проходил мимо. Я уже начал было забывать о ночном уговоре с ним, но как-то в обеденной очереди у конторы он, пристроившись за мной в затылок, чуть слышно процедил у меня над ухом:

— Выходи после смены в город, по дороге встретимся...

Вечером он вышел мне навстречу из переуллка на окраине и потянул меня за собой:

— В нашем рванье в город не покажешься, — объяснял он мне по дороге, — до первого легавого, сразу заметут. Мы тут сейчас завалимся в одно место, пыль смоем, прибораклимся малость, похаваем, а там сообразим, чего дальше делать...

Попетляв по кривобоким улочкам, мы остановились у глухой калитки глинобитного дувала. Ченчик негромко постучал. За дувалом хлопнула дверь, послышались быстрые стелющиеся шаги и затем мужской голос:

— Ты?

— Открывай...

Встретивший нас человек запер за нами, коротко, но пристально пошарил по мне угольным взглядом, и, указав нам щетинистым подбородком в глубь двора, заторопил:

— По-быстрому, пацаны, по-быстрому, — был он до черноты смугл, худощав, скор в движениях, — время в обреш.

Так, подгоняемые им, мы и умылись под навесом летней кухни во дворе, переоделись в чьи-то обноски, потом в полутемной комнате наскоро ели холодное баранье мясо с лепешками, запивая еду кислым молоком, а он сидел напротив и деловито втолковывал:

— Ребята на Сортировочной клевый товар надыбали, смушки с кожкомбината в Баку отправляют. — Угольные глаза его азартно поблескивали. — Состав большой, в каждой краснухе\* товар, не угадаешь, а наводки не нашлось, курочить все подряд не с руки, себе дороже да и, боюсь, не успеем, придется самим наугад шуровать. — Он требовательно вперился в меня. — Ты вроде полегче на вид, тебя через верхний люк запустить можно. Слабины не дашь?..

---

\* Краснуха — товарный вагон. (Жарг.)

Не доходя до сортировочной, мы свернули к ржавеющему в заброшенном станционном тупике пульману, от которого отделилась и потекла к нам размытая поздними сумерками тень.

— Ништяк, Ашот, — в отчетливом полушепоте из темноты пробился едва заметный татарский акцент, — сцепщики говорят, раньше завтрашнего утра не отправят, а где товар, никто не знает: десять вагонов и все с кожкомбината.

— Сами надыбаем. — Заколотил Ашота охотничий азарт. — Где состав?

— На восьмом.

— Двинули...

Эту ночь я буду вспоминать потом целую жизнь. Она отложилась во мне — вязкая, стылая, угольная, как глаза Ашота, лязгом вагонных сцеплений, гудками маневровых паровозов, перемигиванием тормозных фонарей, запахом мазута, пара, дыма, настигая меня врасплох в самых неожиданных местах и в самое неподходящее время.

Трижды меня запускали через верхний люк пульмана, пока в четвертый заход я не нащупал у себя под рукой желанную смушкку, упакованную в плоские фанерные ящики. Но радость моей удачи оказалась недолгой. Уже в следующую минуту снизу из темноты вагона вскинулась негромкая, но твердая команда:

— Ни с места, стреляю без предупреждения!

И сразу же вслед за этим снаружи рассыпались и взялись множиться крики и беспорядочные хлопки выстрелов: засада обставлялась по всем правилам и выскользнуть из этой мышеловки мне, конечно, не светило. В ожидании чуда я закрыл было глаза, чтобы предельным усилием воли обернуть для себя происходящее сном, наваждением, бредом, но голос снизу снова возвратил меня на землю:

— Допрыгался, бандюга!..

Еще из пестрой карусели той горячечной ночи мне запомнилась дежурка станционной милиции, где в крикливой толчее вокруг себя я боковым зрением отметил мелькавшее за спиной стрелков лицо Прохорыча, не выразившее при этом ничего, кроме злорадного любопытства. Чужая душа, действительно, потемки, но я не ожидал тогда, что за это простенькое открытие мне придется так скоро и так дорого заплатить.

\* \* \*

Сегодня я никак не могу оторвать голову от подушки. Вчера мы с Вадимом опять много и неразборчиво пили. Пили по

обыкновенно просто так, чтобы только напиться, оглушить себя до беспамятства и забыть все на свете. Сколько это может продолжаться, не знаю, стараюсь даже не задумываться, будь что будет! Помню, когда я однажды в детстве тонул, то сопротивлялся только вначале, потом вдруг наступило полное безразличие, более того, некий покой. Цветные видения минувшего пробивались ко мне сквозь зеленую толщу воды. Я видел тетку, входящую в комнату с тарелкой нарезанных помидоров под едва заметным слоем соли, джигитующего отца, мандарины на снегу, случайно рассыпанные мной в день Нового года, утреннюю линейку в пионерском лагере и девочку, в которую был безнадежно влюблен, проплывающую мимо меня с презрительно вздернутым конопатым носиком. Видения эти, переплетаясь, сливались в нескончаемую ленту, сопровождая меня в блаженное забытие. Кто знает, может, в этой череде бесконечных снов и состоит вечность? Нечто подобное я испытываю и теперь. Что толку сопротивляться, барахтаться, пытаться выплыть, если там, на поверхности, тебя ждет тот же Кучкин, сотни, тысячи, миллионы Кучкиных. Или, в лучшем случае, Парагвайских? Лучше уж довериться течению, куда-нибудь оно в конце концов меня вынесет, а куда, не надо загадывать, так легче и проще, а, главное, честней. Если бы все обстояло по-прежнему, сегодня я должен был тащиться на рюде Ренн, отрабатывать свое ежедневное пиво, лицезреть эти гнусные рожи отъевшихся на барских харчах вашингтонских холуев, выслушивать политические или литературные пошлости и молча плевать от гадливости и презрения. Один Бог ведает, по каким признакам их там подбирают в эту лавочку, но селекция, надо сказать, получается практически безошибочная — один к одному, негодяй к негодяю, падаль к падали: те, кого гнали в печи и те, кто у этих печей орудовал, вчерашние чекисты и их недавние жертвы, раскаявшиеся фарцовщики и рижские шлюхи, палубные алкаши и скурвившиеся домашние хозяйки из Замоскворечья. Вот уж действительно, смешанная группа хищников, правда, состоящая больше из вторых, чем из первых. Слава Богу, я теперь свободен от этого пакостного ярма, хоть и не по собственной воле, зато, по-моему, вовремя, иначе засосала бы меня эта прорва со всеми потрохами. Поэтому я могу позволить себе сегодня вообще не поднимать головы от подушки, не вставать и ни о чем не думать, вслушиваясь в свою похмельную тоску и в самого себя. К полудню боль начинает медленно выходить из меня, явь распрям-

ляться, вставать на место, как смещенный проектором кадр на киноэкране, выстраиваться в логическую цепь.

По правде говоря, облегчение мое не совсем безоблачно. Говорильня на рю де Ренн была единственным местом в Париже, где я мог заработать себе на скромную выпивку с еще более скромной закуской. Чем я теперь могу восполнить этот теперешний прочерк в моем бюджете, мне пока неизвестно. Кроме заполнения чистого листа бумаги необязательными словами, я ничего, собственно, не умею. К тому же и это я способен делать только по-русски. Писать для эмигрантских газет? Но на гонорары от них можно купить разве что спички, а на курево придется зарабатывать отдельно. Попробовать снова сесть за сочинение баек из своего бродяжьего прошлого? В самом начале я соблазнился было посулами одного бойкого издателя, выпустил несколько книжек об этих своих одиссеях, но ни лишних денег, ни большой славы это мне не принесло, а лишь оставило в душе осадок горечи и досады.

Телефонный звонок ноющей болью отзывается у меня в затылке. Сколько раз наказывал себе выключать аппарат на ночь. Но по привычке, напиваясь уже к вечеру, всегда об этом, конечно же, забываю. Трубка сейчас для меня почти неподъемна, но, хотя и через силу, я все же снимаю ее. "Миша, здравствуй, — слышу я голос Ольги, сразу же, с первых интонаций испуганно заматавший между страхом и надеждой, — можно, я к тебе сегодня приеду?" "Зачем?" "Просто так... Посидеть... Поговорить...". "О чем?" "Ты же все понимаешь, Миша". "Понимаю, поэтому и не хочу". "Миша, — в ее голосе прорезываются слезы, — если ты не захочешь разговаривать, я помолчу... Посижу только... Приберу... Постираю тоже... Музыку слушаем..."

Слезы — мое слабое место. Правда, только чужие. Свои я давным-давно выплакал, а вот чужих боюсь. Особенно женских. От них я сразу теряюсь и глупею. "Ладно, — неохотно уступаю я, — приезжай, только позже, к вечеру я еще не в форме". В ответ трубка только жарко и благодарно всхлипывает. Гудков отбоя я уже не слушаю, начиная тут же клясть себя за свою слабохарактерность. Ну, спрашивается, зачем эта Ольга мне звонит и зачем приезжает ко мне, ведь она не девочка и прекрасно понимает, что у этих бессмысленных встреч не может быть ровно никакого продолжения. Мы сошлись с ней где-то в эмигрантской компании. Сошлись в хмельном угаре без объяснений и обязательств. Я на следующий день стер ее из

своей памяти, мало ли их у меня перебивало! Но она вскоре нашла меня, стала появляться, просиживать иногда у меня целыми днями, таскаться за мной по кафе и забегаловкам, пока мне все это смертельно не надоело. Я органически не выношу никакого постоянства, что я ей в конце концов и высказал в лучших пушкинских традициях: мол, я не создан для блаженства, ему чужда душа моя и далее в том же духе, со всеми остановками. Она выслушала меня так же безропотно, как Татьяна — Онегина, согласно покивала, стряхивая слезы с подкрашенных ресниц, затем послушно ушла, но звонить не перестала, прорываясь ко мне при каждом удобном случае. У нее был благополучный французский муж гораздо моложе и, наверное, пригляднее меня, дети, престижный круг знакомств, а ее, словно магнитом, тянуло в мое логово на окраине города, где ее не ожидало ничего, кроме пьяной нищеты и моего равнодушия. Поди, разберись в этих женских пристрастиях. Да мне и недосуг было разбираться! Я уже забыл, что такое вообще привязанность к женщине, я давно не нуждался в такой привязанности. Я в этом смысле, видно, сгорел однажды дотла и с тех пор воспламеняться во мне было просто нечему. Я тупо смотрю в глухую стену перед окном, на которой один из моих многочисленных собутыльников — неудачный художник-авангардист Сеня Махаев — намалевал по-пьяни, мне в поучение: "Жизнь коротка и обосрана, как детская рубашка". Я силюсь вызвать из памяти, из прошлого, из далекого далека самого себя, еще не сломленного и не сотлевшего...

\* \* \*

Тяжелые двери трюма с железным грохотом распахнулись, и над нами обнажился квадрат сырого сизого неба. Сверху в смрад, гул и грязь пароходного трюма пахнуло густым и влажным воздухом, от которого кружилась голова и ломило глаза.

Позади осталось пять суток этапа вниз по Енисею. Пять суток крика, бреда, стонов, драк, крови, болезней и грабежа. Казалось, этому уже не будет конца, оттого возникшая вдруг над головой волглая отдушина выглядела сейчас манной небесной. Много воды утекло с тех пор, как я схлопотал свой первый срок в Ашхабаде, этап за эти годы сделался для меня событием привычным, случались и такие, после которых я отходил потом месяцами, но этот оказался, пожалуй, самым тягостным.

Уже при погрузке в Красноярске можно было вообразить, что дорога предстоит нелегкая: в трюм, рассчитанный от силы

человек на двести, натолкали вдвое, если не втрое больше. Сидели плотно, впритык друг к другу, о том, чтобы лечь, не приходилось и думать. Даже блатные не смогли себе отвоевать места получше, его просто не было — этого места.

Довольствие выдали на трое суток сухим пайком, терпения растягивать его по частям хватило лишь у немногих, и вскоре в трюме закуролесила беспредельщина. Сильный курочил слабого, не разбирая ни статьи, ни возраста, а воровская кодла — их всех вместе взятых. Грабеж обошел только тех, у кого ничего не оставалось, в том числе и меня: отбывая третий срок, я, по тюремным законам, считался полуцветным\*, что служило мне надежной охранной грамотой.

Вокруг меня, источая вовне ненависть, страх и зловоние, клокотало, плавилось, дымилось человеческое месиво, одержимое неистребимым в смертной твари желанием выжить любой ценой, а плечо в плечо ко мне бредил наяву бывший летчик-испытатель Апухтин, с которым я познакомился еще на краснопресненской пересылке:

— Если вниз везут, значит на пятьсот первую\*\*, больше некуда, — доходил, задыхался он, — рыбы там, ягоды, грибов навалом. У меня кореш был Костя Ситников, его из военной авиации за лихачество в Игарку на местные рейсы перевели, он в отпуск приезжал, рассказывал. Главное, доехать, по дороге не окачуриться... В тайге благодать! Один воздух чего стоит, целебный, говорят...

Сверху с грохотом, словно пикируя на нас, опустился узкий металлический трап в сопровождении зычной команды:

— А ну, подъем, выходи по одному!

Предупреждение было явно излишним: на спущенном к нам в трюм трапе двое в ряд уместиться никак не могли.

Людская масса пришла в движение, выдавливая из себя потянувшуюся по трапу цепочку.

— Ноги в руки, корешок, — толкнул я соседа в бок, поднимаясь и ввинчиваясь в общий поток, — приехали... Заждалась тебя твоя пятьсот первая!

Но едва я встал и подался к толпе, Апухтин, в той же скрюченной позе в какой и сидел, будто сброшенный с размаху куль, стал боком заваливаться на освободившееся место. И

---

\* "Полуцветной" — полублатной. (Жарг.)

\*\* Стройка железной дороги Салехард—Игарка

только завалившись окончательно, немного расправился и затих.

— Кончай кемарить, — сказал я, порываясь было помочь ему подняться, — в карантине отоспишься.

Но тут же кто-то за моей спиной угрюмо осадил меня:

— Что, не видишь, что ли, жмурик\* он, отоспался... Не трогай его... Конвой подберет...

Чужая смерть давно не пугала меня. Сколько раз за эти годы при мне людей душили, резали, забивали в кровавую кашу! Сначала я содрогался, мертвое тело пугало меня, угнетало своим истлевающим безобразием, но со временем я свыкся с этим настолько, что, обнаружив ночью на нарах рядом с собой труп еще с вечера живого моего соседа, я лишь раздраженно переворачивался на другой бок: нашел место!

Не проходило только чувство удивления: вот-вот, может быть, минуту назад, человек около меня жил, дышал, видел, слышал и говорил, чего-то хотел и на что-то надеялся, и вдруг его не стало, нет и уже никогда не будет. Никогда! Всякий раз при этой мысли меня на мгновение охватывала зябкая жуть: в чем же тогда смысл всего?..

А сверху неслось, громыхало:

— Быстрее, быстрее, поторапливайся! Тут вам не пересыльный курорт! Баланда стынет!..

Змея людской очереди ползла и ползла к свету, кольцо за кольцом исчезая в сером провале неба под лай сторожевых собак, лязг винтовочных затворов и конвойные понукания. Меня вынесло вместе с нею на енисейский берег, где мне предстояло заканчивать мой последний срок.

Высокий берег поднимался над свинцовой рекой, завершаясь на самом гребне табором барачных коробок, окруженных, словно большими скворечнями, ожерельем сторожевых вышек. Примерно на полпути к нам сгрудилось несколько карантинных бараков, к которым от пристани вела вымощенная лиственничным горбылем дорога с плывущей теперь по ней черной лентой только что причалившего этапа.

Остатки зимы еще проглядывали вокруг: громоздились среди береговых извилин обломки ноздреватых льдин, в ржавых распадках белели снеговые залежи, а по придорожным мхам стелилась утренняя изморозь. Но мощное дыхание весны уже

---

\* "Жмурик" — покойник. (Жарг.)

окрашивало тайгу первой зеленью, пробуждая в ней ответный гул живой жизни...

На следующее утро, вскоре после подъема, в нашем бараке появился дежурный надзиратель:

— Кто тут Бармин? — Зычно протрубил он с порога. — На вахту! Без вещей!..

Такой вызов таил в себе некоторую угрозу. Лагерь, по слухам, считался "сучьим" и я, числясь в деле полуцветным, мог ожидать от хозяев зоны самого худшего. По дороге на вахту я лихорадочно соображал, кому я так рано понадобился? Для кума слишком ранний час, его время день и вечер, когда приглашение к нему менее заметно, а вот для сук удобнее некуда: начальство спит, а надзорслужба им не помеха, с нею они всегда сталкиваются.

Я давно положил себе за правило: бьют — не сопротивляться. Тогда те, кто бьет, быстрее устают и расхолаживаются, а всякое сопротивление лишь добавляет им силы и ярости. Позади у меня оставалось несколько "сучьих" зон, где я усвоил эту науку назубок. Мне пришлось испытать на себе палку, резиновый шланг, металлический прут, ремни разных фасонов, доски и проволоку. Меня подбрасывали на составленные вместе вверх ножками табуретки и заставляли "искать пятый угол\*\*". На мне испытывали крепость кулаков и прочность сапог. Я выдерживал испытание, твердо помня, что главное в подобных ситуациях — расслабиться, ощутить себя безвольным мешком, наполненным костями и кровью.

К этому я готовился, идя впереди надзирателя. Это была моя плата за лагерную независимость, и я привык к ней. Мое положение между блатными, "суками" в том числе, и "мужиками" устраивало меня. Я не хотел сливаться ни с теми, ни с другими. С первыми, потому что не стремился никого подчинять, со вторыми оттого, что не умел подчиняться. Время убедило меня, что стая — не моя стихия, только в одиночестве я чувствовал себя по-настоящему свободным. Я парил в нем, словно в открытом небе, а законная власть и ее гнет воспринимались мной, как досадная неизбежность или стихийное бедствие вроде дождя, ветра, жары и холода: их необходимо было перетерпеть, чтобы продолжить свободный полет...

---

\* "Кум" — лагерный следователь. (Жарг.)

\*\* "Искать пятый угол" — избивание человека из четырех углов помещения

Надзиратель втокнул меня в полутемную караулку при вахте, хмуро буркнул что-то мне в спину и исчез... Не успел я привыкнуть к сумраку, разбавленному слегка пригашенным светом семилинейной лампы над притолокой, как дверь распахнулась и на пороге возникла сутулая фигура рослого человека в меховой шапке и добротном, первого срока бушлате, перепоясанном армейским ремнем:

— Здорово, Мишаня!..

Если бы, после стольких лет, да еще в плохо освещенном помещении я не узнал вошедшего, то этот голос я отличил бы из тысячи: низкий, ровный, без выражения. Даже в самых несбыточных снах я не осмелился бы предположить, что мы с ним когда-нибудь встретимся!

Жаркой волной хлынуло на меня московское лето тридцать седьмого года вместе со всем, что в нем запомнилось, удушливо перехватило горло, соленой рябью подступило к глазам, но слабость в моем положении давно сделалась роскошью, я тут же взял себя в руки, сдержался, ответил ему в тон:

— Привет, Серега!

Мы даже не обнялись...

Потом мы сидели друг против друга за шатким столом караулки, он потчевал меня принесенным из зоны харчем и монотонно, будто бы нехотя рассказывал:

— Нас с матерью когда взяли, сразу разделили, ее в лагерь, а меня в спецколонию на Урал, восемнадцать исполнилось, через Особое совещание пропустили и тоже — в лагерь. Эта командировка у меня — пятая. На Печоре загибался, в Тайшете тоже, доходил два раза, думал, уже не выберусь, еле оклемаюсь. Потом сюда пригнали, тут мне пофартило, начальник лагпункта у моего отца в Гражданскую войну ординарцем был. Приказал меня нарядчиком оформить под свою ответственность, у меня ведь пятьдесят восьмая\*. — Он недобро усмехнулся. — Вот с тех пор и хожу в придурках\*\*... Ты ешь, ешь, я завтра еще притараню... Ешь.

Я узнавал друга и не узнавал. Ассирийское лицо его отяжелело, обветрено иссеклось, сутулые плечи раздались вширь, глаза глубоко запади и выцвели. Он походил сейчас на большую птицу, сложившую крылья после давнего и хлопотного перелета...

---

\* "Пятьдесят восьмая" — политическая статья Уголовного кодекса РСФСР

\*\* "Придурок" — заключенный из лагерной obsługi. (Жарг.)

— ... А знаешь, — голос его чуть заметно пресекался, — Валентина здесь... На женской зоне...

Час от часу становилось не легче. Новость опять застала меня врасплох, еда скомкалась у меня в горле, и, давясь ею, я только и нашелся сказать:

— Чего она?

— У нее в деле целый букет, по третьему заходу чалится, встретитесь, сама расскажет.

— Тоже пятьдесят восьмая?

— Нет, Мишаня, воровка...

Пожалуй, впервые на своем веку я остро ощутил тяжесть собственного возраста и прошлое вдруг увиделось мне как бы с другого и очень отдаленного берега... Там, на противоположном берегу, маячили бело-голубые контуры Кавказских гор, пепельно-серые камыши Придонья, грезился остроконечный силуэт Москвы, дымились руины Великой войны, а в туманном пространстве, отделявшем меня от них, плавилась, пенилась, клокотала черная преисподняя ГУЛАГа...

— ... Пофартило мне вчера: надзорслужба при мне вчера этапные дела принимала, гляжу, фамилия знакомая, дай, думаю, посмотрю, а вдруг Мишаня, так и вышло. Пока мой начальник на месте, у меня тут права особые, я тебя в обиду не дам, а если уйдет или переведут, тогда скорей всего опять на общие доходить отправят. Вполне...

Но я не слышал его, меня все еще заполняли отголоски того московского лета:

— Давно она тут?

— Второй год, ее сюда из Дзезказгана пригнали.

— Сколько ей еще?

— У нее пять и пять по рогам\*, ей через полтора года на освобождение, если новый срок не схватит.

— Нарывается?

— Ты же ее знаешь.

— У нее не заржавеет.

— Вот-вот, поговори с ней, меня она слушать не хочет, я для нее придурок лагерный, лох\*\*, дешевка.

— А я что?

---

\* "Пять и пять по рогам" — приговор: пять лет заключения и пять лет поражения в правах. (Жарг.)

\*\* "Лох" — человек из лагерной массы. (Жарг.)

— Извини, но дело твое я посмотрел, ты полуцветом значишься, у тебя три срока и пометка "Склонен к побегам", тебе с ней легче столкнуться, попробуй, а?

— Сам знаешь, полуцвет — не авторитет, еще меня за сукадлу примет, такая слава мне не к чему, себе дороже.

— Жалко ее. — Поднимаясь, заключил он. — Сам увидишь. — Придвинул ко мне кисет с махоркой, и, уже стоя вполоборота ко мне, добавил: — На общие не пойдешь, я тебе под крышей дело найду, а там видно будет, отлеживайся, я скоро опять зайду...

С порога он еще раз обернулся, удивленно покачал головой, отнесся скорее к себе, чем ко мне:

— Надо же, где встретились, Мишаня, а?..

Я не откликнулся. Если бы это случилось хотя бы несколько лет назад, когда я еще чего-то ждал и на что-то надеялся, я бы, наверное, ошалел от такого чуда, а ведь все это — сам Сергей, еда, курево — для человека в моем положении было действительно чудом, но жизнь с тех пор основательно разучила меня чему-либо удивляться, так легче и спокойнее было существовать в том мире, где я очутился. Во всяком случае, не приходилось слишком разочаровываться.

\* \* \*

У Сени Махаева сегодня вернисаж. Правда, вернисаж — это громко сказано. На самом деле все выглядит гораздо проще. В сыром подвале полуразрушенного замка в пригороде, в котором в лучшие времена размещался русский странноприимный дом, будут наспех развешены по облезлым стенам несколько сениных холстов. Вокруг в неприкаянной толкотне соберется два-три десятка его приятелей и знакомых, в тоскливом ожидании обещанной им даровой выпивки: обычный эмигрантский междусобойчик. Чтобы только не обидеть Сению, я тащусь через расплавленный зноем город автобусом, метро, электричкой, а затем еще и с километр пешком от станции, проклиная в душе и виновника торжества, и его выставку и даже обещанное угощение. Нетрудно представить, что ситуация сложится по издавна отработанной схеме: братья-художники после третьей начнут хватать друг друга за грудки и выяснять между собой отношения, дамы-ценительницы займутся обсуждением последних сплетен и распродаж, а завсегдатаи-одуванчики из старой эмиграции примутся рассказывать всякому встречному, в том числе и мне, многословные байки о своем героическом прошлом. Прошлое, как

известно, всегда подернуто романтической дымкой, в особенности, если повествователю уже ничего не угрожает.

К моему появлению общество успевает уже заметно повеселеть, но до мордобоя еще не доходит. "Мишаня, дорогой! — Бросается ко мне на нетвердых ногах Сеня. — Спасибо, что пришел, без тебя мне и выставка — не выставка, давай обмоем!" Он тащит меня в угол, где на раскладном столе, покрытом старыми газетами, стоит дешевая выпивка со сторожевыми башенками бумажных стаканчиков вокруг скудной закуски сбоку. "Мне твое мнение, Мишаня, дороже всех. — Расплескивая, он разливает вино по стаканчикам, неверной рукой протягивает один из них мне. — Тебе одному верю, а этих, — он брезгливо кивает себе за спину, — сползлись, суки, выпить на халяву, им на меня насрать, они холст насквозь не видят, у них одни башли на уме. Если бы ты знал, Мишаня, как я их презираю, козлов вонючих! Подожди, Мишаня, я еще пробьюсь, вот увидишь, пробьюсь!" Его ранние залысины блестят от хмельного пота, редкая бороденка воинственно топорщится, очки над лиловым носиком посверкивают искорками вдохновенного безумия. "Извини, — Сеня развинченным аллюром устремляется встречать очередного гостя, — я сейчас!"

Эх, Сеня, Сеня, никуда ты уже не пробьешься. Париж оказался не по нашим с тобой гнилым зубам. На нем и не такие прохиндеи, как мы, шею ломали. Закончишь ты, Сеня, вроде меня — где-нибудь в трущобах на окраине с бутылкой в обнимку. Мы просто не рассчитали своих силенок. Нам казалось, что стоит только вырваться из совдепии, как волшебная жар-птица славы и богатства распушит перед нами свое сверкающее оперенье. Увы, этого не случилось, и теперь уже не случится никогда: выяснилось, что наш поезд ушел с другого вокзала и отправился совсем в другую сторону. Лучшее, что я могу сейчас сделать — это уйти, пока компания еще не перепилась до опасной кондиции, но ко мне выруливает Кучкин: "Привет, старик, — его прямо-таки распирает от самодовольства, — где заявка? Родина ждет, я — тоже". В рысьих глазах его торжество триумфатора: так, наверное, смотрели гладиаторы на поверженного противника. В таких случаях трудно отказать себе в удовольствии позлорадствовать: мне-то ведь хорошо известно, что начальством в Мюнхене служебная судьба его решена, что он доживает в своем кресле последние дни и что, может быть, уже через неделю ему придется искать себе иное занятие, а, учитывая, что на бумаге он в состоянии изобразить только

донос, ближайшее будущее готовит ему участь, какой не позавидуешь. "Жду звонка, старик, — продолжал поигрывать гладиаторскими мускулами Кучкин, — хорошая идея способна перевернуть мир!" Мне это начинает надоедать, цепкий зверек злости просыпается во мне и я выцеживаю ему прямо в корявую рожу: "Слушай меня внимательно, Кучкин. Если ты еще раз подвалишь ко мне со своими речами, я буду бить тебя долго, больно и, главное, публично". Его мгновенно смывает, будто он не появлялся здесь вовсе: патологическая трусость Кучкина общеизвестна, за что его презирают даже те, кого он подкармливает на радио.

Я подаюсь было к выходу, но на полпути меня перехватывает профессиональный диссидент Додик Герберг. "Михаил Гордеич, надо нам с вами наконец встретиться, поговорить, — с его изможденного многолетней суходрочкой лица лагерного койота не сходит выражение суетливой озабоченности, — положение в России обостряется, сейчас надо быть вместе." Будучи сам абсолютно неспособным ни к чему, кроме распространения городских сплетен, он годами терся около литературы на побегушках у наших сантиметров. Пытался составлять рукописные сборнички фрондерского толка, за что схлопотал свой первый срок, хотя вскоре публично раскаялся, отделавшись в конце концов легкими ушибами. Но с появлением Солженицына и Сахарова снова вошел во вкус, пристроился при них то ли приживалкой, то ли соглядатаем, да, видно, не рассчитал силенок, не по росту мундир выбрал, загремел по новой. Слава Богу, корифеи не оставили его в беде, организовали вокруг него соответствующий шумок в иностранной прессе, что помогло ему, не отсидев срока, выехать из страны, и на волне диссидентской известности спланировать в Лэнгли на штатную должность эмигрантского стукача. В этом качестве он и прибыл в Париж, где задавал тон в местном эмигрантском листке. Был он бездарен и патологически глуп, но, как почти все бездари, мстителен и агрессивен. Со мною Герберг дипломатически осторожничают, считаясь, видно, с тем, что я знаю о нем больше, чем ему хотелось бы. Я же, со своей стороны, не питаю к нему ничего, кроме брезгливости, смешанной с презрением. "Подойся, пидор, — я не замечаю его протянутой руки — я с тобой на одно поле срать не сяду." Шакаля физиономия Герберга заостряется: "Я таких вещей не забываю, Бармин!" Проходя мимо, я лишь сплевываю в сердцах: "Запомни, хмырь, я тебе не Лева Самсонов, на мне не выспишься, а будешь нарываться,

оттаскаю за уши, причем при твоих детях, чтоб постыднее было, понятно? А ну, брысь!"

Во дворе я облегченно перевожу дух. После мутной сырости подвала летнее солнце во дворе замка кажется ослепительно белым, а тени от плоскостей и деревьев чернильно-черными, как аспидная тушь на меловом ватмане. На каменной скамье у высохшего фонтана я замечаю своего старого знакомца Кацмана. Опершись подбородком на рукоять палки, он близоруко всматривается в пространство перед собой и его темный берет над яйцевидным черепом выглядит сейчас вороной челкой или париком. Я подхожу, сажусь рядом и некоторое время мы сидим молча, словно вслушиваясь друг в друга. Чем-то он мне близок, этот одинокий старик, за плечами у которого две войны, немецкий концлагерь, партизанское подполье, а в промежутке между войнами работа в контрразведке РОВСа и много-много чего еще, о чем он мне долго, с массой подробностей рассказывает, вкладывает в меня при всякой встрече, как бы страшась унести это с собой в могилу. Вот и сейчас, даже не повернувшись в мою сторону, Кацман\*, словно мы не расставались с прошлого раза, начинает точно с того места, на котором тогда остановился: "...Скоблина\*\* я высчитал очень легко. Когда Плевицкая\*\*\* вернулась с гастролей из Америки, он сдал в кассу Союза солидную сумму денег, сказал, что жена жертвует половину сбора на великое дело освобождения России от большевиков, но мои люди оттуда корреспондировали мне: у Плевицкой полный провал. Спрашивается, откуда деньги? Как видите, все очень просто. Мой доклад в Союзе вызвал бурю. Компания горячих голов из Дроздовского полка вызвала меня в кафе "Петроград", положила передо мной револьвер и посоветовала застрелиться: я, видите ли, оскорбил их любимого командира. Я же посоветовал им приберечь эту игрушку для себя. На том мы с ними и расстались, а через неделю Скоблин сбежал в Совдепию..." Я сидел, слушал его, белое солнце било мне в глаза, а мне грезилась совсем другая явь, которая никак не хотела укладываться в доступные мне слова.

---

\* Имя и фамилия подлинные. Георгиевский кавалер.

\*\* Скоблин — генерал, один из руководителей Российского общевойскового союза, советский агент.

\*\*\* Плевицкая — его жена, певица.

Сергея появился, когда меня уже перевели в изолятор. Сел на край кровати, выставил перед собой котелок, полный вареной трески, объяснил:

— Раньше нельзя было, не пускали. — Резкие губы его раздвинула трещинка, подобие улыбки. — Оклемался? Теперь лежи, наедай сало, зэк спит — срок идет.

— Некстати прихватило, — только и нашелся я, — сам не знаю как... Вроде, пронесло.

— Не ты один, — смыло с его губ усмешку, — пол-этапа вашего погибает. Считай, что ты в рубашке родился, с этой заразой недолго было и дуба дать... Бери вот, наворачивай. И вот еще, — он снял рукавицу и ссыпал с ладони на одеяло несколько кусочков пиленого сахара, — самая бацила\*, это теперь полезно тебе. Я сейчас кипятку принесу...

Мокрая треска пахла дымом и хвоей. Я глотал ее, словно желторотый птенец, почти не разжевывая и не чувствуя ни вкуса, ни насыщения, а только согревающую тяжесть внутри себя. Она росла, взбухала во мне вместе с уверенностью, что я действительно выкарабкался. Меня переполняла победная музыка возврата к жизни, от которой кружилась голова и сладостно обмирало сердце. "Мы еще побарахтаемся, Серега, — ликовал я, — мы еще побарахтаемся!"

За окном, за зоной, чуть не цепляясь за сторожевые вышки, текли брюхастые облака. Издалека сквозь них проглядывало солнце, и тогда темно-белый чертеж зоны вдруг окрашивался всеми цветами радуги, будто цветной снимок на негативе: черный толь на крышах барачных становился голубым, серые стены — меловыми, ржавая колючка ограждения — желтой, а бурая тайга за нею — ослепительно зеленой. Запомнилось, что впервые мне тогда пришлось в голову остановить в себе этот миг, не расплескать озарение в житейской сутолоке и, возможно, когда-нибудь попытаться воплотить его в какой-то доступной для меня форме. И только таким, каким он, этот миг, отложился во мне: набухшие облака над зоной, лагерные бараки, колючая проволока ограждения, гнезда сторожевых вышек, тайга вдали и внезапный цвет радуги в солнечном блике...

Тепло подслащенного кипятка свинцовой истомой растекалось во мне, тело мое вдруг сделалось чужим, я неожиданно для

---

\* "Бацила" — калория. (Жарг.)

себя высвободился из него и легко взлетел сам над собой, с восторгом и удивлением глядя на распростертую внизу землю.

И уже оттуда, снизу, из сизой глубины до меня дотянулся далекий серегин голос:

— Валентина все ждала, когда ты очухаешься, увидеть тебя хочет, вечером приведу, сразу после отбоя, жди. Слышишь, Мишаня?..

Но когда я, после рваных слов и долгих кружений, наконец проснулся, Валентина уже склонялась надо мной:

— Вот, Мишаня, правду, видно, говорят: только гора с горой не сходится, а человек с человеком запросто. Давай я тебя поцелую, что ли, со встречей!..

Восстанавливая в памяти ее — прежнюю, я мысленно снимал с нее грубую накипь времени — жесткость лба, скул, губ, прокуренную хрипотцу голоса, мужскую резкость движений, и в особенности улыбку, обнажавшую металлические коронки на зубах: наверное, так расчищают поздние наслоения на старых портретах. Только разглядев в ней ту самую дворовую пигалицу с насмешливым лицом, обрызганным веснушками, я отчетливо представил себе, во что превратило время меня самого.

— Такие дела, Валя, такие дела, — складывал я первые приходившие мне на ум слова, — нарочно не придумаешь, как в кино. Считай, на другом конце земли встретились.

Она коротко чмокнула, будто клюнула, меня в щеку, и, распрямившись, снова восхищенно осветилась:

— Видно, я к вам с Серегой крепкой веревочкой привязана, куда вы, туда и я.

"Если бы не эти дурацкие коронки, — с досадой подумал я, — она выглядела бы гораздо моложе, надо сказать ей".

Но вслух спросил:

— Сколько тебе еще?

— Я по Указу один-два\*, у меня полная десятка, четыре оттянула, еще шесть припухать, наплачешься.

---

\* Указ один-два — Указ Верховного Совета об усилении наказания за воровство. В данном случае имеется в виду его Первая часть, посвященная частной собственности. Пункт второй — групповая кража.

— Говорят, амнистия будет.

— У голодной куме — хер на уме, так у ээка — амнистия. — Насмешливо хохотнула она. — Не успеют сесть, как уже на волю просятся. От этих параш\* только душа сохнет. Нет, Мишаня, у меня закон один: не верь, не бойся, не проси, иначе я давно бы поплыла\*\*. Да и с какой радости им амнистию нам объявлять, разве что гуталин\*\*\* тапочки отбросит.

— А что, запросто.

— Не скажи, грузины долго живут, по радио говорили, у них там один почти двести лет коптит. Усатый еще нас с тобой похоронит, чем нам на него надеяться, живи одним днем, судьба вывезет. Помню, первый раз попала, тоже думала, хана мне, не выберусь, руки на себя наложить хотела, а потом пригляделась: живут люди, а я что — хуже всех? С тех пор что тюрьма, что воля, все едино. Бывало, возьмут меня...

Ее жизнь в неспешном рассказе течет сквозь меня, навсегда запечатляя во мне эту крошечную ночь с пятнами света вдоль запретной зоны: прерывистое тарахтение движка где-то рядом, спорадический лай собак, пароходные гудки вдалеке, зыбкая тень Валентины на больничной стене и принадлежащий ей голос. Голос из моей юности...

В эту ночь плакала и рыдала душа моя, плакала и рыдала, рыскала по земле и среди звезд в поисках тепла и света, но во всей вселенной не находилось места, где бы она могла забыться и заснуть. Тени прошедших мимо меня жен призывно манили меня издали, а тихие ангелы моих незачатых детей укоризненно заглядывали мне в глаза. "Что же ты, Миша, — печально вопрошали они, — неужто так и останешься на всю жизнь один, без друга и потомства?" "Но ведь я здесь, здесь, пусть меня найдут, — молча кричал я им в ответ, — это же очень просто: Земля, шестьдесят восьмая параллель, пятьсот первая стройка, седьмая колонна, больничный изолятор, спросить Бармина, вот и все. Можно и доплатным!"

С этой безмолвной мольбой я и провалился в забытье.

---

\* "Параша" — слух. (Жарг.)

\*\* "Поплыть" — опуститься. (Жарг.)

\*\*\* "Гуталин" — одно из уличных прозвищ Сталина, намек на его отца — сапожника.

С тех пор, как мне приходится регулярно появляться на своей радиобарщине, я выхожу из дома только на очередные похороны. Наверное, теперь мне суждено появляться на людях от панихиды до панихиды, пока очередь не дойдет до меня самого. Сегодня отпевают моего старого московского собутыльника Сашу Горелика. Он спяну заснул с непогашенной сигаретой и даже не сгорел, а задохнулся в дыму сотлевшего под ним матраса. Подлая, нелепая смерть, но, может быть, она избавила его от худшего. С гореликовской популярностью в России могла бы соперничать разве слава Брассанса или Бреля из Франции: его стихи и песни в стране не цитировали и не пели только глухонемые. Но с ним сыграла шутку та же, что и у большинства из нас, аберрация воображения. Показалось, что триумфу в мировом масштабе мешают только обстоятельства и государственные границы. Дальше все развивалось по наезженной колее: публикации в тамиздате, интервью инкоррам, выступления по "голосам", удушливая петля Галины Борисовны, а затем шумный отъезд на "праздник, который всегда с тобой", обернувшийся в конце концов лямкой на рю де Ренн, где он одно время тоже работал в штате. Преодолеть после всеобщего поклонения на родине обступившее его равнодушие ему, видно, оказалось не под силу, и он пустился в тихий, но бесконечный запой, прерванный только этой вот смертельной случайностью. Я запомнил наш последний разговор с ним в кафе у русской церкви на рю Дарю. Он сидел за столиком против меня — крупный, вальяжный, с красиво посаженной лысеющей головой, и, глядя мне в переносицу библейского разреза кроличьими глазами, через каждые два-три глотка спрашивал и спрашивал на все лады, вернемся ли мы когда-нибудь в Россию. А я все никак не мог взять в толк, что она ему, оплеванному этой самой Россией с головы до ног крещеному еврею, и чего он там забыл. Я, чисто русский, давно не испытываю к ней ни любви, ни ненависти, даже любопытства, и того не осталось. Одни только воспоминания и сны, не оставляющие после себя ничего, кроме смутной досады и тревожного раздражения. Я бы ухом не повел, если, однажды проснувшись, узнал об ее исчезновении с лица земли: "тоска по родине! известная морока". Поэтому и не понятны мне были ни осевшая в нем боль, ни изводящая его мечта о возвращении. Хотя он и был лет на десять старше меня, я никогда не предполагал его пережить.

Отпущенного ему здоровья, казалось, хватило бы на добрую дюжину кавказских долгожителей. Помимо дневной своей нормы, он "уговаривал" на ночь бутылку виски, а утром появлялся на людях — свежий, выбритый до синевы, элегантный — чтобы встретить день первой порцией двойного коньяка. Меня да и, пожалуй, любого другого от такого темпа самое большое через неделю можно было бы собирать ложками, а Горелик жил в этом режиме годы и годы, и, судя по всему, не случись несчастья, протянул бы так до глубокой старости. Я сижу сейчас в том самом кафе на рю Дарю, где мы встретились с ним в последний раз, стараюсь газетой отгородиться от возможных собеседников: до панихиды почти целый час, в кафе еще полупусто, но в нарастающем говоре вокруг я уже улавливаю знакомые голоса, а у меня нет никакого желания с кем-либо теперь разговаривать. Увы, газетный щит не спасает моего уединения. Кучкин настигает меня и здесь. "Привет, старик, — слышу я над собой его глумливую скороговорку, — познакомься вот, наш новый директор, хочет с тобой побеседовать". Нашел время и место, раздражаюсь я, хотя давно должен был бы по опыту усвоить, что для американца, в особенности из среднего класса, наши ритуальные сентименты вроде этих похорон лишь проявление еще не изжитого нами восточного варварства, а дело есть дело, и оно прежде всего, даже если на земле вот-вот произойдет Светопредставление. Тем временем американец излучает в мою сторону волны обворожительного радушия. "Здравствуйте, господин Бармин, — чужие ему слова он произносит старательно, почти без акцента, — меня зовут Джон Хаксли, у меня есть к вам предложение". Американцу лет под пятьдесят, у него типичное лицо киногероя популярных вестернов — открытое, рельефное, с острыми скулами, раздвинутое несмываемой улыбкой во весь белозубый рот. Когда-то, в самом начале, я покупался на эту личину мгновенно, мне ответно хотелось раскрыться перед ней целиком, облегченно довериться ей, как близкой, закадычной душе, но проходило некоторое время, и ее недавнее радушие неизменно оборачивалось для меня очередным разочарованием. Вдруг оказывалось, что под этой лучезарной маской не скрывалось ничего, кроме чисто арифметического расчета, сиюминутной выгоды и дежурного самоутверждения. Среднестатистический представитель американского истеблишмента — это тошнотворная смесь пошлости, высокомерия, снобизма, сентиментальности и чудовищного невежества, помноженного на прямо-таки кам-

неподобное равнодушие ко всему, за исключением самого себя. Чтобы убедиться в этом, достаточно пристально посмотреть такому американцу в глаза, которые обычно живут сами по себе, в отдельности от ликующего лица: в них — плотная, знобящая, космическая пустота. С такими глазами изнашивать родную мать, обокрасть ребенка, взорвать землю можно, не угрызаясь никакими сомнениями. Я почему-то уверен, что этот народ просто-напросто обречен или в конце концов съесть все вокруг себя, или, с той же степенью вероятности, быть съеденным окружающей его ненавистью. "Любопытно, — откровенно издеваясь, говорю я, когда они обсаживают меня с двух сторон, — давно мне не делали предложений". Лучезарность американца делается совсем ослепительной: "Не хотели бы вы переехать в Америку, у нас там больше возможностей вас использовать". "Использовать, — в том же тоне продолжаю я, — вы меня уже использовали, хотите еще раз?" Тот великодушно пропускает мою издевку мимо ушей: "Я действительно хочу вам помочь, я знал вашего отчима, я работал с ним в "Голосе Америки", прекрасный человек, он рассказывал мне о вас. "Зачем же помогать мне за тридевять земель, помогите здесь". Он по-прежнему невозмутим: "В Европе слишком строгие законы о труде, бюджет не позволяет нам таких высоких социальных расходов". Что ж, вполне резонно, но я все же шкурой чувствую, что в этой приманке таится какой-то еще скрытый от меня подвох: то ли кому-то необходимо сплавить меня отсюда в опаску, как бы я не пробился в советское посольство и не стал бы оружием контрпропаганды, то ли он сам хотел избавить себя от возможных осложнений в своей собственной вотчине.

Я давно разучился доверять чьему-либо слову, тем более американскому, поэтому от прямого ответа осторожно уклоняюсь: "Надо подумать, это как жизнь заново начинать на другой планете". "Правильно, вы должны подумать, — не переставая сиять, поднимается тот, — сообщите мне о вашем решении через Анатолия. До свидания, господин Бармин". Он направляется к выходу, за ним спешит Кучкин, бросив мне на ходу: "Старичок, лови момент, пока шеф добрый". Господи, этому-то какая корысть от моего переезда? Хотя в меру своей неистребимой подлости он на этот раз мог быть и бескорыстным.

На моих глазах народу в ограде церкви все прибавлялось: у Горелика, что в эмиграции редкость, почти не было врагов, а те, какие были, не торопились проявить себя. С женским полом от восьми и выше он оставался неизменно галантен, с мужским

корректно прост, ни в ком не заискивал, никому не навязывался, к себе слишком близко не подпускал, отчего чаще всего к нему относились если не с почтением, то во всяком случае с уважительным любопытством, а всероссийская слава его лишь способствовала этому. Отпевание я все же решаю пропустить и поехать вместе со всеми на кладбище. Я вообще в церкви чувствую себя неудобно: будто неузнанным гостем явившись в чужой дом, подглядываю за чем-то, не имеющим ко мне ровно никакого отношения. Сам воздух, атмосфера, дух храма, словно водная толща — полую емкость, не принимали меня, выталкивали из своей стихии. В церковных стенах мне было не по себе, я не знал, как вести себя здесь: притворяться не хотелось, а быть самим собой выглядело бы вызывающе.

"Не прогонишь? — Заискивающий голос застает меня врасплах. — Я на минутку только, кофе выпью". Ольга опускается около меня на краешек стула, как бы готовая в случае отказа мгновенно вскочить с места и тут же исчезнуть. И хотя, честно говоря, у меня нет сейчас никакого желания поддержать какой-либо разговор с ней, я сдаюсь перед этой покорной готовностью: "Садись, места хватит". Некоторое время мы молчим, потом она, забыв о кофе, снова, в который уже раз и, как всегда, издали заводит свою обычную пластинку: "У тебя, надеюсь, все хорошо?" "Нормально". "Не болеешь?" "Знаешь, как покойный Светлов говорил, — пытаюсь отшутиться я, — вскрытие покажет". "Я серьезно, Миша". "Знаешь, французы считают, — не унимаюсь я, — чтобы долго жить, надо болеть". "Я же от тебя ничего не хочу, — уже чуть не плачет она, — почему ты от меня бегаешь?" Дольше все развивается по наезженной колее: я вяло отговариваюсь, а она плаксиво спорит. Слез я не выношу, поэтому незаметно для себя начинаю уступчиво слабеть, но в тот рискованный момент, когда я уже готов сдаться, двери на церковной лестнице за окном широко распахиваются: панихида кончилась. "Надо идти, — хватаюсь я за спасательную возможность закончить этот пустопопорожный поединок, — уже выносят".

Я встаю, иду к выходу, чувствуя спиной ее укоризненную мольбу, и только уже в толпе за оградой церкви облегченно расслабляюсь: "пронесло!" Надгробные речи похожи одна на другую, как типографские матрицы. Можно подумать, что хоронят не добродушного бабника и гуляку, а праведника-анахорета, до гробовой доски потреблявшего лишь ящериц да акрид в молитвах о спасении души и благе ближнего своего. Церемо-

нию заключает Лева Самсонов. Я помню его саркастическим алкашом с неизменной присказкой в застольном разговоре: "Все на свете говно, кроме мочи, но свехспектральный анализ показал, что моча — это тоже говно". Ничто не обещало в нем его будущей метаморфозы. Он изредка, даже не без некоторого успеха, печатался, что-то ставил в кино и театре, переводил с подстрочников ради хлеба насущного, но в основном был известен хмельным эпатажем и публичными выходками. По всем признакам, его ожидала судьба многих и многих литературных светлячков, безвестно канувших в крикливой суতোлке ярмарки тщеславия. Происхождения Самсонова никто толком не знал. Слухи за ним клубились самые бредовые, вплоть до того, что он будто бы то ли незаконный сын Радека, то ли тайный пахан в законе. Сам Лева слухов этих не подтверждал и не оспаривал, отделяваясь от любопытствующих витиеватыми шуточками. Встречались мы с ним от случая к случаю, больше пили, чем разговаривали. Я в своих эмигрантских передрыгах, наверное, давно бы забыл о нем, если бы он сам не напомнил о себе весьма неожиданным образом.

Его имя вдруг замелькало в сообщениях из Москвы: он подписывал крамольные письма, делал вызывающие заявления, давал громкие интервью. Вскоре он опубликовал здесь и первый свой роман. По мне, это было не Бог весть что, все тот же давно навязший в зубах реализм, разбавленный наивной религиозностью, но ореол гонимости вокруг автора сработал: критики соревновались в превосходных степенях. Затем на этой же волне он оказался здесь, сумел получить деньги под гонорарный журнал, где громыхал скелетом по жести в разоблачительных статейках против "коммунистического ига" и "тоталитарной угрозы", оглушая себя крикливой пошлостью собственного словоизвержения. Эти его пропагандистские фейерверки не вызывали у меня ничего, кроме свинцовой скуки, а поэтому отношения наши после первой же встречи здесь завяли так же незаметно, как и начались. Позади у меня остался достаточный опыт, чтобы продолжать заблуждаться насчет "гомо сапиенс". Устраиваясь на земле, это существо с течением времени только разнудывается и дичает. Никакая религия и культура, по-моему, не в состоянии изменить его падшую природу к лучшему, тем более власть, будь она хоть самой что ни на есть ангельской. Власть и создается человеком ради самообуздания, иначе она бы просто не выжила, а степень ее жестокости целиком зависит от уровня среды, в которой она

функционирует. Всякая революция или переворот сводятся в конце концов лишь к смене одних надзирателей другими. Так зачем же мне ломать с нею копыя, чтобы после сомнительной победы оказаться завтра в том же капкане? Увольте, это занятие не для белых людей.

Надгробные заклинания Левы идут сейчас до меня откуда-то из далекого далека, и, не задерживаясь в памяти, испаряются в пространстве, а я гляжу на него, на его иссиня белые лохмы, одутловатое лицо сердечника, погрузневшую фигуру и думаю о том, как нелепо и пусто проживаем мы отпущенный нам на земле век, какими игрушечными выглядят перед таинством смерти наши людские страсти и какой обидно короткой покажется нам в последний миг наша собственная жизнь! И чего нам спешить, куда торопиться, если кладбище работает круглые сутки?

"Старик, а я тебя ищу, — голос Вадима у меня за плечом возвращает меня к самому себе, — хоронить поедешь?" Толпа вдруг заметно рассыпается, вытекая за дворовые ворота. "Если будет место в автобусе, — пожимаю плечами я, — иначе — пас". "Ольга предлагает, она с машиной", — бросает Вадим словно невзначай, а сам все ускользает, ускользает от меня взглядом. Он знает, он все знает о моих взаимоотношениях с Ольгой, но ему жалко, ему всех жалко — ее, меня, себя. В его бы воле, он помирил бы и облагодетельствовал целое человечество, только стоит ли оно того, в этом я лично не уверен. "Черт с вами, — не выдерживаю я его немой укоризны, — поедем". Едва завидев нас через улицу, Ольга в призывном движении вытягивается к нам, и в этом произвольном движении столько стыдливой радости, что мне становится не по себе от моего равнодушия: какая же ты все-таки скотина, Мишаня! По дороге Ольга не умолкает, упорно обращаясь лишь к Вадиму, но я-то знаю, чувствую, что говорит она для одного меня, что кроме меня у нее нет собеседника и что она была бы на седьмом небе от счастья, если бы я поддержал разговор. "Господи, — мысленно кляню я себя, — ну, чего еще мне нужно!" Действительно, чего? Разве мало человеку одного безотказного друга и любящей женщины для бегства от одиночества и забвенья? Но разве я живу? Я скорее где-то провисаю между перманентной тоской и безумием, когда явь во мне, будто звук в приемнике, то врубается кем-то на максимальную мощность, то вдруг отключается полностью, оставляя меня наедине с безмолвной до головокружения бездной. И я с леденеющим серд-

цем устремляюсь в нее, эту бездну, без всякой надежды на пробуждение.

"Вадим, ты куда потом? — Здесь я цепляюсь за ольгин голос, как за соломинку. — Если захочешь, отвезу". "Я еще не знаю, — Вадим скользит в ожидании моей реакции, — как сложится". Ему явно хочется провести день со мной, но опасаясь ненароком навязать мне лишнюю для меня кампанию Ольги, он неуклюже лукавит. Мне, в свою очередь, делается его жалко, и я, проклиная все на свете, в том числе и себя, обреченно сдаюсь: "Ладно, поедем ко мне, а там сообразим". И я, сидя сзади, по одному только чуть заметному движению ольгиной спины почти физически ощущаю ее мгновенное преображение: словно на дереве внезапно лопается засохшая было почка с проклюнувшейся в ней зеленой вечностью. "Мальчики, — еще не веря своему везению, она с трудом сглатывает слова, — я вам приготовлю на закуску салат-оливье, надо только на обратном пути в лавочку заскочить". В окнах машины иссякает россыпь пригородных застроек, за которыми навстречу нам разворачивается архипелаг французских деревень, похожих на курортные островки где-нибудь в окрестностях прибалтийского побережья. На кладбище мы попадаем чуть ли не к шапочному разбору, и я, искрошив свой комок земли на полузасыпанный уже гроб, машинально тянусь следом за всеми к выходу вдоль знакомых крестов и обелисков. Бывая здесь и проходя мимо них, я всегда ловлю себя на зябкой мысли, что рано или поздно моему имени предстоит пополнить эту непреходящую коллекцию, собранную со всех концов России и ее диаспоры. Что, какой рок, инстинкт, зов, какая Божественная или человеческая воля гнала этих случайных странников по миру, чтобы в конце концов собрать их здесь, под чужим небом и на чужой земле? Сквозь версты и годы, фронты и зоны, через печали и скорби, обдирая в пути бока и души, словно рыба на нерест, они пробивались сюда заканчивать свой век и оставлять потомство для новых странствий. Что другое могло соединить их здесь: протоиерея Льва Липеровского с ликующим зовом на могильном кресте "Радуйтесь!", некую Варвару Петровну Гургенидзе, прожившую без малого сто лет лишь затем, чтобы закончить свой век в Париже, братьев Василия и Николая Кудрявцевых, добровольцев Северной армии, завещавших потомкам молитву "Боже, спаси Россию", или Атамана Все-великого войска Донского Африкана Петровича Богаевского, лежащего тут рядом с бывшим товарищем прокурора Ставро-

польского суда Ильей Ильичем Мокиным и безвестным евреем из Одессы Леоном Конфманом? "Мишаня! — Вадим нетерпеливо машет мне от ворот. — Поехали!"

Дорога повторяется в обратном порядке: деревни, пригород, парижские лабиринты, откуда мы затемно выбираемся наконец к моей берлоге за Сиреневыми воротами. Как всегда, азартный дух первой бутылки тут же вызывает цепную реакцию: пьяная карусель страгивается с места и пускается в шальном вихре, не оставляя никакого просвета для отступления или передышки. Остальное расплывается, как в дурном сне: сплетения беспорядочных разговоров, обрывки песен, звон битой посуды, голая Ольга, пляшущая на столе, чьи-то слезы, чей-то смех, а затем жаркий полет сквозь радужную кутерьму видений с ухмыляющейся рожей Кучкина в самом конце и, следом за этим — кромешная тьма. Обычная история, которая повторяется со мной почти каждую ночь.

\* \* \*

Опер Ждан чем-то походил на бурундука — маленький, юркий, почти без шеи. Даже сидя за столом, он ухитрялся беспокойно суетиться: ерзал на стуле, слепо шарил руками перед собой, внезапно вскакивал и тут же садился вновь.

— Значит, Бармин, косишь в непонятную\*: не видел, не знаешь, не слышал? — Безбровое лицо Ждана хищно вытягивается в мою сторону. — У меня показаний против тебя на три высших меры, а ты в непонятную, чудак, ей-Богу! — Как бы поддакивая себе, он покивал скошенным подбородком, словно склевывая что-то у себя на столе. — Чем дурочку валять, лучше бы о себе подумал, у тебя сроку еще ой-ой-ой, толкать не перетолкать, бросать не перебросать, а я тебе за соучастие еще намотаю, соображаешь?

— Соображаю, гражданин начальник, — вяло отбрыкиваюсь я, — только, правда, я не видел, я в это время покурить отходил.

Тот даже заклекотал от воодушевления:

— Вот и подсел ты, Бармин, на шершавого, пустую блесну сглотнул. — Победное торжество прямо-таки распирало его. — Мне про тебя все известно, ты же не куришь!

---

\* "Косить в непонятную" — не сознаваться. (Жарг.)

— Я имел в виду — погреться, гражданин начальник.

— Э, нет, Бармин, не проханже\*, — он выпорхнул из-за стола и закурил по кабинету, — слово не воробей, сказал, полезай в торбу, попал на удочку — не трепыхайся...

Кабинет у него был под стать хозяину, даже не кабинет, тесная выгородка в служебном бараке, по такой клетушке особо не разбежишься, поэтому Ждан скорее не кружил, а топтался вокруг заляпанного чернилами канцелярского стола.

У меня не было выхода, мне оставалось только заператься, любая оговорка могла кончиться для меня или следственным изолятором, или кровавым самосудом лагерной кофлы. Поставленный перед этим нехитрым выбором, я чувствовал себя канатоходцем над пропастью, а Ждан уже подступал ко мне с неизменной оперчеккистской удавкой:

— Ну что, Бармин, говорить или в молчанку играть будем? Без пользы, я тебя все равно расколю. Рассказывай...

А чего рассказывать, если на столе у него лежал рапорт надзорслужбы, в котором и без меня все было рассказано?

Вчера ночью в бараке хозобслуги карманник-рецидивист Веничка Заяц, играя в буру\*\* на подставку\*\*\*, заиграл\*\*\*\* лагерного придурка чертежника Малышева, а сегодня утром заманил его в сарай пилорамы, придушил, еще живому отрезал голову на циркулярке и сам отнес ее на вахту, где сдался без сопротивления.

При этом на пилораме, кроме Венички, присутствовали трое: я, Абдулах Кешоков — черкесский колхозник, тянувший срок за убийство своего председателя, и опущенный+ уже в зоне педераст Сонечка — чернушник из Одессы.

Все отпечаталось во мне с фотографической четкостью: азартный оскал на мятом лице Венички, зубья пилы, рвущие еще теплую плоть, почти черная кровь на опилках, чуть припорошенных снегом. И затем тишина, от которой, казалось, лопались ушные перепонки.

Обо всем этом опер прекрасно знал, но возникшая возможность склеить групповое дело с последующей наградой, а, воз-

---

\* "Не проханже" — не пройдет. (Жарг.)

\*\* "Бура" — карточная игра. (Жарг.)

\*\*\* "На подставку" — в долг. (Жарг.)

\*\*\*\* "Заиграл" — обязался убить. (Жарг.)

+ "Опустить" — изнасиловать. (Жарг.)

можно, высоким повышением, видно, так воодушевило его воображение, что он, как охотничий пес, почуявший богатую добычу, уже не видел кроме нее ничего вокруг и никого вокруг. Охота для него стала теперь пуще неволи.

— Колись, Бармин, чего резину тянуть, тебя же так и так подельники заложат. Мне один Сонечка за окурочек тебя сдаст да и Кешокову ты до лампочки, ему через год на освобождение. — Ждан снова юркнул за стол, заерзал на месте, засуетился лицом. — Давай по-хорошему, Бармин, когда по-плохому начну, кровью под себя мочиться будешь.

Я тоскливо смотрел в заросшее инеем окно и от одной мысли о том, что в любую минуту опер может запросто отправить меня из этой теплой конуры в замороженный трюм\*, где я буду сутками бегать из угла в угол, лишь бы не замерзнуть, мне становилось тошно.

— Я себе не враг, гражданин начальник, только, если не видел, чего ж рассказывать?

— Значит, решил до конца ваньку валять, Бармин? Дело твое, тебе виднее, пеняй на себя, посмотрим, надолго ли тебя хватит?

— Век свободы не видать, гражданин начальник, — канючил я, — не было меня там!

Ждан укоризненно вздохнул, опять задумчиво поклевал подбородком над столом перед собой:

— Ох, Бармин, Бармин, не бережешь ты своего здоровья, а здоровье — оно дается один раз, это еще Николай Островский говорил, читал, неверно, "Как закалялась сталь"? Вот я и выпишу тебе для начала пять суток, закаляйся на радость маме да и подумать время навалом, надумаешь, просись по новой ко мне, я — добрый.

— Гражданин начальник, — я уже кричу в голос, — поимей совесть, за что?

В нашем с ним поединке любой исход был бы в его пользу, я заранее смирился с этим и оттягивал неминуемое не в надежде переиграть судьбу, а в расчете выиграть время, да что там время, минутную возможность посидеть в тепле и отрешено расслабиться.

Голос опера пробивался ко мне, словно сквозь вату:

— Я тебя, Бармин, в последний раз спрашиваю...

---

\* "Трюм" — карцер. (Жарг.)

— Говорю, на перекур бегал, гражданин начальник!

— Пожалеешь, Бармин, ой, пожалеешь!

Дверь распахнулась сразу, без стука, будто возникший на пороге начальник колонны Карпович стоял перед этим за нею и подслушивал. Утвердившись в дверном проеме, но не входя вовнутрь, он скользнул по мне любопытным взглядом и вопросительно уперся в опера:

— Бармин?

— Так точно, Алексей Евсеич, — тот пружинно вздернулся со стула навывтяжку начальству, — в непонятную косит.

Хмурое лицо Карповича тронула чуть заметная гримаса брезгливого недовольства то ли нерасторопностью подчиненного, то ли моим зряшным упрямством:

— Так. — В его долговязой фигуре, в немигающих глазах и манере держаться было что-то хищное. — Давайте-ка его ко мне.

Я понял, что погиб. По сравнению с этим зимний трюм показался мне теперь спасительным убежищем. Слава о тяжелой руке майора Карповича катилась по пятьсот первой, обрастая по пути такими подробностями, от которых даже у бывалых зеков ныло под ложечкой. Роились легенды, будто он ребром ладони ломал на допросах людям шейные позвонки, после чего им оставалось всю жизнь смотреть себе под ноги.

Оказавшись в кабинете, я приготовился к самому худшему. Никаких шансов выкрутиться мне не светило. Ни о каком сопротивлении нечего было и думать: при малейшем противодействии майор добьет меня уже на законном основании. "Суки, гады подлючие, — кричала, корчилась во мне душа, — за что вы меня, что я вам сделал!"

— Ладно, иди, — Карпович ленивым кивком головы отпустил опера, — я сам с ним справлюсь. — И, проследив жестким глазом за подчиненным до самого выхода, повернулся ко мне. — Не помнишь меня, Бармин?

Нет, я не помнил его, во всяком случае, не мог вспомнить, но произнесенная им фамилия моего отца откликнулась во мне каким-то смутным, едва различимым велением: синий дым над станичными крышами, желтые пятна акаций в цвету, а сквозь них — слепящее лезвие речной глади. Господи, когда это было да и было ли вообще!

Карпович разглядывал меня сверху вниз, словно прозревал сквозь меня одному ему памятную явь и хищное лицо его при этом размягченно оттаивало:

- А я ведь тебя на руках нянчил, Бармин. Не помнишь?
- Нет, гражданин начальник, видно, совсем маленьким был.
- А станицу Каменскую помнишь?
- Каменскую помню, с отцом там жили.
- Значит, и меня должен помнить, я с твоим отцом служил,

ты еще меня "дядей Лекой" звал.

И опять что-то призрачное, наподобие давно забытой мелодии, всплеснулось на дне памяти и тут же заглохло вновь, уступая место заполнившему меня праздничному облегчению: спасен!

— Давно это было, гражданин начальник, — боясь спугнуть шальную удачу, осторожно извивался я, — сколько лет прошло.

— Давно, — покорно согласился майор, глядя куда-то поверх меня, — а как сейчас помню. — И вдруг тихонько, как бы только для одного себя запел простуженным тенорком: — "Там, вдали, за рекой, зажигались огни, в синем небе заря догорала, сотни юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала..." — Сразу же спохватившись, он уселся за стол. — И про это забыл, Бармин, а ведь подпевал дяде Леке когда-то.

Песня, словно камень, брошенный в воду, рассекла толщу памяти, и, коснувшись самого ее дна, подняла на поверхность лишь пестрый сор отрывочных химер, так и не сложившись во что-то целое, но я решил все же не искушать судьбу, уступчиво подыграл ему:

— Вроде что-то мерещится, гражданин начальник.

Но это оказалась не та мякина, на которой его можно было провести, он только небрежно отмахнулся от моей приманки:

— Ничего ты не помнишь, Бармин, да и я бы не вспомнил, если бы Леонидзе не надоумил. Держись за своего кореша, он тебя в обиду не даст, его головы на двоих хватит, а то и больше. На советскую власть тоже зла не таи, сам знаешь, на лесосеке щепы не считают, в такой мясорубке сегодня ты, завтра — я, не маленький, понимать должен, новую жизнь строим, а кругом враги, мы им, как в горле кость. — Майор поднялся, обогнул стол, подошел, положил руку мне на плечо, легонько развернул меня и подтолкнул к двери. — Ладно, иди, Ждану я скажу, он от тебя отцепится, а если что, беги ко мне, я разберусь, пока на месте сижу, не пропадешь. — Распахнув дверь, зычно командовал. — Старшой, прими залетного, сдай на вахту!

Вблизи от меня пахло едва уловимой смесью запахов ременной кожи и крепкого табака, и в моем сознании, как при

ярком озарении в сплошном кошмаре ночи вдруг выявилось июньское утро у донского лимана, подернутого туманными нитями: я стою у самой кромки воды, а рядом со мной, положив костистую руку мне на плечо, возвышается человек в кавалерийской коже с махорочной сигаркой в желтых зубах...

Я дернулся было обернуться, крикнуть Карповичу, что я, наконец, вспомнил его и все связанное с ним — утро, лиман, сигарку, но дверь в кабинет уже захлопнулась, а старшина угрюмо поторапливал меня в спину:

— Давай, давай, не задерживай!..

В бараке ко мне сразу подкатился мой сосед по нарам Гоша Пика — матерый домушник из Иркутска, и, захлебываясь словами, зашелестел, задышал у меня над ухом:

— Дело мотают? Вот псы вонючие, мало им Зайца, групповую хотят склеить, падлы, хер им на рыло! У Абдуллы им не обломится, я за него ручаюсь, он такой конвейер прошел, что его им ничем не согнуть, а вот Сонечка потечет, бля буду, потечет, они его голыми руками возьмут, пидараса, его бы самого замочить надо, только за ним теперь надзорслужба по пятам ходит, от колуна стережет...

Я слушал Пику вполуха, речь его просеивалась сквозь меня, не задерживая внимания и не вызывая охоты отвечать. Разговор у Карповича разбередил мне память. Передо мной смутно забрезжило прошлое. Годы и годы я просыпался с единственной мыслью, как прожить до конца дня и где провести следующую ночь. У меня просто не оставалось времени думать о нем — этом прошлом. Теперь же, когда оно внезапно напомнило о себе, я ощутил его так близко и осязаемо, будто это случилось со мной не много-много лет назад, а не далее, чем вчера.

Вечерняя Москва-река подплывала к моим глазам, заполняя меня целиком вместе с отраженными в ней небом, глазницами домов, куполами церквей, аркой Каменного моста и лестничными ступенями набережной, а пряный аромат конфетной фабрики легонько кружил мне голову:

— Миша!..

— Михаил!..

— Мишенька!..

— Мишаня!..

Эхо моего имени множилось, повторялось на все лады, подкатывало к горлу удушливой спазмой, а я в ответ, словно рыба, выброшенная на песок, только судорожно ловил ртом воздух...

— Мишаня, — шепотный шелест Пики снова настиг меня на нарах, — чего это у меня стоит всю дорогу? Бациллы никакой, с голодухи кишка на кишку наворачивается, а я двумя руками хер от живота оторвать не могу. Вчера стал трухать, с полкружки вылилось. Скажи, Мишаня, может, болезнь у меня какая, вы, москвичи, народ знающий...

У Пики что на уме, то и на языке, хотя ума у него, по-моему, вовсе не было, плазма. Он весь состоял из простейших слов и желаний. Любую чушь он усваивал без всяких сомнений, принимал к сведению и при случае передавал другим. Его можно было не слушать, ему не обязательно было отвечать, он не обижался, потому что вполне довольствовался самим собой, тем удобнее для меня было его соседство.

— Кочумай\*, Пика, — отворачиваясь от него, сонно зевнул я, — спать пора, завтра поговорим.

В глубине барака краснело раскаленное пятно железной печки, тепло от которой рассеивалось, не доходя до его середины, а вокруг нее, как черные флаги траура, свисали гирлянды сохнувших портянок и резкое их зловоние смешивалось с хрипом, храпом и бормотанием множества престуженных носоглоток, обложивших меня со всех сторон.

И, проваливаясь в сон, я почему-то подумал: надо запомнить.

\* \* \*

Я, по-моему, становлюсь эмигрантской достопримечательностью. Принимаю нашу литературную братию чуть не со всего света. Недавно до меня дошло, что оказаться в Париже и не побывать у Михаила Бармина считается в этой среде все равно, что проигнорировать кладбище на Сент-Женевьев де Буа или церковь на рю Дарю. Это называется — издержки славы. Славы, у которой очень большая география и очень маленький спрос. Чаще всего они появляются уже навеселе и с бутылкой в кармане, что тоже свидетельствует о моей репутации. Я не обижаюсь на них: чем бы дитя ни тешилось. Я пью с ними и слушаю их стихи, я читаю их рукописи и лишь удивляюсь, как много может человек пережить и как плохо рассказать об этом! Но упаси Боже сделать кому-нибудь из них замечание на этот счет! Эмигрантский автор — существо изначально уязвленное, обидчивое, с амбициями, далеко превосходящими его

---

\* "Кочумать" — спать. (Жарг.)

возможности. Его можно признать безоговорочно, или, что безопаснее всего, совсем не общаться с ним. Но я слаб, я не могу и не умею отказать никому, кто ко мне стучится, даже если этот человек мне чужд и неинтересен. Правда, среди них попадаются и довольно занятные типажи. Один из них, мой давнишний приятель по московской богеме Леня Хейфец, по дороге из Москвы в Иерусалим завернул специально повидаться со мной в Париж, и, явившись ко мне среди зимы в ковбойской шляпе и белых тапочках на босу ногу, с порога поставил меня на место: "Старичок, привет, я привез с собой сюда две рукописи, будь уверен, мировую литературу можно закрывать!" Потом напился до умопомрачения и, катаясь по полу, требовал привести ему трехногую испанку. Почему именно трехногую, так и осталось секретом его сексуального подсознания. Впоследствии он бесследно растворился где-то в негритянских трущобах Нью-Йорка вместе с двумя своими рукописями, навсегда осиротив мировую литературу. А другой — автор душераздирающих рассказов из быта моргов, кладбищ и прозекторских — при близком знакомстве оказался человеком такой ранимой чувствительности, что искренне расстраивался при виде больной кошки. С третьим же — тончайшим знатоком Джойса и Кафки, владевшим доброй дюжиной европейских языков, всякий разговор начинавшим с "тысячи извинений", наоборот, во хмелю не было никакого сладу: перепившись, он выбежал на улицу и, расстегнув ширинку, призывал прохожих убедиться, какой у него красивый член. Кончалось все это, разумеется, в полиции. Один из таких даже пытался повеситься у меня в прихожей на сорванной со стены электропроводке. Вообще-то, я встречался с похожей публикой и на родине, но, слава Богу, не в такой концентрации.

Вот и сегодня я жду гостя не из самых сговорчивых. За ним уже давно катится прилипчивая слава скандалиста и провокатора, способного ради самоутверждения на любое безобразие и святотатство. Пишет он принципиально матом и видит в этом свое назначение в современной литературе. В ожидании гостя я перебираю в уме все возможные варианты развития настоящего застолья, поэтому, когда раздается дверной звонок, я уже готов ко всему. Гость сразу же подтверждает бегущую впереди него репутацию: он в офицерской шинели советского образца без погон и такой же фуражке без кокарды. "Ананасов, — он бесцеремонно протягивает мне сухую жесткую ладонь, горделиво при этом посмеиваясь: да, да, тот самый! А это, — кивок

себе на плечо, — моя жена — Маня, прошу любить и жаловать, но лучше всего — любить". За спиной у него стоит молодая яркая женщина из породы тех, о ком говорят, что ноги у нее растут из подмышек. Копна пшеничных волос светится вокруг ее кукольного лица наподобие нимба. "Это называется Петечка и Манечка, — гостья ослепляет меня фарфоровыми зубами, — бычок да ярочка, явление первое, — она вызывающе подмигивает мне, — то-то еще будет". Ананасов ставит на стол две бутылки шампанского, добавляет к ним плитку шоколада: "Начнем с этого, а закончим по обстановке, маэстро, стаканы! Вам, Бармин, мой псевдоним, наверно, тоже не нравится? — Он заученным жестом выворачивает пробку, рассматривает бутылку на свет и разливает вино по стаканам. Считаете, что слишком пошло? Может быть. Но это мой вызов человеческому быдлу. Пусть хавают! И, увидите, схавают! Я заставлю их схавать, не будь я Петечка Ананасов! Если бы вы знали, Бармин, как я их всех презираю! Их квадратные особняки, квадратные челюсти, квадратные машины и таких же квадратных баб. С каким бы наслаждением я облил бы все это жирное стадо бензином и поджег! Интересно было бы тогда посмотреть, как они будут истекать в огне своим вонючим салом! — Доливая и доливая свой стакан, он явно спешит напиться. — Но я заставлю их признать себя, дешевок, и поставлю их раком на этой говенной ярмарке, где они считают себя хозяевами! Я пью за вас, Бармин, но пасаран!"

Для его спутницы это, видно, не впервой, она только беззвучно посмеивается и коротко заключает: "Ну, теперь по-неслось!" За шампанским следует гремучая смесь из моих запасов: вино, водка, пиво. Стены качаются вокруг нас, а мы качаемся вокруг стола. "Скажите, Бармин, — не отстает он от меня, почему вам не нравится мой псевдоним?" Что я могу ему ответить? Честно говоря, его настоящая фамилия не нравится мне еще больше. Украинские фамилии вообще вызывают у меня идеосинкразию, а эта, его, в особенности. Родословную он ведет от своего деда — знаменитого председателя Харьковского ЧК, собственноручно снимавшего скальпы с арестованных белогвардейцев, что смутило, говорят, даже далеко не брезгливого Ленина, который приказал убрать садиста с глаз подальше, но пыточная профессия оказалась наследственной, отец моего гостя пошел по той же части и закончил карьеру на вполне заслуженной пенсии, весь в орденах и привилегиях. "Псевдоним как псевдоним, — примирительно говорю я, зачем

комплексовать?" Но тот уже входит в раж: "Манька, пойдем, хватит выпивку даром жрать, давай раздевайся, заделай нам стриптиз по высшему классу, как ты умеешь, ублажи хозяина!" "Я не хочу, — осаживаю я его, — это не для меня". Тот, к моему удивлению, не спорит, даже успокаивается. И вдруг предлагает: "Чего дома сидеть, поехали на Сен-Дени, развлечемся, сегодня плачу я!"

На улице мокрый осенний ветер подхватывает нас, и мы мчимся на зеленый огонек встречного такси, садимся в него и летим через завоженный дождем город к веселым огням круглосуточно бодрствующего квартала. Горед, будто тающий торт из мороженого, радужно стекает по стеклам машин, втягивая нас в лабиринт зазывающих улочек, шофер тихо тормозит и, оборачиваясь к нам, понимающе подмигивает: "Вотр сервис, месью, мадам!" Оказавшись на залитой дождем и светом почти безлюдной улице, Ананасов мгновенно ориентируется: "За мной, мушкетеры, — в нем сразу угадывается повадка завсегдатая, — труба зовет, нас ждут великие дела!" Пересекши следом за ним улицу наискосок, мы вваливаемся в бар, за стойкой которого раскрашенной квашней восседает тулузлотрековская барменша-бандерша. Она смотрит на нас пресыщенными глазами, лениво роняет: "бонсуар, месье-мадам, же ву зам при!" Бар пуст, лишь в дальнем углу на диване за столиком воркуют между собой два ярко размалеванных коксинеля. В душей полутьме мне чудится, будто они в карнавальных масках. Петечка заказывает двойной коньяк для всех, имея в виду и коксинелей. Те оживляются, улыбаются, кокетливо поглядывают в нашу сторону. "Мадам, анкор, — не унимается Петечка, — пить, так пить". Та бесстрастно доливает, ее трудно чем-нибудь удивить, на своем веку, она, надо полагать, повидала и не такое. Ананасов подхватывает фужеры и направляется за столик к коксинелям. "Чего он нарывається, — начинаю трезветь я, — приключений на свою задницу ищет?" "Пускай чудит, — брезгливо морщится Маня, это его новая блажь, смотреть тошно!" Я оборачиваюсь: Петечка взасос целуется с одним из коксинелей. Перехватив мой взгляд, он нехотя встает и возвращается к стойке. "Что, Бармин, вы удивлены? — Язык едва слушается его. — Да, я биосексуален, поэтому люблю голубых, это тоже мой вызов, не верите? — Обращаясь к бандерше, он бросает на стойку смятую купюру, — Мадам, кле, силь ву пле!" Та, будто вынув из рукава, все так же бесстрастно протягивает ему ключ: "Силь ву пле,

месье". Петечка поворачивается к коксинелям, поднимает над собой ключ и кивает им в сторону тускло освещенной лестницы в самой глубине бара. Те с готовностью поднимаются. Увязываясь за ними, Петечка издевательски поддразнивает меня: "Сейчас, Бармин, я буду харить их, а они будут харить меня, это и есть настоящий реализм, а не эти ваши узлы и колеса, придумали себе сказку — "человек добр". Запомните, Бармин, — в его белесых глазах дымится хмельное безумие, — человек — говно, мразь, зверь по определению и ничего кроме пули не заслуживает". С этим он исчезает, а Маня устало изливается ему вслед: "Господи, когда только все это кончится, он готов мать родную зарезать, лишь бы высунуться, ничего за душой, одна мерзотина!" "Самоутверждается мальчик, — благодушно отзываюсь я, — перебесится". Будь он проклят! — Она кладет мне руку на колено. — Если хочешь, возьми у этой мымры ключ, и мы тоже поднимемся. Наверно, я, вроде этой бандерши за стойкой, тоже скоро перестану чему-либо удивляться, но на этот раз мне даже становится не по себе. "Зачем тебе это нужно? — От неожиданности я теряюсь. — Для счета?" "Тебе не все равно?" "Я не хочу". "Тогда чего ты хочешь?" Домой. "Возьми меня с собой". "Тебе видней". Догадываясь, бандерша поднимает на меня коровьи глаза: "Месье, такси?" "Уй, мадам, силь ву пле". За окнами такси та же ночь, тот же день, тот же струящийся город. Маня зябко прижимается ко мне, продолжает изливаться: "Бросилась за ним, как в омут, по европейской визе, уж больно обрыдло все, думала, муж — гений, за бугром признают, заживем, а здесь таких, как он, своих целая очередь за пособием стоит, вот он и закуролесил. Чего я с ним только не натерпелась: и с детьми сидела, и собак выгуливала, и еще разное, разве что на улицу не ходила, хотя он, козел, посылал, а когда чуть-чуть оперился, совсем ошалел, да ты сам видел".

Я видел, я много видел, видел разного, но я никогда не предполагал, что можно потерять себя до такой степени. Уже дома, засыпая рядом с ней, я, помнится, вдруг спросил самого себя: "А может быть, Петечка прав, и человек действительно — мразь?" И еще: "А я?"

В начале марта зарядил хиус\*. Все живое пряталось по разным щелям, лагерная больничка ломилась от обмороженных и косил\*\*. Махнув рукой на план, начальство прекратило вывод на работы: никакая вохра в такой холод не могла заставить людей двигаться или что-нибудь делать. Да и сама вохра особо не рвалась высовывать носа из теплых караулок. Зона погрузилась в дремотное оцепенение.

С раннего утра до поздней ночи барак надрывался в говоре и крике. Впрочем, день и ночь в эту пору года мало чем отличались друг от друга. Свет в барачных окнах, насквозь проросших морозной шубой, едва обозначался на три-четыре часа в сутки, а затем вновь все погружалось в ровную тьму, скрашенную лишь тусклым сиянием зарешеченной лампочки под потолком и горящими язычками самодельных плашек. В смрадном, будто спрессованном воздухе вязко перемешивалось людское многоголосье — мат и смех, песни и слезы, сонный бред, азартная перебранка, топот, шорох, крик, сплавляясь в слитный и по своему упорядоченный гул. Казалось, некое стоглавое и стоzeвное чудовище дышало и ворочалось в четырех стенах лагерной клетки в тщетном усилии вырваться из нее. И я дышал и ворочался вместе с ними.

— Мне, Мишаня, с зачетами полтора года осталось, — ворочался у меня под боком неугомонный Пика, — ты на меня зуб имеешь, что я тогда с Сонечкой не разобрался, а мне нарываться, сам знаешь, себе дороже, меня оперслужба в четыре глаза пасет, шаг влево, шаг вправо и чехты мне, по новой на всю катушку наматывают, так и отдам концы в зоне, а я еще по буфету хочу гульнуть, какие мои годы. Слышь, Мишаня?..

Склеить групповое дело Ждану не удалось: то ли концы с концами не сошлись, то ли и вправду Карпович помешал. Я давно выбросил эту историю из головы, поэтому, когда Пика снова и снова настырно возвращал меня к ней, мне становилось скучно:

— Ладно, кончай, Пика, надоело.

— Побожись.

— Пошел ты!.

Но унять Пику было делом непростым.

---

\* "Хиус" — морозный ветер. (Диалект.)

\*\* "Косить" — симулировать. (Жарг.)

— Нет, в натуре, Мишаня, обрыдло мне по командировкам, — продолжал он мне в затылок, — завязать хочу, я тоже человек, освобожусь, на Юг двину, там тепло, прожить легче, чем дома. Дома меня легавые все равно достанут, а с чучмеками я всегда дотолкуюсь, им легавые не указ, они сами по себе живут...

В таком духе он мог изливаться часами. Со временем я свыкся с этим и мало вникал в его излияния. Годами обреченный жить на людях, я научился отключаться от окружающего, где бы не находился: на вокзале, в застолье, в бане или на базаре. Счастливый дар человеку — одиночество. Я никогда не понимал людей, жалеющих о своей заброшенности. По-моему, если кому-то наедине с собой скучно или тоскливо, он ничтожен и пуст. Одиночество для меня как спасательный круг и кислородная маска в отхожей яме: может, и не выберешься, но хотя бы не утонешь и не задохнешься в ней. Нет руки надежнее твоей собственной, и лучшего друга, чем ты самому себе, на свете не существует. Помни, за мгновение перед концом ты останешься совсем один; сумеешь ли ты вынести этот крест?..

Сереха продолжал опекать меня и, честно говоря, если бы не он, я бы уже дошел. Пайку — кусок липкого, еле пропеченного теста — я слатывал еще с утра, а на рыбьей баланде с мутной подболткой за месяц-два опухали лбы куда покрепче и здоровее меня. Подсобная работа при пилораме считалась легкой, но и при этом в конце смены я на самом деле валился с ног, так и не выполнив нормы. Серехиными хлопотами мне ее все же засчитывали, что не избавляло меня от голода, но зато спасало от штрафняка.

По вечерам Сереха зазывал меня в барак хозобслужки, где для него была выгорожена отдельная кабинка, и, поставив передо мной заранее припасенную еду, отводил глаза в сторону:

— Третью зиму тут кукую, а все привыкнуть не могу, такая тоска, хоть волком вой. И как только тут вольняшки живут?

— Из жадности, — давясь кашей, откликнулся я, — у них здесь тройной оклад, плюс — северные, плюс — отпуск в три года на шесть месяцев, накопят куш и напрямиком на южную гужовку.

— Озолоти меня, добром не поехал бы.

— Вот и привезли под конвоем, начальство — оно умное, знает, кого добром, а кого по этапу...

— Насчет тебя — это они в цвет\*.

---

\* "Попасть в цвет" — угадать. (Жарг.)

— Да и с тобой не прогадали.

— Тебе повезло.

— Что правда, то правда, кашу вам, придуркам, по блатной раскладке варят.

— Не залупайся. Я не об этом.

— О чем же?

— Все-таки встретились.

— Вот радости-то, полные штаны.

Так мы и препирались с ним почти каждый вечер у него в закутке. Перекидывались словами, как мячиками, стараясь не перейти соблазнительную черту, за которой нас подстерегали воспоминания. Это могло обойтись нам слишком дорого: у воспоминаний есть коварное свойство оборачиваться кошмарами.

По молчаливому уговору не поминали мы и о Валентине. Мы с ним как бы вычеркнули из памяти тот поздний вечер в больничном изоляторе, когда она приходила ко мне по его настоянию: я, чтобы не бередить себя, он, чтобы не оправдываться. Но, сами того не подозревая, о чем бы между нами не шел разговор, каждый из нас говорил о ней. Преодолеть это, видно, было выше наших сил. Наверное, на этой земле нам от нее уже никуда не деться. Я иногда видел ее во дворе женской зоны, впритык примыкавшей к нашей. Если она замечала меня, то обычно приветственно помахивала мне издали, я коротко отвечал, этим все и заканчивалось. Но всякий раз после этого у меня долго и обморочно ныло под сердцем...

— Кончай кемарить, Мишаня, — блинообразное, в бурых веснушках лицо Пики качалось надо мной, — по зоне шухеридет, у вохры из жопы дым столбом, разбегались, как тараканы!..

Барак гудел. Еще никто ничего толком не знал, но слухи один другого тревожней растекались по нарам во все стороны:

— Побег!

— Сучий этап пригнали!

— Шестой барак анархию объявил!

— Воров брать будут!..

Тревога все нарастала, угрожая в любую минуту взорваться паникой, но когда она, казалось, достигла угрожающего предела, в барак ворвался полуодетый бугор\* из соседнего барака Саня Верблюд, прозванный так за свою болезненную сутулость:

---

\* "Бугор" — бригадир. (Жарг.)

— Братва, гуталин дуба врезал, — расхристанная фигура его возбужденно дергалась на пороге, — с утра по динамику передали!..

Тишина, наступившая вслед за этим, взвилась до оглушительного упора, и, зависнув на миг, обрушилась вниз криком, рвущимся словно бы из одной глотки:

— Амнистия!.. Амнистия!.. Амнисти-ия-я-я! Ам-ни-сти-я-я-я!

Слово катилось, подпрыгивало, взлетало, извивалось и плавало, как живое существо или одушевленный предмет. Его можно было осязать на ощупь, пробовать на вкус, видеть глазами. В нем таился некий магический смысл, знак, символ, слившийся сейчас это людское месиво в единое целое.

Смена тиранов обязывает власть к благодеяниям.

\* \* \*

Мое пробуждение — опять телефонный звонок. С него начинается день. До звонка я не встаю, даже если уже не сплю. Наверное, это стало моим условным рефлексом. Но сегодня телефон поднимает меня необычно рано. В трубке встревоженный голос Вадима: "Извини, Мишаня, что с ранья: Петя Равич застрелился". "Чего? — спросонья переспрашиваю я, но сразу же спохватываюсь. — Когда? Где?" "У себя на Сен-Мишель, я сейчас еду туда, там народ собрался, подгребай, буду ждать".

Дальше продолжать разговор нет смысла. Я наспех собираюсь и спешу из дома. Париж плавится в августовской духоте, мгновенно наваливаясь на меня слепящим солнцем, зеленью, пустотой: сезон летних отпусков. Хотя мне это и не особенно по карману, я останавливаю первое же свободное такси, и оно начинает кружить меня по изнывшему от зноя малолюдному городу, выруливая на Левый берег.

Господи, мог ли я предположить еще вчера, что сегодня мне придется говорить о Пете Равиче в прошедшем времени! Совсем на днях мы сидели с ним за столиком перед кафе на рю де Бак, потягивали холодное пиво, и он рассказывал мне о детстве на Западной Украине, о Варшавском гетто, об Освенциме, о студенческой революции шестьдесят восьмого года во Франции. Он многое узнал и увидел — этот Петр, по здешнему Пьер Равич, за свои неполные шестьдесят лет. Незадолго до этого он потерял жену Анну, скромную продюсершу документального кино, сгоревшую от белокровия в течение одной зимы. С нею у него было связано детство в еврейском местечке, варшавские

мытарства, спасение от концлагеря и, наконец, нищета начальных лет в Париже. Его первая книга здесь имела немалый успех, ему прочили завидное литературное будущее, но когда в шестьдесят восьмом молодежные толпы, сметая все на своем пути, заполнили Латинский квартал и парижский Центр, он не выдержал, сорвался. Он бежал и чурался всякой толпы. Толпа в его представлении всегда оставалась слепой стихией, рождавшей только фанатических чудищ, после победы или поражения пожиравшей их за ненужность. Ему, с его судьбой, было хорошо известно, в какую копеечку в результате влетает ее массовый энтузиазм ей самой, а тем более — равнодушным свидетелям, которых, увы, всегда больше, чем участников. Кроме того, его мучило от удручающей пошлости ее вождей, их избитых речей, глобальных претензий, их эстетического убожества. Тогда он написал книгу "Записки контрреволюционера". Этого ему не простили. Победивший истеблишмент предпочел переварить и привлечь к себе вчерашних бунтарей, чем оценить по достоинству спасительный для них порыв пришедшего со стороны чудака, а преуспевающие побежденные, сменив свое джинсовое тряпье на фланелевые ансамбли от Кардена, перекрыли ему кислород на всех уровнях: общество ценит пророков, вещающих лишь задним числом. Его не доби-вали, его терпели. Он был еврей, а французы на этот счет проявляют вполне понятную чувствительность, тем более, что у Равича не было слишком больших амбиций, вернее, не было никаких. Характер у него был общительный и уживчивый, его любили женщины, в особенности нимфетки и вдовы, но, нередко отвечая им взаимностью, он любил только одну женщину в мире — свою Анну. "Если бы ты знал, — говорил он мне, — какой ценой она спасла меня от газовой камеры! — Его ореховые глаза увлажнились. — В девушках ее никто не принимал за еврейку; солнечная блондинка со вздернутым носиком, типичная польская красавица, ради меня она легла с важной шишкой из Гестапо, ты только подумай, Миша". Петр догадывался, что удивить меня трудно, недаром он писал рецензии на мои автобиографические опусы, но такая чудовищная жертва, видно, должна была, по его мнению, поразить даже меня. "Ты понимаешь, Миша, — наливался слезами он, — с мерзавцем из гестапо!" Ее уход сломил его окончательно. Он и раньше не пропускал случая выпить, но теперь покатился под гору, пил, не просыхая и не задумываясь о завтрашнем дне. При встречах, слегка покачиваясь и потерянно улыбаясь, он дышал на меня

устойчивым перегаром: "Знаешь, Миша, кажется, еще Бабель сказал, что революция породила новый тип еврея — еврея-алкоголика. По-моему, хорошо подмечено. Можешь быть уверен, если еврей умный, то это действительно голова, если же еврей — дурак, то таких ни у кого нет, а если он алкоголик, то это, как говорят у вас в Одессе, что-то особенного!"

В таких случаях мне приходилось делить с ним кампанию, мы пили на перегонки до последнего упора, убивая время в бессвязных разговорах, после чего я отвозил его домой на Сен-Мишель, укладывал спать, а иногда и сам оставался ночевать там же. Однажды он спросил у меня, где можно было бы достать пистолет, но я не придавал этому большого значения, легкомысленно посчитав эту его заинтересованность пьяным кокетством ради красного словца. Выходит, он нашел-таки себе сочувствующего доброхота, указавшего ему адрес. Знать бы, кто эта гадина, можно было бы при случае из жопы ноги повыдергать. В последний раз я встретил Петю у книжного магазина "Глоб". Он шел почему-то с самоваром подмышкой, устремлялся впереди себя невидящими глазами, а столкнувшись со мной и наконец узнав, сунул свою ношу мне в руки: "Это тебе от Анны, Миша, она тебя очень любила". И слепо двинулся дальше, оставив мне самому решать, бежать ли за ним или отпустить его кружиться наедине с собой. Я не двинулся с места и теперь жалею об этом. Кто знает, если бы я тогда догнал его и разделил с ним его дремучее одиночество, может, мне не пришлось бы сейчас мчаться к нему на Сен-Мишель.

В этом доме мне знакома каждая ступенька лестницы. Я бывал здесь так часто, что консьерж у ворот дома даже не оборачивается на меня, когда я прохожу во двор. Дверь в квартиру на четвертом этаже открыта настежь. За порогом — люди, приглушенный говор, табачный дым. Первое же знакомое лицо — Кучкин. "Старичок, — прорывается он ко мне, охваченный охотничьим азартом, — тут такие люди подгребают, грех фразернуться, связи — великое дело". "Отодвинься, сундук, — иду я сквозь него, — свет застишь". Эта гадина не постесняется сделать свой гнусный гешефт даже на собственных похоронах. Конечно же, здесь уже и Лейла. Без нее теперь трудно представить какой-либо элитный междусобойчик в Париже, будь то вернисаж, прием или поминки. "Здравствуй. Этого следовало ожидать, — в ее татарских глазах неподдельные слезы, — он так страдал!" Я верю ей, она любила его. Правда, она любила многих, и при этом ей всегда казалось, что это наконец-то в

первый и последний раз. Через этот опыт с ней я тоже прошел. К Петру она, по-моему, действительно была привязана. Мне почему-то в голову приходит Лермонтов: "Пускай она поплачет, ей ничего не значит". А вслух я податливо сокрушаюсь: "Живем, как в зоне: ты умри сегодня, я — завтра, вот и расплачиваемся". Я знаю, что за нее можно не беспокоиться, завтра она утешится с очередным петимэтром, но сегодня общая потеря сближает нас, и я в произвольном порыве целую ей руку. "Я тебе позвоню, — обещающе смотрит она на меня". "Звони, — уклончиво ретируюсь я, — телефон тот же". Здесь я замечаю Вадима, который, сильно пригнувшись, о чем-то почтительно переговаривается с сидящим перед ним в кресле великим Драматургом. У прославленного мэтра породистое лицо обиженного бульдога и медлительная грация римского патриция. Я познакомился с ним еще в самом начале эмиграции на приеме в Пэн-клубе, где в ответ на мои сетования по поводу советской цензуры он, со свойственной ему мрачной иронией, сказал мне: "Ах, месье Бармин, может так случиться, что нам еще придется эмигрировать в Россию!" Он знал, что говорил. Шестьдесят восьмой год и ему обошелся недешево. Он тоже позволил себе в слух брезгливо отмахнуться от этого шабаша, за что и поплатился по первому разряду: бойкот в прессе, театре, телевидении. В те дни взвинченные юнцы кружили под окнами у французского академика с плакатами "Убирайся к себе в Румынию!", а этот балканский еврей взирал на них сверху со снисходительной иронией, презрительно сострадал их упоенной собою глупости. Наверное, тот памятный май и сблизил его с Петром, который с тех пор сделался его неизменной тенью. Можно было заранее держать пари, что там, где появится один из них, обязательно возникнет другой. Их, видно, тянуло друг к другу, как сообщников, связанных одним преступлением. Преступлением против самодовольного конформизма...

По-французски Вадим говорит с пятое на десятое, краснея от смущения, волнуется, и поэтому мое появление приходится им более, чем кстати. И хотя я тоже не Бог весть какой мастер изъясняться по-басурмански, навык у меня все же в этом смысле поосновательней. "Интересно узнать, — поздоровавшись, вклиниваюсь я в их разговор, — кто мог дать ему пистолет?" Из-под тяжелых век мэтра на меня струится ирония иудейской вечности: "Какое это уже может иметь значение, господин Бармин?" Я сразу чувствую себя поглупевшим: а действительно-

но — какое? Разве это сможет что-то изменить или исправить? "Может быть, для него это был лучший выход. — Бульдожьи щеки мэтра скорбно стекают книзу. — И только ли для него?" Вадим по обыкновению спешит мне на помощь: "Все может знать только Господь Бог, или Мишель Даниель, у него ответы на все случаи жизни, вон рядом топчется, спроси". Но тот, словно догадавшись, о чем речь, уже поворачивается к нам: "Странно, но у полиции еще нет никакой версии. Разумеется, скорее всего самоубийство, хотя я не исключаю и несчастный случай. Об убийстве не может быть и речи, Пьер был не из тех людей, на кого могла бы подняться чья-то рука". Даниель говорил так же безапелляционно, как и писал, усвоив этот тон с того же шестьдесят восьмого, когда с уличных трибун он обучал революционных неопитов ненависти к наживе и материальному комфорту. Ему давно удалось окопаться в одной из самых уважаемых газет, известных своим левым конформизмом, он жил в самом роскошном районе столицы, имел виллу на Лазурном берегу, одевался у лучших портных, вспоминал о заблуждениях туманной юности со снисходительной усмешкой преуспевающего буржуа, но от слабости к менторским поучениям так и не избавился. Время от времени наезжая в Москву в качестве корреспондента, он вывез оттуда русскую жену вместе с тещей и на этом основании считал себя большим знатоком России. Спорить с ним было бессмысленно, любой довод или факт он отводил неотразимой ссылкой: "Я знаю это из первоисточника". Его первоисточником была обслуга "Метрополя", где он обычно останавливался в Москве, а в лучшем случае жена и теща. Тем не менее, статьи Даниеля о российских делах считались среди здешней элиты блестящими, и мало кто осмеливался ему возражать: газета, которую он представлял, могла испортить репутацию если не самому Иисусу Христу, то Папе Римскому без особых усилий. Его геморроидальное лицо вечно рассерженного карлика выражало неизменный вызов собеседнику: "Ну, что ты еще можешь мне сказать, чего бы я не знал?" Он смотрит сейчас на меня в ожидании возражений, но я, помня о его патологической мстительности, предпочитаю согласиться: "Разумеется, самоубийство, к этому все шло". Колючие брови француза удивленно вздергиваются, в здешних компаниях я его постоянный оппонент, поэтому он явно не готов к такой уступчивости с моей стороны, даже заметно несколько смущен этим. "В России что-то меняется, вы не находите? — Отходя, благосклонно роняет

он. — Заглядывайте как-нибудь в редакцию, потолкуем". Я смотрю ему в его костлявую спину и думаю о том, какой мусорной публике в наш век отдана на растление человеческая душа, какому крикливому плебсу дана власть направлять ход событий и от каких ничтожеств зависит часто наша судьба.

"Мотаем отсюда, Мишаня, — одними губами складывает слова Вадим, — они здесь до ночи толкаться будут". Мы прощаемся с мэтром и вскоре уже сидим в ближайшем кафе за первой похмельной или, как это зовется у аборигенов, аперитивом. "Ты думаешь, это выход? — Требовательно заглядывает мне в глаза Вадим. — Только честно?" "Если хочешь честно, то не знаю". "Зачем тянуть, когда уже ясно, что впереди одна фишка «пусто-пусто»?" "Не жди от меня советов по этой части, Вадим, все равно не дам". "У кого же мне еще спрашивать?" "Тогда спроси чего-нибудь полегче". "Полегче я и сам себе могу ответить, — глаза у него страдальчески увлажняются. — Я для себя решить хочу!" Мне становится мучительно жалко его. "Ты же талантливый парень, Вадим, — говорю я, — пиши, помнишь, что о тебе Чуковский сказал?" Вадим вдруг отодвигает от себя фужер и встает. "Понял, — говорит он, и подбородок у него вздрагивает, — бывай здоров, Мишаня, спасибо за совет". Я не задерживаю его, это бесполезно, упрямства в нем еще больше, чем уживчивости, уговоры на него не действуют. Бедный пацан! Я все-таки был достаточно подготовлен к тому, через что мне впоследствии пришлось пройти, а на него лагерная судьба обрушилась сразу, в одночасье, он оказался не в состоянии вместить ее в себе, переварить, слиться с нею, и она раздавила, сплющила в нем его едва оперившуюся душу. Он уходил от меня, может быть, навсегда уходил, а я не знал, как и чем ему помочь, и от этого своего бессилия мне самому хотелось расплакаться. Наверное, Вадим прав: неподъемно для человека отделаться от своего прошлого, пересказав это прошлое на бумаге, оно все равно вернется к нему и будет терзать его до конца дней, да, глядишь, и после этого. Но жить с этим наедине я тоже уже не могу...

\* \* \*

И новый звонок с утра. Я поднимаю трубку и не верю своим ушам: Серега! "Ты откуда?" "С аэродрома". "Ты сможешь меня найти или за тобой приехать?" "Авось не тайга, — не заблужусь". И голос все тот же — густой, ровный, без окраски. "Тогда жду". В первую минуту я даже не соображу, с чего начать: то

ли заняться уборкой, то ли бежать в магазин. От растерянности я бесцельно мечусь по дому, хватаюсь за все сразу и все валится у меня из рук, будто намыленное. Мне еще трудно представить, что вот-вот, через какой-нибудь час-полтора я увижу Сергея живым и буду разговаривать с ним. Ощущение невсамделешности случившегося мешает мне сосредоточиться.

Дверной звонок застает меня в самом разгаре моих приготовлений. Мы стоим с ним по обе стороны порога и молча смотрим друг на друга, забывая даже поздороваться, словно каждый из нас пытается разглядеть в другом что-то такое, чего он раньше не видел или не замечал. Серега слегка раздался фигурой, но, раздавшись, как бы осел ростом, еще больше ссутулился и как-то отвердел лицом, а в остальном почти не изменился, выглядит таким же, каким запомнился мне в последний раз. "Здорово, Мишаня, — наконец неспешно приваливается он ко мне, обнимает, ласково похлопывает по спине, — помнишь, как в лагере пели: "судьба играет человеком!" Не забыл?" "Эх, Серега, — мысленно сокрушаюсь я, — если бы я умел забывать, мне легче бы было жить!" А вслух говорю: "Нашла себе игрушку, у меня от ее шуток уже кости трещат, ей бы себе другое занятие подыскать, я бы хоть оклемался малость, а то совсем заиграет". "Что так, не везет?" "Иной раз поневоле взвыть хочется: роди меня, мама, обратно!" "Не паникуй, Мишаня, прорвемся". "Куда, дальше некуда — земля круглая". За этим разговором мы садимся к столу и я наливаю по первой: "Ну, первую, по традиции, со свиданьем, — я продолжал жадно приглядываться к нему, — вторая сама назовется". "Давай без тостов, — вяло откликается он, — проще пьется". И за этой вялостью сразу безошибочно угадывается его внутреннее напряжение, которое он пытается унять первыми попавшимися словами. Но я не выдерживаю тона и принимаюсь рассказывать ему все, как есть...

## КОШКА ПОД ОКНАМИ КАЗАРМЫ

### 1. СТАРШИНА

В роту прислали нового старшину. Он был украинец, дубок метра под два, с непослушными, вьющимися прядями над лбом, с карими глазами. Силы впечатляющей: гнул подкову и завязывал кочергу узлом, а потом развязывал. Подкову он носил при себе и демонстрировал силу. И голос был подобающий: густой, властный, однако с капризом. Про нашу часть он был наслышан, но робости не выказывал, — ему уже приходилось заниматься усмирением в соседнем отряде. Там он заслужил репутацию страшного старшины. Верно, оттого его и прислали к нам. И он сходу взял быка за рога.

С появлением старшины нас будили на полчаса раньше, что квалифицировалось как нарушение устава, но никто не смел протестовать. В любую погоду, в дождь, в слякоть или мороз, роту выгоняли на двор делать зарядку. В столовую, из столовой, на работы, с работ, на занятия, в клуб, в кино и обратно мы передвигались только строем. Опаздывающих в строй или уклонявшихся от строя строго наказывали. Невыполнявших нормы посылали дорабатывать после ужина. Иногда заставляли вкалывать и ночью. Недовольного взгляда было достаточно, чтобы схлопотать наряд и после смены упираться еще и в казарме. Наряды сыпались, как из рога изобилия. Свободного времени не оставалось. Субботние увольнения запретили. А

---

**Юрий  
ГАЛЬПЕРИН**

— родился в Ленинграде /ныне Санкт-Петербург/. Учился на историческом факультете Ленинградского университета. С 1979 г. живет в Швейцарии. Автор романов "Мост через Лету" (1981), "Русский вариант" (1987), сборника "Играем блюз" (1983). Все книги Ю.Гальперина изданы за рубежом.

по воскресеньям рота занималась строевой и политической подготовкой, драйла полы или сгребала снег.

Офицеры устарились. Они делали вид, что ничего не происходит, ничего особенного, — отношения старшины и личного состава не их дело. А сержанты сразу взяли его сторону. Они держались заодно. Сержанты обнаглели: после отбоя в ленинской комнате дурачили тех, кто роптал, кто выглядел недовольным или казался опасным. Попадало и просто хмурым — старшина требовал, чтобы мы выглядели бодро. Тут он перегаул.

Нам и прежде жилось не слишком весело, но зато вольготно. С появлением этого дылды отпала охота улыбаться. При случае мы посмеялись бы. Однако время не настало. Надо было перездать. Выбрать момент, и тогда уже порадоваться вволю.

Рота затанцовалась.

Старшина лютовал. Он разгулялся во всю. Каждый вечер приводил на ужин последними, — нам доставались стылые обеды и холодный чай. Телевизор унес к себе в каптерку. Собрал по тумбочкам книги и велел дневальному отнести их в гарнизонную библиотеку. "От чтения лень и разврат. Потому и падение дисциплины". Объяснение было коротким и наглым. За версту пахло подвохом. И спорить никто не стал. Но покорности он не обрадовался. В покорность он не верил. Наше молчание настрожило его. Он чуял, в роте растет мрачное сопротивление, что-то готовится. Старшина занервничал, но поступил правильно. Он начал первым. Он всегда действовал верно.

Спиридонова вызвали в ленинскую комнату и разбили ему лицо. Медведику выбили зуб. Блиндин после ночного разговора все воскресенье кряхтел и отлеживался на койке. Его не трогали. Но в понедельник утром подняли пинками и после развода погнали на работы в тайгу. Потом настала очередь Чистякова и Валеры Алкаша. "Кайф, ребята, — сказал утром Алкаш, улыбаясь разбитыми губами и морщась от боли, — самое неприятное позади".

Славка Толстобров явился сам, когда прослышал, будто и до него добираются. Узнав, что капитана в казарме нет, он без вызова заглянул к старшине в канцелярию, когда тот был один. Он вошел молча, встал у двери и опустил руки, чуть согнув в локтях. На гражданке он был боксер-разрядник и ударил хорошо. Старшина поднялся с полу, сплевывая кровь. Он больше не размахивал руками, как деревенщина. Славка успокоился и

хотел уйти. Но когда он повернулся, старшина бросился со спины, сбил его и стал рвать на нем гимнастерку и пинать ногами. Прибежавшие на шум сержанты еле отняли у него Толстоброва. Они приволокли его в спальное помещение и бросили на пол в проходе. Рота молчала. Койки заскрипели в синем мертвенном свете ночной лампы. Но никто не сказал ни слова. Никто не встал.

Через несколько дней старшина вызвал меня.

— Питерский? Культурный, значит? — начал он без предисловия, и густые метелки его бровей выгнулись. — Сочиняешь?

Я молчал — пусть сам ищет повод.

— Знаешь, что с такими бывает?

Я догадывался в общих чертах и думал о том, чтобы успеть дотянуться до рукоятки ножа, засунутого в сапог.

— Ни хрена ты сочинять не умеешь, — вдруг ослабился он.

— Переписываешь из журналов заграничных... Денежки-то, небось, в газете делите?

От удивления я позабыл о финке.

— Мы тебя еще проверим, этот журнал — неразрешенный. Солдатам нельзя читать иностранное.

Тут я понял: он рылся в чемоданах, сданных в каптерку. У меня там хранились номера "Иностранной литературы" за последний год и пишущая машинка, старенькая "Оптима", купленная у знакомого газетчика из Кандалакши.

— Замполита издание это не радует, — согласился я. — Но журнал московский, он не запрещен.

— Где берешь? В киоске таких нет.

— По подписке.

— Ловко! — восхищение мелькнуло в мутных окошках его глаз. — Много наворовал?

Деньги, вот что его зацепило. Дались они ему. В городской многотиражке за рассказ платили по десятке, что считалось даже неплохо. Но он, видимо, все это себе представлял серьезнее, иначе чего бы ему, с его окладом и "полярками" считать солдатские гроши.

— Пропиваешь или матке шлешь?

Тут он был прав: и первый гонорар, и второй, и все последующие мы шумно пропили. Было что вспомнить. И я усмехнулся.

Старшина посмурнел лицом и даже скривил губу. Я понял: сейчас начнется; повернулся чуть, подставив плечо. Я напряг шею, чтобы не разбить затылок о стену. Но он медлил. Тогда я отстегнул браслет и протянул одному из сержантов часы.

- Подержи.
- На что? — спросил он.
- Разобьются.

Хоть часы целы будут. И у одного руки заняты — все меньше достанется.

— Ладно, — вяло сказал старшина. — Ступай. Машинка нехай лежит, а журналы я пожгу.

Я забрал часы из рук сержанта и вышел. Ребята спрашивали, почему так тихо было и даже потрогали мои скулы и бока, вроде убедились во всем сами, но никто не поверил, что меня не били совсем.

Рота ждала своего дня, часа. Все чувствовали, что-то готовится. В обсуждении плана принимали участие несколько человек. Их ни о чем не расспрашивали. Их не уполномочивали, но все знали, как они решат, так и будет.

Лупить старшину, устраивать темную — навряд ли это помогло бы. Мы понимали. Он оклемается и станет только лютей. Он перекроет нам краны. А зачинщики, когда кончится дознание, — или кто-нибудь вместо них — пойдут под суд. Старшину надо было убрать.

Тайга большая. Озеро хранило тайны еще лучше. И по пьяному делу любой мог провалиться в полынью. Ничего другого не оставалось. И через несколько дней план был готов. Но случай распорядился иначе.

Вышло так, что однажды вечером рота странно повела себя на проверке. Видимо, нетерпение начало переливаться через край. Страх затмился пьянящим предчувствием расправы, близкой, желанной. Шеренга волновалась, гудела. Кто-то закурил в строю, затянулся и передал дальше соседу. Безобразия вопиющее.

Старшина учуял табачный дым, но сержанты курильщиков не обнаружили. Они заметались, как псы, вдоль строя, но не приметили никого, не нашли.

Старшина ревел. Широкий рот в крике открывался от уха до уха. Бас его перекрывал гул и ропот, но не мог подавить смуту. Тогда он вывел роту во двор, без шинелей и шапок заставил пройти маршем по дороге вдоль соседних казарм. Он рассчитывал нас остудить, успокоить.

Ночь была прозрачная, морозная. В вышине гуляли, перекатывались по небу зеленоватые всполохи, а это всегда к лютым холодам. Огромные звезды дрожали, как яблоки, в черно-фиолетовом небе. Свет их — острый, опасный — вымора-

живал землю и все на земле. Звездный свет вымораживал души, и не оставалось в них ни страха, ни жалости.

Шеренга жестко печатала шаг. Снег сухо скрипел под сапогами. Пар от дыхания соединялся в облачко над непокрытыми нашими головами. В легких покалывало мелкими иглами. И отрезвляюще пощипывало уши.

Мы маршировали строем по укатанной заледенелой дороге. Трудно было держать равнение и тянуть ногу.

— Левуй, — хрипел старшина. — Левуй... Ать, два, три... Левуй!

Ему было жарко от ярости. Он топал рядом в ушанке и ватном спецпошиве.

В это время военный комендант подполковник Иващенко шел от столовой в сторону офицерского клуба. Он увидел нас и остановился в изумлении.

Подполковник Иващенко устал от наших проделок. Он даже запрашивал округ, чтобы прислали нормальных строителей, но командованию это почему-то не представлялось возможным: в конце концов, где-то мы должны были дослуживать. Не было коменданту покоя из-за воровства, драк, и пьянок, и самовольных отлучек. На гаупвахте не хватало мест для летчиков или ребят из БАО, камеры были переполнены штрафниками, особенно в плохую погоду, в сильные морозы, в сильные холода — на образцовый губе у Иващенко кормили нормально, да и всяко лучше было, чем на работах в тундре или в тайге, или ночью в продувном бараке нашей казармы, где сифонило изо всех щелей, ведь рассчитана она была на южные районы, где не бывало настоящей зимы.

Старшина тоже увидел коменданта. Он гордо приосанился. Он был фасонистый старшина, сапоги носил такие, что не на каждом офицере заметишь, а ватник и шапка сидели на нем, как на щеголе с уставного плаката.

— Р-р-р-авне-нье на праву, — скомандовал старшина. — Смирр-на! — и неожиданно добавил. — За-а-пе-вай! — очень уж хотелось ему блеснуть перед комендантом.

Рота лихо ударила шаг. Наверное, так красиво, с шиком мы еще ни разу не ходили. Переминаясь в новых валенках с ноги на ногу, подполковник замер в снегу на бровке дороги. Старшина напрягся:

— За-а-пе-вай!

Рота игнорировала приказ, — кому охота драть горло в такую холодрыгу.

— За-а-певай! Нечистая сила!

Передняя шеренга смутно заколебалась, но продолжала топтать молча. И тогда из середины раздался высокий, звонкий, отчаянный на морозе голос Саньки Чистякова:

"Са-а-бака..."

И рота дружно поддержала, затянув отрядную:

"Собака лаяла на дядьку фраера..."

Мы проорали первый куплет даже неплохо. Но комендант вытаращил глаза, а старшина, скользя кожаными подошвами по льду, обогнал колонну и страшно засипел:

— Отставить! Стой!... Приставить ногу!... Кру-у-гом!.. Ша-а-гом аррш... Запевай! Запевай боевую, вашу мать!

Мы сделали несколько шагов молча и грянули на весь гарнизон нашу самую боевую и любимую песню:

"Алю-улю, пизда рулю, спокойной ночи..."

Мы запзли ее, не сговариваясь.

Комендант кричал на старшину, требуя прекратить безобразие. Старшина орал на нас. Но мы пропели до конца, лихо ухнув в финале, и встали на дороге, как вкопанные. Встали сами, без команды. Команды уже не требовалось.

Комендант Иващенко, укутанный и упругий, как мячик, подкатился к шеренге. Лицо его, всегда румяное и свежее, в тот момент пунцово рдело от гнева, а брови на добром круглом лице угрожающе сдвинулись.

— Старшина!.. — тонко закричал он. — Рота, смир-на!.. Старшина, три шага вперед. Объявляю вам десять суток ареста от коменданта гарнизона...

— Есть, — рявкнул старшина.

— За анархию и издевательство над строем.

— Есть, — гулко отозвалось утробное эхо.

В тот же вечер молодая быстроглазая жена старшины прибежала из военного городка, принесла теплое белье про запас и еще что-то, целый сверток. А через полчаса приехала машина с офицером комендатуры, чтобы отвезти старшину на губу. Сержанты притихли и объявили отбой без проверки. Они заперлись в каптерке и не спали всю ночь. Но никто их не тронул. Разобрались с ними утром, в лесу. С того дня они стали, как шелковые.

Старшина отсутствовал долго. Говорили, что на гауптвахте лично комендант занимается с ним строевой подготовкой и заставляет петь на морозе. Впрочем, на Иващенко это было не похоже. Отводил душу кто-то из молодых лейтенантов, недав-

но присланных из училища. Старшине пришлось там несладко: видимо, он пытался качать права или буянил и таким макаром заработал дополнительный срок — отсидел в общей сложности три недели. После "губы" старшина слег в госпиталь. Он скопытился с непривычки и болел целый месяц.

Зима шла на убыль. Начались оттепели. По утрам солнце заглядывало в окна барака, будило до подъема. И несмотря на тяжесть снежной шубы, придавившей, сгладившей, заглушившей ландшафт, с каждым днем становилось ясно: эту зиму мы пережили, перетергели — дышалось ровней и шагалось легче, словно бы невидимая ноша свалилась с загорбка.

Однажды утром старшина вернулся в казарму. Ожидание растеклось по бараку. Люди притихли.

Зарядку проделали нормально и в положенное время. Сходили на завтрак. Развод прошел спокойно. А вечером, когда офицеры ушли старшина скомандовал построение в коридоре.

Мы стояли в шеренгах. Молчали. Кто-то засмеялся, ненатурально и вызывающе, но его оборвали. Старшина тоже молчал. Он расхаживал вдоль строя — четыре шага вперед, три назад. Скрипели сапоги. Наконец он поднял глаза и повернулся к роте. Мы увидели его лицо. Злобы не было в нем.

— Похоже, я вас понял, — выговорил он отчетливо, но не вполне уверенно. — И вы меня поймите. Деваться некуда. Надо служить. Нам вместе долго служить...

С того дня установился мир. Конечно, разное случалось. Иногда случалось и совсем плохое, из рук вон. На то и стройбат. Много чего произошло с тех пор. Но старшина больше не издевался ни над кем и никого не закладывал начальству. Даже в самых серьезных случаях он старался бедолагу отмазать, устроить так, чтобы не дошло до трибунала. А если двигал кого в лоб, то по большей части за дело или когда уже никакой управы не мог изобрести. И мы, по-своему, тоже старались его не подводить.

В общем, наш старшина оказался не самым плохим. Иногда он даже поддавал с солдатами, и хотя, как многие хохлы, слыл за жмота, случалось, лично выставлял выпивку. Однажды мы вместе с ним увели машину дров у ракетчиков, а перед дембелем наведывались к лопарям за пыжиковыми шапками. С лопарями у него был контакт, они принимали его, как родного, и шапки нам подбирали классные.

На мой счет старшина долго колебался: питерский студент, стишки ехидные сочиняет. В том, что я ворую рассказы у иностранцев-дураков и продаю в городскую газету, он был уверен.

Но однажды — последней зимой — мы вдвоем поехали в Кандалакшу за новыми валенками. Дорога шла через Монче Тундру, и за перевалом, на плато Освумчорр грузовик встал, заклинило движок — полетела головка цилиндра. Помощи ждать было неоткуда. Мы ночевали на заледенелом шоссе. Мороз стоял за тридцать градусов, без рукавиц пальцы прилипали к металлу, и болгарское вино "Рубин" начало замерзать в бутылке.. Оно стало бледно-розовым, в нем колыхались беледые сгустки.

После первого глотка у меня защипало небо, слизистая оболочка во рту облезла, как от ожога. Надо было согреть вино прежде, чем пить. Мы облили бензином и сожгли запасное колесо, а затем сняли еще два ската с заднего моста. Кожаное сидение вытащили из кабины на дорогу и уселись перед жарким костром, поочередно грея то спину, то живот. Колес было жалко до слез, новая почти резина, и в тех условиях дефицит. Но без огня, долгого и сильного, мы не продержались бы до утра в тундре, где все было погребено под снегом, а вдоль обочины светились волчьи глаза.

Спасательные эти работы мы проделали не разговаривая. Кряхтели, сопели, матерились. А потом сидели, тупо уставившись на огонь. Отогревали вино. Говорить было не о чем. Если бы не мерзла спина, я выпил бы свою долю и заснул. Поэтому вопрос старшины огорошил меня:

— А ты знал, что мне ротой уготовлено было?

Он выглянул из-под бровей и остановил на мне медвежий свой взгляд: маленькие, круглые, неожиданно теплые глазки — не понять было, что таится за ними.

— Знал.

Я отвернулся и ждал, что он сделает: проглотит? Подавится или утрется? Встанет, попробует сгрести меня в охапку, бросится без предупреждения? Я сказал правду: о затее мне было известно. Доподлинно. Но в круг организаторов я не входил, держался в тени. В исполнении участвовать не собирался. И уточнять, в чем состояла моя роль, не хотел.

— Здорово рассчитали: доискиваться никто и не стал бы... Командиру части разве охота, чтобы на него опять собак вешали. Ему и так уже под завязку... Списали бы как несчастный случай.

Старшина оглянулся вокруг и кивнул в сторону волчьих глаз, блеснувших за кривыми березами:

— Зверей не боюсь, а людей вот испугался. На всю жизнь.

Он опять помолчал и упрекнул меня словно бы через силу:  
— Твоя была затея...

Ему хотелось высказаться начистоту.

— Я ведь знаю, из какой части тебя к нам прислали. И чему там учили, догадываюсь.

— Забудь.

Он усмехнулся, утверждаясь в правильности догадки.

— Сам-то можешь забыть?

— Стараюсь.

Вино оттаяло и стало кислым. Мы допили и придвинулись друг к другу, так было теплей. Наши лица пылали от жара костра, брюки на коленях начали дымиться, а спины покрывались инеем. Когда терпеть становилось невмоготу, мы, не сговариваясь, пересаживались спиной к огню и снова жались друг к другу.

— Ладно, — сказал старшина примирительно. — Дело прошлое... При случае, и я бы тебе не спустил, — и добавил. — Теперь уже не помню, чего на тебя взелся?..

— Год прошел, на кой вспоминать.

Но старшина рассудил иначе:

— Разные мы между собой, вот чего, — сказал он. — Далекие. Оттого и жалости нет. Люди, они волков опаснее. Те один другого не жрут.

— Случается.

— Именно что: им особый случай нужен. А люди — запросто.

В ту ночь мы друг другу много чего поведали, и я узнал, что Марьян, — так звали старшину, — родился на Буковине в конце войны, не помнил ни отца своего, ни матери, неизвестно было, откуда он такой вообще взялся, и где сгнули родители. В лесной деревне, у чужих помыкаться ему выпало вдоволь, пока не призвали на военную службу. Другой хорошей жизни он не знал: тут его одевали и кормили, за человека считали, то есть щедро платили деньги и дали власть — чего же еще...

Утром нас разыскал патрульный вертолет.

Первое, что мы сделали по возвращению в часть, это отправились в баню. Старшина приволок березовые веники и пиво, купленное в офицерском магазине. Пиво было из Мончегорска — чуть сладкое, но свежее и холодное, совсем неплохое пиво. Мы взобрались по выскобленным доскам на самый верх и парились до изнеможения: хлестали друг друга размоченными ветками с безжалостной нежностью.

В тот вечер я улегся на койку пораньше — никого не предупредив, не спросив, — и уснул задолго до отбоя. На проверке старшина пропустил в списке мою фамилию.

А через несколько дней он вдруг подошел, когда рядом никого не было, и осторожно спросил:

— Дашь почитать?

Отбояриться было невозможно. И я написал для него этот рассказ.

## 2. ПРОСТО РАССКАЗ

Однажды утром Докушев подобрал на льду кошку, она бродила неприкаянно по замерзшим листьям и лужам. Ночью кошка кричала под окнами казармы. После подъемам Докушев выбежал на крыльцо первым. Если бы не он, ее убили бы невыспавшиеся солдаты.

Всю неделю без остановки лил дождь. А потом ветер с океана разогнал облака, и тогда вдруг ударил мороз, неожиданно сухой и крепкий. За одну ночь раскисшую землю сковало звонким панцирем. Утро было прозрачное, ясное небо над лесом сияло синевой. Голодная кошка бродила перед крыльцом, осторожно поджимая обмороженные лапы, и хрипло мяукала. На руках у Докушева она смолкла.

После завтрака Докушев с дружкой своим, Володей Медведем, накормили кошку сырой рыбой, украденной из столовой. Кошка осталась в казарме, а мы ушли на работу. Вечером Докушев нашел ее в своей койке. Она спала на сером одеяле. Она отогрелась, привела себя в порядок и оказалась пушистой.

Я тоже поделился с ней ужином, принес вареное сало, но она была сыта — днем наловила в каптерке мышей. Эта охота расположила старшину роты: он признал полезность твари и позволил ей поселиться в казарме на вечные времена.

После отбоя, когда раздетый Докушев, поеживаясь от холода, вспрыгнул наверх и забрался в свою постель на втором ярусе, расправил бушлат, укрыл им ноги, натянул одеяло до носа, выгнулся, свернулся клубком, снова выпрямил ноги и, поворочавшись так, закрыл глаза, готовый к привычной пустоте осенней бессоницы, кошка пришла к нему. Она улеглась возле головы на подушку и тепло заурчала. Под ее мурлыканье он уснул быстро и хорошо. И до утра спал спокойно впервые за много дней.

У кошки не было имени. Солдаты называли ее по-разному, но она не откликалась ни на одну из дюжин кличек и бежала только на голос Докушева, когда он звал ее: "Кис-кис-кис..." Отношения с ребятами у него сложились нормальные, лучше нельзя было и желать, но то, что кошка выбрала хозяином именно Докушева, странным образом укрепило его авторитет: она спала на его подушке и сидела только на его плече.

Теперь с работы он возвращался в казарму, как домой. Может быть, потому, что его там ждали. Сбрасывая рабочую одежду на ходу, Докушев бежал в спальное помещение и всегда находил кошку на своем одеяле. Говорят, кошка — символ непостоянства. Она приоткрывала узкий глаз, подставляла шею, мурлыкала и от удовольствия покусывала ему палец.

За то время, что она прожила рядом с ним, Докушев завязал с пьянством, прекратил ходить в самоволки, прилежно работал, почти не нарушал дисциплину, спокойно спал и не писал писем. За три года военной службы это был месяц благоденствия. Но в ноябре все кончилось.

Бригада бетонщиков решила отметить праздник. Бетонщики были рослые северяне, белокурые, чуть слишком спокойные парни из-под Архангельска и Вятки, они хорошо работали, отличались исполнительностью и полным отсутствием чувства юмора. В роте их прозвали "вологодский конвой".

Закуску они приготовили заранее и спрятали в тумбочку. Выставили дозорного у двери в коридор и уселись на койку внизу, недалеко от меня. Водку разливал Блындин, розовощекий ефрейтор, отсидевший срок за поножовщину. Разделив, он оставил порожнюю бутылку. И дальше все произошло очень быстро.

Блондин выпил водку, звякнул кружкой о табуретку и заглянул в тумбочку, где лежала колбаса. Из тумбочки выпрыгнула кошка. Она облизывалась. Блондин схватил зверя и швырнул в проход. Кошка ударилась об угол стальной койки головой, упала, задергала лапами. Через десять минут она умерла. Утром ее кто-то повесил на колесе трактора.

Кошка была замечательная: маленькая, абсолютно черная. Глаза блестящие, как пуговицы. Она была дикая и любила кусать за пальцы.

Это случилось шестого. Следующий день был нерабочий, и после митинга многие получили увольнительные. Ребята звали Докушева в город, но он не поехал. Докушев остался в казарме, и Фридман два раза обыграл его в шахматы, а Медведь

три раза поборол, когда мы все возились на койках. Остаток дня Докушев просидел в углу, он не завтракал и не обедал. Я поспал полчаса, сходил в столовую, а потом со всеми строем в кино. Докушев сидел один. Я позвал его в библиотеку, и он пошел со мной. Но читать ему не хотелось: все вдруг стало неинтересно.

Он попросил у старшины стальную лопату. За баракком, на опушке соснового леса, в мерзлом снегу выкопал глубокую яму. До земли не дорылся, но это было неважно, зимой землю лопатой не возьмешь. Потом отнес туда кошку, на холоде она заоченела и не сгибалась. Он забросал яму снегом, навалил сверху несколько ледяных глыб и только тогда вернулся в казарму.

Вечером ему сделалось тошно. Он признался, что уже третий месяц не получает вестей из дома. К праздникам каждый из нас рассчитывал на письмо. Почта пришла, но для Докушева ничего не было. Весь вечер он торчал у телевизора, смотрел спортивную передачу: соревнования гребцов. Ему почти удалось уйти от навязчивых мыслей, но после отбоя он долго не мог уснуть. И ночью проснулся с головной болью... Что такое пустота?

Разбираться с Блындиным было бессмысленно. Мстить — то же, что мстить наступившей на тебя корове. Докушев очень старался отвлечься и не вспоминать. Он честно старался, и ему это почти удалось, но временами — очень редко, все реже и реже — накатывала вдруг досада, а за ней неукротимая злоба, от которой становилось жарко, и тогда хотелось расстегнуть воротник. Если Блыдину в такие минуты случалось быть рядом, он начинал озираться и, замечая Докушева, отходил в сторону. Ему тоже было не по себе.

Перед Новым годом обе наши бригады поставили на монтаж перекрытий огромного ангара, и однажды Докушев и Блыдин оказались рядом под бетонными сводами высоко над землей. Монтажные пояса, предохранявшие от падения, сильно мешали: в них неловко поворачиваться. Чтобы сподручнее было укладывать балки в предназначенные пазы, мы их обычно отстегивали. От сосредоточенных усилий оба сопели, пот заливал глаза, им было не до того, чтобы пялиться друг на друга. Но когда, закрепив очередную плиту, Докушев перешел на новую позицию и глянул вниз, голова в затертой ушанке, из под которой, словно перья, торчали белые растопыренные лохмы, оказалась совсем близко, почти под ним, и он понял, что может легким пинком, простым толчком ноги сбросить Блыдина с выступа, если тот приблизится еще хотя бы на шаг. От мысли

такой перехватило дыхание. Докушев ни о чем не размышлял, ни к чему не готовился и ни на что не решался, а просто вдруг понял, что сейчас сделает это. Совершит.

Блындин поднял брови и вздрогнул. Он сразу догадался. Маленькие глаза его округлились, как у кошки. Докушев не отвел взгляда, и, смешавшись, Блындин сделал шаг. Но шагнул он не вперед, а попятился. И оступившись, запрокинулся вдруг и сорвался с перекрытий, полетел вниз, переворачиваясь в воздухе.

Звук от удара был мягкий.

Преодолевая головокружение, я сел на зеленелую балку напротив Докушева, свесив ноги, и, держась одной рукой за стальную проволоку, смотрел, как из разных углов бежали в середину ангара люди. Блындин лежал на бетонном полу, бесформенный, как мешок со стекловатой.

Ночью он умер в госпитале.

Его родители — бедные колхозники — согласились похоронить сына в гарнизоне. О том, чтобы гроб с телом перевезти на деревенское кладбище, не было и речи. Отец и мать приехали на похороны в Заполярье. Дорогу оплатила воинская часть.

Докушев на похоронах не присутствовал — напросился в наряд. Он не пришел ни в госпиталь, ни на кладбище и не интересовался местом, где закопали Блындина.

Работы на ангаре приостановились. А через месяц нас перекинули на другой объект: на голой вершине безымянной сопки мы должны были в короткий срок смонтировать стальную ажурную башню под антенну. Там, на оглушающей верхотуре, продуваемой зимними ветрами со всех направлений, никому не приходило в голову отстегивать монтажные пояса — в меховых рукавицах пальцы мерзли так, что трудно было удержать ключ. Вокруг, сколько видел глаз, выгибались заснеженные спины сопки. Короткие штрихи низкорослого леса только усиливали белизну. И, чтобы не потерять себя в белом безмолвии, чтобы избежать его ледяного проникновения в душу, Докушеву приходилось сосредотачивать внимание на простых, обыденных, сиюминутных делах.

Новые заботы вытеснили из памяти прошлогодние, и он забыл свою досаду. Жизнь наладилась. Снова стали приходиться письма из дома. Но он отвечал на них редко, не то, что прежде. Он забыл Блындина и кошку тоже забыл. Такие вещи его больше не трогали. Докушев выбросил их из головы, чтобы не возвращаться к этому. Долгие годы он пребывал в уверенности,

что все прошло, все в прошлом — исчезло и растворилось без следа, без остатка. Но Докушев был молод и не знал еще, что после каждой потери образуется пустота. Можно, конечно, забыть, можно отвлечься, но пустота остается, даже если не помнишь о ней. Она как бы таится под сердцем — прячется там, чтобы когда-нибудь напомнить о себе в самый неподходящий момент...

### 3. ЛОПАРСКИЙ ПОСЕЛОК

Машина дров стояла тогда шестьдесят рублей. За самосвал давали сорок: кузов короче. Пыжиковую шапку лопари уступали тоже за сорок. Оставалось два червонца, но отдавать их никто не собирался.

— Привезите еще, будет две шапки, — сказала лопарка. — Каждому.

У Спиридонова уже имелась лисья шапка на дембель. Федя Панов брал себе эту. А Тиме не полагалось. Он отслужил только год. Ему предстояло еще тянуть и тянуть. Да и парень он был не из запасливых.

— Две красненьких, — хрипло сказал Федя Панов. — Гони червонцы, и хоре бакланить.

Маленькие глаза его остановились и сблизились. Он как бы прицеливался. Капюшон был надвинут низко на лоб. Пар от дыхания оседал на усах, побелил брови. Панов был тяжелый, как статуя. И хотя он стоял неподвижно, снег скрипел под валенками. Если Федя спрашивал двадцать копеек на станции Оленья, ему давали полтинник. Но на женщину ни его бас, ни фигура не производили впечатления.

— Может, шкурку вдобавок возьмете? Хорошая, песец.

— Бабе? — Саня Спиридонов скосил глаза на Панова. — На воротник согдится.

Он был шофер — ноги сейчас у него мерзли в сапогах, да и мотор быстро остывал на морозе.

Тима тоже посмотрел на Панова с надеждой. Он помнил смуглую, черноглазую, с золотыми, выгоревшими под кубанским солнцем косами, худенькую казачку, навестившую Федю летом, — редкий случай, чтобы жены в такую даль приезжали повидаться.

— Обойдется, — сказал Панов и с тоской оглядел двор, заваленный мерзлым лесом.

Торговаться надо было раньше, машину они разгрузили. Он переступил с ноги на ногу и надвинулся на женщину.

— Нет у меня денег. Нет, — сказала она. — Что хочешь забирай: шапку, воротник, малицу, чулки оленьи. А денег нет.

День выдался хмурый, морозный, короткий. С утра договорились с сержантом за бутылку, чтобы не было секи, отвалили с работы, нагрузили машину лесом на просеке, где работал чужой отряд, чужим лесом, И рванули в поселок к лопарям.

С лопарями было условлено: самосвал дров — пыжиковая шапка. Но сейчас-то привезли больше, здоровую машину. А дрова никто не брал. Деньги у лопарей не держались. И никто не хотел связываться с солдатами. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не эта женщина. Она прибежала к машине с шапкой. Пыжик понравился Панову. Она говорила по-русски хорошо, правильно, только чуть смягчая гласные. И они поверили ей, дрова сгрузили во дворе. А теперь она не хотела платить. Должно быть, деньги у нее на самом деле не водились. Оставить сгруженный лес солдаты не соглашались. И деть его было некуда. Шапку добыли, но сержант ждал бутылку, которую купить пока было не на что.

Мотор остывал. Трубки радиатора сухо потрескивали. Саня Спиридонов переминался с ноги на ногу. Он не носил валенки даже в сильные морозы, не любил управлять машиной в валенках. Прошлой зимой он подморозил пальцы. И теперь на холоде ноги болели, они быстро замерзали в сапогах.

— Нет денег, водку давай, — предложил Спиридонов.

Панов с Тимофеем одобрительно переглянулись. Они взмокли на разгрузке и уже начинали зябнуть.

— Водка хорошо, — закивала лопарка, и лицо ее смягчилось: румяные скулы раздвинулись шире, в уголках глаз побежали морщинки, а сами глаза сузились и засветились синим. — Хорошо, только...

— Что только? — грубо оборвал Федя.

— Пить здесь только, — спокойно договорила она. — У меня пить будете. В развоз не продаю, — и, заметив недоумение солдат, добавила: — Водка своя.

— Что у тебя тут, кабак? — хмуро спросил Спиридонов.

-- Кабак, кабак, — засмеялась она. — Водка своя, закуска своя, дочки две, да я сама. Хватит?

— Комплект, — усмехнулся Тима и тотчас пожалел.

— Комлет, комлет, — подхватила она. — Комлет.

Саня и Панов, не стовариваясь, двинулись к крыльцу. О дровах они забыли.

— Одну бутылку дашь с собой, — уточнил Федя. — Командиру.

— Командиру дам, — согласилась она, — командиру пожалуйста.

Тима шел сзади. На крыльце перед дверью, когда женщина вошла в дом, они остановились.

— Договоримся насчет девок, — предложил Саня.

— Увидим, тогда решим, — сказал казак.

— Когда увидим, поздно будет делить, — невозмутимо возразил Спиридонов, он был из Торжка и на гражданке работал шофером у районного начальства, так что понимал толк в делах.

И Панов согласился.

— Мне какую потолще, — засмеялся он.

— А хозяйку молодому, — засмеялся Спиридонов.

— Тетка в соку, — одобрил Федя и оглянулся на Тимофея.

— Опыту набирайся.

Тима не нашелся, что ответить. Он кивнул. Ему хотелось тепло. Хотелось посидеть за столом и выпить. Хотелось забыть, что впереди два года солдатчины, что к вечеру надо вернуться в отряд, в казарму, что утром все опять пойдет неспешной чередой. А еще год назад это выглядело иначе, казалось иначе. Теперь давнее хотелось забыть. Забыться, это было единственное желание. А лопарка и то, что ему предстояло с ней, в тот момент маячило так далеко, что ни за что бы не удалось соединить это в единый образ, в картинку, — увидеть.

Тима вошел в дом за товарищами, притопывая ногами, сбивая снег с валенок. Сеней не было, только холодный коридор, голая лампочка качалась под потолком на проводе. Он повесил бушлат на гвоздь рядом с бушлатами Панова и Спиридонова и шагнул в полутемную комнату, где хозяйка уже шустрила у раскаленной печи, заливала водой очищенную картошку, гремела чугунами и ухватом. В комнате было жарко, и если бы не голод, Тиме захотелось бы спать.

Девки оказались молодые, девятнадцать и двадцать один. Обе плотные, румяные, с льняными волосами, белесыми бровями и бледно-голубыми вымороженными глазами. Они обрадовались солдатам и быстро собрали на стол. Старшая внесла большую трехлитровую бутылку, почти полную, плотно закупоренную газетной затычкой. Младшая расставила тарелки и

стаканы, спустилась в погреб за огурцами и моченой брусникой. Ягоды яркие и крепкие, плавали в багряном соке. Обе работали ладно, быстро, толково, исподволь поглядывая на солдат. На Спиридонова и Федю Панова они глядели с уважением. Тима им не понравился.

Тима угадал это. Понял нутром, уловил безошибочно, что не нравится им. Они не принимали его всерьез. А ему они понравились. Обе. По его понятиям, красавицами они не были, но его влекло к ним. И чувство было теплое, здоровое. "Телки", — подумал он.

— Садитесь, что ли, — крикнула хозяйка, она хлопотала у плиты, за занавеской.

Федя сел со старшей, а Спиридонов на углу. Младшая бегала по комнате. Тима выбрал дальний конец стола. Он сидел там один.

Хозяйка вернулась в комнату. Теперь, без ватника и платка, она выглядела мягкой и домашней. И совсем не старой. Странно было видеть, какие у нее взрослые дочери. У печи она раскраснелась, распарилась и теперь хотела пить. Она поставила на стол фаянсовые чашки и разлила пол чашкам брусничный настой. Ягоды выплеснулись из банки и плавали в чашках.

— Запивочка, — сказала она. — Мужскую силу подымает.

Она выпила настой и налила себе еще. Потом принесла картошку в чугушке, обмотав его грязной тряпицей, и принялась раскладывать по тарелкам закуску.

— Что сидите-то, участвуйте!

Федя протянул руку и выдернул газетную затычку из бутылки. Спиридонов положил ему на тарелку огурец. Потом себе, потом Тиме. Девки обслуживали себя сами. Панов налил водки им и матери, потом друзьям. Рука у него уверенная и глаз честный.

Хлипкий стол шатался, и водка в граненых стаканах радужно сверкала. Хозяйка закончила с картошкой, накрыла чугунок и, обтерев ладони об юбку, под села на угол к Тимофею. Он ей нравился, городской и скромный, совсем зеленый парнишка. Всем это было ясно. Только Тима пока не понимал. Он сидел одиноко и ждал, когда можно будет сделать глоток и приступить к еде.

— Ну, поехали, — Федя Панов поднял стакан.

— Пора, — поддержал его Спиридонов.

Они пили и ели много и быстро. И опять пили, и наливали друг другу, и подкладывали на тарелки, и не спрашивали друг и друга имен.

— Мужика у тебя нет, что ли? — поинтересовался Спиридонов.

— Был, — сказала хозяйка.

— Был, да весь вышел, — пошутил Федя.

— Не знаю, — сказала хозяйка, — может живой.

— Как это?

Дочери молчали. Они молча жевали хлеб. Скулы у них трещали. Тима подумал, что нехорошо так прямо расспрашивать. В том не доставало деликатности. Но ему тоже стало интересно.

— Бригадира он подранил. На охоте. Ну, и подался в лес. На финскую границу. С тех пор ничего не знаю.

— Давно?

— Четыре года.

— И не поймали?

— Ни слуху, ни духу. Может, в Финляндии.

— Финны выдают наших, которые бегут, — авторитетно сообщил Спиридонов. — Норвеги, другое дело.

— То ваших, а его не выдадут.

Солдаты посмотрели на нее недоверчиво.

— Родня у него там. Спрячут.

— Ты откуда по-русски так хорошо знаешь? — спросил ее Федя Панов. Мужик, что ли, русский был?

— Саами, — она засмеялась хитро и указала на дочек. — Мать у меня русская. Ссылная. Прижилась в тундре. Пригрелась. Вышла за лопаря.

— А бригадира он, того, не нарочно? — спросил Тимофей.

— Кто ж его знает? — сказала она и задумалась, и лицо ее на секунду стало грустным. — Однако, бригадир известный гад был. Не поверит никто, что случай.

Самогонка Тиме понравилась. Она была лучше казенной водки из магазина. И казак тоже похвалил продукт, сделался пунцовым, лицо горело. Спиридонов тоже покраснел. Девушкам было весело. Они хихикали. Хозяйка подливала.

Тима не почувствовал хмеля. Ему стало жарко, он расстегнулся до пупа, но градуса не чувствовал. Он выпил еще стакан и со стеклянеющей отчетливостью сообразил, что напрасно старается — не опьянеет. Сегодня не получится. Нервы натянуты. С ним такое случалось. Это началось после госпиталя. С тех пор, как он угодил в стройбат, такое случалось уже четыре раза. Нервы слишком напряжены, и он не почувствует алкоголя, пока не свалится, пока не станет худо.

Он посмотрел на друзей и порадовался за них. Они были сильно на взводе. На женщин водка действовала меньше. Или они лучше держались. Утром они не работали на воздухе, на морозе. И питались лучше.

— А я тебя запомнил, — среди общего шума сказал Саня Спиридонов старшей сестре. — Запомнил, запомнил. Ты приходила в дивизию на танцы. В дом офицеров, а?

— Летом приходила, — сказала она.

— Что, парней у вас тут мало? Не хватает?

Она смутилась.

— С солдатами интересней?

Девушка молчала. Она покраснела больше.

— У солдата с ногтем, — смеясь, ответила мать.

Старшая сестра смешалась под смехом и взглядами. И Федя Панов обнял ее. Она спрятала лицо на его плече. До сих пор сидели чинно. Но Федя встал и поднял девушку за руку.

— Пойдем.

Спиридонов тоже встал. Он шагнул к младшей. Мать смеялась. Она тоже была пьяная. Четверо вышли в соседнюю комнату. За дверью слышались возня, притворные протесты.

Тима сидел не шевелясь.

Комната перед глазами покачнулась. Комната поплыла и остановилась. Он обрадовался. Но радовался он зря, голова осталась ясной. Тима сидел за столом и смотрел на женщину. Она подняла лицо, красное и веселое. Он остался спокоен. Она подмигнула. Но это ему не понравилось, потому что он чувствовал себя слишком спокойно. Она потрогала его за плечо. А он сидел и рассматривал ее.

За стеной дружно взвыли и заухали панцирные сетки кроватей.

Лопарка опять засмеялась. Она поднялась с табуретки, подошла к окну, задернула занавески. Он продолжал ее рассматривать. Она была симпатичная, еще не старая, мягкая и умелая женщина. Хорошая женщина. То, что нужно. "А я ее рассматриваю", — подумал Тима и понял, что ему никуда не деться.

Игорь Павлиско, смуглый гуцул из Львова, рассказывал, что в таких случаях он вспоминает другую женщину. Одну и ту же. Всегда одну. Просто старается представить, что он опять с ней. Вообразить. И если удастся, все идет путем.

Тима так не мог. У него все было иначе. Он знал, если вспомнит хоть что из прежней жизни, у него вообще ничего не

выйдет. Не получится. Он это понимал. Он сидел за столом совсем спокойно и не вспоминал. Лучше было не вспоминать.

В комнате было сумрачно. Лопарка подошла к нему сзади и обняла. Губы у нее были мягкие и вкусно пахли огуречным рассолом. И сама она опрятно пахла простым мылом и крахмалом. В комнате было жарко, и на виске у нее Тима заметил бусинки пота. Пот ее пах приятно. Тима и это отметил. Он все отмечал про себя и знал, что это нехорошо. Он чувствовал себя подло и был спокоен.

Она начала раздеваться. Она раздевалась очень быстро. "Тут нет кровати, подумал он. — Даже лавки нет." Она стояла перед ним в длинной зеленой майке. На ней была только майка, и Тима рассматривал ее крепкое короткое тело. Она подошла близко, еще ближе. Она стояла перед ним совсем рядом и не смеялась. На белом, округлом плече ее Тима разглядел шрам, круглый и старый, и она поняла его взгляд.

— Девчонкой еще. Собакахватила.

Ему стало жаль ее.

"Не могу же я делать это из гуманных соображений", — подумал он и положил руку на гладкое голое плечо. Рука у него теперь была холодная, и он сам был холодный.

Лопарка вздрогнула. Она сказала сочувственно:

— Городской. Небось, по молодым сохнешь.

Тима опять кивнул. Он встал и пошел к двери.

В коридоре он отыскал свой ватник легонький, но теплый, украденный Спиридоновым для него, для Тимы, у летчиков. Он накинул ватник на плечи и вышел во двор.

Когда товарищи в белом солдатском белье — Панов в валенках, а Спиридонов в черных хромовых сапогах — вывалились на крыльцо, Тима заканчивал складывать дрова в штабель.

— Отстрелялся уже?

— Быстро ты!

Они помочились в сугроб с крыльца и закурили папироску на двоих. Тима молчал. Они курили, и что-то доходило до них.

— Пойди сюда, молодой, — позвал Саня Спиридонов и протянул ему бычок. — На, докури.

Тима снял рукавицу и нервно затащил ее. Ему опять было жарко. От работы. Да и мороз помягчал. В воздухе редкими хлопьями кружился снег.

— Мотор не остыл? — спросил Саня, он забыл про воду и теперь спохватился, как бы не разморозило блок.

— Долил горячей, — успокоил Тима.

— Все в порядке? — спросил Спиридонов.

— Нормально.

— А ты не брешешь? — не поверил казак.

— Честное пионерское.

Солдаты рассмеялись. Они ушли в дом. Через пять минут Спиридонов, одетый, выглянул и позвал его:

— Иди, зачифирим.

Тима подобрал последние поленья. Оглядел сложенный лес, отряхнул с робы дровяную труху и снег. Он не торопился.

В комнате было прибрано. И на столе прибрано. Вокруг ковшика с дымящим варевом опять стояли стаканы. Рядом валялись две пустые упаковки грузинского чая. Женщины сидели притихшие и от чифири отказались.

Тима не смотрел на хозяйку — он был по-прежнему спокоен и делал так для нее. Она тоже старалась на него не смотреть. И водку для сержанта в пустую поллитровку переливала неохотно.

Тима сделал глоток горького чая. Ему понравилось. Он залпом выпил все. Скоро он поплыл. Он заторчал неожиданно. Это было как подарок.

Прощания Тима не запомнил. Он не попрощался. Он был под балдой и не помнил о приличиях. Иногда он хихикал. И Саня Спиридонов радовался за него.

У машины они долго возились, закрывали борта. Лопарка вышла проводить. В толстом платке, теплой кофте и телогрейке, она опять была похожа на шар. Она помахала им рукой и засмеялась. Тима был за это ей благодарен.

Снег падал больше и больше, легкий и сухой. Двор был уже белый, скрыло следы и щепки, и обломанные ветки. И грузовик белый. Но мотор не остыл.

— Что? — Спиридонов кивнул на аккуратно сложенный штабель. — Поблядовал? Тима смутился, покраснел и от смущения заулыбался, хотя было ему вовсе не весело.

— Молодой еще, — хрипло сказал казак. — Пообломается.

— Чего ж хорошего? — Спиридонов взглянул на товарища и злобно сплюнул в сугроб.

— А не обломают, человеком останется. Не то, что...

Спиридонов не ответил. Он полез в кабину. За рулем он сидел, как на троне.

— Я понимаю, — сказал Тима. — Вы не думайте.

Саня протянул ему стальную тяжелую ручку.

— Крути, молодой. Через час дороги заметет. Не ночевать же здесь.

Шоссе через тайгу было гладкое и хорошо накатанное. По снегу машина бежала уверенно. Но Спиридонов знал цену этой обманчивой легкости. Он молчал и крутил баранку. Скрипели, скребли по стеклу дворники. Панов уютно посапывал в углу кабины. Тима сидел между ними и смотрел вперед, на дорогу, на темный заснеженный лес. На белые штрихи подымающейся поэмки.

— Почему у них денег нет? — наконец спросил он. — Ведь "полярка", коэффициенты, дома им ставят.

— Вымирающий народ, — отозвался Панов. — Пропивают все. После получки не просыхают, пока деньги не выйдут.

— Это конечно, — согласился Тима, но было ясно, что он думает о другом, он опять вспомнил о своем.

— Как они могут, — сказал он.

— Не мучайся ты, — сказал Спиридонов.

— А вы? Вы ничего? — вдруг спросил Тима.

— Чего?...

— Я понимаю, — сказал он. — Нельзя отказываться. Есть вещи...

— Ничего ты не понимаешь, — пробурчал Панов.

— Это малодушие отказываться от нормальных вещей.

— А ты не бери в голову. Не бери, и все, — утешал Спиридонов.

Он сосредоточенно смотрел на дорогу и даже не повернул лица. А Панов заворочался справа, устраиваясь поудобней в углу. Тима, зажатый посередине, старался не шевелиться. На коленях он держал бутылку для сержанта и шапку.

**КРОВЬ ПАСТЕРНАКА**  
**Реквием**

/Фрагменты. Журнальный вариант/

Нет, не я вам печаль причинил.  
Я не стоил забвения родины.  
Это солнце горело на каплях чернил,  
Как в кистях запыленной смородины.

"Вот уже седею, а сосульки все те же самые,  
что и в детстве. Вон ту я, кажется, помню..."

*Из воспоминаний А.Гладкова  
о Б.Пастернаке*

Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.

*Мф. 8, 22*

1.

В годы травли однажды ночью иду по Переделкино.

... На даче, под деревьями, вчерашняя тень. Тень замерла и побежала с омутного куска земли. Из сосны надломленно зашумело.

Но это был Борис Леонидович, одинокий поэт.

---

**Иван  
ОГАНОВ**

— родился в 1943 г. в Тбилиси. Окончил Московский Институт иностранных языков. Автор романов "Песни об умерших детях", "Венок грехопадений", "Опустел наш сад" и "Песнь виноградаря осенью", напечатанных в журналах "Октябрь" и "Новый мир" в 1991 - 1994 гг.

В телогрейке из белых роз, на голове старая смешная ушанка, а глаза на дне века. Отзвуки бросились под мои ноги, как собаки.

— Это вы, Борис Леонидович? — наконец, хрипло.

Он засмеялся углами отсиневших губ. Ель черно-пахуче дымилась за его спиной.

— Ночью, что вы тут бродите? Думаете о Ларе?

Его маленькая ладонь намокла и отяжелела от снега.

Этой ладонью он смахнул с глаз детский свет.

— А я гуляю.

— Так поздно?

— Я дышу свежим воздухом. Мне врач велел.

И закутал шарфом шею.

— Днем никак нельзя. Мальчишки бросаются из-за плетня камнями и палками. Кричат: "ПУСТЕРНАК! ПУСТЕРНАК!" "ЗАРАЗА!"

— Какие мальчишки? — я был потрясен. — Откуда?

— Наши. Переделкинские.

— Из городка писателей? Дети литераторов? — допытывался я.

Но "ПУСТЕРНАК" снова принялся деликатно ходить по своей и не по своей дорожке, арестованный и свободный.

Ворона швырнула на его шапку мокрого снега. Поэт запрокинул легкую голову и радостно засмеялся.

А за оконцем, под соснами, грели ладони сыщики.

Они подстерегали ободранного, голого старика.

Чтоб их обмануть, этих невежд, старик умер.

Один другого сменяют Рихтер, Нейгауз, Юдина.

Льются медленно Скрябин, Шопен, Моцарт.

Люди входят и медленно движутся вокруг спящего.

Красноствольная сосна падает в пространство.

Пасынок поэта Стасик Нейгауз встречает монаха.

Отец Герасим заперся в келье. Отправил сюда молодого ученика.

Черная, смолистая борода. И румяные щеки.

Этот послушник готов идти под расстрел. Счастливое лицо. Он живет босыми ногами в яме. Лоб в белых парах ада.

Но лоб могучий — к облакам.

Господь ему не холодный учитель. Не профессор душевной медицины. Господь Бог не клиника духа, не белизна операционной.

Бог не белое.

Это костры, кровь, песок, святая вода, иступление.

Это грудь на тысячеголовую ЛОЖЬ.

Это умирать сегодня, умирать завтра.

Горят свечи.

Вошли в дом. Монах поцеловал скрябинскую руку в гробу.

Пахнет чистотой и примерзшими за ночь яблоками.

Этих яблок он нарвал во сне, умирая.

На столе кружка. Там молоко. Пастернак просил пить.

Ему подали кружку.

Чернец раскрыл книгу и запел серебристым и страшным голо-  
сом апостола-евангелиста Иоанна.

Дятел смолк, а затем возобновил свое крепкое постукиванье.

Дятел — символ жизни.

Монах-юноша пел. Звонко бился лед ранней поэзии

Пастернака об этот голос.

Дрогнули тонкие, чувственные губы мертвеца.

В кустах сирени сыщики сдавали смену, шепотом переговариваясь.

Подкатил американский корреспондент на белом мерседесе.

Мерз на ветке друг поэта, красноголовый дятел из Переделкина.

Каплям подобно дождевым и малии дни мои, летним обхождением оскудевающе, помалу исчезают уже! Владычице, спаси мя!..

"Я был крещен своей няней в младенчестве, но из-за ограничений, которым подвергались евреи, и к тому же в семье, которая благодаря художественным заслугам отца была от них избавлена и пользовалась определенной известностью, это вызывало некоторые осложнения и оставалось всегда душевной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а отнюдь не спокойной привычкой.

В этом, я думаю, источник моего своеобразия. Сильнее всего в жизни христианский образ мысли владел мною в 1910 - 1912

годах, когда закладывались основы моего своеобразного взгляда на вещи, мир, жизнь.

Но поговорим об этом в другой раз, или, вернее, не будем об этом говорить вовсе".

*Борис Пастернак. Письма к Жаклин де Пруайяр*

Однажды Борис Леонидович крестился вторично.

Уже не ребенком, а зрелым, входящим в моду поэтом.

Слух об этом прошел по Москве, среди литераторов.

Случилось, что в коридоре издательства, привезя свои переводы, выходя на лестницу, столкнулся он с крепко подвыпившим, качающимся Сергеем Есениным

— Пастернак! — хмельно заулыбался Есенин. — Хоть ты и крещенный теперь, а все равно иудейская морда!

Пастернак вспылил и дал обидчику вдохновенную, капризную пощечину.

И вдруг, сам испугавшись и ужаснувшись, заложил в растерянности руки за спину и топтался на месте, бледный.

Есенин покачнулся, ссутулился и, усевшись на каменные ступени и обхватив колени дрожащими руками, пьяно заплакал:

— Нынче все меня бьют на Руси, даже крещенные жида! Грязные, детские слезы текли по опухшему от водки лицу.

*/Игорь Стефанович Поступальский/*

Свеча горела на столе, свеча горела...

Глухо шумят в вышине надорванные ранами декабря зимние сосны. Все коренастые ветки, все птицы и тварь — все умерло... Здесь похоронено молчание. Шишки опадают, как заскорузлые болячки. Сорвало налетом легкого, как смерть, ветра смолистую ледяную ветвь с маленькой душою. И, плашмя в снег, оттаяла тень мокрыми гранями распятия.

В ватнике и сапогах обмерзшая фигурка превратилась в сугроб. Сугроб надсадно шагал к храму, долго стучался окоченевшими детскими пальцами о дубовую дверь гроба.

Вьюга шелковисто свистела.

Он ввалился, маленький, в это каменное тепло, содрал шапку, обернулся к золотисто-красной иконе.

Коснулся чуть было не умершими от холода губами.

Под тусклым камнем раздавлена молитва. Поэт расставался с тишиной.

Тишина была заперта в этих сводах, как в камере.

Здесь ее держали на привязи, чтоб она не бродила по миру, как мачеха.

Он высвободился от этих черствых бездушных объятий.

Хромая монашенка заковыляла под древним сводом. Старуха в черном, его душа. Мимо иконостаса в глубину синего псалтиря...

Поэт, весь мокрый от растаявшего снега, торопливо и вдохновенно плакал. Вода блестела в седых волосах.

Он поглядел в мутноватое, облепленное белым песком оконце. Оттуда молча стонало небо.

Небостарче и землемати!

В пустыне раздались крепенькие шаги Рождества.

Это был архимандрит отец Герасим. Маленький, щуплый и суровый воин с сердитым взором и чистым лбом. На худые плечи его было накинуто старое пальто, из-под которого маялась о каменные плиты, как юбка, черная ряса.

Старец осенил раба Божьего теплым знаменем.

Старуха в сапогах затеплила свечу.

— Оставь нас пока, Ефросинья.

Благая весть в русском, позабытом Богом храме, запорошенной пещере, встрепенулась черной птицей под сводом у скорбного оскала Сына. Отсыревший подбородок Его зарос редким волосом.

— Пусто и безлюдно в доме, — прошептал поэт.

Таинство странное вижу и преславное. Небо — вертеп;

престол херувимский — Дево;

ясли — вместилище, в них же возлеже

невместимый Христос Бог, Его же

воспевающе величаем...

— Ну, с чем явился? — строго и громко спросил отец Герасим.

Пастернак стоял, прижавшись спиной к холодной стене.

Отец Герасим ненавидел безбожную, сатанинскую власть, но ненавидел он и на власть восстающих.

Он был младшим командиром Красной Армии, а демобилизовавшись надел черную рясу монаха.

Он ненавидел безбожную власть, но выкорчевывал из груди, как свет замураванный в камни, эту болячку ненависть, ибо с наслаждением и радостью помнил, что всякая власть от Бога; он был худым, больным астматиком, болезнь сделала его угрюмым и заострила маленькое, птичье личико, а голос стал мальчишеским и отрывистым; он мог показаться злым, этот мужественный старый человек, он был просто обижен на все вокруг за то, что Ничто не жаждало любить Его так, как делал это он. Он был одиноким и затравленным ангелом в тюрьме своей любви.

Он не в силах был принять одного, только одного униженного, одну тоску и череп одного человека.

Он мог обнять лишь весь приход целиком.

Поднять крест и держать его высоко над опущенными в скорби белыми платочками. Он не мог уже выслушивать исповеди, это был его кошмар.

Это была уставшая, замураванная в гипс и на привязи, что тянулась к шее на петле, рука русского православия.

... Его твердо сжатой руки, суховатой кожи коснулись холоднато-соленые светлые губы поэта.

Это не был обычный поцелуй, каких она, эгоистичная ладонь, получала тысячами.

Даже когда он ел суп, обедая, и подносил ко рту ложку, рука валилась обратно на скатерть, отяжелевшая от нищих поцелуев.

О. Герасим вздрогнул спиной и испуганно убрал руку, чтоб защититься от поцелуя.

Он боялся людей, несущих ему свое горе в белых до восковости ладонях.

— У НЕГО! У НЕГО проси! — обычно нервно бормотал он, мягко закатывая глаза к черному своду. Он знал, что это грех, и каялся, испрашивая прощения каждую заутреню.

— Что? — спросил отец Герасим.

Это была исповедь.

— Кайся, что натворил? Малое не упоминай, великое зубами стисни. На власть восстал?

— Я поэт.

— Затравили?

— Я русский еврей, христианин. Одного с тобой рода. Камень летит в мою голову.

— Не оставит Господь!... Отпускаются грехи раба Божия Бориса... Колокольный звон. Печальным красным, закатным солнцем горит золоченый купол переделкинской церквушки.

"Однажды ему почудились человеческие голоса где-то совсем близко, и он упал духом, что это начало помешательства.

В слезах от жалости к себе, он беззвучным шепотом роптал на небо, зачем оно отвернулось от него и оставило его.

"Вскую отринул мя еси от лица Твоего, свете незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаянного!"

И вдруг он понял, что он не грезит и это полнейшая правда, что он раздет, и умыт, и лежит в чистой рубашке не на диване, а на свежестеленной постели, и что, мешая свои волосы с его волосами и его слезы со своими, с ним вместе плачет, и сидит около кровати, и нагибается к нему Лара. И он потерял сознание от счастья".

## 2.

...Снег растаял, стал летним. Пианист в черном спал на веранде, на сундуке. А мертвый Борис дрожал гладко выбритым, синееющим подбородком.

— Он умер, и лицо окаменело сразу, сделалось чужим, тяжелым и страшным! — говорила Лара.

Женщина. Шаль накинута на плечи. Опустила голые, бело-снежные руки в гроб с цветами.

Ладони на озерных лотосах.

Поэт среди белых лотосов плакал ребенком.

Февраль! Достать чернил и плакать!

..Сухие трещинки ее рта. Мокрые волосы холодны от воды.

Поэт и легкая птица. И вот идут зеркально росной водой.

Красноголовый дятел стучит по коре головного мозга. Жить хочу! Седой старик обнял молодой рукой грудь бабочки-белокурницы. Пыльца гибели на его ладони.

Это русский поэт. Чувственность и сияющие постельной белизной листья романа.

Обожать до горькости горло женщины.

Рыдать без Родины.

Но кто-то отнял у одинокого снег и ангела.

...В сторожке старик на мягкой постели. За окном пространство завалено льдом. Сосульки, как иглы. Они горят жутко, эти свечи зимы.

Старик в холодных простынях с голой, горячей тварью. Ночь.

Вдруг хруст. Ветка поцелуев треснула.

Это замерзшее яблоко ноября упало на венок из гиблых слов.

И на губах его печать...

Лара страстно целовала этот камень. Это вино. Он задышался под женским, жарким телом, этот пасынок Скрябина...

— Он как умер, как в гроб его положили, — рассказывала Лара, — сразу сделался каким-то чужим, окостенел, с окаменевшей челюстью. Весь налет детства и юной сумбурной оживленности с него слетел. Я его едва узнавала. Лежит себе чужой, холодный человек.

И сразу же, как только помер, канонизировали.

Официоз постарался. Придавил плитой.

Однажды влюбился Борис Леонидович в пятнадцатилетнюю грузинскую девочку из хореографического училища.

Звали девочку Чукуртма. Дочь художника Ладо Гудиашвили, старого друга поэта.

Девочка Чукуртма, сидя за пиршественным столом с изумрудно-влажными гроздьями винограда и высокими бокалами с божественным, светлеющим имеретинским вином, поглядывала на седого, опального, моложавого поэта испуганными глазами дрожащего олененка. Сжималась под его воодушевленным, безумным и ясным взором канонизированного небожителя и пылкого переводчика грузинской поэзии.

К концу пышного рубенсовского застолья, разворошенного горячими заклетами в верности и дружбе грузинского и русского духа, Борис Леонидович, моложавый, хмельной, юный старик, схватив тяжеленный рог с кипящим смарагдовой кровью вином, прорыдал, заикаясь, нараспев витиевато-капризный, сумбурный тост за последнюю любовь и даже всплак-

нул, глядя на юную стыдливую Чукуртму легкими от святых слез беспорочными глазами. Ресница ребенка дрожала синей слезой.

А потом, вернувшись в Переделкино, все так же горя и не остывая, принялся ночами писать и отправлять девочке с худеньким, узким лицом хевсурски воздушные, голубиные письма, в которых безуспешно пытался укрыть свою беззаботную страсть, нежданно выпорхнувшую из своенравного, капризного сердца моложавого крепкого старика с седыми бровями.

Объявить о любви открыто седой, моложавый старик утрашился, хотя втайне целый год мечтал даже о помолвке.

Но в длинных, запутанных, сумбурных и жгущих страстью письмах, где испепелялась каждая страница, он касался всего на свете, что терзало его изнуренную детским вождением и жаждой взаимности грудь.

Здесь порхали и зыбки цитаты из Фауста, и стыдливые упоминания о том, что быть знаменитым некрасиво, и обрывки каких-то полузабытых строк собственного сочинения, и воспоминания о музыкальном бреде серебристого расщепленного на музыкальные волокна Скрябина, и знакомство с ним в детстве, и смерть его от какой-то легкой раны, чуть ли не глупого воспаления или ничтожного до смеха прыща; и, задохнувшись от самозабвенной нежности, отваживался переделкинский поэт даже и на робкую недозволенную игру с напуганной хевсуркой из далекого, пыльного Тифлиса с витыми балконами, жалуясь ей на свою гонимость, а потом сбивался, путался, лепетал, начинал рассказывать ребенку с огромными дразнящими глазами о зарождении христианства в Грузии и о святой Нине, равноапостольной просветительнице, а потом, наплакавшись и снова плача, лиловыми чернилами на желтоватой похрустывающей подарочной бумаге растекался протяжными ноющими ночными песнями Малера, сбивчиво, скороговоркой, задыхаясь, пытался вспомнить свои детские впечатления о цветных многокрасочных витражах лютеранской кирхи, слабоумно лепетал об очаровательных девочках и тонкодушевных тонконогих, испорченных мальчиках своего детства, заканчивая свою исповедь ребенку обидами на то, что хлеб насущный надо зарабатывать надоевшими переводами...

А потом пробежали, промелькнули десятилетия, и вот Чукуртма уже на пенсии, ушла из кордебалета, она уже седая, с

помятым, усталым, изможденным лицом, и у нее растет внучка, но письма переделкинского чудаковатого поэта она никогда никому не показывает и не отдает, хотя просят ее об этом многие страны.

Чукуртма читала их однажды, пятнадцатилетней, и они почему-то не коснулись ее гибкой, сжавшейся, как не родившаяся, слепая птица, души; разгоряченная клочковатая исповедь больного поэта напугала эту молчаливую, скрытную лермонтовскую Белу из богемного дома-мастерской художника Ладо Гудиашвили, одержимого сказочными мотивами.

Письма были брошены в корзину из кизилowych прутьев и еще в детстве почернели на ее дне вместе с шелковыми лентами, истлевшими кружевами, скорлупками съеденных орехов и умершими давным-давно балетными туфлями невзрачной, провинциальной балерины из глухого кордебалета...

А моложавый, страстный старик даже перед смертью ради заработка семье, как поденщик, неустанно, задыхаясь, переводил и переводил — все больше теперь из немецкого:

"Не узнаешь? — произнесла устами,  
Дышавшими любовью — "не узнал?"  
"А я ведь та, в чьем неземном бальзаме  
Иной твой шрам житейский заживал.  
На что еще, как не на связь меж нами,  
Ты с детских лет так свято уповал?  
В далеком прошлом не в слезах по мне ли  
Я заставляла мальчика в постели?"

"Да" — я вскричал, на землю упая, —  
"Я — твой давно. Ты родилась не вдруг.  
Ты мне чело студила в зной, когда я  
Ловил на лбу небесных крыльев пух,  
Когда любовь, как буря молодая,  
Отбушевав, до дна взрывала дух.  
Ты все дала, ничем не обделила  
Раздатчица всего, что сердцу мило!.."

### 3.

Гроб был тяжелым, как ясень. Маленькая веранда чиста.  
Облака легли на бревенчатые стены.

Заглохло Переделкино. Только Шопен и дятел.

"Опять Шопен не ищет выгод".

Притаился на краю вечности писательский городок.

Все молча объявили друг другу негласный комендантский час.

Выходить на аллею опасно, под страхом потери гонораров!

Одинокий критик-соцреалист гонялся за своим белым пуделем. Схватил-таки за хвост с бантиком и яростно потащил на свой литнадел с соснами к электрозабору с сигнализацией.

Шумела желтая трава забвения.

Спал, закрывшись подушками и одеялами, известный прозаик Желтофиолев, вынырнувший из 30-х годов прямо в облако модернизма.

Неистребимый, как моль, он сказался больным и простуженным.

Кого-то там отпевают?.. Ну и пусть! Я болен!...

Подать мне чашку кофе в постель!...

Вернулся как-то с прогулки по заснеженной дорожке в Переделкино Борис Леонидович, — вспоминала Лара. — И говорит: "Сейчас гуляю, замерз, иней, наледь, вдруг кто-то меня за плечи сзади обхватывает, смеется. Ау! Борис Леонидович!... Здравствуйте! Гуляете? а давайте-ка вместе прогуляемся вон до той заснеженной сосны с дятлом неугомонным. Не хотите, недолюбливаете меня? Ну так я вам скажу: забудьте вы, пожалуйста, про свой Роман, позабудьте "Доктора Живаго", который вам столько крови и жизни понапрасну испортил! Слабая вещь! Это не роман даже, а так, рыхло... Вы гениальный лирик, согласен, а в прозу лучше не лезьте!... В прозе я один! Ясно?... Угрюмо зарычал и, отвернувшись, прочь, по рыхлому желтому серому снегу"...

— Представляешь? Нахал какой! — отряхивался от мокрого снега в прихожей Пастернак, сбивая шапкой хлопья снега с ватника.

— Кто ж это?

— Желтофиолев!

...Мой бывший лагерный друг, чахоточник, перед смертью написал роман. Он умирал, надо было успеть напечатать до гроба. Мы отправились на сосново-стеклянную дачу модерниста.

Он принял нас, как разбогатевший еврей-лавочник своих худосочных и жалких собратьев, торговцев вонючим дамским бельем.

Лик его сжался в желтую гримасу и потянул за собой в пропасть хитренькие китайские глазки.

— Кто вы такие, товарищи?

Лавочник вздыбил грудь к бревенчатому модному потолку, подперев сухое стариковское тело стальными кулачками.

Он был неожиданно высок.

— Этот арестант написал книгу, — сказал я. — Вы эту книгу не дадите в "Новый мир"?

Пьер Валентинович Желтофиолев горестно вздохнул.

— Я чужих вещей в рукописи не читаю! Только могу взглянуть в опубликованное, избранное, да и то краешком глаза! Ленивым помутневшим зрачком. Я не читаю умирающих авторов! — вдруг рассердился он. — Я люблю наслаждаться только моими благоухающими страницами. Меня бьют электропалкой за мои новаторские произведения, а я большой авторитет и вы лезете со своей лагерной повестью. Вы кто такой? Вы Солженицын? Вы академик Сахаров? Вы еврей? Тогда бегите в Иерусалим! Шолом!

Он тяжело дышал, как медуза, выброшенная в жаркую погоду из ледяного моря на горячий песок.

Он выпустил стекловидные, коварные глаза. Слюна текла с припухлой и жирной губы изворотливого одесского дельца.

— Я написал десять томов дряни, чтоб напечатать одну любимую вещичку. Про Серебряный венец!...

Взмах отсыхающей руки к огромным полкам с тяжелыми томами в кожаном переплете.

Супруга знаменитого мовиста торжественно внесла антикварное, фарфоровое блюдо с жареным картофелем и зелеными листьями салата и плавно опустила на белую салфетку, на карандаши и бронзовые чернильницы.

Мэтр с достоинством упал задом на крошечный пуф. Он с воем шел на посадку. Он обедал за огромным столом викторианской эпохи.

Серебряное блюдо с картошкой загромождало окно-перспективу, бросающееся на августовский, заброшенный сад со скамьей Бунина, клумбами бегоний и синий лес.

Он мастерски описывал бегонии.

Нас выставили за дверь.

Аллея была вся залита солнцем, засыпана шуршащим ворохом красных и золотистых листьев.

Кое-где листва сырая и влажная, преющая, и легкая искрится изморось.

Стоят невозмутимо, нахмурившись угрюмо, буржуазные дачи, мрачные, как и проживающие в них писатели, окруженные соснами. Все здесь давно невозмутимо: лица Членов Союза, их судьбы и даже сияющая в безоблачье родная, переделкинская осень..

Унылая пора, очей очарованье ...

Советские писатели-классики надежно обосновались здесь на целые столетия. Им и умирать не хочется.

Классики трудятся. Скрипят перьями.

Печатают.

Меняют, как перчатки, жен и любовниц.

Прогуливают по дорожке породистых псов и детей, разодетых в заграничную синтетику и кожу, старых гниющих ревнивых жен с черными от возраста ликами и юных, загорелых, породистых любовниц.

Дача — символ державной победы. Недаром из-за дачи опального, растоптанного, замученного поэта поднялась такая суматоха, псиная остервенелая грызня с кровью и воем, прежде чем в ней все-таки открыли музей Пастернака.

Желтофиолев прогуливался с женщинами, со своими тремя преданными спутницами по жизни.

Они все пытались идти в ногу с метром, обожательницы. А он шел по аллейке стремительно, в модной импортной кепочке с детским козырьком, как-то неоглядно, чуть ли не рассерженно. Гулял и дышал свежим, сентябрьским солнечным воздухом, по-юному развернув старческие плечи и вызывающе задрав к млеющему облаку небу маленькое скуластое хитренькое личико с узкими, смеющимися и хитрыми, наглыми китайскими глазками, с костлявым и тяжелым, угрюмым подбородком мыслителя-художника. Собственная счастливая судьба, казалось, давно дала ему право на этот легкий современный стиль. Пять дней назад он прилетел из Соединенных Штатов Америки и тотчас дал интервью "Советской культуре", публично поиздевавшись и разнося в пух и прах предателя родины Со-

лженицына. Обозвал его книги не то блинами, не то необоженными кирпичами. Мовист нес себя вперед легко и даже хищно, хотя всего лишь прогуливался по собственной, затененной слегка, но еще солнечной аллейке, где работница сгребала ворохи прелых и умирающих листьев, которые он задевал и ловко загребал короткими, модными носками своих лакированных американских сверкающих ботинок. Мне вдруг вспомнилось:

— Я написал десять томов дряни, прежде чем созрел для своей самой заветной вещички! Святого колодца моей благоухающей, благороднейшей души, взлелеянной самим Иваном Буниним!...

— Пьер Валентинович! Здравствуйте!

Дятел замер и перестал стучать на верхушке сосны.

— Вы обещали краем глаза пробежать на досуге рукопись моего умирающего лагерного друга!... Остановитесь, метр! Куда же вы?!...

Компания — шествие метра и спутниц, похоронная процессия совести — застыла от моей нелюбезности.

— Желтофиолев! Вы дали слово дворянина! Поручика белой армии! Вы дали слово!...

— Дал, так беру его назад! Плевать! Тьфу! Посторонись, эй! А то дворника позову!

— Метр!... Вы дали честное, благородное слово белого офицера с сорванными в ужасе перед террором погонями, пробежать колючими, злыми, слезящимися глазками по детски-меланхолическому сочинению погибающего друга о Борисе Пастернаке, отвергнутому всеми журналами страны! Послушайте! Месье мовист! Месье, как вас, господин поручик!...

Траурная компания стареющих женщин с единственным мужчиной-спортсменом застыла от неожиданной наглости.

— Караул! — завопил Желтофиолев.

Золотоволосая гневная львица бросилась на спасение своего гениального мужа.

Лицо супруга-мовиста шевельнулось, дрожа побагровевшим веком взбешенного бульдога.

Китайские глазки затянуло птичьей желчью.

— Если вас не напечатают, Вас нет в живых! — хрипел он задыхаясь. — Вы даже не тень! Вы потрох собачий! Тварь неживая, как говорят рецидивисты-уголовники, мои дружки, пишущие бандиты!

Я ошалел.

— Вы, ничтожество! Слушайте сюда, как говорят у нас в Одессе! Пишите любую продажную дрянь, продайте собственную мать, но только печатайтесь, чтоб завоевать имя!...

Задуйте мать или вас НЕТ!

Кругом меня было много погибших, расстрелянных талантов. Чистоплюев!

Я не могу их читать, умерших, мне домашний врач запретил, еще с 37 года! Я боюсь инсульта! Убирайтесь!

— Но вы ученик Ивана Бунина! — руки мои дрожали.

— Мой муж, Пьер Валентинович никогда не был учеником какого-то Бунина!... Он сам по себе талант! Внимательней читайте! — Вмешалась красная от злости жена.

— Гибнет русская проза! — вздохнул я.

— Наглец! — билась в истерике жена. — Как он разговаривает с живым классиком!...

— Он давно мертв! — сказал я.

В меня полетели наспех собранные по дорожке сосновые шишки и даже мелкие камни. Я закрыл лицо ладонями.

#### 4.

Люди прощаются на коленях. И горят свечи на солнечном блеске. Высохшее яблоко. Кружка с недопитым молоком. Страстно-обреченные герои поэта. Лара с горящей грудью в березовых листьях.

Девочка, раздетая на кровати тем развратником, господином с бледным ликом и бородкой. Тросточка. Меблированная комната. Снег. Страсть. Прокаженная Россия.

В белом ватнике из роз позади Иисус Христос.

Приклони ухо Твое ко мне, Христа Бога моего Мати, от высоты многия Славы Твоея, Благая, и услыши стенания конечиная, и руку ми подаждь.

Веранда пуста. Только гроб с поэтом. Горят свечи.

Читается псалтырь. Люди идут мимо гроба. Красные блики весны и лета на лбу покойного. Льется Скрябин, Станислав Нейгауз за роялем. Пасынок гения.

И выходят на прохладный дворик люди. Слушают листья.

Сырая земля. Печаль. Траур. Лето. Осень. Зима.

Одухотворенное лицо завалено белыми цветами.

Плачут, подняли гроб на плечи. Понесли. Кричат одичалые голуби. Несут гроб.

Вон — дача Конст. Васина с трубкой. Маршала литературы.

Наглухо захлопнуты двери.

Степной помещик Конст. Васин сидит сгорбившись в своем старинном кресле и угрюмо глядит на камин. Он озяб и дрожит от холода.

Вчера внезапно поднялось кровавое давление, нарывало в голове маленькое извержение полузатухшего, давно забытого вулкана. Медсестра из писательской клиники выпустила из белой, детской руки старика стакан крови. Конст. Васин протянул девочке десятирублевку. На чай.

Он целый день напряженно разглядывал этот стакан.

Рукописи были убраны горничной с бюро.

Пустое поле мертвого сражения.

Кровь сначала была детской, свежей, как вишня, и пахучей.

Потом, спустя час, посинела.

Он глухо наблюдал это Пресуществление. Это таинство.

— Это не моя кровь! — хрипел старик. — Это кровь Пастернака!...

Подслеповатые глаза ныли. Подали чай. Утром кровь начала чернеть. Он замер в кресле, оцепеневший от страха. По радио передавали двенадцатый вариант главы его романа. Надтреснутый голос звучал, как из могилы. Читал он сам, накануне его записали на пленку для золотого фонда. Чего-то испугавшись, он вскочил и поплелся к гардеробу. Надел белую рубашку, страшно официальный костюм, повязал галстук. Поглядел на себя в зеркало. Оттуда зияла бездна. Надо было успеть добежать до вольтеровского кресла и броситься в него, чтоб дослушать свой надтреснутый голос до того, как закончится радиопередача.

Он волновался. Вся жизнь его была торжественным актом от начала и до конца. Он заплакал. Он вспомнил дворянскую маму. Она не застигла его всесоюзную славу. А ведь раньше, и еще очень долго, его называли всего-навсего попутчиком революции. Страдая от издевательств, он утирал слезы бледновишневым, дворянским платком.

Теперь его издавали миллионными тиражами, хотя его никто не читал. Ему нравилось все обставлять, а особенно ему хотелось обставить свои похороны. В него швыряли юбилей, венки и титулы.

Бюро было завалено грудами рукописей. В сенях дремали три личных секретаря.

Белая скатерть и малиновый букетик цветочков тридцатилетней давности. Дубовый засохший веночек с могилы Данте.

Литературный патриарх. Старейшина. Дож.

Сейчас он был занят обдумыванием главы номер восемьсот одиннадцать из романа трех поколений.

Последние пятнадцать лет он девятнадцать раз предлагал эту главу суду читателей посредством журналов, газет, кино и телевидения. Он гордился тем, что он не писатель, а просто стилист. Он был академиком прозы.

Цепляясь за это звание, он оправдывал хищническую свою жизнь. Он подписывал любые бумаги. Он был благовоспитан. Он ненавидел шум, крики, боль. Даже доносы он писал языком Тургенева.

Не было решительно ни единой буковки, куда не впивалось бы дрессированное жало этого классика.

## ОН КУРИЛ ТРУБКУ И С УПОЕНИЕМ РАБОТАЛ НАД ДЕЕПРИЧАСТИЕМ В СМЕРТНОМ ПРИГОВОРЕ.

Утрами, счастливый и усталый, он бродил мокрым от ночного дождя садом. Трогал палкой листья яблонь.

Кого-то потом тащили в тюремный двор и стреляли в затылок. А Конст. Васин стоял у яблони, своей ровесницы, и задумчиво курил трубку.

Капли стучали о яблоко.

Как-то молодым человеком он поселился в Ясной Поляне в музее Льва Толстого, для обстановки гениальности, где писал роман о революции. Ему приносили сюда свечи. Он писал при серебряных свечах. Он достал бумажку и через Союз писателей добился права работать в спальне гения. Вечером он снова зажигал восковые свечи в столовой. Ему приносили свежесваренный суп.

Конст. Васин задумчиво помешивал в дворянской тарелке золотой ложкой.

А вдруг Лев Толстой, живи он сейчас, был бы такой же гадиной?

Но ночью кошка вылакала его кровь. Он три дня наблюдал стакан, обдумывая, и даже решился присобачить впечатления от темнеющей собственной крови в граненом стакане к какому-нибудь герою в лазарете империалистической войны. Он

разлил кровь, случайно перевернув стакан. Рыжая кошка замурлыкала жадно и стала лакать ее. Досадно. Досадно, господа!

Гроб пронесли мимо дачи Конст. Васина. Прошумели цветы и ветки поэзии. Конст. Васин испуганно замер. Он побледнел. Он сдавил виски тщедушными руками. Протопали кони гражданской войны.

Он оглушил себя этой успокоительной мыслью, впадая в детство.

И, закутанный в плед, Серапионов брат поплелся, бодро стуча крепкой палкой о сухую землю, радостно дыша сухой бодростью смолистых сосен, в громадный светлый кабинет за фундаментальный стол, вписывать этот эпизод с конями в одну из последних, завершающих роман, глав.

Что-нибудь раннее, военное, комиссарское.

Какой-нибудь поход комиссаров и красногвардейцев.

Переход через Сиваш...

Он вспомнил Германию, туманы над Рейном.

Потянуло к роялю. К звонким, отзывчивым клавишам.

Распахнуть черную крышку, он попросил это сделать горничную. Вызвал колокольчиком.

...Немного спустя, подошли стоявшие там, и сказали Петру: точно и ты из них: ибо и речь твоя обличает тебя.

Тогда от начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух.

**Д.А.ПОЛИКАРПОВ** (куратор Союза писателей  
от ЦК КПСС) — **М.А.СУСЛОВУ**

**МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ!**

**К.А.ФЕДИН** осуществил разговор с Пастернаком. Между ними состоялась часовая встреча.

Поначалу Пастернак держался воинственно, категорически сказал, что не будет делать заявления об отказе от премии и могут с ним делать все, что захотят.

Затем он попросил дать ему несколько часов времени для обдумывания позиции. После встречи с **К.А.ФЕДИНЫМ** Пастернак пошел советоваться с Всеволодом Ивановым.

Сам К.А.ФЕДИН понимает необходимость в сложившейся обстановке строгих акций по отношению к Пастернаку, если последний не изменит своего поведения.

## АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ — КОНСТ. ФЕДИНУ

*14 декабря 1950 года.*

Дорогой мой Костя!

Есть к тебе одна деловая просьба, одно деловое предложение, если хочешь. Не согласился бы ты войти в секретариат Союза Советских писателей в качестве члена секретариата?

Очень хочется, чтобы в секретариате прибавился хотя бы один писатель старшего поколения, авторитетный для всех. Практически работы тебе не прибавилось бы по сравнению с тем, что ты и так делаешь. Участвовать один раз в неделю на заседании, помочь советом. По линии других "нагрузок" оставили бы за тобой, к примеру, ту же секцию прозы. Но не могу тебе передать, как это было бы важно с точки зрения **МОРАЛЬНОЙ**, в интересах литературы в высоком смысле этого слова!

Другие настоящие люди в Секретариате тоже очень этого хотят. Я могу обещать тебе беречь твоё время.

Учти к тому же, что каждый член Секретариата имеет право на полный трехмесячный отпуск в году с сохранением содержания. Зарплата — 6000 — шесть тысяч рублей.

Крепко жму руку и обнимаю тебя с неизменной любовью.

Сердечный привет Доре.

*Твой А.Ф.*

### 5.

Черное поле раздавлено ногами. Комья грязи слиплись. Яма звала. Люди молча глядели в пропасть. Раскрытый гроб на земле. Суется чиновники в кепках. Палачи в модных плащах. Сыщики. Ярко горит птица-Феникс в небе. Мокрое, красное небо. Сирень плавает в мерзлом окне. Дача осиротела. Мерзла гроздь сирени. Побег молодого, пятого времени года. Плачет Паустовский.

Сначала говорит Валентин Фердинандович Асмус, пожилой профессор эстетики. Друг Бориса. Мгла. Тьма. Молчит рот. Что-то невидимо шепчет в ответ поэт. Но не зовут сирень слова. Толпа угрюмо надвинулась. Сухая земля крошится под нога-

ми. Отец Герасим закрыт в своей келье. Он ест осеннее яблоко. Антоновку. Рот священника сладко блестит.

Профессор стоял во мгле и тихо разговаривал сам с собой.

— Не слышно! — закричали. — Громче!

— Говорите громче!...

— Кто такой Борис Пастернак? — спросил пожилой рабочий с железной дороги. — Почему его от нас скрывают?

Сыщик высморкался. На лацкане серого казенного пиджака значок.

Официальный представитель Союза писателей, в пальто и шляпе, литератор с удостоверением тайного сотрудника в потайном кармане, стал торопливо закрывать гроб крышкой.

— Прекратите митинговать!!... Вызову милицию!..

Прорвался к вырытой яме какой-то семинарист с безумным, ненормальным взором. Раскинуты на плечах черные гладкие кудри.

— Пастернак привел меня к Богу! К Богу! — быстро проговорил он.

Кудри развеваются ветром. Вздогнул. Закрыв лицо руками.

Старушка-учительница кричала в ночь:

— И вы не смаете всей вашей красной кровью,  
Поэта праведную кровь!

Я пропал, как зверь в загоне.  
Где-то люди, воля, свет,  
А за мною — шум погони,  
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,  
Ели сваленной бревно.  
Путь отрезан отовсюду.  
Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,  
Я, убийца и злодей?  
Я весь мир заставил плакать  
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,  
Верю я, придет пора,  
Силу подлости и злобы  
Одолет дух добра.

Все тесней кольцо облавы,  
И другому я виной:  
Нет руки со мною правой,  
Друга сердца нет со мной.

А с такой петлей у горла  
Я б хотел еще пока,  
Чтобы слезы мне утерла  
Правая моя рука.

"Заявление" же "в эфир" о том, что я не мученик, для меня  
немыслимо, как предел идиотизма;

Я человек очень гордый, но я должен быть мелким завистником,  
хвастливым ничтожеством и молодым коммивояжером,  
чтобы верить по-журналистски и в самый эфир, и в какое-то  
его знание меня и существование для меня, когда, по совести,  
мне иногда бывает трудно поверить, что я интересую Вас или  
Зину.

Кроме того, когда заподозренный в мученичестве заявляет, что  
он благоденствует, появляется подозрение, что его муками  
довели до этого заявления...

...Но не говоря о том, что я с годами и вообще-то все больше  
живу как на чердаке, что было время совершенно нестерпимого  
стыда и горя, мне стыдно было, что мы продолжаем двигаться,  
разговариваем и улыбаемся..."

*(Из тбилисских писем — после трагической  
гибели друзей поэта Тициана и Паоло Яшвили)*

Не поправить дня усильями светилен,  
Не поднять теням крещенских покрывал.  
На земле зима, и дым огней бессилен  
распрямить дома, polegшие вповал.

Галактион Табидзе покончил жизнь самоубийством. Он лечился от белой горячки в больнице.

В эти дни Борис Пастернак нашел приют от травли в Москве у грузинских друзей, вдов убитых Сталиным и Берия выдающихся грузинских поэтов Тициана и Паоло Яшвили.

В Москву тогда приехал английский премьер-министр, и власти поспешили убрать с глаз долой отрекшегося Нобелевского лауреата. Автора "Доктора Живаго". Власти решили в грузинской партийной газете оклеветать опального автора.

Грязную статейку быстренько состряпали содержащиеся на иждивении тайной полиции школьные учителя русского языка и литературы. Перевели на грузинский — на государственный язык христианской республики. Осталось самое ничтожное — подписать черную статью крупным именем. В ведомстве поганых дел быстренько посоветовались, критик-альбинос с погонами мигнул мышинным глазом, и решили ехать в больницу Четвертого Управления, грузинской "Кремлевки", в Лечкомиссию для избранных к смертельно и навсегда больному Галактиону. Мол, в белой горячке, не разберет и подмахнет не глядя.

Снарядили посланцев в шикарных костюмах, плащах и очень вежливых. Два завербованных молодых человека, блестящих выпускника тбилисского университета. Назвавшись молодыми партийными журналистами, они, бесы мелкие, явились в палату к умирающему Галактиону.

Он лежал, не двигаясь, бородатый, и белыми, немигающими глазами глядел в потолок.

— Эй! Батоно Галактион! Проснитесь! Вам надо подписать возмущение грузинской интеллигенции Борисом Пастернаком, который ездит в Грузию как на свою родину!...

Он непонимающе взглянул на юнцов.

Наконец, он очнулся, вздохнул и усмехнулся, еле ворочая отяжелевшим языком, проговорил:

— Жду вас завтра! В час дня!

Молодые "партийные журналисты" улыбнулись.

Назавтра, ровно в час, стук в дверь. Они пришли с букетом свежих, белых роз.

— Входите, друзья, — прошептал Галактион. — Я жду вас.  
Он встал и бросился к балкону, разбивая грудью и головой стекло.

Молодые люди с дарственными розами вбежали в палату.  
Гений грузинской поэзии лежал на асфальте, на улице, истекшая кровью.

Белыми глазами он глядел в небо.

А свечи гасли и горели,  
И, весь сияющий насквозь,  
Тонул и плыл Светицховели,  
Как бы сиреневая гроздь,  
А там отцы мои святые  
Без ропота на божий гнев,  
Уже по плечи залитые,  
Поют, светильники воздев.  
А мы убитых отпевали,  
Гнев воссылая небесам...  
И вторит литургия Джвари  
Святым умолкшим голосам.

*Галактион Табидзе*

Бегал по Москве и всем, захлебываясь, со стыдом падения, с ужасом рассказывал про свое малодушие — о своем известном разговоре со Сталиным по телефону.

— А что Мандельштам? Хороший поэт? Мастер?...

Пастернак растерялся и вроде смущенно ответил, что, мол, ему, лично, не очень нравится.

И в ответ вождь с насмешкой:

— Вот ты и не защитил товарища!

Борис Леонидович в отчаянии все порывался сам позвонить в Кремль, объясниться, но телефонистки его не соединяли.

И всем друзьям, случайным знакомым и даже первым встречным, со слезами каялся.

— Я растерялся! Я растерялся!...

Может так и носится теперь его тень по ночной Москве 37 года?  
И жаждет встретиться с другой убиенной тенью, тоскует и плачет.

А тень Мандельштама исчезает, тает на бледном рассвете:

Я буду метаться по табору улицы темной  
За веткой черемухи в черной рессорной карете,  
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...

Теперь спят все трое вечным, беспокойным сном.  
Сталин. Пастернак. Мандельштам.  
Ни врагов. Ни друзей.

Простили ли они друг другу эпоху?

Все та же осень с горячими, остывающими листьями берез и дрожанием осин. Он тогда умирал.

Старик был плох, ослабевший, изнемогающий. Задышался.

Я поднялся к нему по скрипучей лестнице, на второй этаж.

И тихо, без стука вошел вместе с рукописью о Борисе Леонидовиче.

Беловолосый старец лежал в огромной, старинной кровати, опрокинутый одеревеневшей спиной на кучу подушек. Он лежал под кружевным одеялом, метался, сипел. Весь заставленный склянками, пузырьками, лекарствами, грелками и тлеющими, ядовитыми цветами в стеклянных банках из-под сметаны.

Лежал как покойник, весь белый, вытянутый судорожно, с дряхлыми, оголенными сквозь задрвшуюся ночную рубашку Пети Ростова восковыми, немощными руками.

Тонкие, спекшиеся, посиневшие губы, хриплый, измученный страданиями рот. Рядом с ним сиделка в белом халате.

— Не беспокойте его! — недовольно оглянулась. — Корнея Ивановича разбудили!

Что-то в ней было венецианское.

— У меня рукопись о Пастернаке!

Венецианка испепелила меня взглядом.

— Погоди, Мария! — Чуковский вдруг медленно поднял отяжелевшие веки.

— Борис мой друг! Он в могиле, на днях и я рядом улягусь!  
Скоро свидимся!

Воскресший белый старец легко вздохнул и снова показался мне спящим. С ватным лицом и без вставной челюсти, с черной загробной дырой в продавленном рту. Истинный русский интеллигент, приютивший на своей даче Солженицына несмотря на угрозы властей, даже попытавшийся оставить ему половину своего наследства.

И вот теперь он умирал. Гипсом застыли тонкие, одинокие губы. Мне чудилось, что они тихо шепчут некрасовские строки...

И вот после неизбежной кончины на его опустевшую дачу шакалами набросились "активно работающие в советской литературе писатели", члены Литфонда.

Началась драка с кровью за дачу с соснами.

Потом попытались сделать из нее пансионат гостиничного типа.

Лара рассмеялась:

— Корней Чуковский?!...

Вот мы узнали по зарубежному радио, что Борис получил Нобелевскую премию, и этот старый дурак прибежал полуумный от радости, лез целоваться, обхватил Бориса своими ручищами. Чуть не задушил. Смеется, как ошалелый. Потом мы втроем самогона пили прямо из банок в бревенчатой сторожке, которую Борис снял для меня. Оба не знали тогда, какая травля и шумиха ждет! Корней потом еще будет кричать: "Борис! Не отрекайся от премии! Ты же русский поэт, неблагородно!"

А колхозник, хозяин сторожки, все наивно интересовался: "Борис Леонидович! А это правду говорит радио, что ты за деньжищи капиталистам продался, а? Такой простой мужик и вдруг родину продал? Я-то на тебя не сержусь, меня не обижал, а деньги-то свои, миллионы, где хранишь, а?"

"В мешке, старик!" — "Ну и дела!" — качал головой сердобольный колхозник.

— Борис! — кричал Корней. — Не отрекайся от Нобелевской! Давай пропьем ее, дуру! Или голодающим студентам отдай! Самиздатовцам!

"Не отрекайся!"... А нам выжить надо было! Нас бы угробили. В кость и кровь! Это сейчас стало легко Солженицыным и Ростроповичам! А тогда — какая еще там оттепель!...

Умер Корней.

После смерти Бориса Пастернака подвергли аресту Лару. Ей вменили в вину контрабанду. Нобелевскую премию.

Лара сидела в лагере. В тулупе и сапогах.

Обветренная и обмороженная, за колючей проволокой и сторожевыми вышками Татарии и Мордовии.

На голодном пайке, среди уголовниц, в грязи и мерзости.

Расплачивалась за его последнюю любовь, за светлую радость замученного, за его детство.

"Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей севера".

...Оборванный и нищий Юрий Живаго бредет по зимней Москве.

Ищет родственников, друзей, дочь.

Никого. Все умерли.

Зовет Лару.

Я кончился, а ты жива.

Пятидесятые годы. С подмосковной дачи двое иссидевшихся советских интеллигентов глядят на огни столичного города.

Там, за бузиной и клещевиной, Москва.

Сталинские окна.

Удушье.

Холодные, черные, мертвые окна сталинских домов-покойников. Москва для вчерашних лагерников — мертвый бастион будущего. А здесь, за вареньем и чаем, с черной смородиной, за дачным деревянным столиком на террасе, обвитой жимолостью, измученные, перевоспитанные интеллигенты с гниющими раком легкими и ржавой язвой желудка.

Что несет им завтра? На лошадях в ночное, прогулку на тарантасе среди цветущей ржи?

Свободные выборы нового, справедливого правительства России?..

Холодный клевер в чашке остывающего, выдохшегося чая.

Присмирившие литературоведы и комнатные писатели.

Вальс со слезой.

За спиной сгоревшая жизнь.

Там, впереди, Москва. Закат... В темных кустах грохочет электричка. На ранних поездах!

Как это страшно, однако, господа!

Голодный и оборванный доктор в тяжелых, грязных валенках и тулупе, ходит по барским квартирам новых, совдеповских властей и пилит дрова.

Надомник.

Пастернак пилит чужие дрова.

Какой-то профессор из попутчиков, из переметнувшихся, бросившийся в тепло, острым карандашом размечает чужие мыслишки в идеалистической книжонке.

Завалы книг. Небритый ветер. Опричник с горячей, мятой подушкой в прихожей, стоит, не снимая мокрой красноармейской шинели с изжеванными погонами мgbэшника.

Не нарушь послепотопного чаепития в Мытищах, капитан внутренних войск!

Не брось в мою ночь распаханную постель сталинской жертвы собачью голову.

Старик ложится в постель.

Надкусывает яблоко. Дает надкусить Ларе.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног, как трагик в провинции драму шекспирову, носил я с собою и знал назубок. Шатался по городу и репетировал.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Вольные руки торчат из земли кустарником.

Журавль плывет в лимонном зареве. Сухо потрескивает костер за поляной. Флоксы в банке, на газете. С камня рвется иудейско-арабское лицо. Мулат. С чувственными губами. Прославленный крестник крещенного еврея.

Борис крестился дважды. До 37-го года и после 37-го. Из Иудеи в отрешенную от Христа Россию. Могила. Тишина.

Вдруг топот ног. Шум. Голоса. Крики. Лошади боевые? Татаро-монголы?

Татаро-монгольская Русь. Еврейская крещеная Русь. Советская Россия. Лапти и кроссовки областей российской федерации. Животноводческие совхозы и дискотеки. Трактор, металл-рок и шприц школьника-наркомана... Разбили молчание. Потревожили седенькую старушку в очках, на лавочке, возле могилы поэта. Старенькая учительница с довоенным томиком Пастернака. Слышно, как смерды ломают тонкие березки, выдергивают кусты сирени и топчут поминальные, бальзамические цветы русского поэта, заляпали грязью крестик на надгробье. Женщина в черной шали поливала незабудки на могиле. Ее оттолкнули. Отпихнули. Ведерко опрокинулось. Разлита серебристая, святая вода, что блестела в ладонях влюбленной в поэта.

Бегут на осаду могилы отдыхающие, приехавшие на апрелевской электричке, в зону отдыха. Наперли на ограду в жимолости и дикой розе, шиповнике. Народец валит с гармошкой и переносными магнитофонами. Массовик-затейник с футбольным мячом и в кедах, заляпанных влажным песком. Подмосковье. Русский, среднерусский воздух. Нечерноземье. Бездушье. Удушье. Очереди и пустые продмаги...

Футболист продрался сквозь колючий чертополох. Изломал тело старого, погнутого кустарника.

— А это следующий объект! Могила Пастернака!

И бац мячом по песку. По лбу погребенного.

Толпа пробилась к надгробью. За спинами Витька и Петька раскупорили пиво.

— А кто такой Пастернак? Знаете? — тихо спросила учительница.

— От нас, от рабочих, скрывают! — сказал Витька.

— Да нечего тут об жиде и предателе Родины болтать! — со злобой огрызнулся Петька. — Читали! Лягушка квакает в болоте! "Правда" писала, письма трудящихся были...

Раскупорили еще бутылку "Жигулевского".  
Пронеслась народная рать. Ополчение смердов.  
Затоптали сердце погребенного.

Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

А вон за оградой кладбище старых большевиков.  
Бывших старых большевиков и политкаторжан.  
Ворона сомневается в большевистской их святости. Ворона  
срывается и летит с крикливым карканьем над могилами. Спят  
в бюрократическом порядке уцелевшие от расправ НКВД свя-  
тые революции. Мелкотщеславные и кровожадные народные  
мстители. МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ...

Я персональный пенсионер республиканского значения, а ты  
кто такой?

Ряды святых угодников революции. Роза Эйшенбаум. Наум  
Гольдбух. Соломон Апокалипсис. Фима Эпштейн. Жора Саа-  
кянц. Бывшие народовольцы-террористы, эсеры, меньшевики  
и совслужащие аппарата ЦИК первых лет общей власти дик-  
татуры. Могила номер одиннадцать тысяч девяносто.

Могила номер тринадцать тысяч один.

Старуха-дворничиха, собирающая сухие ветки:

— Их по одному не захороняют. Выгоды никакой. Сначала  
покойничков сжигают и в ящики кладут, а как наберется к  
весне штук пятьдесят, всех вместе, в одном большом ящике  
пепел со знаменами на обрыв, к речке несут.

Пепел отсыпают по готовым отверстиям. Музыка духовая. Аги-  
татор выступает от района. Мол, спасибо, комиссарам и упол-  
номоченным, рыцарям общего дела...

Больше никто не провожает в последний путь ящик с грязным  
пеплом. Не плачут. Водку выпьют могильщики. А ну, по-  
шла! — завопила дворничиха на свинью.

А это могила на Новодевичьем. Третий, новейший участок  
кладбища. Уголок избранных. Один за другим полегли в ряд  
свежезарытые маршалы в полном парадном обмундировании с  
невыкраденным пока маршальским золотым жезлом. Акаде-  
мики. Киноартисты. Партийные и государственные деятели.  
Крупные руководители народного хозяйства.

В ряд.

Друг за дружкой.

Тесновато им стало, ровные холмики, не размахнешься мраморным надгробьем-склепом с танком и ангелом. Режим жесточайшей экономии земли — святой, русской. До кирпичной стены уже рукой подать.

Дальше отступать некуда, за нами Москва!

Вот ругается подвыпивший русский рабочий, в кепке:

— Ишь разлеглись, суки!

Не каждому умершему сюда пробиться. Даже военно-политическому деятелю или лауреату.

Вот только где могила Марины Цветаевой или Мандельштама?!...

На фотопортрете нахмурился Желтофиолев. Гладко выбрит. Злобные губы подобраны.

Пьер Валентинович напоминает похоронный митинг.

На специальном ложе из новеньких импортных кирпичей, фундаментальном античном постаменте, — поди улягся без спросу! Милицию позовут! — лежал гроб с, наконец, умершим классиком почти девяноста лет.

Бронзовые и лавровые венки союза пишущих бандитов.

Захоронение.

Черные, бархатные розы на равнодушной, черствой земле.

Дача в Переделкино. Могила на Новодевичьем.

Место в советской литературе.

Все при жизни. Все после смерти.

Память благородных потомков.

А где могила Андрея Платонова? На Ваганькове? Скромный холмик.

Или готовилась могилка на Колыме?!

"Белогвардейский поручик  
Пьер Валентинович Желтофиолев  
1897 — 1986

Известный советский прозаик.  
Лауреат Государственной  
и Ленинской премии.  
Герой Социалистического Труда."

Потомок! Сними милицейскую, форменную фуражку! Поклонись праху!

Мертвого Бориса Леонидовича вновь приняли, прямо в могиле, в члены союза писателей. Спустя тридцать лет после исключения.

Теперь он наш. Теперь ему ничего не страшно. Не лишат продуктового пайка в загробной жизни.

Не выдворят из Могилы и из России.

Хотя дачу его, все никак не унимаются, все пытаются захватить.

На днях ко дню рождения тридцатого мая готовится на могиле народное мероприятие: массовый митинг. Враги гения забавляются.

А немного спустя,  
И светя точно блудному сыну,  
чтобы шеи себе  
Этот день не сломал на шоссе,  
Выйдут с лампами в ночь  
И с небес  
Будут бить ему в спину  
Фонари корпусов  
Сквозь туман  
Полоса к полосе.

Станция Переделкино. Ресторан "Сетунь".

Прекрасно просматривается с обрыва Не-Ясная поляна и городок писателей с дачами и соснами.

Прекрасный объект дальнобойной артиллерии.

Домик легкий. Желтые занавески. Гардероб пуст. Дует. Сквозняки. Спит гардеробщик-белокурый старик, опустив несчастную, пьяную голову на локти синего халата в продранных рукавах.

Бьется дверь. Вошел автор этого реквиема. Страшно и одиноко в ресторанчике-столовой. Два пьяных прапорщика по очереди танцуют самбу с толстой официанткой в грязном, белом халате.

Голые ноги в узлах тромбофлебита. Крашенные короткие волосы, жирно нарисованные брови.

— Чиво вам, поесть? Пива дать?

Поднесла мне зажаренное крыло переделкинской вороны с гарниром: зеленым, мерзлым горошком с майонезом.

В крошечном графинчике двести грамм водки.

Народ сидит в шапках и полушубках за столиками с черными скатертями. На стене переходящий вымпел ударникам общественного питания. Обсиженный мухами портрет очередного вождя.

За мой столик плюхается местный житель в ватнике и кепке.

Сам налил себе водки из моего графина, выпил, обтер рот.

— Вы из городка писателей?

Снова потянулся за моей водкой.

— Ушел я с производства! На фуй мне оно! Халтуры мало.

План! План! Что я, раб коммунизма, как в лагере уголовники писали, бритвой на груди, и прокурора требовали!...

Пушай сами Брежневы вкальвают!

Мои руки хорошие, мастеровые! Я все могу! Слесарничать, бить народ... На Волго-Донском канале арестованных каналогвардейцев караулил, мы их там перевоспитывали!... В войсках МГБ служил, а сейчас памятники для магил выдалбливаю... Какую хошь магилу сгорожу... Без моих рук рабочих академики и врачи-жиды в святую русскую землю не лягут!... Чистыми получаю денежки. На фуй мне твой завод и партия!... Вранье одно! А ты кто?

Еврей? Писатель? Какого же ты фуя здесь шляешься, сынок?

Мать твою налево! Едрит твою гробону богородицу Владимирскую!...

Побираешься по чужим дачам ихним, милостыньки ждешь?...

Бить тебя, дурака нада!... Я в войсках МГБ сверхсрочником служил. А ты грузин? Я Сталина уважаю! Он все для народа делал, после войны понижение цен каждый март давал!...

А сейчас! ...Налей мне еще! Не нальешь? А энти власти, чиво для рабочего сделали? Миру мир!... Мы за мир! ...Тьфу, твою костромскую мать! ... А жрать ни фуя! Иди, бастуй! али борись за мир в энтой ебаной Африке черножопой! ...Блядь!...

Цены растут как чума, а зарплата тьфу!

На фуй мне твое производство! Я при Отце, батьке усатом Иоське, когда мgbэшником служил, я людей высылал!...

Мы — ВЛАСТЬ! — всхлипнул он, пьяно сморкаясь. — Закажи ишо водки, жиденок! Рублей нет? А куды ж ты свои тыщици, награбленные у русского народа-дурака, заховал, а?

Антиллигент! Блядь!... А я загребаю на памятниках!...

Налей! Ну, так одолжи до получки пятьдесят копеек, я хоть пива возьму! Не дашь? Жалко, жиденок? Сберкнижку потерял, черножопый! Армяшка!... Чурка ты кавказская! Мы над вашим братом, узкоглазым узбеком, али казахом, в армии смеялись, достанут свою балалайку, темнота грязная, вонючая, и давай на ней тренькать: "Адын палка, два струна! я хазяин всей страна!..."

Нам товарищ Лаврентий, сам Берия, давал приказ, так мы все эти враждебные народы вмиг выбрасывали из населенных пунктов и городов. Из домов, из кроватей ночами теплыми, в чем мать родила за ноги и за руки вытаскивали, эх!...душа моя русская!...Дети плачут, бабы голосят по-ихнему, лопочут по-татарски, армянски, али чеченцы хрипят, по-немецки просят не мучать, а я сержант! Сверхсрочник! ... Я власть!... Пятнадцать минут на сборы семейства и без чемоданов и мешков!...

Голых, в чем мать родила их нерусская, на грузовики бросали!... А я памятники сичас жидам долблю! Тебе не нужон, какой покрасивше, сука? Дай хоть десять копеек, одолжи до получки, нехристь, мало вы, еврейские рты, нашей русской кровушки попили!...

Куды побег от меня? Все равно догоню! На магилу к врагу народа Пустернаку кланяться ходил?

Знаем мы вас!... Бородатые одни нерусские к нему друг за дружкой лазите, цветы носите! Я б вас всех на грузовики и в Сибирь!... Знаем вас, сволочей, видали!

Старик-гардеробщик подал мне единственное висевшее на вешалке пальто. Глядел на меня вымученным взглядом. Я дал ему пятак. Он молча согнулся.

— Спаси вас, Ни́колушка угодник!... Один я, сынка схоронил!...

Гудели рельсы. Неслась калужская электричка.

Пьяный ваятель памятников из бывших чекистов-сержантов кричал в ночь, пытаясь перекричать, осилить грохот и шум электрички:

— Сука! Зарраза! ...Пустернак!

— Тише, Коль! — устало сказала ему официантка. — Товарищ обидится!

— Какой же он мне товарищ! — заголосил Коля. — Жиды да армяшки мне не товарищи! Я русский человек! Их всех передушить нада, как крыс, но Ленин подписал Интернационал, так ты тут хоть повесься! — и он схватил себя за горло.

Свеча горела на столе,  
Свеча горела

## 7.

Накануне праздника весны и начала благоухающего лета кто-то вымазал камень и могилу Пастернака дерьмом.

### ОСКВЕРНЕНИЕ.

Ужаснувшись надругательству, прикатили на своих серебристых автомобилях, иномарках, два известнейших советских поэта. Они подогнали поближе к кладбищу свои авто, протянули шланг с водой и, засучив рукава модного свитера и сбросив на землю алый пиджак с батистовым платочком в кармашке, два часа смывали дерьмо.

Вызвали английского корреспондента с видеокамерой.

Битком набитое помещение. Тесный проход. Душно. Шум голосов. Первые пастернаковские чтения.

Кто-то читает стихи.

— Вас не было на похоронах Бориса Леонидовича! — запальчиво бросает в бабье лицо известного поэта пожилая, преклонного возраста вдова Всеволода Иванова, соседа по даче Пастернака. — Вы скрылись! Спрятались!...

Пытается пролезть на маленькую клубную сцену другой выдающийся поэт — в алом пиджаке, клоунских штанах и с малахитовым перстнем на оттопыренном мизинце.

Он волочит, тащит за руку девятиклассницу, свою семнадцатую юную жену с косой и бантиком.

Вот он уже кричит, завывая в смеющийся над ним зал:

— Быть знаменитым некрасиво!...

Не это подымает ввысь!

Топот ног. Свист. Издевательский хохот.

Поэт морщится изнуренным, изъеденным, высохшим змеиным личиком. И лезет дальше, в заграничных сверкающих ботинках, в белую душу Бориса Пастернака.

— Быть знаменитым некрасиво  
Не это подымает ввысь.  
Не надо заводить архива,  
Над рукописями трястись.

Свист.

— Цель творчества самоотдача! — кричат люди. —  
А не шумиха, не успех!  
Позорно, ничего не знача,  
Быть притчей на устах у всех.

Алый пиджак лезет назад, к дверям, через толпу.  
Девочка-жена плачет, закрывая бледное личико дрожащими  
от стыда руками.

Шум. Споры. Волнение.

Город. Зимнее небо.  
Тьма. Пролеты ворот.  
У Бориса и Глеба  
Свет и служба идет.

Волнение нарастает. Горячее, обиженное дыхание. Много молодежи. Юношеский звонкий голос продолжает:

Лбы молящихся, ризы  
И старух шушуны  
Свечек пламенем снизу  
Слабо озарены.

Сзади наваливаются, толкаются.

А на улице вьюга  
Все смешалось в одно,  
И пробиться друг к другу  
Никому не дано.

А давно ли кадровые сотрудники безопасности выискивали, жадно тряся пистолетами, на обысках, в наших детских безобидных душах белые, зимние стихи из романа?...

Чуда преестественного росодательная изобрази  
печь образ; не боже яже прият, палит юныя,  
яко ниже огонь Божества Девы, в нюже вниде  
утробу. Тем воспевающе воспоим: да  
благословит тварь вся Господа  
и превозносит во вся веки.

В Тбилиси, рядом с Александровским садом и Кашветской церковью в квартире-мастерской, расписанной фресками, художник Ладо Гудиашвили, гордость грузинской нации, показывал мне хранящуюся за стеклом рамку с почерневшей каплей недопитого Борисом Пастернаком вина.

— Мы с ним пили за упокой души всех погибших! — тихо говорил художник. — Потом он ушел. А рюмку я навечно поставил в зеркальный шкафчик.

Мы посмотрели на рюмку. Она святилась кровью поэта-жертвы. Почерневшая капля вина вдруг засияла, как в церковной чаше кровь Спасителя.

Я понял: все живо.  
Векам не пропасть,  
И жизнь без наживы —  
Завидная часть.

Спасибо, спасибо  
трем тысячам лет,  
в трудах без разгиба  
Оставившим свет.

Спасибо предтечам,  
Спасибо вождям.  
Не тем же, так нечем  
Отплачивать нам.

И мы по жилищам  
Пройдем с фонарем  
И тоже поищем,  
И тоже умрем.

"В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать Его.

"Господи, — шептал я, — благодарю за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что Твой язык — величественность и музыка, что Ты сделал меня Художником, что творчество — твоя школа, что всю жизнь Ты меня готовил к этой ночи.

*/ Из тбилисских писем /*

Прощай, размах крыла расправленный,  
Полета вольное упорство,  
И образ мира, в слове явленный,  
И творчество и чудотворство.

Майским днем рождения наволокли букетов.  
Ландыши. Очень ранние розы. Тленная гвоздика.  
Каменный поэт утонул в цветах.  
Плакали. Утирали вспухшие носы. Целовали восковые,  
могильные пальцы. Светлое горе. Бог рядом.  
Нет, не мода на Бориса Пастернака, а чистый гений.  
Гений русский, с раскрытой, обнаженной раной. Ребенок.  
Сочится из прободенного бедра дубовый сок.  
Венок из дубовых листьев на земле.  
Идут сюда люди, несут чистые носовые платки, мокрые от слез.  
Заворачивают в платки землю. Гадают на одуванчиках...

Спите спокойно, Борис Леонидович, на этом холме,  
Воздух русский да не потревожит вас!

Где-то в мире ином рыдал Скрябин. Земля, как град, обрушилась на крышку рояля.

А на рассвете — поэт в пещере. Кем-то отвален могучий камень.

Он поцелуями, этот человек, страстными и нежными снимает плевки со лба Оплеванного.

Христос в белом на земле...

Я в мысль глухую о себе  
Ложусь, как в гипсовую маску.  
И это — смерть: застыть в судьбе,  
В судьбе-формовщика повязки.

Вот слепок. Горько разрешен  
Я этой думою о жизни.  
Мысль о себе — как капюшон,  
Чернеет на весне капризной.

*1973-1994, Москва.*

## НЕ ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДКА ЖИЗНИ, НЕТ

\* \* \*

В.С.

Скажи, как предлагаешь дальше жить, когда  
в двух-трех шагах от нас уходит осень?  
Случайный встречный прикурить попросит,  
едва кивнет в ответ, и все понятно. Да,  
такое дело, брат, сам знаешь, видишь, дождь,  
чужой, пустынный дождь метет сквозь листья,  
и никаких тебе особых истин,  
тепла, брат, хочется, да где ж его найдешь...

Бывают времена, я что хочу сказать...  
А впрочем, раньше выпьем для порядка.  
Все по порядку, брат, все по порядку...

## ЧЕРНОМУ МОРЮ

*А что случилось? Ничего не случилось.  
(Из репертуара Э.Горовца).*

В тяжелых штормовых твоих ночах  
Зажата баржа, с краном, а на кране  
Горит огонь, шевелится в тумане,  
Как в самых лучших, в самых детских снах.

На барже стонет заспанный матрос,  
его мутит, сердешного, с похмелья,  
Над пирсом звонко бьется ожерелье,  
Но он не замечает, и всерьез

---

**Аркадий  
ПАХОМОВ**

— родился в 1944 году в Москве. Учился на филологическом факультете МГУ. Публиковался в периодике.

Проходит в рубку, ищет, наконец  
Находит тумблер в темноте и всуе,  
И вновь, над спящей Ялтой торжествуя,  
Поет злой гений Крыма — Горовец.

Матрос доволен, приобретен матрос  
К гармонии: прекрасный мир — вот, рядом...  
А тенор, как вопрос себе сам задал,  
Так сам себе ответил на вопрос.

Но вот меняют вахту, сквозь рассвет  
Пошел баркас вихлять крутой кормою,  
И шестибальной бешеной волною  
Не изменить порядка жизни, нет.

### ЖАРА. 1972.

Как часовой у склада минного,  
Стоит навытяжку жара,  
В Шатуре торф горит, в Калининне  
Леса горят, и мошкара  
Горит. Представь, лесные бестии  
Горят от малых до больших,  
Горят последние известия,  
И все, что было после них, —  
Горит, в Москву пришла жара,  
Дым, чад, ни рос тебе, ни инея,  
В Шатуре торф и мошкара,  
И лес горит в лесах Калинина.

Жара. Все выжато до доньшка.  
И в это время надо жить,  
Любить жену свою Алenuшку,  
Стихи писать и водку пить.

\* \* \*

Опоздавший к листопаду  
на неделю или сверх,  
к покосившейся ограде,  
той, что летнюю эстраду  
окружает, — человек  
прислонился и померк.

По дощато мокрой сцене  
проползают облака.  
Человек в пальто осеннем  
держит руку у виска.

И, как явленную тайну,  
опустив невольно взгляд,  
видит он свой первый танец  
и последний листопад.

Что припомнил он, не знаю,  
только, сгорбившись слегка,  
он уходит, поднимая  
узкий борт воротника.

## РАССТАВАНИЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ НОВОГО ГОДА

До встречи, до порубки леса,  
до обывканья хвойных букв,  
завороженных звонким блеском  
стеклянных выстроенных штук,

до воска, свернутого в трубку,  
где в стебельке крученом суть,  
до той поры, когда ты — в шубку  
и кое-как, куда-нибудь,

до глаз, что впитывают честно  
расплывчатый зеркальный сад  
и в час единый повсеместно  
вдруг вспыхивают и блестят,

до красноречия бутылок,  
сумбура, песен до утра,  
до серебра ножей и вилок  
и чайных ложек серебра,

до бестолковой канители  
и запотевшего стекла...

Итак, до будущей недели,  
до тридцать первого числа.

## БЕРЛИН - МОСКВА - БЕРЛИН

— ...нет, нет, не Майзель и не Брукнер, фамилий не ждите, только имена, Клаус и Роберт, вполне достаточно, второе не очень-то подходит немцу, но так уж и быть — Клаус и Роберт, запомните, пусть это вам не режет ухо, да вы же из Новой Зеландии, там Робертов уйма, и как тут не вспомнить Лермонтова, поэт писал, что встречал Вернера, который был русский... А вы, кстати, хорошо говорите по-русски, даром что из Окленда, и по телефону щегольнули строчкой из Пушкина, и этот поэт кстати, потому что и в самом деле — иных уж нет, а те...да, вновь я о Клаусе и Роберте, и где они, живы ли, уже не интересуюсь, но и дети их, и внуки в полном здравии, надеюсь, и по какую сторону берлинской стены ни находились бы, рассказ о том, что задумали их отцы и деды в сорок четвертом, произвел бы малоприятное впечатление с трудно предсказуемыми последствиями. Джордано Бруно сожгли, Галилея заставили отречься, а грехи Клауса, Роберта и, не стану торопиться, еще одного ниспровергателя куда страшнее, эта троица пыталась доказать, что Солнца нет и планеты сами себе придумывают орбиты, — такие вот безумцы выискались, и на мне пересеклись их пути, война такую кашу намешала, что случайности — как масло, как соль или сахар при этой каше, и надо ж Роберту вечером двадцать девятого июня, через неделю после вторжения немцев, появиться в Минске, хотя, с другой стороны, какая тут случайность: офицер абвера, уточнять не буду, вы, как я понял по вопросам, ту Европу и ту действительность

---

**Анатолий  
АЗОЛЬСКИЙ**

— родился в 1930 году в г.Вязьме. Окончил Высшее военно-морское училище им. М.Фрунзе. Автор романов "Степан Сергеич" (1987), "Затяжной выстрел" (1987), повестей "Легенда о Травкине" (1990), "Пароход" (1990), "Лишний" (1990). В №76 "Континента" опубликована повесть "Окурки".

дотошно изучили и не хуже меня представляете, с какой целью прибывает в только что захваченный город человек из военной разведки и зачем нужны ему архивы и текущая документация кое-каких русских ведомств. Бумаги он частично получил, кое-что выхватил из огня, а заодно и меня вытащил из горящего вагона, получившего название столыпинского, поместил в госпиталь — немецкий, естественно, навестил меня, истощенного и раненого, путано расспрашивал, потом пропал, чему я обрадовался, комендатура выдала мне охранный документ, прообраз будущего аусвайса, с ним я и подался в Мозырь, подальше от Минска, которому вернули старое название, подальше от Роберта, для меня абвер, гестапо и полевая жандармерия мало чем отличались от НКВД, потому и устроился скромным счетоводом при городской управе, два молодчика дежурили в подъезде бывшего исполкома, руки вздергивали, как при "хайль", а рывкали "Живе Беларусь!" Такая вот обстановочка, дамы и господа, это вам не растатуированные маорийцы, а славянское народонаселение и пятый месяц великой войны, кое-кто начал уже прозревать, Клаус и Роберт первыми, это в июне им казалось, что все будет, как в сороковом: сегодня мы выпьем мозельское в Берлине, а завтра бургундское в Париже. Вытащил меня Роберт из Мозыря, как когда-то из горящего вагона, стал я работать у него, потом и с Клаусом познакомился. Вы не обратили внимание: Мозырь, мозель? Перекресток ассоциаций да желание как-то отдалиться от существа, не три человека, а четыре захотели стать судьбой, мойрой, как говорили греки, и четвертым был я, которого вы нашли отнюдь не по наитию... До конца сорок третьего работал я с этой парочкой, пока не оказался в Берлине, без них, здесь я поначалу обрадовался, а потом затревожился, понял: когда они рядом с тобой и вместе, то всегда учуешь, что тебя ждет, а нет их — и гложет неизвестность, что вытворяют за твоей спиной эти немчики, и по вечерам, когда на коленях книга и справа светящийся торшер, каждый тормозящий у дома автомобиль, а я жил на втором этаже, вселял надежды и тревоги, хотя в общем-то жизнь они мне в Берлине создали — даже по столичным меркам военного времени и скорого разгрома — весьма недурную, вполне сносную, с едой и жилищем, полиции приказано было не дергать меня ни по мелочам, ни по-крупному, паспорта у меня, разумеется, никакого, в гражданство Великой Германии я не просился, да мне его и не дали бы, вместо него — удостоверение личности служащего вермах-

та, служащего, подчеркиваю, а не воина, не офицера, удостоверение дополнялось пропуском, и шуцманы всегда козыряли, когда видели сей документ, но служил я вовсе не там, куда разрешал ходить пропуск, а в управлении по делам военнопленных, в русском отделе, перекладывал формуляры и вел учет, сколько пленных прибыло в шталаг такой-то, скучноватое занятие, сослуживцы мерзкие, вот кого бы в шталаг определить, а то и в настоящий концлагерь, не о немцах говорю, заметьте, о русаках, были среди них корниловцы, марковцы в прошлом, старшее поколение, так сказать, с большой склонностью проливать под шнапс горькие слезы, великорусские слезы под очередную дату, помнили разные дни и годовщины, тезоименитство, освящение полкового знамени, день рождения великого князя Николая Николаевича — да подо что угодно пили, но как раз с этим-то можно было смириться, как и с бывшими командирами РККА, эти деловитостью превосходили арийцев, но душа, душа поскрипывала от новой генерации, от потомков тех есаулов и штабс-капитанов, что через Болгарию и Константинополь попали в Берлин еще в двадцатом году или чуть позже. Эти родившиеся в те годы мальчики ходили в немецкие школы и гимназии, но почитывали Куприна, Бунина, Алексея Толстого и Сирина, писавших на благородном петербургском языке, повзрослев же, говорили на великодержавном русском, — я мальчиков имею в виду, — беда же в том, что выросли они в интонационных шумах чужого языка и, как ни тужились, изъяснялись все-таки на искривленном русском, и хотя все слова у них из Даля, мне всегда хотелось, послушав их, листать русско-немецкий словарь, потому что "река течет" звучала как "озеро плывет". Нет, не мог я с ними сойтись, и они на меня косо поглядывали, ждали подвоха, я тоже, и когда однажды глаза мои напоролись на собственную фамилию, то первой мыслью было: подложили, подсунули фальшивую карточку на соотечественника, чтоб проверить, проследить... Карточку отложил, будто ничего для меня не значущую, но не мог уже забыть о ней, вернул ее на свой стол, воспоминания поплыли, глаза же читали: ... такого-то года рождения, числа и месяца... село Орканцево... форма головы... носа... наличие бороды... глаза... уши... особые приметы... Хорошо понимая, что ни с одной властью нельзя быть честным, пошел с карточкой к старшему немцу, я, говорю, не перебегал, рук не поднимал и вообще в плен не сдавался, какой идиот завел на меня этот документик? Карточку немец порвал, задав

тем не менее уточняющие вопросы и получив лживые ответы, ибо в Орканцеве этом я прожил всего три недели, а не семь лет, как всюду указывал, при первом же допросе на Лубянке я сказал то, что давно писал во всех анкетах, в этих самодонсах, и как не писать, не себя спасал же, а мать, которая в Орканцево приехала на исходе беременности, родила меня, чуть окрепла и подалась в Старую Руссу, оттуда в Москву и далее, по своим революционным сходкам и явкам, держа меня при себе для обмана шпииков, вот почему я и удлинил время пребывания в Орканцеве до семи лет, начни я перечислять адреса, фамилии и все прочее — тут тебе и крышка, мать как назло революцией занималась не с теми, кто переехал в Кремль на постоянное местожительство, а с разным сбродом, которому в тридцать шестом году одна дорога светила — на Колыму, и сколько потом из меня ни пытались выколотить связи отца и матери, я бубнил о юношеском и детском беспамятстве, и буду уж точным, не такой уж я умный, чтоб заранее обо всем догадаться, первую анкету заполнял в двадцатом году и экспромтом эти семь лет выложились тогда на бумагу, в тридцать шестом же после ареста еще одну ложь внедрил я в протоколы, скрыл, где был весной семнадцатого года, интуитивно понял, что говорить о Красноярске, зачем ездил туда и как возвращался оттуда, губельно... Нет, нет, джентльмены, я отнюдь не уклоняюсь от ответа на ваш вопрос, я к нему приближаюсь, так вот: есть все-таки польза от разного рода лубянок, одиночные камеры позволяют восстанавливать в памяти детали, которые при вольном образе жизни кажутся безнадежно забытыми. Во всяком случае я, прощупывая собственную жизнь, однажды вспомнил, что кушал на завтрак четырнадцатого сентября двадцать третьего года, и не составляло поэтому особой трудности сцепить разными закорючками мартовские дни семнадцатого года, письмо от отца, из которого следовало, что он, сосланный на Нижнюю Тунгуску, вот-вот преставится, и как только объявили амнистию, мать послала меня, гимназиста, за отцом, помочь ему добраться до столицы. Страхи матери, убедился я воочию, были преувеличенными, революция исцелила отца, он, чмокнув меня в щеку, запахнул в шубу, сдуру подаренную енисейским исправником, тронул тростью ямщика: "Вперед, на Бастилию!", то есть поближе к Бутырке, сделав незначительную по российским масштабам ошибку; расстреляли отца в тюрьме, белые, в ноябре восемнадцатого года, в Ростове-на-Дону смог он в последний раз прокричать общепро-

лстарский призыв перед винтовками **деникинской** контрразведки, затем природа, всегда мстящая добру и злу, в очередном акте справедливости так подстроила события, что матушку мою расстреляли свои же, красные, те самые большевики, за которыми она собачкою бежала все годы от моего рождения до самой смерти, в сороковом году свершился суд земной, а может быть, и небесный, о чем я получил известие только через двадцать пять лет, написав скромненькое письмо, долгехонько шло оно в Москву из Южной Америки, зато ответ скакнул сюда почти мгновенно: да, сороковой год, в той тюрьме, где годом спустя полегла идейная противница матери, одна видная эсерка, вам ни к чему знать эту фамилию, я же, прочитав ответ, понял, что предчувствие меня не обманывало, в том же сороковом я предположил расстрел, меня тогда через всю необъятную потащили в Минск, готовили к лжесвидетельству, намечался какой-то процесс, обрабатывали меня вяло, следовательно скучал, прощупывание затягивалось, однажды я и уловил сочувствие в его взгляде, чуть раньше он громко прочитал строчку из моих предыдущих показаний: "... о судьбе матери ничего не знаю, переписку с нею не веду", вот по глазам я понял, что переписки никакой уже быть не может, и надо бы воздать должное следователю, раскрывшему тайну, в стране все было секретом, правда укорачивала жизнь и подследственным, и прокурорам, а этот, из минского НКВД, к маю сорок первого вообще потерял интерес ко мне, что-то с процессом не получилось, решено было отправить меня к месту прежней перековки, уже и в столыпин посадили, да некомплект вышел, всего два человека на купе, куда можно было, по санитарным нормам того времени, впихнуть в восемь раз больше, соседом же оказался сельский ветеринар, убогий старикашка, родственники которого уже уломали конвой и передали убогому два мешка жратвы, половину распотрошили конвойные, но и нам перепало, что было весьма кстати, вагон отогнали в тупик, в сортир водили нерегулярно, о начале войны мы догадались по бомбежке, разъяренная охрана утром двадцать восьмого июня на свой страх и риск стала всех расстреливать, тут-то и показал себя молодцом сельский хлюпик, детские ручки его выломали вагонную полку, ею мы и заслонились, спасло нас еще и то, что расстреливать начали с другого конца вагона и пока дошли до нашей купейной камеры, засуетились, дверь открывать побо-ялись, постреляли наугад и смылись, благо немцы вплотную приблизились, мы двое суток провалялись в купе, истекая

кровью, Роберт подрос вовремя, — вот мы и вернулись к нашей беседе, если можно назвать монолог разговором с вами, господа, но, уверяю вас, не зря обежал я круг и познакомил вас с собою, впереди еще знаменательный допрос в кенигсбергском гестапо, откуда, может, все и пошло, но — по порядку. Итак, нашел меня Роберт в Мозыре, никаких намерений дружить с немцами я не имел, лелея надежду на бесследное исчезновение, тянуло поближе к тем краям, где ни лагерей, ни тюрем, а таких райских уголков не было на всем пространстве от Владивостока до Лиссабона, и кто бы эту войну ни выиграл, рассуждал я, мне ни с побежденными, ни с победителями жить нельзя, надо выждать момент и дать деру, оставляя за спиной восходящее солнце и бушующие волны Атлантики. Клаус и Роберт значительно позднее пришли к тому же, их куца немецкая мысль простиралась только до Пиренеев, но как только фатерланд затрещал, воображение обоих способно было переместить материки, — ох, уж эти романтические немцы, предложившие мне в Мозыре скромную должность референта по марксизму, что кроме смеха вызывало еще и недоумение, марксизму-то требовалось обучать ту немногочисленную публику, что под видом бывших партийных работников забрасывалась в тыл Красной Армии. Я согласился, мне это было интересно, я еще с детства понял, что марксизм рухнет под тяжестью собственных конструкций, что большевики об этом прекрасно осведомлены, что Сталин уже сделал попытку ужать учение до набора банальностей, — произошло это, правда, в год, когда я мог зрело судить обо всем, а у Роберта я составил наикратчайший курс марксизма, его я до сих пор считаю шедевром философской мысли, труд мой изучен был в Берлине, оценку ему дали превосходную, освоить учение теперь могли самые тупые мозги, обучение партийных диверсантов передали другому наемнику, меня же привлекли к более прозаическим дисциплинам, я выглаживал речь малограмотного сброда, настолько озлобленного советской властью, что речь его, перенасыщенная матом, становилась нетерпимой для уха русского обывателя, и когда кем-либо произносилось слово "Сталин", с языка этих горе-агентов рефлекторно слетали выражения, которыми исписаны все стены провинциальных сортиров, "бисова мать" на фоне их казалась верхом благозвучия, сброд мог на Ярославском вокзале Москвы раскрыть рот и немедленно угодить на Лубянку, никакие легенды не спасли бы, вот тогда-то изобрел я способ прополки языковых сорняков, работа была строго ин-

дивидуальной, одного сквернословия, помню, я натаскал так: орал над ухом "Сталин!" вместе с ударом палки по ягодицам, а ударяемый в ответ отчеканивал сакраментальную формулу: "Товарищ Сталин есть выдающийся археоптерикс всех птеродактилей советского народа". Эта абракадабра влетала в мозги, разрушая устойчивый рефлекс, подопытный забывал о всех фольклорных наименованиях гениталий, я же так, простите за слово, насобачился, что по стилю мата мог определять, на каких сутках диверсионной деятельности голубчика схватит НКВД. Вообще говоря, эта масса производила весьма комическое впечатление, провал следовал за провалом, в трех школах преподавал я и лишь дважды видел вернувшихся с задания агентов, у Роберта были более точные цифры, но и они соответствовали моим наблюдениям, вот почему в конце сорок второго года Роберт и Клаус пригласили меня посоветоваться с ними, ответить на извечный германский вопрос: доверять или не доверять славянам. Нет, кто как выглядел, брюнет или шатен Клаус, говорить не буду, лишнее это, немцы как немцы, оба родом из Саксонии, что создавало для обоих кое-какие проблемы, еще с добисмарковских времен берлинцы недолгоблывали выходцев из Саксонии, и хотя среди новых властителей Германии берлинцев почти не было, сама прусская традиция задвигала саксонцев на задний план, в то место, откуда они вышли, в данном случае — маленький городок, название не прозвучит, родители — лавочники, то есть те, кого социал-демократы и социалисты обзывали филистерами, бюргерами, михелями и похлеще, тот и другой, Клаус и Роберт, учились вместе в гимназии, единственной в городе, там-то и случилась некая страсть к пронырливой гимназистке, была она двумя годами старше их, обоим натянула нос, выйдя замуж за банкира из Гамбурга, обманутые влюбленные самодовольно усмехались, слыша впоследствии о себе самые невероятные домыслы, но не пресекали их, им такая версия нравилась, она объясняла их с каждым годом крепнущую дружбу, их подчас тайные встречи. Поначалу им не везло, Роберт поступил в Потсдамское училище и выпустился в двадцать девятом году, Клаус учился в берлинском университете, лет пять они еще осваивались, не зная, как относиться к национал-социализму, а потом приняли его, признали и диктатуру, она, утверждают, всегда теснит элиту и дает простор выходцам из средних и низших слоев, но, думаю, гимназисты и при Бисмарке пошли бы в гору, Клаус уж точно дослужился б до какого-нибудь оберрежирунг-

срата, а Роберт обеспечил бы себе пенсию полковника. Сблизила их, сделала друзьями до гробовой доски не какая-то Лотта или Гретхен, а — вот уж что для меня дико — романтизация собственного будущего и такой расклад психологических характеристик, когда каждый обладал тем, чего не хватало другому, Гитлер к тому же далим ощущение не только внутренней ценности своей, но и возможность закукленную в душе романтику приложить к мировым делам, обогатить собою историю, которая добром возместит тяготы службы на благо Великой Германии, ведомой фюрером, и вознесет честолюбивых плебеев, вклинит их в уже создающийся нобилитет. К сорок третьему году Роберт был уже подполковником, женился на девушке из промышленно-дворянских кругов, а Клаус, работавший под риббентроповым началом, носил чин, оканчивающийся на "рат", оба причем занимались разведкой, каждый в своем ведомстве, в германском МИДе, напомним, тоже была разведка, вот оба и делились информацией, минуя разрешения и согласования начальников, благодаря чему и продвигались по службе, но к концу сорок второго досадные провалы агентуры могли затормозить их продвижение к высотам, хайматланд терпел ущерб, вот у обоих и родилась идея, как расход превратить в приход, и для воплощения идеи требовалась моя помощь, мой совет, с такой целью приглашен я был на совещание, и не признать идею превосходной я не мог, она сулила выгоды при минимальной затрате людских сил Великой Германии, использованию подлежали сотни русских и украинцев, их в собственно Германии, не считая оккупированных ею территорий, насчитывалось около пяти миллионов, выбрать среди них несколько сот подонков труда не представляло, обучение разведделу заняло бы немного времени, разброс этой агентуры по всему пространству от фронта до Урала — еще меньше, весь смысл операции заключался в том, что намеренно необученный сброд станет легкой добычей советской контрразведки, будет ею перевербован, в кабинетах Генштаба РККА разработают целенаправленную дезинформацию, вот ее-то и надо будет в Берлине просеять и во лжи найти зерна правды, из массива липовых разведдонесений родится истинная картина того, что в тылу и что на фронте. Клаус, в университете бегавший от одного факультета к другому, обосновал идею математически, мне же отводилась роль, прямо противоположная той, которую играли сейчас все инструктора разведшкол: из сотен кандидатов отбирать в агенты тех, кто либо сам после

приземления поднимет, сдаваясь, руки, либо — из-за тупости, необученности или природной невезучести — будет разоблачен в скором времени, а для облегчения задачи в планы подготовки я постараюсь ввести такой пункт, чтоб уж провалы были абсолютными, чтоб уж весь Генштаб РККА потел над дезинформацией, которой и будет питаться абвер, — да, прекрасный план, согласитесь, кое-какие изъяды имелись, но в целом — великолепно, что я и сказал разработчикам невиданной в истории всех разведок плана, кое в чем дополнив расчеты Клауса, я ведь потомственный статистик, однако предостерег: руководство план не одобрит, потому что оно — руководство, Клаус и Роберт мало еще пожили при диктатуре, у чиновников иной склад ума, чиновники и погубят план, тот же Канарис отвергнет его сходу, и какой вообще государственный человек отрапортует о неурожае так: он организован сознательно, чтобы получить ценные данные о невсхожести зерен. Да такой чиновник потому не окажется в концлагере, что другой чиновник, его назначивший, тоже не хочет переодеваться в полосатую робу... И я, господа, оказался прав, у руководства хватило, правда, ума не обвинять своих сотрудников в злоумышленном подрыве, в опалу они не попали, но подозрения в излишней инициативе приклеились к ним прочно, меня же вызвали в одно учреждение по месту жительства, так сказать, в кенигсбергское гестапо на дружескую беседу, я мог сравнивать карающие мечи обеих систем, предпочтение не было отдано ни той, ни другой, гестапо, как я заметил, так и не избавилось от прусской тягомотины, присущей временам Канта и Лейбница, Лубянка такой дурости не ведала, обхождение там и там одинаковое, те же атрибуты, удивили меня следственные дела, заведенные на вашего покорного слугу архангельским губчека еще в двадцать третьем году, дела эти были, конечно, переброшены в Минск, громкий, видимо процесс намечался, что предположил и чиновник, в несколько грубоватой манере проводивший со мной беседу, из которой я заключил, что мой философский шедевр переосмыслен берлинским идеологом и признан вредным, бросающим тень на постулаты национал-социализма. Чиновник в дальнейшем выразил скорбную мысль о тленности сущего, а затем мягко поинтересовался, а как я лично отношусь к Иосифу Сталину, вождю советского народа, и я, вдвое дольше чиновника живший при диктатуре, сразу разгадал незамысловатый маневр, ответил небрежно, что никакого личного отношения к Иосифу Сталину у меня

нет, правильно среагировал, потому что после такого ответа интерес ко мне у гестапо пропал, там ведь как рассуждали: если ты ненавидишь одного фюрера, то, пожалуй, способен возненавидеть и другого, ты, следовательно, представляешь опасность для общества, скованного гением фюрера, иной почему-то вывод из этого суждения предполагался, если человек пламенно любил одного фюрера, над этой логической, или психологической задачкой, господа, я вам рекомендую подумать, как некогда советовал Клаусу и Роберту, когда они вытягивали из меня подробности беседы с гражданином, чин которого достигал министералрата, и тут черт дернул меня за язык, я сказал, что есть у меня личное отношение к Иосифу Сталину, что я встречался с ним однажды и что арестован я был сразу после встречи в Кремле, случайной, и, кажется, это была не первая встреча, меня все лагеря и этапы преследовало одно воспоминание, все о том же марте семнадцатого года, я уже рассказывал о саях и призыве мчаться на штурм Бастилии, разные призывы слышались и в поезде, когда выехали из Красноярска, у меня же с детства было отвращение к этим революционным спорам, мне, мальчику, они мешали спать, гимназисту — думать, профессия родителей не предполагала воспитания детей и последовательного восхождения к знаниям, был я очень разболтанным юношей, задавал гостям странные вопросы, и когда, к примеру, при мне рассуждали об экспроприации экспроприаторов, то недоумение сквозило в моих расспросах: а кто же будет экспроприировать тех, кто в результате революции уже экспроприировал экспропрированное, не может же революция длиться веками, перманентно, — нет, не получал я удовлетворяющие меня ответы, и, сидя в сторонке от спорящих, всматриваясь в раздумянные теорией лица революционеров, я всегда среди них находил человека, который точно знал, как экспроприаторы станут неэкспроприруемыми, и эти, знающие, всегда помалкивали, их теория не трогала, не волновала, более того, все теории они отрицали, а уж над этой не издевались только потому, что вслед за издевками посыпались бы возражения, опять споры, ими ненавидимые, и в прищуренных глазах этих неверующих я читал такую мысль: болваны вы, самого простого понять не можете, сказано же классиком, что философия — не объяснение, а изменение мира... Так вот, споры в поезде довели меня до того, что я ушел спать в пустое купе, забрался на верхнюю полку и заснул, пробудили меня голоса, была ночь, говорили

не по-русски, по-грузински, в Тифлисе я прожил с матерью три месяца и кое-какие слова знал, интонации тоже, внизу спорили, были там два человека, один из них влез в купе совсем недавно, скрип отодвигаемой двери и был первым сигналом к пробуждению, я и заснул бы, да развеяла сон эмоциональность сорванных волнением голосов, дикая для русского уха страсть, яростно ругались двое — тот, кто проник в купе во время моего сна, и второй, приход которого предварен был скрипом двери, и этот, второй, бросал жаркие обвинения, гневные, бичующие, получая в оправдание жалкий лепет сломленного, в грехах повинного человека, но чем дольше тянулся этот словесный бой на уничтожение, тем увереннее начинал себя чувствовать обвиняемый, он уже переходил в наступление, но вдруг услышал слова, равные пощечине наотмашь, а затем человек, вошедший недавно в купе, смачно плюнул в того, кто, как и я, прятался в купе от бестолковых споров, и вышел, и скрип двери подсказал мне, что делать дальше, я спрыгнул вниз, в темноту, я не видел оплеванного, но когда — уже в коридоре — задвигал дверь за собой, страх толчком поднялся во мне, темная сила неистощимой угрозы исходила от человека в купе, я побежал к отцу, который меня уже разыскивал, отец решил на следующей станции сойти, узнать о судьбе сосланного в эти края брата, я мог бы отговорить, напомнить ему о матери, о гимназии, но страх не проходил, я покинул поезд, унесший оплеванного, и забылось бы все, с Красноярском связанное, если б не день, когда в приемной Орджоникидзе забушевал представитель одного немецкого концерна, я работал тогда в наркомате тяжелой промышленности, сидел на контрактах с зарубежными фирмами, немец в приемной требовал немедленно подписи наркома, ему я и позвонил, в Кремль, где засиделся Орджоникидзе, и тот приказал привезти в Кремль злосчастный контракт, здесь он его подпишет, и — поехал я, знал ведь, что нельзя соваться в этот зоологический музей, но поехал все же, я так волновался в кабинете Сталина, что не запомнил, кто сидел за столом, краем глаза определил, что Сталин здесь, ходит вдоль стола, сапоги его попали в поле зрения, трубка, низ кителя, в глаза его смотреть опасался, и уже в дверях, когда уходил с подписью, знакомый по красноярскому поезду страх обволок меня, и, придя домой около одиннадцати вечера, я обессиленно упал на диван, я знал уже, что ночью буду арестован, я готов был давно к этому акту, аресты шли волнами, ни при каком ветре не утихая, я радовался тому, что нет детей, что

жена умерла, что уже надломленная мать занимает наискромнейший пост, выдает книги в старорусской библиотеке, растеряв чувства, погасив святое горение интеллигентной барышни, посвятившей себя культурному подъему трудящихся, и спасение матери только в том, что никуда я этой ночью не брошусь, не стану скрываться, избегая ареста, — вот вам, леди и джентльмены, еще одна психологическая задачка, усложненная тем, что и о немедленном аресте матери знал я, — вот в чем сказывается магнетическая сила диктатур, люди при ней всегда находят оправдание собственной немощи, сила в человеке возникает только тогда, когда он порывает со средой, его возраставшей, иначе — безволие, онемение и оцепенение, настигающее всех, от клерка до министра, шеф Роберта адмирал Канарис две недели проторчал перед арестом на своей вилле, был у него личный самолет, как пишет один из моих бывших знакомых, штурман на полетной карте вычертил уже маршрут до Мадрида, на всех заставах — верные люди, но так и не нашел в себе Канарис опоры для прыжка, чего уж тут говорить о Клаусе и Роберте, им, впрочем, бежать было некуда, подзадержались они с прыжком через Пиренеи, пересидели они потом смутное время, благополучно, как мне известно, проскочили денацификацию, никто так и не узнал, что задумали они и что с моей помощью затеяли в декабре сорок четвертого года, задумали, если уж быть точным, сразу после беседы со мной, когда я рассказывал им о вызове в гестапо и ни с того ни с сего ляпнул о встречах с Иосифом Сталиным, и опять я привираю, какой-то все-таки расчет у меня был, когда выкладывал им о причинах ареста в тридцать шестом, когда сам я обнаружил в себе личное отношение к фюреру советского народа, и немцы клюнули, я ведь подозревал у них веру в некое предназначение, от юношеской ли романтики она сохранилась, от безысходности ли родилась, но я в сорок втором скумекал: нет, эта парочка — не фанатики, но когда-нибудь жизнь подвигнет их на какое-то экстравагантное и возвышенное действие, соединение университетского образования с пехотным даст диковинные плоды, они, догадываюсь, тоже испытывали мой вагонный страх, Клаус два, а Роберт три раза, когда бывали на приеме у фюрера, статистами, правда, кто он такой — это они понимали, частным образом с ним не общаясь, и к заговору против него тем не менее не примкнули, это уж точно, остались они незапятнанными, даже укрепили после двадцатого июля свое несколько пошатнувшееся положение и, главное, пришли к решению:

надо действовать, пора спасать Германию, и без этого русского, то есть без меня, никак не обойтись, — так я вернулся к тому, с чего и начал, к пансиону, к торшеру, к томику бессмертного Карлейля, я сижу, безмерно довольный отсутствием хозяйки, которая поперлась в кино, и можно безнадзорно пожить часок-другой, чего не получилось, потому что у подъезда остановился хорьк, из него вышли двое, Карлейля я отложил, прислушался, догадываясь уже, что на номерных знаках красуются аббревиатуры, страшные всех любителей немецкого порядка и беспорядка, и к двери я шел, точно зная, кто за ней, уверенный, что хозяйку подзадержат в кино, что разговор будет долгим и чрезвычайно важным, не обманули меня и улыбающиеся физиономии саксонцев, содержимое же чемоданчика, набитого дарами нейтральной Швейцарии, обрадовало, как и первые пассы гостей, — как, спрашивали они, с памятью у меня, не могу ли я, знающий белую эмиграцию и пропустивший через себя пять миллионов хефтлингов, дать им человека, обязательно русского, готового и способного выполнить опасное задание, на что я, ни на секунду не задумавшись, ответил — да, такой человек и такие люди найдутся, на все горазды, мост ли подорвать, обком ли поджечь, но с такой просьбой не ко мне надо обращаться, такие люди у них под рукой, десять тысяч головорезов, объединенных разными знаменами — от жевто-блакитного до бело-синего... Знамена, как и головорезы, были немедленно отвергнуты, Клаус и Роберт подчеркнули: задание сопряжено с самопожертвованием, рекомендованный мною человек должен помнить, что завершение акции есть начало его гибели, семь-восемь секунд — и он испустит дух, тот самый, который соберет его на подвиг, который... и так далее, то есть все то, что я и ожидал услышать от двух патриотов великой Германии, и патриотам, валяя дурака, я промямлил о пяти или шести человеках, есть они у меня на примете, их бы поднатаскать, их бы... Клаус и Роберт пронзительно смотрели на меня, как дергался я, давно уже заглортивший крючок, металлическая жесткость была в голосе их: требуется уже подготовленный русский, он мгновенно внедрится в московскую среду и совершит акт возмездия, отомстит за все беды, принесенные большевизмом русскому народу, — итак, наседали на меня Клаус и Роберт, ищите, перетряхивайте в уме всю картотеку, все встречи и все разговоры, найдите среди мелькавших людей того, кто выполнит свою историческую миссию, кто спасет два народа, немецкий и русский, от плахи, который тому и другому

народу даст хотя бы начала свободы, изыщите! сотворите! создайте!.. того, кто недрогнувшей рукой убьет Иосифа Сталина!.. Того, кто...

— ... возраст не тот, годы сказываются, а то бы я принял ваше приглашение, на лекционное турне я не рассчитываю... что?.. да?.. об этом стоит подумать... еще кофе?.. Да, да, сейчас продолжу... Так вот, ушли они, Клаус и Роберт, а я проворочался всю ночь, я вставал не раз, смотрел в ночной Берлин, засыпал, вздрагивал, вставал, — нет, нет, не на меня намекали мои шефы, я был уже староват для акции мирового значения, мне пошел сорок пятый год, я не умел ни прыгать с парашютом, ни стрелять в подброшенную монету, ни закладывать мины под мосты, но я же был и единственным, только я мог найти человека, о котором говорили Клаус и Роберт, идея-то, кстати, родилась в воображении Клауса, более приземленный Роберт был зато силен в тактике, обработка всех деталей операции доставалась ему, он и посвятил меня, — Клаус при сем помалкивал, — еще в одну особенность намечаемой акции: она должна быть не просто одноразовой — это понятно, тут не надо разъяснять, повторить покушение никто не позволит, но и совершиться как бы экспромтом, как бы невзначай, ни одно ведомство не должно о ней знать, ибо совсем недавно провалилась тщательно разработанная операция такого же направления, всесторонне подготовленный агент был отправлен за линию фронта, снабжен специально сконструированным оружием и — провалился, едва оказавшись в расположении Красной Армии, впустую были хлопоты трех ведомств, служебное расследование еще не закончено, еще полетят головы, но кое-что Роберт выложил из своего портфельчика, лежавшего в чемодане под швейцарской снедью, что было в портфельчике — я изучил, на что ушел час, Роберт и Клаус варили кофе да посматривали в Карлейля, и по прошествии часа я указал двум разведчикам, какие ошибки совершили разработчики неудавшейся операции, и самая главная ошибка в том, что нельзя было немцам поручать задание такого масштаба, уж очень они пунктуальны и преисполнены сознанием ответственности, из-за чего тотально не доверяли агенту, русскому. При подготовке и подгонке его они сделали, кажется, все, чтоб тот провалился, обложили проверочными ловушками, психику измотали, подсунули ему радисткой заагентуренную бабу, его же любовницу, тем самым связав ему руки, еще более глупо

поступили, когда экипировали агента, оружием выбрали миниатюрную реактивную ракетную установку, прикреплялась она к руке, в испытании и доработке снарядика участвовали десятки людей, радиоперехват установил, что советская разведка осведомлена о полигонных испытаниях этого фаустпатрона, надо бы отменять операцию, но ответственность, ответственность, кто же признает себя дураком, а идиотизмы дальше пошли косяком, достаточно сказать, что исполнитель выбрасывался за линию фронта в реглане того образца, что принят в Красной Армии, и такого кожаного реглана почему-то среди трофеев не нашли, шили реглан в частном рижском ателье, о котором доподлинно было известно: среди портных — подпольщики. Агентам придали мотоцикл с коляской, куда вмонтировали рацию, такой груз требовал посадки самолета, причем до самого последнего момента неясно было, а что делать с летчиками, если самолет будет поврежден и ему не удастся взлететь, самолет же, вот уж дурость немецкая, выбран был специализированной конструкции, готовили его к вылету тщательно, то есть, опять с привлечением людей, которые на учете, на одного человека трое учитывающих, и одно полезное обстоятельство извлек я из портфельчика Роберта: тот исполнитель, имя которого ждут от меня, ни на кого рассчитывать не должен, только на себя, мы натянем тетиву лука, а стрела сама должна вонзиться в цель, управляя собственным полетом, имя же этого человека, вся предыдущая жизнь которого была подготовкой к решающей стадии существования, имя его... Нет, не сразу сказал я Клаусу и Роберту, что есть у меня такой человек, что я подумал о нем в тот момент, когда зашуршали у подъезда шины хорьха, память о нем вросла в мякоть полушарий, о человеке этом я слышал в лагере, а потом и на пересылке, было это в году эдак тридцать девятом, увидел же я его в сорок втором, на Украине, меня послали туда разбирать склоку, возникшую из-за умопомрачительного по комизму обстоятельства, вам, джентльмены, полезно будет услышать эту историю, вы ведь посиживали в библиотеках и корпели в архивах, заключалась история в том, что люди Розенберга, эти воры от культуры, решили вывезти в Германию один архив с документами грандиозной исторической важности, но когда глянули, как эти документы содержатся, в каких условиях, то пришли в ужас, большевики ведь бастарды, а бастарды до помешательства ненавидят любые документальные свидетельства своей незаконнорожденности, прошлое для них — повивальная бабка,

что помогала плоду покидать отнюдь не царственную утробу, они всю историю до октября перечеркнули бы жирным крестом и все архивы свалили бы в общий костер, но в бастардах еще и подсознательное преклонение перед законным наследником, который когда-нибудь да погонит их с трона, потому-то кое-что и сохраняется, что же касается упомянутых мною архивов, то разъяренные немцы арестовали всех музейных работников и готовы были расстрелять их за преступное отношение к культурным ценностям, тут-то и обратились ко мне не сами арестованные, а профессора из Веймера и Берлина, через Клауса, тот — Роберту, словечко того оказалось действенным, меня и послали в музей, в ресторане для немцев я и встретился с оберлейтенантом Римником, о котором надо было говорить с самого начала, с того момента, когда вы спросили меня, он вам нужен, господа, он — Антон Иванович Римник, фамилию его немцы сперва писали, как Римник, а потом уж совсем по-ихнему — Римнек. Представьте себе маленький украинский городишко, сильный немецкий гарнизон, ресторан, входит среднего роста офицер, китель шит не просто ладно, а с налетом изысканности, у классного портного, и что сразу обращало внимание — ноги, не сами ноги, мужские ноги в отличие от женских, а расстановка их при ходьбе, манера тела утверждать себя на поверхности земли, опираясь на безотказные, мощные, пружинящие конечности, при некоторой массивности фигуры походка казалась легкой, почти воздушной, но поступь свидетельствовала: этого человека с места не столкнуть, его и не согнуть, он, падая, всегда мягко опустится на землю, выпрямленным, стреляющим с обеих рук, их тоже следовало бы отметить: нормальные человеческие конечности, но очень хваткие, оберлейтенант мог бы не хуже обезьяны прыгать с ветки на ветку, висеть на них, раскачиваться... Превосходные психофизические данные, не мог я не восхититься ими, мой собеседник, кисло наблюдавший за мною, язвительно промолвил, что офицер-то русский, фамилия его Римник, я бровью не повел, глаза — к тарелке, чтоб скрыть волнение, я вспомнил об Антоне Ивановиче Римнике, уголовнике высочайшей квалификации, мы разминулись с ним на красноярской пересылке, его прогнали этапом сутками раньше, спустя же неделю по всему конвойному маршруту прошла весть о его побеге, очередном побеге, и пока я шел путем отца к Тунгуске, только и слышно было о Римнике, я напился поразительными сведениями о нем, рассказывали те, кто врать не мог, и еще до

Минска, до Кенигсберга, до украинского городка узнал я и понял, какой талант резвится на российских просторах, такие рождаются раз в столетие, и надо ж было судьбе, перед которой Рымник преклонялся, надо ж было року, фатуму, провидению отвлечься от своих прямых обязанностей в тот момент, когда в провинциальном цирке на истертой попоне юная шпагоглотательница родила мальчонку, которому лет бы на пятьдесят раньше закричать, стал бы тогда мальчик последним великим авантюристом планеты, а он прозябал с рождения в цирковой семье, циркачи объединены в одну семью, Антоша умел делать все, что вытворяли его братья и сестры, дядьки и тетки, и выделял все с некоторым перехлестом, талант его не знал меры, а уж подначить, разыграть, выдать себя за другого не из-за денег или добычи, а ради смеха, это для него распустяшное дело, и неизвестно, на чем сфокусировались бы его дарования, если б не замели его в домзак за какое-то словечко на манеже, четырнадцать лет не помеха, но отмерили ему по-божески, три года, в эшелон — и на Соловки, где тогда, если верить молве, не жизнь была, а вольница, Антоша до них не доехал, сбежал, он вообще не умел подчиняться чужим, свои же — это цирк, его и ловили там, сколько бы ни бегал, а убегал он самыми невероятными способами, и промышлял тоже с фантастическими изысками, если уж воровал, то в особо крупных размерах, если наносил экономический ущерб, то исчислялся он миллионами, угнал ведь однажды вагон с мануфактурой, и во всех дерзких акциях — буффонада, потеха, Антона Рымника не оставляла мечта о цирке, куда рвался, где все так мило, дед вместе с Чинизелли основывал в Петербурге цирковой бизнес, и Антон не столько очищал сейфы и кошельки, сколько разыгрывал сцены на манеже, нет бы ему пройти с наганом по вагону-ресторану да побросать в сумку отобранные портмоне, такой вариант представлялся ему скучным, Антон изображал работника НКВД, настигающего банду фальшивомонетчиков, предлагал пассажирам в ресторане проверить все купюры, нет ли среди них поддельных, и забирал их на экспертизу... вот какой человек вошел в ресторан украинского городка, я узнал от собеседника, что делает Рымник здесь, потом, по возвращении, сообщил Роберту, какая феноменальная личность служит в пятом отделе, но тот не заинтересовался, теперь же, когда я Клаусу и Роберту выложил эту кандидатуру, они ошеломленно смотрели друг на друга, как это они прошляпили такую дичь, птицу такого полета, где у них были глаза, уши, кое-какие

справки о Рымнике я навел, еще больше разузнали мои шефы, окрыленные надеждой. Рымник, оказывается был в Берлине, совсем рядом, отлеживался после ранения, последний год он провел в Югославии, война для него стала продолжением гастролей, четвертым или пятым актом пьесы, занавес все не опускался, в войне Антон нашел себя, он уже куска хлеба не мог прожевать без ощущения сладости риска, опасности, когда нервы напряжены ровно в той мере, чтоб не перебирать, как в довоенных игрищах, через край, показал он себя в Югославии отлично, и если б не славянское происхождение, то на кителе его давно бы болтался еще и крест с дубовыми листьями, но не награды восхитили моих шефов, а неизвестное мне достоинство Рымника, его феноменальное умение стрелять, попадая в цель, из любого положения, при любой видимости, из любого оружия, искусство это всегда было при нем, мать его, помнится, показывала доверчивой публике фокус: духовое ружье прикладом к щеке, дуло смотрит за спину, в вытянутой руке зеркальце — и бывшая шпагоглотательница лупит по шарикам, видя их отраженными в зеркальце. Во все годы разбоев и побегов стрелять метко нужды не было, уроки матери вспомнились там, в Югославии, пистолет так обхватывался рукой, что становился неотъемлемым от тела, такой же частью тела, как глаза, лоб, подмышечная впадинка, и как нельзя было изогнуть направление взгляда, так и невозможно было отклонить пулю от той точки, в которую вонзался нацеленный глаз, и Рымник показал нам всем свое искусство, поднялся на второй этаж особняка, в пригороде Берлина, мишень в половину человеческой фигуры мы поставили на первом этаже, Антон, стоя спиной к окну, сделал внезапное сальто, ногами оттолкнулся от стены, вылетел в раскрытое окно, опустился на землю, успев пуля в пулю всадить в мишень обоймы двух пистолетов разных марок, затем мгновенным прыжком достиг стены и оказался в мертвой зоне, со второго этажа его не достать уже ни пулей, ни гранатой, — нет, я все-таки подозреваю, что Антон еще эмбрионом тренировался в утробе с крохотным пистолетиком в сморщенном кулачке... Особняк этот мы покинули, нашли скромненькую загородную виллу, обнесенную ажурно-решетчатой изгородью, два без малого гектара земли, лес, невдалеке психиатрическая больница, принадлежала вилла другу Клауса, секретарю посольства в Монтевидео, гараж был, бомбоубежище, где и отстреливал Рымник пистолет особой марки, не для него специально изготовленный, — мы угли провал парочки

на мотоцикле, — а случайно найденный в Льеже, в музее оружия, калибр девять миллиметров, пули пришлось брать от другого пистолета, никаких официальных заказов, никакого грифа "секретно", вообще ни одного документа не написано, не напечатано, не оглашено и, тем более, не разглашено, как все это делалось — не знаю, техническая часть операции возлагалась на Роберта, мне же надо было заглянуть в душу Рымника, убедить, снять колебания, представить убийство И. Сталина рядовой операцией, мало ли людей, мол, убивают на войне, вот и этого надо шлепнуть, — с такого примерно пассажа и начал я беседу с ним, а он переспросил: "Кого? Кого?..", и вновь услышав о Сталине, покачал снисходительно головой, придумают же люди... Он очень мне понравился при первом контакте, улыбающийся, серые спокойные глаза, та же памятная мне походка никогда не падающего человека, руки, которые не видны, то есть они есть, но что в них и как они действуют — это не замечается, располагающая к себе манера держаться, слабые люди такого человека бояться не будут, а сильные не осмелятся потревожить, остальные же доверятся ему, и когда наши руки соединились в пожатии, мне в этом мире стало спокойнее, Антон Иванович казался человеком из нейтральной страны, где ни бомбежек, ни светомаскировок, ни боевых маршей по радио, ни сводок, ни уже вплетенного в сознание всех немцев страха перед неминуемым концом, бывший артист и налетчик с детства знал, что падение с высоты и ушибы, неудавшиеся номера и сорванные трюки — более чем убедительный повод для того, чтоб улыбкой приветствовать публику и посылать ей воздушные поцелуи, настоящий артист покидает арену с гордо поднятой головой, Антон Иванович Рымник ее и покидал в декабре сорок четвертого, когда Роберт привез его ко мне в пансион, хорошо чувствуя, что жизнь его пошла насмарку, предстоял последний полет под куполом, без лонжи, с неминуемым падением, русские вздернут на виселице, если американцы не сделают это раньше, он им крупно насолил, пристрелив в Триесте кого-то из их миссии, об англичанах и говорить нечего, он с ними сталкивался в Греции, французы в счет не шли, немцы из него все выжали, и если такого, как он, ненужного свидетеля еще не устранили, то только потому, что времени на него не оставалось. Да, прекрасно держался, превосходно выглядел, но глаз-то у меня верный, я видел: уже погас, уже на грани истощения, про буффонады и розыгрыши не помнит, похолодала душа его, но что-то теплилось еще, на мою русскую

речь он отреагировал полупрезрительным поджатием губ, биографию мою принял, однако, хорошо, а когда узнал, что в Брянске видел его семью, его цирк, то глянул на меня со скрытым вопросом, а как ты, мол, из этого бедлама будешь выбираться, и я пожал плечами, сам недоумевая, стоит ли прыгать с тонущего корабля, если море полно акул и до любого берега не доплыть, — так не лучше ли, сказал я, пустить пулю не себе в лоб, а в Сталина, и он вновь переспросил: "В кого, кого?.." Подали голоса Клаус и Роберт, сидевшие в сторонке, эти знали, как нужны артисту аплодисменты, и служебно-деловым тоном сообщили: в Европе — пятьдесят миллионов стреляющих мужчин, но только один из них способен выполнить то, о чем его просят, сама история вопит, сама Европа умоляет Рымника заступиться за нее, спасти ее от Сталина... Неожиданное препятствие обнаружилось, Сталин так вознесен был над Рымником, что тот не видел его, а угадывал по смутным очертаниям покоящееся в небе божество, надо было подтянуть верховное существо поближе к Антону, чтоб тот разглядел его, и я приступил к снижению образа, сказал, что вождь советского народа и продолжатель дела Ленина всего лишь грузин да еще из той паскудной породы людишек, что в любой нации подвергаются насмешкам, что все, кто знал Сталина с детства, помнят о мелких подлостях этого кинто, мать не уставала его колотить за разные проделки, отец неизвестно кто, несчастный ребенок, на ногах по шестому пальцу, скрытен и мстителен, кое-какая поэтичность юношеской натуры давно исчерпалась экзами, нападениями на почти безоружных людей, в начале же так называемой революционной деятельности — подозрительные связи с полицией, их, возможно, и не было вовсе, но вся логика поведения указывает на то, что либо охранка выбрала его для будущего сотрудничества, либо сам он коснулся порога предательства, но даже если ни того, ни другого не было, то сам Иосиф Сталин внутренне, подлостью характера в любой момент мог стать провокатором, и будучи позднее членом партийных и государственных органов, он вел себя так, словно с минуты на минуту ожидал губительного для себя письма, появления вдруг человека, перст которого воткнется в него, предателя, в таком вот ожидании существовал он, и существует, вокруг него когда-то обретались люди, во многих отношениях лучше его, порядочнее, есть такие и сейчас, из-за мыслей о собственном убожестве Иосиф не мог не научиться смотреть на себя глазами этих людей, и то, что эти глаза видели, вынужда-

ло его уничтожать этих людей, чтоб глаза их навечно закрылись, умерщвление стало потребностью, под любым предлогом из жизни изгонялись те, кто мог пронизательно глянуть на хитрого и мстительного грузина, ну, а то, что весь мир считает от рождения или опыта принадлежащим Сталину, то есть ум, искусство властвования и прочее, это все черты исторического процесса, его результаты, уже неотделимые от личности, мыльный же пузырь, вздутый эпохой, разросся до необъятных размеров и не лопается только потому, что никто не догадается проткнуть его пальцем, тем самым, который нажмет на спусковой крючок, и пуля наконец-то оборвет зло, покарает палача миллионов, существо, предвосхитившее всю мерзость национал-социализма, давшее ему символы, и лозунги, и систему власти, и не уничтожить Сталина — значит сохранить еще на пятьдесят, на сто лет несчастную, нелепую, смертоносную советскую власть в том виде, в каком она ныне существует, убить его — это поставить на его место другого, который в любом своем человеческом варианте окажется чуточку получше Сталина, что уже есть выигрыш, при новом властителе будущие отношения с союзниками претерпят кое-какие благоприятные изменения, хоть какая-то часть человечества заживет не в страхе... "А мне-то что? — возразил Рымник с натянутой усмешкой. — Где моя личная выгода? Где гарантия безопасности?" Ответили — квалифицированно — Клаус и Роберт, разговор, сказали они, сугубо мужской и абсолютно честный, предмет слишком серьезен для того, чтоб хитрить, обманывать или давать опрометчивые обещания, но они сделают все, чтоб, во-первых, Рымник все-таки остался жив и на свободе, а во-вторых, они согласны удовлетворить его разумные претензии к ним, если такового не произойдет, и в интересах самого Рымника операцию готовить в полной тайне, четыре человека — те, которые сидят за этим столом — знают о покушении, никто больше не должен посвящаться, поэтому ответ на их предложение Рымник обязан дать в ближайшие часы, ни с кем не советуясь, сейчас все четверо поедут отсюда в предместье, в снятый особняк, там Рымнику дадут время на обдумывание, пусть сам, без принуждений решит исторический для мира вопрос: убить или не убить, быть или не быть... Антон прервал их, спросив отчужденно, насмешливо, а как поступят с ним, если согласия он не даст, уж не честным ли словом его удовлетворятся, на что Роберт сухо вато заметил: абвер уже в подчинении Кальтенбруннера, у них и у Рымника общий хозя-

ин, но в данном случае предложение делается не от имени Имперского управления Безопасности, а носит приватный характер, три человека, на свой страх и риск, просят четвертого выполнить их частное поручение, о каких-либо санкциях за непослушание и речи нет, либо они ударят по рукам, либо с миром разойдутся... "Хорошо, едем", — поднялся Антон, а я собрал кое-какие свои вещички, включая Карлейля, и продолжили разговор в особняке, поев и выпив, Клаус вновь намекнул на вознаграждение, и Рымник задумался, стал на бумаге чертить какие-то загогулины, потом вывел цифру, сумму, очень значительную, превышающую возможности саксонцев, да еще на анонима в швейцарском банке, и на лицах шефов отразилась неловкость покупателей, смущенных тем, что товар на витрине ой как нужен, а денежек — кот наплакал, а выглядеть ой как хочется богатенькими, — это вот смятение лавочников перед витриною берлинского универмага и увидел Антон Рымник, усмехнулся, по-русски обратился ко мне, очень серьезно спросил: эти-то — что за люди?.. и я ответил, что люди эти, немцы, со сверхзадачей, им уже начхать на Гитлера, на Гиммлера, на всех, им больно за немцев, попавших в тот переплет, в каком не одно уже десятилетие живут русские, они боятся, что красноармейский сапог вытопчет их нацию, немецкий народ они спасают; Клаус и Роберт, поднявшиеся из-за стола в момент, когда Рымник заговорил по-русски, посоветовались и в некотором замешательстве сообщили: они могут вознаградить Рымника суммой, в пять раз меньшей той, на которую он рассчитывает, и я по-русски подтвердил это Антону, небогатые люди, сказал я о шефах, к тому же все операции с недвижимостью запрещены, Клаус мог бы продать имение умершей супруги, но кто его сейчас купит. "И я небогат!" — отпарировал Рымник, но, кажется, неплатежеспособность работодателей уверила его в реальности и честности предложенного, кое-какие колебания еще сохранялись, и тут я нанес решающий удар, сказал, что у него, Рымника, есть и личные поводы не оставлять Сталина живым, Иосиф убил всю семью его, отец помер в лагере, мать тоже кантуется там... "Я знаю", — опустил голову Антон, а я продолжал: "Калинкиных помнишь?" Он вздрогнул: что с ними? Я выдержал паузу, Калинкины — это труппа лилипутиков, самое больное место Антона. "Расстреляны!" Он помертвел: за что? За то, ответил я, что они маленькие, что они лилипуты, что японцы тоже низкорослые, вот и решили в НКВД, что Калинкины — японские шпионы, взяли их на гас-

тролях цирка во Владивостоке, всех, самого Калинкина расстреляли сразу, остальных как-то иначе, утопили вместе с баржой. "Бедные мои дети..." — прошептал он, потому что лилипутики всегда были его детьми, он в цирке за ними присматривал, он был судьей во всех ссорах этих Калинкиных, он был отцом их и строгим воспитателем, и гибель их, изуверский силлогизм НКВД, каким заражена была вся Россия, потряс его, он уже дал ответ молчанием, погружением в свою боль. Утром сказал, что начнет подготовку после того, как пятьдесят тысяч долларов окажутся в распоряжении женщины, имя которой ему известно, женщину же надо переправить в нейтральную страну, и пусть она даст ему весточку, все, мол, в порядке, только тогда он приступит к операции... Боюсь, джентельмены, вам известна эта женщина, от нее могла истечь информация, выключите поэтому ваш диктофон, дайте мне освоиться с тем, что она жива... что?... уже нет... мир ее праху, успела все-таки перед смертью наябедничать...

—...в Берлине, сюда она попала через уманьскую биржу труда, строчила на машинке, не пишущей, а швейной, сама ли решила уехать на чужбину или погнала ее судьба — об этом знал, наверное, Антон, случайно зашедший в кинотеатр и услышавший украинскую речь, знакомство продолжилось, женщина каким-то боком связана была с цирком, мать ее билетершей работала в Киеве, звали ее Верой, ту женщину, которая пошла смотреть "Золотого тельца", немцы поставили неглупый фильм по очень популярному в СССР роману, двадцать два года, красотой не блистала, о чем я догадался, еще не видя ее, у Антона с его фантастическим обилием ярких эпизодических баб не могло возникнуть привязанности к очень красивой европейской женщине, потянуло на свое, серенькое, скромненькое, но верное, возлюбленную он определил в группу специалистов при одном министерстве, сколотили группу из русских инженеров, конструкторов и технологов, работали на авиацию, никакими своими статьями Вера к этой группе не подходила, но продажнее партийных функционеров никого, пожалуй, тогда в Германии не было, за взятку швею переделали в конструктора, дали очень приличные документы, их мы, — я, Клаус и Роберт — изучили, полистали и ворохи полицейских донесений, решено было ехать к Вере мне и Роберту, Клаус остался при Антоне, до конца операции мы обязаны были следить друг за другом. Скромненькая квартира, сама

Вера очень привлекательна, но не для немца, черноволоса, что мы сразу отметили, планируя, как вывезти из Германии чистокровную украинку. Умер, горестно сказал я ей, Антон, умер три дня назад, в Будапеште, там же и похоронен, перед смертью просил передать ей эту цепочку с крестиком и последнюю просьбу, целиком довериться человеку, который приложит к цепочке письмо от него. Она обмякла, стала меньше телом, ниже ростом, вся сжалась и смотрела на коленки, раглаживая ткань юбки, подняла глаза, спросила, страдал ли Антон, умирая, — нет, не страдал, ответил я, был в ясном сознании, чистый перед собою и Богом, зная уже, что страдания окуплены, что будущее Веры будет обеспечено. Роберт, — переводил, разумеется, я, — проникновенным голосом выразил глубокую скорбь, соболезнование и помощь по всем пунктам завещательной просьбы Антона Римнека, желания покойного — закон, нравственный долг, поэтому послезавтра Вера выедет в Швейцарию, а оттуда — в Испанию, у нее будут деньги, кончится война — пусть сама решает, как ей жить и где жить, и хотя брак с безвременно умершим церковью не освящен, прошу ознакомиться с паспортом на имя Веры Римнек, отныне она еврейка, так уж сложились обстоятельства, виновато заключил Роберт, которого даже Клаус не посвятил в тонкости с этим паспортом. Дело в том, что всю войну в Амстердаме испанский консул вытаскивал из Германии именитых и неименитых евреев, Франко за Пиренеями чувствовал себя в полной безопасности и готовился к миру после войны, задабривая так называемые сионистские круги, но к декабрю сорок четвертого года консул полулегальную деятельность свою свернул, Клаусу пришлось расшибаться в лепешку, Вера не догадывалась, чего стоила виза, на паспорт не глянула, пальцы ее разворачивали и складывали предсмертное послание Антона, им самим написанное, по-русски, правильно вчитаться в текст шефы не смогли, целиком доверились мне, но и я никакого иносказания не нашел в полусентиментальной чуши, кое-какие подозрения были, рассудил же я так: на расшифровку того, что написал Антон между строчек, уйдут годы, а сейчас дорог каждый час, что мы и сказали Вере, торопя ее, потому что Антону хотелось хоть издали глянуть на нее, и он глянул, втроем мы подъехали к вилле, машина остановилась метрах в пятидесяти от нее, я сменил Клауса, тот пошел к хорьху, Роберт и Вера прогуливались на виду Антона, потом шефы и Вера уехали, я нашел Антона очень беспокойным, утешил его, как мог, "вы еще

встретитесь", — пообещал я, имея на то некоторые основания, потому что видел: Клаус и Роберт делают все, чтоб Антон остался живым после смерти Сталина, помогала им в этом сама охрана вождя, полностью растренированная, на Сталина никто не покушался, все заговоры против него разрабатывались в его кабинете, профессиональных телохранителей никто не готовил, отсутствие их возмещалось уймой сексотов и топтунов, многократностью проверок, массовостью, проникать в Кремль и втираться в окружение Сталина — это дело многих месяцев, акцию шефы планировали на середину января, жизнь грузина оборвется на Арбате, этот участок маршрута казался охране самым уязвимым, был он досконально изучен, ни одного эксцесса не зафиксировано — следовательно, притупление бдительности не могло не произойти, микродетали же покушения стали отшлифовываться в день, когда Клаус и Роберт предъявили Антону фотографию Веры у подъезда цюрихского отеля да записку от нее, адресованную мне: все в порядке, доехала, благодарю за хлопоты. "Ну, все..." — проговорил Антон и ладонями сжал виски. Переодели его в шофера, со стороны глянешь — ковыряется какой-то человек в гараже, возится с двигателем, запускает его, — на этом шумовом фоне можно авиационный пулемет испытывать, не то что девятимиллиметровый кольт, а в подземный бункер Роберт привез образцы листовой стали, той самой, что утяжеляла зис и паккард Иосифа, первый же отстрел пистолета дал ненадежные результаты, надо было увеличивать начальную скорость пули, одновременно Клаус обрабатывал давно вышедшего на пенсию полковника, соратника Николаи, бывшего начальника германской разведки, тот и поделился секретом, в Москве, оказывается, сиднем сидел не полностью одряхлевший агент, чуть ли не с Брестского мира законсервированный, австрияк, тенью проходивший по всем делам с убийством Мирбаха, большевики все оперативные материалы по нему благоразумно припрятали, очень уж подозрительными были некоторые детали, перекрашенный в русского старик безмятежно проживал на Дорогомиловке, по этой улице проезжал кортеж машин со Сталиным, и старик уловил кое-какие закономерности, научился по числу топтунов догадываться, один ли едет на ближнюю дачу Иосиф или прихватил с собою кого-либо из тех, у кого тоже есть охрана, дотошный старик по каким-то мелочам узнавал, по улице Фрунзе проскочит кортеж, по Арбату или разделится до Смоленской площади еще, причем никакая раз-

ведка заданий австрияку не давала, по личному умыслу работал, проверяя наблюдения вылазками на Арбат, где жили его внуки, — с этим стариком, наконец, связались через верного и незасвеченного агента, старик в нужный момент обещал дать Антону сигнал, а тот успеет с Афанасьевского переулка переместиться в точку, откуда и вгонит в Иосифа по крайней мере две пули, сам оставшись вне подозрений, на что нацеливались три варианта приближения к точке, в зависимости от погоды, людности Арбата, один из них предусматривал протез вместо правой руки, сетчатая сумочка в ней с полубатоном хлеба и бутылкой молока, чтоб этими продуктами насытились глаза рассыпанных по Арбату соглядатаев, в левой же руке щупающие взоры увидели бы... что увидели?.. я предлагал пацаненка лет пяти, прокат его обеспечил бы австрияк, у того страсть к цареубийству тлея с того заседания Уралсовета, на котором в июле восемнадцатого года шел распрос одного из участников расстрела царя, на том заседании присутствовал еще один австрияк, позднее издавший в Вене мало кем прочитанную книжонку, так вот, наш австрияк старался в Москве из чувства ревности к сбежавшему из России соплеменнику... Я отвлекся, кажется, старческая болтовня, не осудите, что же касается Антона, то стрелял бы он настоящей, так сказать, рукой из-под пальто, в другом варианте Антон под видом топтуна фланировал бы по Арбату, их там понатыкано всюду, одинаково одетых, с одинаковыми мордами, стать неотличимыми от них — это для такого артиста, как Антон, плевое дело, да и третий вариант подрабатывался под обаяние Антона, что он из себя представлял, этот вариант, я не знал, меня вообще держали подальше от деталей московской операции, да я в них и не вдавался, у меня была другая задача, я поддерживал в Рымнике огонь и был для него сразу и советником, и денщиком, и помощником, по вечерам мы отводили душу, вспоминая былое, бильярдную в парке культуры имени Горького, пиво "Красная Бавария", Сокольники, тоже в некотором роде парк, про лагерь не говорили, чтоб не нагонять дурные сны, Антон, мне кажется, осуждал кое-какие эскапады свои, на части Европы был нацизм, на еще большей части — социализм, обе системы Антоном не сравнивались, его идеал государственного устройства покоился на нравах цирка, сольно ли ты выступаешь, в паре с кем-нибудь, в группе ли, но будь добр, перечисли всех на афише, дай каждому выйти на манеж и делай все так, чтобы дети смеялись, а взрослые отбили руки, аплодируя... Спать

ложились рано, себя Антон берег, тело свое отлаживал и отстреливал, как самодвижущееся оружие, трижды в день физические упражнения, алкоголь в незначительных количествах, пища советская, одобренная кое-какими деликатесами, вечерние разговоры наши тоже облагораживались временами, Антон вспоминал Веру, я рассказывал об отце, экскурсии в прошлое углублялись по мере того, как все отчетливее становилось: Антон уцелеет, а раз так, то самая пора обдумать пути отхода на запад, Антон хотел нагряться в Мадрид, к Вере, вернуться к цирковому делу и даже поработать с лилипутиками, оставаться в СССР после Арбата было бессмысленно, вот он и спросил однажды, а кто будет вместо Сталина, это ведь важно, кто воцарится в Кремле, от нового самодержца зависит, с какой яростью полицейская, или как там она будет называться, служба помчится ловить убийцу, — что по этому поводу говорит наука, интересовался Антон, и ответить толком я не мог, дальняя история ответов не давала, ближняя, включавшая выстрелы на заводе Михельсона, мало что говорила, иногда мне кажется, что советский террор — это поиски тех, кто застрелил идею. Ворошилов, Молотов, Жуков, — загибал пальцы Антон, высчитывая преемника Сталина, но ни одна из жутких фигур не вписывалась в интерьеры Кремля, где, конечно, будет бурное заседание монстров, чудища будут голосовать окровавленными лапами, кого именно потащат на трон — это зависит от реакции союзников, от положения на фронтах, от соответствия нового правителя сталинским планам переустройства Европы, увлекшийся Антон прочитал материалы по Касабланке и Тегерану, спросил, что такое "безоговорочная капитуляция Германии", я же, пользуясь случаем, понемногу вводил в него нужные мне эмоции, сейчас, сказал я, Иосиф дорожит согласием с союзниками, но тем-то каково: над всей Европой нависает десятиллионная армия русских, вооруженная до зубов, самолетов и бомб столько, что разнести могут в клочья все города, танки рванут к Атлантике, ворвутся в Мадрид, — не ворвутся, охладил мои страхи Антон, не ворвутся! Опасения союзников, продолжал я, передадутся Сталину в наиболее приемлемой для него форме, спровоцируют его, вероломного от природы, победа над Гитлером послужит Сталину оправданием крови, которой он залил Россию, есть уже договоренность с союзниками о возвращении на родину всех оказавшихся на западе соотечественников, в руки НКВД попадут и те, кто осел в эмиграции, у кого уже внуки на чужой

земле... "А с Венгрией что будет?" — неожиданно спросил Антон, приведя меня в замешательство, какого черта ему эта Венгрия, подумал я, нашел о ком заботиться... и рассмеялся, понял, откуда у Рымника интерес к этой стране, ведь он циркач, а все циркачи, что удивительно, связаны братством, какая-нибудь шайка-лейка с мартышками и медведем ни одной восточки не имеет от такой же шайки, эти кочующие из города в город труппы не переписываются, ни в какой объединяющей их корпорации не состоят, а поди ж ты, все друг о друге знают, прекрасно осведомлены, что под звучным псевдонимом "сестры Шанелли" выступают Глаша и Дуня, одна Иванова, другая Сердюк, и так далее, Венгрия же — самая циркаческая страна Европы, здесь раздолье цыганам, с ними уживаются многочисленные бродячие артисты всех жанров, так что внимание Антона Рымника к этой стране было вполне оправдано, и я нашел ему материалы по Венгрии, Клаус передал мне досье на Хорти, на Салаша, на Ракоци, Роберт представил полную сводку боев, которые шли в Венгрии, русские уже приближались к Будапешту, с цыганами немцы покончили, с евреями медлили, разными способами еврейские караваны проскакивали мимо лагерей уничтожения и уходили к нейтралам, на этом казусе интерес к Венгрии у Антона пропал, весь еврейский вопрос казался ему несущественным, о нациях он судил с точки зрения мужчины, которого одаряли любовью и еврейки, и венгерки, и немки, и голландки, и прочие представительницы разных племен, но разбор ситуации в Венгрии пробудил у него желание заглянуть вперед, в будущую Европу, на карте ее он, сверяясь с разведанными Клауса, провел демаркационную линию, справа — тот, кого он ухайдакает на Арбате, слева — войска союзников, вдоль всей линии расставлены были вопросительные знаки, поскольку Сталин еще не договорился с Рузвельтом и Черчилем о разделе Германии, кое-какие территориальные споры его карандаш решил с необычайной легкостью, Эльзас он бесповоротно отдал Франции и присудил ей громадную контрибуцию, воспротивился он проникновению Англии на Балканы, там же, объяснял Антон, славянское большинство, пусть уж оно достанется русским, крови они пролили больше, чем Англия и Америка вместе, да и в Греции англичанам делать нечего, греки — православные, сами оттеснят немцев, сами устроят свою судьбу, чем скорее, тем лучше, а то русские танки уже в Болгарии...

Такие вот разговоры текли над картой Европы, ни я, ни

шефы мои не препятствовали этому переделу континента, Роберт откровенно радовался забавам Антона, они отвлекали агента от мыслей о будущем, время позволяло заниматься детскими, как они полагали, играми, потому что операция переносилась на конец второй декады января, у московского старика приболела внучка, он бегал по городу в поисках детского питания повышенной калорийности, эти хозяйственные заботы несколько раздражали шефов, зато новая партия патронов хорошо прошивала листовую сталь, обнаружился, правда, неприятный дефект, после пятидесяти выстрелов ствол пистолета изнашивался и терял свойства, удалось достать второй экземпляр, десять пробных выстрелов из него Антон произведет накануне переброски за линию фронта, одиннадцатый и двенадцатый придутся на Арбат, смерть неотвратимо приближалась к Иосифу, я же осторожно повел с Робертом разговоры о том, что не надо бы потворствовать Рымнику, не приведут к добру его шалости с послевоенной Европой, и Роберт, соглашаясь со мной, настоял все же на продолжении, употребил поговорку, которая в переводе на русский означала: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, нервная система агента, прибавил Роберт дороже, пусть расслабляется каким угодно способом, раз нет возможности подсовывать ему баб, что обычно делают. Клаус тоже отмахнулся, привел те же доводы, не разорался, когда Антон стал решать польскую проблему, ему близкую, он частенько бывал в Варшаве у Бах-Залевского, последняя командировка пришлась на восстание, где интересы Германии и СССР сошлись, Гитлеру плевать было и на лондонское правительство, и на люблинское, восстание задыхнулось к полному удовлетворению обеих сторон, и даже третья сторона, поляки, испытывали облегчение, у русских они клянчили продовольствие и боеприпасы, отнюдь не желая, чтобы те становились героями и спасителями Варшавы, ситуация, короче, настолько ясная, что выжать из нее еще что-нибудь практически невозможно, но Рымник вдруг воспылил ненавистью к Миколайчику и заявил, что немцы неправильно вели себя, контактируя с Армией Крайовой, да с украинскими националистами они зря якшались, ведь будущему правительству СССР, тому, которое придет на смену сталинскому, выпадут серьезнейшие испытания, у него возникнут обострения с Украиной, которая люто ненавидит Москву, и с Польшей, та начнет раздираться склоками, коммунисты прибегнут к обычным методам, стон пройдет по Речи Посполитой, кровь польется ре-

кой, пошире Вислы будет она, поэтому стабильное государство на западе СССР обязано существовать, и не только Клаусу и Роберту надо это зарубить на носу, но и всем немцам будущих оккупационных зон, — это вот пришлось выслушать моим шефам и проглотить, а далее Антон пристыдил их, ведь надоест же им прятаться в гамбургских подворотнях, надо же им продолжать дело своих отцов, вновь создавать германское государство, и от того, что будет происходить в СССР после устранения Сталина, зависит их личная судьба!.. А как же, а как же, дурашливо поддакивали те, еще не понимая, в какую западную их ташут, они в СССР не жили, не знали, что там ликующими толпами идут на виселицы, они не были, Клаус и Роберт, зачумленными, и что вообще они знали о России, одни разведсводки да туманные, путаные и глупые представления о русской душе, вычитанные из Достоевского и подкрепленные жутью о тех побитых войною славянах, что готовились к заброске в тыл, Клаус и Роберт всерьез полагали: русские — законопослушные или обуянные религиозным смирением существа, из-за скученности и повальной спячки мечта русского — вырваться из национального обычая, сыграть несвойственную обывателю роль, пофиглярничать, поскандальить, наврать с три короба, в тягучей российской жизни такая смена ролей достигается пьянством, но когда пьют тотально, все сто пятьдесят миллионов, то единицы, либо непьющие, либо евреи, берут на себя роль вождей, героев, зовут к мировой революции, сжигают барские усадьбы, убивают сирот и вдовиц, грабят дочиста губернии, грех лицедейства в самом тумане Санкт-Петербурга, в убожестве русской провинции, и все литературные личности — сплошь фигляры, русскому человеку надо обязательно вырваться из косности бытия, чтоб проявить себя, и он, напро-являвшись, рвет на себе рубаху и покорно плетется на сибирскую каторгу, — вот таким, думали Клаус и Роберт, и был Антон Рымник, и пусть он перед каторгой пофиглярничает. "Материалы мне на Андерса и Сикорского!" — приказал им Антон, те уехали, я пошел спать, ворочался, было почему-то весело, я улыбался в темноте, хотя веселенького было мало, Рымник, я чувствовал, уже завелся, он уже за той чертой, на которой решают, убивать или не убивать, он уже переступил через нее, он — в будущем, и осматривается там; когда-то, до будущего, убивать кого-то напоявал вынуждали его обстоятельства, над которыми он был не властен, но теперь-то он — творец будущего, и если он распорядился судьбою Сталина, то

вправе знать, какие трансформации претерпят государства и люди. Той же ночью я встал, осторожно спустился вниз, Антон озабоченно похаживал вокруг карты на столе, глянул на меня без удивления, будто я обеспокоен тем же, что и он, и сказал, что Сталин явно дешевит, давно пора потребовать от союзников официального признания того, что Прибалтика — неотъемлемая часть СССР, пусть они вытурят из своих столиц эмигрантские правительства, пора и решать вопрос с Силезией, между немцами и поляками должна постоянно тлеть вражда, Силезия в составе Польши вполне сгодится, будет фитилем выгодных СССР конфликтов, надо повнимательнее присмотреться к армянам, туркам, болгарам и прочим, Европе нужен истинно новый порядок, не тот, идиотский, придуманный немцами, приспичило им покорять страны, не терпящие насилия над собой, надо так сделать, чтоб они с почтением смотрели на метрополию, так сказать, находясь в грызне между собою, и, спросил он, где на карте та земля, откуда пошли все русские монархи, Гольштиния, что ли?.. Зачем? Да затем, что вопрос о монархии в России еще не закрыт, история делает спирали, и так далее, и ни одного словечка о Вере, а раньше вспоминал о ней часто, особенно первую встречу в кинотеатре, находил некую предопределенность в том, что именно там познакомились, он будто с утра знал, что в жизни его произойдет что-то великое, — нет, теперь не вспоминал он Веру, другая женщина была на уме, мамаша того внука, лекарство для которой добывал, бегая по Москве, завистливый австрияк. Почему, спрашивал Антон, мамаша не хлопочет, не подменяет старика, уж не подкуплена ли, — да, да, Антон Рымник стал очень подозрительным, я рекомендовал ему утяжелить нагрузки на тело, он теперь упражнялся с ним пять-шесть раз на дню, выкручивался на перекладине, гнул на шведской стенке, жонглировал гантелями, сосредотачивался психологически на каком-нибудь внутреннем видении, проваливался в полное забытие и возрождался, кормил я его хорошо, Антон порылся в гардеробе хозяина виллы и нашел охотничью куртку, а она, известно, с разными побрякушками военного назначения, так в ней и ходил в доме, в ней он и принял Клауса и Роберта, прибывших с материалами на членов Комитета национального возрождения, Антон полистал их, погрузился в раздумья, не предвещавшие ничего хорошего, взгляд его полон был ледяного презрения, Антон заорал: "Немецкие свиньи! Почему сведения устаревшие? Почему тянете волюнку с Москвой?" Торчи я на

кухне, Клаус и Роберт саркастически хмыкнули бы, списав клоунату на сволочной славянский характер да на выкрутасы бывшего циркача, но я-то — навтыяжку стоял по правую руку Рымника, по стойке "смирно", по немецкой стойке, одетый в форму хильфсваффе, — и немцы приняли эту же стойку, молчали почти подобострастно, взгляд Римнека лишал их возражений, наконец Клаус не очень уверенно начал оправдываться, у них, мол, не было времени подготовиться, у фюрера по два раза в сутки совещания, им приходится докладывать, фюрер очень привередлив, решается все-таки судьба Германии, это уже добавил Роберт, и тут Рымник выругался еще хлеще: "Идиоты! Кретины! — произнес он так убежденно и просто, что шефы припрятали обиды. — Когда же до вас дойдет, что не Гитлер, не Сталин, не Рузвельт и не эта скотина Черчилль решает судьбу Германии и всего мира! Не они! Я! Я, черт вас возьми!" Выругался — шефы попятнулись, только тепер пелена сошла с их глаз, они прозрели, пятились, пятились и задами уперлись в дверь, и я, глядя на их смятение, испытывал легкий... как бы тут выразиться... порхающий страх, и на меня волнами накатывало воодушевление, подъемы чувств чередовались с падениями, все мы — я, шефы, Антон — пребывали в безвременьи, находясь сразу и в будущем, и в прошлом, да и было от чего свихнуться, мне история всегда представлялась полноводной рекой, плавно текущей в русле, заданном природой навечно, по реке плыли, на плотах и лодочках, государства и народы, посматривая на далекие берега, временами случались непредвиденные задержки, мели, перекаты и водопады, плоты разбивались о пороги, их вновь сколачивали на спокойной воде, заплывавшие далеко вперед лодочки гибли первыми, предупреждая, однако, вслед плывущих, конца и края не было этой реке, и вдруг четверка безумцев вознамерилась направить реку в другое русло, и неизвестно, по каким ущельям и равнинам потечет отныне история, не обрушится ли водный поток в бездонный провал, не полетят ли государства и народы в тартарары... жуткое ощущение, господа, надо быть большевиками, чтоб не испытывать головокружения от бездны, да и что ожидать от двух немчиков, едва опомнившись, они пробормотали какие-то глупые извинения, сели в хорьх и подудукали мне, подошел я, а они смотрят на виллу, как на небесное знамение, еще бы, историческое место, такое же, как Белый дом, Даунинг-стрит, Кремль и райсханцелярия, позначительнее даже, потому шефы и проявили необычное внимание

к бытовым мелочам, спросили, достаточно ли угля для отопления, как с продуктами, и покатали готовить доклады сразу для двух фюреров, трудились всю ночь напролет, утром робко приблизились к вилле, я как раз прокладывал дорожку в снегу, шефы поинтересовались, в настроении ли гауптман и как по-русски звучит обращение к человеку, который занимает некую должность, законодательством не предусмотренную, и с ответом я медлил, дрожь была в коленках, как в приемной Орджоникидзе, когда нарком буйствовал, но и понимание комизма, что ли, вопроса, висящие на языке "ваше превосходительство" я проглотил, чтоб ненароком не выскочило "мой фюрер" или "товарищ Сталин", несуразица усугублялась тем еще, что Антон Иванович был у немцев капитаном, гауптманом, Роберт же получил недавно полковника, а Клаус по эсэсовской линии дослужился до штурмбанфюрера, вовремя припомнилось, что Гитлер и Сталин бравировали откровенным небрежением к чинам и регалиям, поэтому я отклонил "господин Римнек", формула обращения звучала так: "Господин Антон-Иоганн", и шефы ее приняли, потоптались у входа, тщательно вытерли ноги, чуть ли не на ципочках вошли в самую большую комнату первого этажа, там сидел, то есть стоял над картой Антон Иванович, руки шефов едва не вздернулись для "хайль", почтительно доложили: такие-то и по такому-то вопросу прибыли, первым заговорил Роберт, обрисовал ход арденнской операции, группа армий "Б" генерал-фельдмаршала Моделя успешно продвигается вперед, американцы панически отступают, Брэдли потерял управление войсками, и так далее, Римник внимательно слушал, карандаш его двигался по карте вместе с танковыми колоннами, затем описал дугу и вонзился в Эльзас, в седьмую американскую армию, готовую ударить по правому флангу группы армий "Г" и раздробить тылы пятой танковой армии Моделя, тут подключился Клаус, бодро сообщил, что в ночь на новый год по Эльзасу будет нанесен удар, с седьмой американской армией будет покончено, к наступлению привлечены лучшие силы, будут атакованы с воздуха все аэродромы союзников в Голландии, Бельгии и Франции, и ход подготовки был Антоном одобрен, как и оборонительные бои в Прибалтике, карандаш очертил окруженную русскими курляндскую группировку: "Сражаться до последнего, но активных действий по деблокировке не предпринимать, чем меньше волнений Сталину, тем нам лучше!" Шефы обещали не предпринимать, Римник глянул на них испытующе, спросил ме-

ня — по-русски, заметьте, ни Клаус, ни Роберт его не знали, и в последующем часто обращался ко мне, что-то уточняя, — Павел Николаевич, спросил он едко, можно ли доверять этим прощелыгам, и я ответил, что, пожалуй, можно, но с оглядкой, затем последовали новые вопросы Клаусу и Роберту, где фотографии Арбата, что со стариком, не изменился ли маршрут поездок Сталина, ответы мало удовлетворили склонившегося над картой Рымника, полковник и штурмбанфюрер получили вдруг задание чрезвычайной важности, узнать, когда вступит СССР в войну с Японией, после чего визитеры были отпущены, они, как всякие чиновники, сделали попытку уклониться от поручения, сказали, что никакими данными пока не располагают, и тем не менее данные они обещали, как всякие чиновники, и через три дня привезли карту Дальнего Востока и Азии с оранжевыми островами Японии, этой картой накрыли ту, европейскую, с Турцией и северной Африкой, с этого дня началась серия совещаний по японскому вопросу, не оставалась без внимания и Европа, арденнская операция начала захлебываться, карту с нею повесили на стену, я вскрыл детскую комнату, нашел школьные ранцы, пеналы, макеты самолетиков и танков, но нужного мне предмета так и не увидел, а требовался... только не смейтесь... да, да, глобус, как у Чаплина, о нем Антон даже не заикался, но я-то, секретарь при "господине Антоне-Иоганне", чувствовал, как хорошо будет соответствовать эта школьная принадлежность геополитическим рассуждениям Рымника, ему одним взором надо было охватывать весь земной шар, не прыгать же от карты к карте, да сведения, приносимые Клаусом и Робертом, носили глобальный характер, Роберт, в частности, доложил, что вся агентура активизирована, агент "Михайлов" уже внедрен в самый мозг Красной Армии, скажу сразу, что никакого агента "Михайлова" не было, ни в Генштабе, ни в Ставке, и зачем врал Роберт — не стоит гадать, на совещаниях высокого ранга действовали свои правила игры, их навязывали участникам совещаний оба фюрера, тот и другой не хотели слышать ничего реального, грубого, оскорбляющего их гениальные видения и прозрения, поэтому-то и врали им, и Антону лгали эти немчики, нагло, беспардонно, внуку старика, сказал Клаус, послан самолет с детским питанием, старик занял свой наблюдательный пост и контролирует весь транспорт на Дорогомиловке, что же касается Японии, то война СССР с нею крайне маловероятна, Сталин никогда не нападет на Японию, денонсировать заключенный с

Японией пакт о нейтралитете не осмелится, он ведь Гитлера обвиняет в вероломстве, в том, что тот пренебрег таким же пактом с подписью Риббентропа, — нет, нет, ни при каких обстоятельствах даже такой коварный политик не обрушится на страну, не напавшую на СССР в самые критические недели войны... Иосиф Сталин, почтительно напомнили немцы, один единственный раз в жизни провожал иностранного дипломата, им был Мацуока, и как может Генштаб или Ставка разрабатывать планы вторжения в Японию, если сами американцы не помышляют пока о десанте, еще ведь силен императорский флот, да и на совещании в Тегеране вопрос о Японии не ставился... "Дурачье!" — взревел Антон и обрушился на немцев, обзывал их лентяями, заявил твердо: Сталин обязан напасть на Японию, обязан! Он, господин Антон-Иоганн (Рымник уже говорил о себе в третьем лице), знает Сталина лучше, чем кто-либо в Германии, в Европе, в мире, так работайте, ищите, подтвердите готовность Иосифа оккупировать остров Хоккайдо, Кюсю и Хонсю пусть уж американцы захватывают, жду ваших докладов, господа!.. Думаю, этот бзик японский у Рымника — все-таки от мести, япошек он возненавидел в тот момент, когда узнал о казни Калинкиных, и все более утверждался в мысли, что нечего миндальничать с ними, все трудоспособное население переправить в Сибирь на рудники и лесоповал, остатки рассредоточить по островам Малайского архипелага, с чем охотно соглашались Клаус и Роберт, поддакивали новому фюреру, отваживались и на еще более решительные кары, Клаус предложил перевезти императора Хирохито в Москву, выставить его в японском павильоне на сельскохозяйственной выставке, смешно вспоминать, и горько... Клаус и Роберт забегали однако, на совещаниях у Гитлера они трусливо помалкивали, а тут вознамерились "господина Антона-Иоганна" посадить в лужу, доказать ему свою правоту, и — перестарались, при очередном докладе чуткое ухо Антона уловило фальшь, он взгляделся в немцев, картинно отшвырнул карандаш, сдавленным, злобным полушепотом спросил — у вас, господин полковник, глаза, я вижу, бегают, ваша совесть не чиста, вы что-то скрываете, да?.. а у вас почему, штурмбан-фюрер, голос дрожит, руки трясутся, вы боитесь мне что-то сказать?.. Немцы потупили глаза, виновато молчали, Антон же начинал свирепеть, и добился своего, Роберт признался, а Клаус это подтвердил, что господин Антон-Иоганн прав, вторжение русских на Японские острова готовится, тому есть неоп-

ровержимые свидетельства. Где они, заорал Антон, доставьте мне их сюда, и немцы умчались в Берлин, через два часа они привезли помощника военного атташе Японии, подтащили его к столу, где карта с оранжевыми островами, доверия живое свидетельство не внушало, помощника выдернули из бочки с горячей водой, прервали его японскую сиесту, укутали в просторное кимоно, накинули шинель, нахлобучили шапку, япошка, сильно напуганный, со страха временами говорил на ломаном русском языке, почему — не знаю, сообщил же он нечто умопомрачительное для немцев, для Клауса и Роберта: да, в Генштабе Красной Армии создан отдел для разработки планов нападения на Японию, сообщение получено из Квантунской группировки, перехвачен русский офицер с документами, достоверность которых сомнения не вызывает, русские высадутся на Хоккайдо двумя армиями, уже подсчитано, сколько авиации потребует эта десантная операция и каково военно-морское обеспечение. "Так я и знал!" — воскликнул Антон, испепеляюще глядя на немцев и срывая с кителя Роберта железный крест, тут же навешевая его на кимоно японца, истинного самурая, как заявил Антон, "банзай" тоже прозвучало. Клаус и Роберт быстренько подхватили япошку, чуть ли не бегом понесли его к машине, уехали, Антон же обессиленно опустился на стул, не мог он не поверить услышанному, не так уж давно выяснилось, леди и джентльмены, что да, существовал план оккупации Хоккайдо, отменили его в последнюю минуту. Рымник протянул руку, наложил ее на оранжевые острова, а потом, — или мне это показалось, — подмигнул... кому-то третьему за столом, Фрейда бы на эту виллу, всех психоаналитиков, они бы развели туры на колесах, сам же Антон после молчания, становящегося нетерпимым, печально промолвил о том, что большевики, знать, правы, мы и впрямь рождены, чтоб сказку сделать былью, а уж в обратном превращении — собаку съели. К ужину он не спустился, я заглянул к нему — он лежал на тахте, сплетя пальцы на затылке, смотря в потолок. "Пошел вон, хам!" — заорал он на меня, но чуть погода смилостивился, ужин прошел весело, потом вновь нависла пауза, Рымник сел рядом со мной и тихо спросил, на самом ли деле Вера спасена и никто ее не потащит в Умань, а? Ответил, что никто не потащит, она уже в Испании, уже за Пиренеями, но на следующий вопрос ответа не полагалось. "Павел Николаевич, — шутейно эдак сказал Антон, — на родину-то когда-нибудь попадешь?". Чтоб ответить, надо точ-

но знать, что для меня родина, в каком она месте, в Старой Руссе, в Орканцеве или... уж не в столыпине ли? И где она Антону?..

Так и легли спать, ни о чем уже не спрашивая и ни на что не отвечая, глубокий был сон, проснулся я — и увидел Рымника на снегу, обнаженного по пояс, ежеутренние сгибания и выгибания, вверх-вниз, вправо-влево, присел он и не выпрямился, что-то рассматривал, а что увидишь на мерзлой земле, да за ночь намело... Поднялся, утерся, ушел к себе, включил московское радио, приемник у нас постоянно держался на московской волне, у Антона хромала лексика, петухом пускал словечки, черт знает в какой Югославии подхваченные, сводка за вчерашний день излагалась громко, на всю виллу, я глянул в окно и увидел кравшихся к вилле шефов, они юркнули в бомбоубежище, спустился туда и я, мы обменялись взглядами, покурили, немцы были в состоянии крайней озлобленности и подавленности от унижений, нанесенных им обоими Сталинами, даже тремя, и если до московского и берлинского руки не дотягивались, то с этим, что на вилле, можно, наконец, рассчитаться, и Роберт извлек парабеллум из кобуры и переложил его в карман, с нами бог, прошептал Клаус, я забежал вперед, открывая Роберту дверь, гремел приемник, началось наступление на Висле, под победный голос диктора Роберт медленно поднимался на второй этаж к Рымнику, рука полезла за пистолетом, вытащила его, Роберт скрылся, минуту спустя появился, пистолет дрожал в его руке, вот-вот упадет, "не могу" — почти неслышно сказал он, и тогда пошел я, успев подхватить все-таки выпавший из руки парабеллум, вступил в темный коридор, дверь направо — резервная комната, налево из-за двери приемник доносил русскую пляску, мне же никогда еще не приходилось убивать, но убивать надо было, в выстреле было спасение — всех людей, русских, немцев, американцев, японцев, бразильцев тоже — от неведомой опасности, градиозной беды, нависающей над планетой, выстрел спасал и этих двух немцев, доигравшихся до того, что создали чудовище, которое способно было их сожрать, да и станет ли теперь Антон Рымник стрелять в Сталина, не отменится ли смертью тирана высадка на Хоккайдо... Я открыл дверь, чтоб нацелить пистолет в спину сидящего за столом Рымника или в голову его на подушке, и увидел его на полу, колени согнуты, руки разбросаны, лицо белое, как у вымазанного мелом клоуна, на коврике — тот самый пистолет из Льежа с пулей для Сталина, а на столе —

две бумажки, служебный рапорт гауптмана Рымника на имя Роберта, в ней гауптман сообщал, что находясь в трезвом уме и ясной памяти, он кончает жизнь самоубийством и просит никого не винить в этом акте...дата, подпись, вторая же бумажка адресовалась мне: "Павлуша! Ничего не получится!" Ее я скомкал и сунул в карман, выключил приемник и громко позвал шефа, по всем правилам немецких игр со мною тоже могли покончить, но я-то знал, что немцы царапинки мне не сделают, Роберт и Клаус прочтут сейчас и поймут: все безвластны, мы рабы неизвестного нам хозяина, и ничто не дано изменить людям в этом мире, — так стоит ли немцам убивать какого-то русского, меня то есть, да что от смерти моей изменится? Да ничего не изменится, это они поняли, как только я позвал их, они по голосу догадались, кто выстрелил, рванули мимо меня вверх, потом тихо спустились, полицию пока вызывать не стали, сожгли все карты, все, что могло намекать на Арбат, в камин полетело и то, что нашли они в тире, портрет Сталина, пули Рымника с геометрической точностью расположились на портрете, пронзив оба зрачка, оторвав мочки ушей, сбрав кончики усов, в середине узкого лба чернела дыра... Ну, час спустя приехала полиция, к исходу суток мы покинули виллу, ну, а где похоронен Антон Иванович Рымник — это уж, простите, спрашивайте у немцев, я, повторяю, Клауса и Роберта не видел с апреля сорок пятого, когда подался на запад, они, боюсь, станут все отрицать, да вы их и не найдете, так напугал их январь сорок пятого, до сих пор трясутся, а ведь все следы замели, австрияка в Москве под трамвай бросили, виллу сожгли, офицера, что застрелил себя на ней, похоронили неизвестно где, я сам временами забываю о нем... Еще кофе?..

Лев ИГОШЕВ

**ПЕТУШИНОЕ СЛОВО.**  
**О некоторых особенностях русского сознания**  
**с точки зрения музыковеда**

Ещё Козьма Прутков сказал: "Отыщи всему начало — и многое поймёшь". Автор этих строк не так давно почувствовал справедливость такого высказывания, неироническую наполненность иронического вроде бы афоризма. Поскольку свое дело надо продолжать, покуда на то есть возможность, автор продолжал исследование древнерусской музыкальной культуры. Но за особенностями этой культуры угадывалось нечто, выходящее за рамки и "музыкального" и "древнерусского". Постепенно открывались новые закономерности, подтверждаемые не только и не столько музыкальным материалом и верные, увы, и для нашего времени. Это и послужило поводом к написанию статьи.

Музыка — искусство особое. С давних пор она близка к математике и к идеям об устройстве мироздания. Еще в античности соотношения музыкальных тонов тщательно вычислялись. Существуют сведения, согласно которым таблица умножения в своем первоначальном варианте была создана с целью расчета музыкальных интервалов. В поздней античности популярны были легенды, рисовавшие космос в виде хрустальных сфер, по коим движутся планеты, издающие при этом прекрасные звуки, слагающиеся в "небесную гармонию"; простые люди не могут ее слышать — только по особому соизволению Вышних сил эту ни с чем не сравнимую музыку могут

---

**Лев  
ИГОШЕВ**

— родился в 1954 г. Окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофото-съемки и картографии (МИИГАиК). С 1978 г. специализировался как музыковед. сотрудничает с ансамблем "Мадригал".

услышать добродетельные люди. Здесь уже как бы весь космос подчиняется законам гармонии. Европа восприняла традицию вычисления музыкальных интервалов с помощью измерения длины струны; потом схематическое изображение струн и стало известным нам нотным станом. Начиная с Боеция (VI век) Европа осваивает музыкальное наследие античности в этом отношении. Россия общалась с Византией — наследницей старой греческой культуры — гораздо интенсивнее, чем страны Европы, хотя бы потому, что приняла христианство из Византии и осталась верна именно православию. Музыкальные знаки, которыми записывались в России мелодии церковных песнопений, также несомненно византийского происхождения\*. Но этим все и ограничилось. В Византии уже в конце XII века появляется новая усовершенствованная нотация, использующая наследие античности (недаром в одном из списков трактата, объясняющего эту нотацию и называемого "Святоградец" — "Агиполит", приведена и древнегреческая нотация). Она точно фиксирует музыкальные интервалы. На Руси — ни гласа, ни вздыхания. Более того, насколько нам известно по сохранившимся рукописям, вплоть до конца XV века (!) не появляется никаких объяснений нотных знаков (что, заметим, служит одной из причин невозможности прочесть старинные музыкальные записи). Ничего! Есть ряд знаков, а как они пелись или хотя бы как назывались — Бог весть...

Положение изменяется к концу XV века. Тогда появляются первые так называемые музыкальные азбуки. Но... увы, собственно теоретического, относящегося к расчислению интервалов, в них нет ничего. Сперва это — просто перечисление знаков с их названиями. Затем, в начале XVI века, появляются первые указания, как же эти знаки надо петь. Но указания опять же аналитичностью не отличаются. "Выверти гласом да стой", "постой да трахни", "гааркнути за гортани", "выгнути", "больше того выгнути", "еще паки выгнути" — столь понятными указаниями пестрят эти азбуки. По данным уже XVII века и, в частности, по воспоминаниям певцов, помнивших еще старую школу, удалось установить, что все обороты мелодии, как правило, запоминались наизусть, с голоса мастера, а подобные "ученые труды" служили лишь мнемоническим пособием, дополнительным "показом на пальцах".

В XVII веке, казалось бы, положение резко меняется. Сперва к знакам прибавляются дополнительные значки — пометы, указывающие на ступень лада, а затем церковное пение в России (за

---

\* Приводимые здесь данные изложены по: Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление. Л., 1986; Он же. Византийское музыкознание. Л., 1988; Бражников М.В. Древнерусская теория музыки. Л., 1972; Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971.

исключением появившегося тогда старообрядчества) переходит на ноты, заимствованные на Западе. Но резкость этого изменения мало затронула основы музыкального мышления. Да, появились пометы, но какие интервалы между ступенями лада, ими описываемого — мы знаем только по позднему сличению их с нотами. Да, перешли на ноты — а об интервалах снова почти ничего, и мы их читаем по аналогии с западной практикой того времени. Появилась, а точнее, пришла с запада альтерация — изменение ступеней лада путем повышения или понижения их на полтона — и об этом есть упоминание твердое и недвусмысленное только у Н. Дилецкого, музыкального теоретика и композитора, подвизавшегося тогда на Руси, но имевшего польское музыкальное образование. Только он и указал, что диез есть повышение на полтона ("полноты", по его терминологии). Для российских же теоретиков того времени, таких, как Тихон Макарьевский, характерно другое, не аналитическое, а эмоционально-вкусовое описание диеза, ориентированное на запоминание, а не на определение: "пой жалостно и глас испущай тихо". Какой контраст с аналитичностью Запада, с любознательностью его ученых (начиная, напомним, с VI века!) по поводу математической (!) закономерности отношений между ступенями звукоряда!

Все это невольно натапливает нас на мысль, что в русской культуре есть некая духовная константа, выражающая себя в отказе от начала теоретического и в гипертрофированном развитии начала практического, лучше сказать, технологического, — в отказе от "что" и повышенном внимании к тому, "как", осваиваемому через показ "на пальцах". В самом деле, ведь в том же XVII веке практическая сторона западноевропейской музыки была неплохо освоена. Русские мастера научились сочинять, а русские хоры — петь не только классические четырехголосные, но и двенадцати-, а в дальнейшем двадцатичетырех- и сорокавосемьголосные композиции для хора без сопровождения — и это при полной невнятице в отношении теории!\*

Эта константа прослеживается не только в музыкальном развитии. Всякий, знающий историю быта России и знакомый с теми его остатками, которые можно еще отыскать у старообрядцев, несомненно сталкивался с огромным количеством всевозможных пособий, ни в коем случае не говорящих "что", но показывающих "как". Еще и сейчас встречаются среди старообрядцев люди, подчас даже неграмотные, владеющие заученной наизусть (снова!) схемой, алгоритмом вычисления даты пасхи на пальцах в буквальном смысле этого слова — по фалангам правой и левой рук. (Подробнее об этой

---

\* Необходимо отметить, что подобные явления заметны во многих других странах; а частности, нечто похожее на игнорирование теоретического начала, на технологичность есть и сейчас в Японии.

методике см. Климишин И.А. Календарь и хронология, М., 1985). Б.А. Рыбаков подробно в своей статье "Ремесла Древней Руси" описывает одно пособие — номограмму, при помощи коей также не слишком грамотный человек-строитель мог рассчитывать все основные элементы постройки, выкладку свода и т.п., причем в номограмме было, так сказать, "зашиито" внутрь, автоматически используя при расчете (опять же "на пальцах!") число "пи", точнее, неплохое к нему приближение  $22/7$  (восходящее, по преданию, к Пифагору). И это — при том, что в культуру Древней Руси собственно высшая математика (даже в понимании того времени) никак не входила!

Такой подход таил свои опасности. С одной стороны, все эти шаблоны, явно заимствованные в свое время из Византии, надо было обновлять. С другой же — появилось совершенно особое мышление, превращавшее все в ненарушаемый технологический процесс. Технология же без теоретического ее осознания становится — и это понятно — ритуалом. Ритуализации в России подвергалось многое — и эта особенность русской жизни не исчезла и в новое время, жива она и теперь. К ней же восходят, например, такие милые, до боли знакомые нам бюрократические черты: любое предложение "не по форме" скорее всего "зарезут", а вот любой идиотизм, оной форме отвечающий, трудно бывает остановить даже начальству. Естественно, что ритуализация проникла в область, наиболее к ней расположенную по своей природе — религию — и дала там пышнейшие поросли. В сборнике "Три века", посвященном трехсотлетию восшествия на престол Романовых и недавно переизданном репринтом, есть примечательная статья Н.К. Никольского. В ней автор, приводя факты ужасного (иначе не назовешь) отношения к церковной службе в XVII веке (службу разбивали на части, и в одном углу храма служили начало, в другом — середину, в третьем — конец; нередки были безобразные выходы во время службы), объясняет это не антирелигиозностью, коей тогда практически еще не было, не каким-нибудь нигилизмом того времени, а именно таким ритуально-технологическим отношением к службе: главное — проговорить свое "как положено". В этом контексте вполне понятны призывы знаменитого протопопа Аввакума: "умрети за единый аз".

Необходимо сразу же предостеречь читателя. Нам, со своей позиции, бывает очень трудно оценить это своеобразное мышление. Мы невольно начинаем теоретизировать — и тогда возникает соблазн, которому поддалась русская интеллигенция прошлого века — оценивать весь период, скажем, Московской Руси как сплошное отвержение духа и господство буквы; либеральная интеллигенция делала и продолжает делать это с труднопонятными для нормального человека печеринско-чаадаевским сладострастием. В качестве типичного суждения такого рода можно привести высказывания талантливого М.Н. Сперанского: "Москва XV века вырабатывает однобокий и отсталый тип средневекового мирозерцания: религиозная, позднее

национальная исключительность, формальное отношение к идеям религии, обрядность, отсутствие образования, заменявшегося лишь начетничеством, — все черты общего средневекового склада ума, но доведенные до односторонности, почти уродливости. Это-то состояние ума, подавленное буквалистическим авторитетом церковного писания, неумение отличить мысль от формы, направление, властно проводимое в жизнь церковью и государством в тесном их союзе — все это в XV веке доводит северную Русь до состояния оцепенения”\*. Как-то странно читать такое о времени Нила Сорского и — позднее — митрополита Филиппа... Кроме того, помимо национальной ущемленности, возникает вопрос: ведь для того, чтобы встать окончательно на сторону буквы и обряда, нужно уметь отделить мысль от формы — а Сперанский пишет именно о неумении, и это, по нашему мнению, звучит у него наиболее убедительно, ибо отсутствие теоретичности, опора на технологичность-обрядность таковому умению отнюдь не способствуют. Для того, чтобы от чего-то отказываться, нужно уметь определить это “что-то”, нужно его знать. Вот почему мы не вправе говорить о господстве только буквы (в противовес духу) в древнерусской культуре. Скорее это был синкретизм — довольно беспорядочное смешение различных по типу, но в иерархии древнерусского “книжного” человека на одном уровне стоящих понятий, где, говоря языком писания, десятина от мяты и аниса была равновелика милости и суду... Так, повидимому, и возникали различные религиозные движения, в догматике которых поражает именно эта равновеликость несоизмеримых величин, в которых то удивляешься “милости и суду” — высокой и благородной человечности, проповедуемой наставниками, то ахаешь перед “мятой и анисом” — мелочными придирками к стилистике перевода с греческого. Что же касается хаотичности того, что похоже на теорию в подобных убеждениях, то и эта черта пережила XVII век. О подобном явлении писал еще Н.А. Некрасов:

Что ему книга последняя скажет,  
То на душе его сверху и ляжет.

На фоне всего этого особенно остро ощущается одиночество, принципиальное одиночество людей, посвятивших себя теоретической стороне дела — интеллигенции. Общество, мыслящее старыми, сугубо прагматическими, ритуально-технологическими категориями, не могло принять людей, занимающихся чем-то непонятным. Кантемир в одной из своих сатир великолепно обрисовал этот принципиальный прагматизм, отвергающий все новое во имя привычных технологий:

---

\* Цит. по: Ливанова Т.Н. Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры. М., 1988, с.44.

Землю в четверти делить — без Евклида смыслим,  
Сколько копеек в рубле — без алгебры счислим.

Но та принципиальная отдаленность, та бездна, которая разверзлась в прошлом веке между интеллигенцией и обществом, выражающаяся то в их взаимной вражде (например, знаменитая критика пресловутого мещанства), то в неистовом стремлении к слиянию (народничество, опрощение по Толстому) и заметная и в наши дни, не могла сложиться только за счет чуждости. Чужое холодно и равнодушно. По-настоящему враждуют только свои — те, у которых, при всей их кажущейся чуждости, есть нечто общее в душе; может быть, они в этом боятся признаться и сами себе, может быть, не могут этого определить (познать самого себя, как известно, труднее всего) — но это есть. И в воззрениях русской интеллигенции, особенно либеральной ее части, в которой, казалось бы, особенно была распространена полустуденческая по своей сути любовь к беспредметному философствованию, есть заметные черточки такого прагматически-технологического, быстро переходящего в ритуализацию, подхода. Достаточно заглянуть в знаменитые "Вехи", чтобы в этом убедиться. Статья, принадлежащая в сборнике Н.А. Бердяеву, так и называется: "Философская истина и интеллигентская правда". Позволим себе сделать некоторые выписки из нее.

"Прежде всего бросается в глаза, что отношение к философии было так же малокультурно, как и к другим духовным ценностям: самостоятельное значение философии отрицалось, философия подчинялась утилитарно-общественным целям".

"Властителями ее (интеллигенции — Авт.) дум становились лишь те, которые из общей теории выводили санкцию ее освободительных общественных стремлений".

"Интеллигенцию не интересует вопрос, истинна или ложна, например, теория знания Маха, ее интересует лишь то, благоприятна или нет эта теория идее социализма".

"Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья".

Здесь ясно чувствуется поиск не теории, а именно технологии, ритуала, заговора, "петушиного слова", которое нужно только повторять — и все сбудется. На деле это приводит к подгонке выводов под тот или иной желаемый результат, что естественно: ведь технологический процесс всегда составляют для получения того, что нужно, и только научный подход может поставить вопрос: а осуществимо ли то, чего многие так страстно желают? То же самое, несомненно, относилось и к марксизму в его русской интерпретации. Среди партийных интеллигентов Ленин, конечно, был гением. Сказать: "марксизм не догма, а руководство к действию" в среде людей, ищущих ритуала, заговора — да даже хотя бы додуматься до этого —

и то нужна великая дерзость мысли, смелость "сметь свое суждение иметь". В формуле "Сталин — это Ленин сегодня" гораздо больше смысла, чем думают. Из послереволюционных государственных деятелей он был единственным, кто столь же смело выходил за рамки. Конечно, в некоторых вопросах он был традиционен. Так, знаменитый "Краткий курс" излагает историю в том же позитивистски-интеллигентском упрощенном ракурсе, каковой раскритикован в "Вехах". Но нередко Иосиф Виссарионович дерзал править даже феноменально быстро канонизировавшихся классиков марксизма-ленинизма, как открыто (что видно в его предсмертных "Экономических проблемах"), так и скрыто (достаточно сравнить издание "Манифеста Коммунистической Партии" 1929 и 1955 гг.). На фоне той непререкаемой веры в заклинания, пропитанные марксистской фразеологией, которые памятливы всем нам, цитатничества его смелость просто уникальна. Невольно встает вопрос: может быть, пресловутый культ личности — своеобразная расплата за смелый выход за запретный круг? В плане личностном — не так-то просто человеку не слишком грамотному, привыкшему оглядываться на чужую и сложную теорию, научную или хотя бы называемую таковой, многое претерпевшему за приверженность к ней, рисковавшему даже жизнью, признаться самому себе в том, что эта теория — со значительными изъянами, и ты, самоучка, должен сам, под свою ответственность, ее править. В плане общественном — как воспримут это твои же соратники, привыкшие свергать власть и тоже претерпевшие немало в битве за заклинания, почерпнутые из теории, не съедят ли они тебя? Для них, скинувших трехсотлетнюю монархию, вступивших для такого деяния в сговор с врагом, это — дело привычное... Второе вело к необходимости фантастического наращивания авторитета. Первое... Волк обычный не может перейти линию флажков. Но есть волки, которые все же идут на это. Правда, после этого их трудно бывает назвать только волками — они становятся до неистовства дерзки и свирепы...

К сожалению, сталинская победа над догмами так и осталась его личным достижением. Новый курс, которым мы идем со времени так называемой "перестройки", пронизан тем же заклинательством. Единоспасательную сущность теперь видят во фридманизме, а не марксизме, в частной, а не в общественной собственности. И вот усиление частной собственности выставляется как панацея от всех зол. Страна развалилась и продолжает рассыпаться по кусочкам, идет небывалая инфляция, разрушение всех экономических связей, растет преступность, кое-где идет уже настоящая война — а власть, даже не пытаясь скрыть эти язвы (что хоть и было бы недемократичным, свидетельствовало бы о каких-то реликтах стыда), восторгается тем, что приватизация набарала темпы, и еще советует их увеличить. Идеологи сего процесса, вроде Г.Х. Попова или Е.Т. Гайдара, открыто объявляют, что им неважно происхождение богат-

ства, забывая, что следующим фактом по этой логике будет приравнение к приватизации грабежа любого государственного имущества: до того оно было общественным, а теперь поступает ворами в собственность... Воистину, нашли петушиное слово!

В конце статьи полагается сделать вывод. К сожалению, он будет весьма неутешителен. Пока стихия технологии, а не рассуждения господствует на Руси, большого толку не будет. Если технологическому мышлению подвержен не интеллигент — в этом страшного мало: просто будет еще один консервативный человек; при этом он может быть вполне деловым. Но если этому привержен интеллигент — это огромная опасность; и она возрастает тем больше, чем ближе стоит он к верхним эшелонам власти. Он из любого неординарного учения, могущего послужить развитию (ведь марксизм оказался все же и полезен на Западе!), сотворит кровопролитную утопию, сделает новый ГУЛАГ, развяжет дюжину угасших было национальных конфликтов. Скверны хамоватые обкомовцы у власти — но еще более скверен интеллигент, способный превратить любую экономическую доктрину в заклинание. И пока русская интеллигенция не выполнит завет, данный еще "Вехами" — быть чистым в своем искании истины, пока у интеллигентов, занимающихся теоретическими вопросами, не появится действительно теоретическое мышление — до тех пор человек интеллигентный (или пропитанный интеллигентскими настроениями) у власти будет равен для страны войне и мору, и здесь может быть оправдано его устранение. Лучше иные деловитые завхозы, получающиеся иногда из консервативных обкомовцев.

**Александр КЫРЛЕЖЕВ**

## РАДИКАЛЬНЫЙ ТРАДИЦИОНАЛИЗМ о. АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА

"Христианство — литургическая религия." Вряд ли кто-нибудь возьмется оспаривать это определение о.Георгия Флоровского, одного из крупнейших православных авторитетов XX столетия. Ведь речь идет об интерпретации христианства в духе восточной традиции, а церковный Восток, как известно, по преимуществу литургичен.

Однако определение это может оказаться верным по существу, даже если вынести за скобки конфессиональные предпосылки. Изначально, в античную эпоху, слово литургия (буквально — "общее дело") обозначало общественную повинность и не имело никакого религиозного смысла. Но разве христианство не является в замысле именно "общим делом", некоторым действием (или миссией), направленным из общины верующих — в человеческое общество, актом религиозного свидетельства? Если это так, значит христиане призваны, во-первых, строить собой и из себя Церковь как литургическую общность, в которой действует Бог, и, во-вторых, проявлять Богочеловеческие церковные энергии за пределами Церкви в социальном пространстве, свидетельствуя о своей истине, то есть о возможности и реальности Бога в человеческом мире.

Словосочетание "литургическая религия" содержит внутреннюю напряженность, оппозицию между "религией" как самодостаточным культом и "литургией" как изменяющей мир активностью; с другой

---

**Александр  
КЫРЛЕЖЕВ**

— родился в 1957 году в Москве. Окончил Московский государственный институт культуры и Московскую духовную семинарию. Сотрудник Центра по изучению религий, автор многих статей по философии и теологии.

стороны, эта последняя имеет источник именно в "религии", то есть в той связи — или отношении — которые возникают между человеком и Богом. Поэтому, преодолевая самодостаточность "религии", христианство остается религиозным, укорененным в тайне веры.

Впрочем, такое понимание христианства мало вяжется с видимой нами православной церковностью. Напряжение исчезает, и само определение приобретает совсем иной смысл, если синонимом слова "литургия" становится слово "богослужение", как это принято в православном обиходе. На первый план выступает восточно-христианская "специфика", и, соответственно, возникает проблема понимания христианства.

"Богослужebная религия" — звучит совсем по-другому. Христиане — это те, которые "служат Богу", то есть совершают богослужения (священнослужители) или "ходят на службу" (миряне). Храм — вот "Церковь"; там мистическое присутствие Бога, там свершается тайна религиозной жизни людей.

Но что такое храм в современном городе? Не только ли одно из присутственных мест? Или просто "клуб по интересам"? Если именно храм есть место литургической мистерии, которая сокровенно содержит в себе "полноту Православия", то каково отношение этого храма к безбожной современности, игнорирующей "тайну храма", но при этом обладающей вполне реальной властью над его посетителями?

"Благочестивый, церковный человек наших дней может с отвращением и негодованием смотреть на ненавистную ему "современность", кишашую вокруг него, или же, наоборот, он может добродушно не замечать, что мир отшатнулся от Церкви и по-прежнему благославляет ставшую до конца чуждой христианству ткань истории. Он может быть по отношению к миру в состоянии злорадного апокалиптического пессимизма или же наивного, всепрощающего оптимизма. Все это ничего не меняет в его переживании Церкви... Оно ограждено, оно как бы "гарантировано" сложной, прекрасной, всеохватывающей сетью символов, удовлетворяющих его религиозное чувство и делающих его слепым и глухим по отношению к любой реальности. В том особом, единственном, ни на что не похожем, живущем своей собственной, от всего обособленной и ни от чего не зависящей жизнью мире, который называется богослужением, реальность — всякая реальность — попросту исчезает. Ее нет. Богослужение к ней не относится, как не относится Пасха к случайной дате, на которую она падает в итоге сложнейших исчислений.../.../ Чудо было в храме — закрытое, огражденное, таинственное: предложение Даров, превращение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы; вечное, самотождественное, неизъяснимое чудо, скрытое от всех взоров в глубине алтаря, закрытое крыльями серафимов, — мистическая реальность, к профанному миру, в нашем сознании, отношения не имеющая и иметь не могущая."

Эти жесткие слова принадлежат не "протестанту" и не "антихристианину", но, напротив, православному богослову и священнику о.Александру Шмеману, одному из самых ярких церковных деятелей Православия. Он пишет дальше, **объясняя** свою исходную позицию:

"Для русского эмигрантского мальчика, много лет назад с одинаковым усердием бегавшего во французский лицей и в православную церковь и на всю жизнь плененного этим таинственно-прекрасным миром богослужения, разлад и разнობой этих двух жизней — литургической и реальной, был не предметом отвлеченных спекуляций, а самой что ни на есть живой действительностью, ежедневным, привычным опытом. Но с годами становилось ясно, что опыт этот не единичный, не случайный — вызванный ненормальностью эмигрантской, безытной жизни, — а опыт многовековой и общий, эмиграцией только очищенный от смягчающих его бытовых, житейских привычек и привычных, а потому и неприметных, форм. С этим опытом, с этим вопросом я пришел к богословию, и богословие только заострило их. Ибо, с одной стороны, каждым своим словом, каждым утверждением оно провозглашало тотальность христианской веры, всю ее космическую, всеохватывающую, всеобъемлющую и все к себе относящую глубину и жизненность, а, с другой, — как на единственный путь исполнения этой веры, этого замысла преображения и спасения указывало все на ту же Литургию, на Таинство великое и страшное, людям оставленное и заповеданное как путь к Царству..."

Мы позволили себе привести эти пространные выдержки, потому что в них заданы как основное содержание богословской мысли о.Александра, так и тот контекст, в котором он жил и продумывал церковные проблемы.

Однако закономерно спросить: кто такой Александр Шмеман и почему мы сегодня не можем пройти мимо этого имени, когда пытаемся разобраться в современной религиозной ситуации и в том наследии, которое оставила нам до-советская и под-советская Православная Церковь?

Христианство началось с кризиса: "Ныне суд /по-гречески — кризис/ миру сему" /Ин.12,31/. Церковь судила мир и предлагала закатной античной цивилизации свой "выход из кризиса", которым последняя и воспользовалась. Так было положено начало новому, христианскому, миру. Но пришло время кризиса уже самого "христианского мира": на этот раз мир судил христианство и в конце концов перешел в следующую историческую эпоху, отказавшись от "услуг" старой Церкви. Сегодня мы находимся в ситуации, когда христиане, если они хотят считаться с *реальностью* мира, вынуждены признать кризис самой Церкви, то есть судить себя перед лицом Бога и мира. Для "литургического христианства", каким является вне всякого сомнения Восточное Православие, этот кризис обнаруживается прежде всего как *литургический кризис*. Именно с осмысления последнего и начинается наиболее верная "методологически"

и наиболее результативная попытка понять, что такое Церковь и чем она должна быть в современном мире. Ни с какой другой стороны нельзя подходить к Православию с целью различить в нем "доброе и худое" — это будет попытка с негодными средствами, которая не даст ничего, кроме недоразумений и путаницы. Искать критерии для конструктивной критики эмпирической Церкви нужно прежде всего внутри традиции.

Богословие и церковная деятельность о.А.Шмемана представляет одну из таких попыток критически осмыслить церковную деятельность в контексте реальной истории — ее прошлого и настоящего, и реализовать, по возможности, результаты этого осмысления на практике. Излишне говорить, насколько такой опыт важен сегодня нам — прежде всего тем, кто оказался "пленным" неотмирной Истиной Церкви, но для кого эта неотмирность не тождественна наивному отрицанию реальности мира, — реальности, опытно удостоверенной всеми возможными науками "о природе и обществе".

Есть, однако, одно обстоятельство, которое делает разговор об о.А.Шмемане в нынешней российской ситуации довольно трудным. Эта трудность связана с фактом очевидного различия двух "пространств": современного Запада, который был "местом" его жизни, и пост-советской России, где живем мы. Это различие остается весьма существенным и тогда, когда речь идет о жизни Православной Церкви.

О. А.Шмеман являет собой уникальный тип "русского европейца", что возник во втором поколении русской эмиграции XX века и так непохож на "русских европейцев" века прошлого — всех этих "западников" и "славянофилов", пол-жизни проведенных в европейских университетах и столицах, а другую половину — в своих подмосковных. То были люди, знавшие — пусть иногда и превращенно — русскую "почву"; эти — выросшие вне России — знали только "русскую культуру", которая, взятая вне "почвы", представляет собой один из наиболее обманных, иллюзорных образов России реальной, эту культуру породившей. Тем не менее культура эта, воспринятая "русским европейцем" как свое, законное наследие, производила в нем особый эффект, невозможный, как кажется, ни для коренных европейцев, ни для русских в России. Это влияние могло быть почти исключительно положительным, конструктивным, ибо там не действуют обычные деструктивные силы так называемой "российской действительности".

Александр Дмитриевич Шмеман родился в 1921 году в русской семье (остзейского происхождения — со стороны отца) в Ревеле, но вырос в том особом мире, который называли "русским Парижем". Мир первой эмиграции был еще сколком со старой России: он собрал все возможные типы людей, вовлеченных в самые разные сферы деятельности. Здесь было все: политика, искусство, литература, философия, церковь. Русская колония выживала и жила в одно и то

же время, но жила прежде всего надеждой на скорое возвращение, а потому готовила молодежь к будущей работе в "новой России". Шмеман, тоже учившийся в закрытых русских школах, тем не менее рано осознал и оценил именно "европейское измерение" русского культурного наследия. Подлинно значимым выражением России и русской цивилизации стала для него, как свидетельствует один из его друзей, "Пушкинская речь" Достоевского с идеей "всечеловечности", открытости русских к миру. Но главное событие его юности, определившее всю его жизнь, — это открытие Церкви, в которой, как в фокусе сходилась универсальное — и частное, самое важное, существенное — и текущее, преходящее. В безымянном "русском Париже" нашелся Дом — русская церковь на рю Дарю, кафедральный собор мудрого митрополита Евлогия, собравшего под своим омофором все западноевропейское русское рассеяние. Еще мальчиком Александр Шмеман узнал Церковь как литургическую мистерию и включился в нее — не посетителем, но участником: прислуживал в алтаре, затем был архиерейским иподиаконом. Это определило его выбор, тем более серьезный, что сделан он был в военном 1940-м году.

Годы его учения "на Сергиевском подворье", как называют русские в Париже Богословский Институт преподобного Сергия Радонежского, — едва ли не самые трудные в истории этой первой высшей православной школы в Западной Европе. Основанный владыкой Евлогием в 1924 году, институт чуть было не закрылся в 1939, но настоянием бессменного профессора Антона Владимировича Карташева занятия были продолжены и не прекращались всю войну благодаря энтузиазму преподавателей и студентов и постоянной финансовой поддержке друзей из Америки, Англии, Швейцарии, Германии. Православную академию спасли тогда протестанты и католики...

Окончив курс в 1944 году. Шмеман остался при институте профессорским степендиатом, а затем в течение шести лет преподавал здесь церковную историю, специализируясь по проблемам византийской Церкви (его вступительная лекция под названием "Догматический союз" была посвящена взаимоотношениям Церкви и государства в византийскую эпоху. Еще будучи студентом, он женился на Юлиании Осоргиной, а в 1946 году стал священником. Вскоре вышли по-русски первые небольшие работы о.Александра: "Церковь и церковное устройство" (1949) — полемика с представителем "карловацкой" юрисдикции о.Михаилом Польским, и "Таинство Крещения" (1951) — краткий комментарий к таинству вступления в Церковь. Так наметилась церковная и академическая карьера, которую можно было бы назвать многообещающей, если забыть о скудости эмигрантской жизни тех лет. Но одновременно происходило в этом человеке нечто более важное, что и заставляет нас сегодня вникать в его жизнь и в ход его мысли.

В чем основной опыт "евлоганской" ветви русской церковной эмиграции, который, может быть, лишь наиболее полно и последовательно раскрылся в о.Александре? Ответ можно сформулировать так: в изгнании, вне "православной России", с течением времени от Православия не осталось ничего, кроме Церкви. Инерция церковной жизни — необходимость создания общин и приходов, организация религиозного воспитания и образования, совершения богослужений — ставила людей, воспринимавших Церковь всерьез, перед другой необходимостью: осмыслить эту "церковность" в контексте западного секулярного мира, имеющего к тому же и *свою* христианскую традицию, не менее мощную, чем Православие. Нужно было понять, *что* осталось, когда все потеряно: Россия, ее великие святые, ее "народ-богоносец"... Конечно, можно сохранить Церковь как элемент культуры русского этнического меньшинства на Западе ( а внутри — провозгласить меньшинство "остатком", обладающим "единственно верным учением"...). Если же признать, что этот путь по меньшей мере несерьезен, то напрашивался один вывод: теперь Церковь могла и должна была строиться на собственном основании, чтобы *остаться*, несмотря на отрицающий ее "современный мир" (как Западный, так и Восточный). Для исторического Православия это означало не больше — не меньше, как *переворот*.

Из глубокой древности восточное христианство стояло на гранитном основании государства и было почти неотделимо от него. С течением времени этот постамент настолько пропитался национализмом, что само Православие распалось на несколько "национальных православий".

Тогда это соответствовало эпохе, но теперь время национальных государств прошло. Осталось: "храмовое действо" и аскетическая практика. И еще "школьное богословие", давно уже пребывающее в "западном пленении", по знаменитому выражению о.Г.Флоровского. Единственный путь, который давал надежду разобраться в церковном наследстве после крушения последнего "православного космоса" — России открывался в обращении к целостной Традиции, восходящей к раннехристианской Церкви — до-государственной и до-национальной.

О чем идет речь?

По существу, о "критике традиции", то есть об обращении к структурообразующим смыслам и энергиям, в традиции содержащимся, — с тем, чтобы, освободившись от давления элементов второго, третьего и т.д. порядка, выявить принципиальное — ядро христианской веры и опыта. Освободиться — не значит остаться с голыми принципами, "совлечься дорогой и близкой плоти", но различить в церковном достоянии существенное — от случайного, *только* исторического или местного, то есть, как говорят богословы, отделить Предание от "преданий".

"Предания" всегда двусмысленны. С одной стороны, это конкрет-

ные исторические формы "воплощения" христианства, то есть осуществления Предания в реальных условиях, но, с другой стороны, это всегда неизбежно и формы *адаптации* "безумия" и "абсурда" веры, которая не укладывается ни во что привычное и непротиворечивое, к "здравому смыслу" повседневной жизни — то есть, другими словами, понятное человеческое стремление сделать Бога — ручным, а религию — полезной для выживания и решения "проблем" — социальных, политических, бытовых, психологических... Двойственность эта может быть выявлена только под судом Предания существенного (с большой буквы), основных и неотменяемых истин веры и опыта Церкви; а отсюда: обнаружение критериев, имманентных самому Преданию, с целью конструктивной критики "преданий".

Стоит ли говорить, сколь неприятна и опасна такая богословская хирургия для "благочестивого человека", любящего свою удобную и милую сердцу церковность, которая, будучи замкнутой на себя самое, позволяет ему решать его "секулярные" проблемы общепринятыми "секулярными способами". Но если эта "церковность" есть лишь одна из форм "нереальности" в реальном мире реальных людей, в котором мы живем, то она свидетельствует не столько о Церкви Бога и Христа Его, сколько о кризисе Церкви. Наступает "кайрос", время радикального выбора: с Богом в реальности или с "церковностью" в мире, где Сам Бог стал призраком, только "символом" Своего бывшего могущества.

В пространстве богословского мышления (не надо забывать, что мы остаемся в *православном* пространстве) все это означает поиск ответа на вопрос: как соотносятся друг с другом теоретическое богословие, говорящее об "истинах веры", церковная практика, центром которой является богослужение, и благочестие реальных христиан, в конечном счете и составляющих "тело Церкви"? О. А. Шмеман определяет соотношения этих трех "составляющих" церковности как *разрывы*. И в этом суть кризиса эмпирической Церкви, тем не менее содержащей в себе опыт Бога, возвещенный Евангелием: "Приблизилось к вам Царство Бога!"

Богословие говорит о Боге мертвым абстрактным языком и остается просто "интеллектуальной игрой, которую справедливо игнорирует "реальная церковь"; богослужение совершается "профессионалами" согласно уставной букве (при этом всякую попытку за буквой увидеть смысл считают, как правило, "ересью"); в то же время благочестивые прихожане благополучно используют Церковь для удовлетворения своих "индивидуальных религиозных потребностей" и вполне довольны такой Церковью. Мир же идет своей исторической дорогой, в лучшем случае не обращая на такую Церковь никакого внимания, и вместе с ним — в свободное от церкви время — идут христиане.

Не означает ли это, что нужно уйти из Церкви?

Нет. Но — строить Церковь согласно ее собственному смыслу,

содержащемуся в ее собственном Предании, — смыслу, который надо обнаружить и осознать как раз с помощью богословской критики. В данном случае *критика* — не "разрушение" (как мы привыкли думать в советскую эпоху), но раскрытие возможности осмысленного строительства, то есть необходимый элемент правильного и эффективного действия, основанного на понимании того, что делаешь. Не очевидно ли, однако, что такая позиция, такого рода "прагматизм" почти чужероден для нас, погруженных в советско-российский "этнос"? Не отдает ли это, действительно, "западничеством"? Может ли "русская душа" так отнестись к "таинству великому и страшному" Христовой веры?..

Но о.Александр — "русский европеец", и то, что здесь, в России, кажется недопустимым рационализмом в подходе к *святыне Церкви*, для него было нормальным. Связано это не с "тлетворным влиянием Запада" (да еще и еретического), но просто с естественным для многих людей уважением к *смыслу*, которое обычно не кажется страшным, скажем, в математике или медицине и которое предполагается и в богословии. Между тем, когда речь заходит об осознании своей веры и происходящего в Церкви, то есть о христианском понимании смысла человеческого существования, то наши верующие слишком часто предпочитают просто поставить свечку или, в лучшем случае, исповедаться. Существуют, конечно и объективные причины для этого: прерыв богословской традиции в Русской Церкви, религиозное невежество, восполняемое сегодня в основном нехитрыми "православными идеологиями", живучесть общесоветского менталитета и многое другое. Однако трудность говорить в наших условиях о "критике традиции" так, чтобы это не казалось благочестивым людям худой на святыню, от этого не уменьшается...

Как богослов о.Александр испытал различные влияния, но меньше всего его можно назвать эпигоном. Напротив, он продемонстрировал — внутри православной традиции — новый способ "синтетического" богословствования с целью преодоления тех *разрывов*, о которых мы говорили выше. Но "литургическое богословие" о.Александра, безусловно, питалось влияниями. Из профессоров Богословского Института наиболее значимыми для о.Александра были: историк Церкви А.В.Карташев, человек критического склада ума (который, однако, парадоксально соединял историческую свою критику с приверженностью идеологии "православной государственности", отвергнутой многими его учениками, в том числе и о.Александром; архимандрит Киприан Керн, патролог и литургист, духовник о.Александра; о.Николай Афанасьев, один из наиболее оригинальных богословов, посвятивший себя переосмыслению православного учения о Церкви в свете раннехристианского опыта (он особенно настаивал на церковном служении мирян, обладающих полноценным статусом "царственного священства"); и, конечно, о.Г.Флоровский, историк и экуменический деятель, всемирно изве-

стный "спикер" Православия на протяжении нескольких десятилетий. Основная черта этих русских мыслителей — максимально честное и последовательное богословское мышление, ориентированное на раскрытие изначального церковного Предания, понятого прежде всего как "тождество опыта" во времени и пространстве. Задача православного богословия виделась ими не в чисто интеллектуальном поиске ("философская вера") и не в заострении "экзистенциальной ситуации" человека, потерявшегося в безбожном веке, но в осмыслении и артикулировании того реального духовного опыта, который обретается в таинственном "событии Церкви", но вместе с тем остается иррелевантным современному безрелигиозному, или, скорее, дехристианизированному человеку (который при этом может быть и вполне "церковным"). Именно поэтому литургический и молитвенно-аскетический опыт Православия является для этого богословия центральным — подлинным источником любого слова и рассуждения о Царстве Бога, до сего дня более близком и доступном в непрерывной церковной традиции.

Не менее важным был для о.Александра и тот богословский климат, который сложился в 40-е и 50-е годы во Франции. То была эпоха "возвращения к истокам" и внимания к экклезиологии (учению о Церкви), время расцвета патрологических и историко-литургических исследований, а также собственно литургического богословия с его темами "философии времени", Пасхального Таинства и др. (здесь нужно упомянуть таких богословов, как Ж.Даниелу, Л.Буйе, И.А.Дальмэ). Еще ранее возникло и постепенно охватило западные церкви т.н. "литургическое движение", направленное на переосмысление места богослужения в церковной жизни. "Это был возврат, — пишет о. Александр, — от пиетического и индивидуалистического восприятия богослужения к богослужению, вновь понятому как вечное самораскрытие Церкви... возврат через богослужение к Церкви и через Церковь к богослужению." Внимание к литургической практике не означало "культивирование культа", но наоборот — усилие сделать литургию общины "общим делом" и актом Церкви как собрания полноправных соучастников. В результате литургическое движение "оказалось источником большего осознания христианами своей ответственности в мире, то есть возрождением самой Церкви". Таким же образом и литургическое богословие не является "философией культа", но целостным видением Церкви как литургической общины, осмысленно осуществляющей свое христианское призвание в мире.

Для нас, как правило видящих Церковь сугубо храмовую и ритуалистическую, совершающую не действия, но именно "действие" (англизоячные "евангелисты" в галстуках лишь усиливают это впечатление), трудно понять, как могут быть связаны византийское богослужение и "ответственность в мире", молитва и христианское свидетельство в общественном пространстве. Но если вспомнить о

том, что сегодня христиане, принадлежащие к традиционным Церквям, поставлены перед императивом: осознать реальность нынешнего века, "мира сего", и соотносить ее с опытом "будущего века", то есть Царства Бога, который они обретают в Церкви как литургии и в литургии как таинстве Церкви (ибо без Таинства и литургии нет традиционной Церкви), — если вспомнить об этом, то станет ясно, что путь к осуществлению такого должествования один. А именно — тот, о котором и говорил о.Александр: понять, что "истинный замысел богослужения состоит не в символическом, а в реальном исполнении Церкви: новой жизни, дарованной во Христе, и что это вечное преложение самой Церкви в Тело Христово, ее восхождение — во Христе и со Христом — в эсхатологическую полноту Царства и есть источник всякого христианского делания в мире сем, возможности "поступать, как Он"... Не система прекрасных символов, а возможность — в мир низводить тот поедающий и преображающий огонь, о котором Господь томился — пока он разгорится..."

Конечно, все это не что иное, как "религиозный максимализм". Кто мы, чтобы "низводить огонь от Бога"?..

Но не бывают ли в ситуации кризиса эффективными именно максималистские решения?

Главное здесь, однако, в другом: современному безбожию Церковь не может — и не должна — противопоставлять "религию", потому что естественная человеческая религиозность есть другая сторона "секуляризма". Если в недрах монастырей вера и держится духовным опытом, то разве не очевидно нам сегодня, что в массовом религиозном сознании она ищет иных опор: политических и националистических идеологий, апокалипсических ожиданий и предсказаний, незабываемости "почвы" или религиозного ритуала, наконец, возможности агрессивно "сопротивляться" врагам истины — видимым или невидимым?

"Религия" — антипод христианской веры; эту истину уже давно осознала христианская мысль пост-христианской эпохи. "Религия" — посусторонняя, но спасение, которое от Бога, всегда нисходит "свыше". Ничто "религиозное", если оно не изменяет человека, не ставит его в ситуацию постоянного изменения, роста, обнаружения кризиса и его преодоления необычными средствами — теми, которые только от Бога и ниоткуда еще, — ничто "религиозное" вне этих средств не может быть предложено современному безрелигиозному человеку как "путь, истина и жизнь". Такую "религию" история человечества уже преодолела, доказательство чему — широкая популярность во всем мире всевозможных оккультных и медитативных духовных школ, предлагающих человеку ощутимое "изменение сознания" в максимально короткие сроки.

"Религия", доставшаяся нам от ушедшей эпохи, не может тягаться с ними — она останется уделом только ограниченного числа "религиозных людей".

Поэтому для Церкви остается только путь в каком-то смысле максималистического опыта, но не безрассудного, не "харизматически-доступного" (через отработанную режиссуру группового транса), но отстоянного в Традиции и осознанного как смысл церковности, понятого как метод и вектор постепенного теологического движения. Не трагический субъективный опыт одиночек и не поверхностный субъективизм человека толпы предполагает литургия Церкви, но равновесие ответственного личного действия и общего резонирующего соучастия. Отсюда категория ответственности, которая не сводится к единичному безответному духовному героизму. Церковь христиан, осознавших литургию как совместный акт, как "общее дело", есть социальный опыт: полноценного человека и полноценной общности в одно и то же время. Осуществленный на практике, этот опыт оказывается значимым и вне Церкви, но его только тогда можно назвать христианским, когда в нем проявится действительно иная жизнь, иной тип человеческих отношений, иная — не от мира сего — экзистенциальная энергия. Лишь так Церковь может свидетельствовать миру, что Бог не умер.

Богословие о.Шмемана можно назвать "радикальным традиционализмом". Традиционализмом — потому что сегодняшний путь к Богу — а значит и путь Церкви — он видит только в русле Традиции, многовекового опыта, "записанного" в памяти Церкви. Радикальным — потому что само Предание он понимает динамически: как некоторые "постоянные", воспроизводимые в "переменных" исторической практики. Но "воспроизводимые" — значит делаемые, сознательно осуществляемые. Подлинное Предание исключает какой-либо автоматизм, оно не подчиняется закону инерции: или возможность духовного опыта, заложенная в Предании, реализуется живыми людьми, или же само Предание подвергается деформации под действием сторонних причин, то есть на первый план выступают "предания". Как раз нарастание "человеческих, слишком человеческих" элементов и происходит "автоматически", стихийно, так что нередко в обыденном церковном сознании (или, если угодно, бессознательном) благоговеиный акцент ставится на обычаях, установившихся лишь в ближайшем прошлом. Верх берут "адаптационные" тенденции, которые, однако, развиваются в прямо противоположных направлениях: в "религиозном", когда Церковь превращают в заповедник, в гетто, в клуб любителей старины (традиционализм в собственном смысле), и в "секулярном" — в том случае, если целью провозглашается тотальная модернизация, сближение христианства со стереотипами современного мышления и "новыми истинами", что делает его и удобным, и полезным социально в одно и то же время (обновленчество в дурном смысле).

Свое отношение к этим процессам о.Александр выразил предельно кратко незадолго до своей смерти: "Мое мировоззрение такое: два "нет", одно "да" и эсхатология — Царство Божие. Нет — религии,

нет — секуляризму; и да — Церкви как Царству Божию здесь, на земле, и Царству Божию в будущем”.

Что стоит за этим ”да”? Как возможно ”Царство Божие” в нынешнем мире?

Опыт этого Царства, или царствования Бога Живого, открывается в литургическом событии Церкви, в пасхальном Евхаристическом *переходе* (пасха значит переход) к новой реальности — *новой* по отношению к обычному опыту ”горизонтального” существования в этом мире. Переход возможен, если следовать силовым линиям самой Литургии, проходя сквозь литургический ”символизм”, через сеть священных знаков — к той воистину Пище и Питию, в которых Бог дает нам Самого Себя, сообщает энергию Своей жизни.

И опять приходится констатировать, что для здравомыслящего человека все это не что иное, как ”религиозное безумие”. Если в религии и есть что-то неопровержимое, то это, конечно, неизбежность священных символов и весомость обычая и быта, а отсюда — и влияние на массы людей, в религии ищущих прочной потусторонней опоры, ”фундаментальности”. Отсюда же и потребность в медиаторах — жрецах и старцах, *посвященных* в запредельную тайну. Что же касается осознанности своей веры и осмысленности религиозной жизни, то разве современный человек не потерял окончательно всякую способность к богословию? Да и возможно ли вообще ”религиозное мышление”?

Ответ на это один: мы живем в эпоху свободы совести. Никого нельзя убедить ни в чем, а значит каждый сам убеждается, в чем хочет, и сам за это отвечает. Убедительность богословия о.А.Шмемана — в самой его личности и в том влиянии, которое он и его видение Церкви сегодня оказали на жизнь множества православных церковных общин по всему миру, прежде всего в странах Запада, то есть в православной диаспоре, которая была ”местом” его деятельности.

Вторая мировая война перевернула Европу и вызвала новые волны миграции русских: не только из Советской России в Европу, но и из Европы — еще дальше на Запад. Русская церковная община в Париже и ее знаменитый Богословский Институт дали второе дыхание еще одному очагу ”западного Православия” русского происхождения — Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке. Преобразованная и вдохновленная к новому свидетельству о.Георгием Флоровским (декан в 1949 — 1955), эта православная богословская школа в послевоенные годы приняла в свою преподавательскую корпорацию целый ряд богословов как старого (Н.Лосский, Г.Федотов, Н.Арсеньев), так и нового поколения (А.Шмеман — 1951, С.Верховский — 1953, И.Мейендорф — 1959). Окончательное же ее становление как одного из наиболее значительных центров православного богословского образования связано именно с именем о.Александра, который возглавлял ее в течение

более 20 лет вплоть до дня своей кончины 13 декабря 1983 года. Выражаясь в "житийном" стиле, можно сказать, что Бог, любящий Америку не больше и не меньше, чем любую другую страну, тем не менее именно здесь определил о.Александру совершать церковное служение, потому что только Америка (не считая тогда "закрытой" России) могла быть соразмерна масштабу этого человека. Более того, быть может, именно в лице этой страны о.Александр в некотором смысле обрел "свою Россию", что не исключало, конечно, его особого отношения к самой России, которую ему, увы, не привелось увидеть своими глазами, но ради которой он работал и жил в значительной степени (вот его слова: "Всякий раз, что за эти годы мне приходилось писать по-английски, я испытывал обостренную тоску по своему родному русскому языку. И не только потому, что у каждого человека, в конечном итоге, только один по-настоящему свой язык, а потому, что, что бы я в моей жизни ни писал, я так или иначе обращал написанное к России и к судьбам Церкви и православной веры в России").).

Переезд в Америку был очень важным этапом. Если Православие во Франции в пору молодости о.Александра было вполне русской эмигрантской Церковью, то в Новом Свете, полиэтническом мире "коренных иммигрантов", открывалась возможность обретения почвы. Ведь беспочвенность если и хороша, то только до известного предела. Церковь же, несмотря на (или, наоборот, благодаря) своей принципиальной неотмирности, не может быть беспочвенной — здание ее строится на земле. "Эмигрантская церковь" — это, в общем-то, нонсенс. Церковь всегда является местной, или поместной (на церковном языке), то есть общиной христиан, живущих на определенной территории. И, безусловно, интересен тот факт, что именно т.н. "Русская Митрополия" в Америке первой среди других этнических православных юрисдикций стала добиваться статуса поместной православной Церкви, получив его наконец, от своей Матери-Церкви (Русской) в 1970 году. О.Александр был среди тех, кому Православная Церковь в Америке обязана этим статусом в первую очередь.

Еще в 1949 году о.Александр отмечал, что "гипертрофия национализма, ничего общего не имеющего с подлинно христианским просветленным отношением к своей стране и своему народу, есть страшный яд, давно уже отравляющий церковное сознание... преодоление этого яда есть одна из задач того великого православного рассеяния, которое ныне стало действительно "вселенским". В Америке, однако, это преодоление оказалось совсем не простым делом, несмотря на то, что сами американцы — "многонациональная нация". Тем не менее Православная Церковь в Америке все же сумела стать объединительным фактором — прежде всего через Свято-Владимирскую семинарию.

"Быть может наиболее явным вкладом о.Александра в жизнь

Свято-Владимирской семинарии, — пишет о.И.Мейендорф, — было то, что он сумел включить ее в самую ткань церковной жизни. Во время его ректорства школа перестала быть только академическим учреждением, уважаемым в экуменических кругах, но остающимся в значительной степени чужеродной для епархий и приходов. Семинария выпускала священников не только в "Русской Митрополии", но и в других юрисдикциях (прежде всего в Антиохийской (арабской) и Сербской), восприняли здесь дух вселенской и миссионерской Православной Церкви, преодолевающей чисто этнические пристрастия. Семинария стала также центром литургического и евхаристического обновления..."

Впрочем, выпускники Свято-Владимирской семинарии и ученики о.Александра, ставшие православными священниками, служат во многих странах: в Западной Европе, в Финляндии, Японии, на Ближнем Востоке.

Помимо ректорства и преподавания литургического богословия в семинарии, постоянным делом о.Александра было *свидетельство*, то есть бесчисленное количество проповедей, лекций, выступлений, докладов по все стране и за рубежом. Без него нельзя представить конференций Общества православных богословов Северной Америки, представительства Православия в межконфессиональных диалогах, богословских сборниках, учебных заведениях, молодежных движениях и т.д. И параллельно — проповедь в русских передачах "Радио Свобода" (всего около трех тысяч за многие годы). Книги же, как он сам говорит, удавалось писать только "урывками" — те книги, которые теперь стали доступны в России более широкому кругу читателей. Первая и последняя были написаны по-русски: "Исторический путь Православия" (1953) — опыт критического осмысления церковной истории изнутри Традиции, и "Евхаристия: Таинство Царства" (1983) — книга о Литургии, законченная буквально за несколько дней до смерти. Остальные написаны по-английски и переведены на разные языки, в том числе на русский (первоначально для "самиздатского" распространения; лишь позднее они были изданы парижским издательством ИМКА-Пресс). Все книги, кроме богословской диссертации "Введение в литургическое богословие" (1961) и сборников статей (один из них в настоящее время переводится в России), уже переизданы у нас: "Великий Пост", "За жизнь мира", "Водю и Духом: о Таинстве Крещения", "Воскресные беседы", — помимо упомянутых выше.

Книги о.Александра — не ученые труды и написаны не для специалистов (хотя горе "специалистам", если они не принимают их в расчет). Будучи блестящим лектором, о.Александр не был "ученым". Кажется, ему было скучно заниматься "научной работой". Шмеман-богослов относится не к профессорскому типу, но скорее к типу античного философа: богословие как "образ жизни". Он был убежден, что богословие, чтобы быть действительно значимым для

Церкви, должно быть обязательно пастырским, миссионерским и даже пророческим.

Язык не поворачивается назвать о.Александра "интеллигентом" (скорее в нем было что-то царственное), но он — человек культуры *par excellence* и, говорят, мог часами читать наизусть стихи русских и французских поэтов. "Если у о.Александра и был талант, который он не успел вполне проявить в своих опубликованных работах, — замечает о.И.Мейендорф, — то это его удивительная способность воспринимать и понимать русскую литературу (и западную, в особенности французскую), различая "истинное" от "фальшивого". Несколько статей и лекций его на литературные темы — среди лучшего, что он оставил". (Одно из таких выступлений о.Александра — об Анне Ахматовой — недавно опубликовал в книге воспоминаний Анатолий Найман).

Американские дела не означали, однако, для о.Александра "разрыва с прошлым". Париж, великий город, любовь к которому он сохранил, несмотря на новую привязанность к Нью-Йорку, был местом, куда он возвращался. Здесь в своей *alma mater* он защитил в 1959 году диссертацию, сюда приезжал на съезды Русского ступенчатого движения, одним из активнейших членов которого он был до конца, здесь же в "Вестнике РСХД" он печатал свои русские статьи и главы из книг, которые потом просачивались на Восток. Став американцем, о.Александр остался "русским европейцем".

Когда пытаешься понять, что самое важно, характерное и вместе с тем редкое в этом человеке — православном христианине и богослове, "русском европейце", то приходишь к выводу: равновесие. О.Александр — человек меры. Это понятие — эстетическое, этическое и духовное в одно и то же время — здесь более всего подходит. Будучи человеком XX века, чуждым всякой архаики и склонности к "реставрациям", он вместе с тем не был модернистом, в чем его упрекают многие ревнители старины. На самом западном Западе, в стране "секулярной религиозности", он оставался прежде всего человеком подлинного духовного опыта. Открытый и как бы рожденный, чтобы быть "на людях", говорить и действовать, он сохранял цельность духа, которая и была источником его влияния. Акцент, который он делал на возможности и реальности царствования Бога в Церкви, не имеет ничего общего с дешевым оптимизмом, своего рода христианским харизматическим прекраснотушием. Бог царствует и может царствовать не потому, что зло ничтожно, но потому что Сам Бог — по ту сторону зла. Люди — по эту сторону, и им победа над злом никогда не дается легко: за эту победу надо платить собой. Согласно некоторой духовной логике, о.Александр — человек Слова — прошел через медленное умирание — от рака горла. Незадолго до смерти он счел нужным свидетельствовать и об антицарстве, напомнив: "Дьявол существует". Но это было не последнее свидетельство.

По негласному церковному мнению, если человек умирает на Пасху, это является свидетельством "блаженной кончины", особым знаком от Бога. О.Александр умер совсем не в пасхальное время — рождественским постом (хотя и в особый день — день памяти преподобного Германа Аляскинского, русского миссионера и первого православного святого, канонизированного в Америке). Но произошло нечто неожиданное: множество людей, съехавшихся со всей страны на его отпевание, пережили прощание с ним как Пасху — как действительный переход его к новой жизни, которая по ту сторону существования и несуществования. Так говорят очевидцы. Это понятие о Пасхе как восхождении в Царство, как победе над смертью и смертностью (и над дьяволом как "автором" смерти) было одним из центральных для о.Александра, и он свидетельствовал о Пасхальном Таинстве до конца.

О.А.Шмеман предлагает "царский путь" в Церкви: не компромисс между черным и белым, но именно золотую середину. Чтобы его нащупать, увидеть и им идти, он призывает иметь дело с реальностями. Реальностью Бога и реальностью человеческого мира. И поэтому его образ Церкви, Православия — труден для нас. Этот образ — хорош, но кажется подчас невозможным, нереальным. То ли потому, что эмпирическая церковная практика нашего Православия слишком насыщена псевдо-реальностями, с которыми удобнее иметь дело, которые проще; то ли потому, что существуют и особые российские реальности, которые действительно делают почти невозможным "царский путь" — и в общественной, и в церковной жизни. Скорее справедливо и то, и другое. Но это все "от мира сего". Остается, тем не менее, смысл, богословская логика, свидетельство опыта, источник которого "свыше". Остается истинность, которая, будучи выявленной, не может быть уничтожена: которая свидетельствует сама о себе. Истинность эта недоказуема, но может быть принята в качестве таковой, как мера и образец. Выявлению этой истинности Церкви мы в значительной степени обязаны сегодня о.Александру Шмеману.

## ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

---

### РАДОСТЬ И МИР

Беседа со вдовой профессора-протопресвитера Александра Шмемана (1921 — 1983) Юлианией Сергеевной, урожденной Осоргиной, состоялась в сочельник 1993 года, когда она гостила в Москве. Сегодня многие книги отца Александра приходят в Россию — уже переизданы "Великий пост", "Евхаристия", "Исторический путь Православия", "Водой и духом". Естественно, нам хочется больше узнать об отце Александре. О его жизненном пути рассказывает Юлиания Шмеман.

*— Многие в России сегодня думают: как первые эмигранты шикарно жили за границей, а наши отцы и матери мучались в сталинской России. Расскажите, пожалуйста, более подробно об эмигрантском быте.*

— Мы жили очень бедно. Но мне всегда хочется своим друзьям в России поведать, что бедность абсолютно не мешала нам чувствовать себя счастливыми. Вряд ли можно утверждать, что русским эмигрантам очень повезло. Например, мои родители и родители моего будущего мужа очень долго оставались без работы. Они должны были выстаивать огромные очереди вместе с безработными для того, чтобы получить паек. Его хватало только на то, чтобы не умереть с голода. Когда мы поженились, то вечером никогда не садились за стол, потому что не было денег. Мы питались один раз в день — рацион был весьма скудным: суп и картошка. Всегда старались достать что-то съестное детям. Жили в предместье Парижа. Наша молодая семья размещалась в одной комнате. Когда родились дети, кровати с утра убирались. В стенах были щели, так что порой снег задувал в комнату. Но это никогда не вызывало у нас какого-то чрезмерного мучения или волнения. Потому что это был наш выбор. Мы оба сознательно избрали такую жизнь. Я рожала детей, и это всецело заполняло мою жизнь.

*— У вас была большая семья?*

— У меня трое детей — погодки. Позже, уже в Америке, когда они подросли, я смогла работать, преподавать. Когда отец Александр начал священническую деятельность в Париже, а потом в Америке, жить стало немного легче. Хотя мы всегда жили трудно. Иногда его мать дарила нам килограмм сахара. Мы были счастливы. До войны

его мать мыла полы у богатых французов, а мой отец коптил рыбу. Он ездил в 4 утра на рынок, покупал живых угрей, которые иногда выскакивали из мешка — мешок был дырявый. Но как-то и мои родители, и его не унывали, хотя в наших семьях было мало общего. Его родители — петербуржцы, мои — москвичи. В эмиграции это различие явственно ощущалось. Совершенно другие люди, хотя и дружили.

Мы все жили вокруг храма. Мой дедушка стал священником, а до революции был губернатором Тульской губернии. Мы жили и радовались жизни. Должна сказать, что этим отличалась не только моя семья. Вокруг нас жили люди крепкой веры — неунывающие и радостные. Любили природу и то, чего никто отнять не может: голубое небо, хорошую погоду, молитву. Главное — литургический цикл. Жили от праздника к празднику.

— *Богослужебный круг свято соблюдался?*

— Абсолютно свято. Он и был нашей подлинной жизнью. Мы никогда не разделяли ее на домашнюю и церковную. Мы шли в русский храм, несмотря на то, что вокруг нас жили католики — французы. В семье строго следили, чтобы дома все говорили по-русски. Мой отец был очень строг в этом смысле. А моего мужа послали в кадетский корпус, чтобы он твердо держался отеческих заветов. Он был великолепно образован — прекрасно знал и русскую литературу, и русскую историю.

— *Когда и где вы познакомились с ним?*

— Все русские эмигранты настолько близко и тесно жили, что часто встречались на елках, на новогодних танцульках, ходили вместе в храм. Это было еще под немцами. Я училась в парижском университете, а он в Сорбонне и в Свято-Сергиевском богословском институте. Мы познакомились в Богословском институте, когда служили молебен в начале учебного года. Кому-то он в тот вечер сказал: "Я сегодня встретил мою будущую жену". Мне было 17 лет, а ему 19. Это был 1941-й год, но поженились мы в самом начале 1943-го, в январе. Он продолжал учиться, да и я тоже. Мы жили под крылышком у его родителей: учились, ходили в храм, рожали детей и ни о чем не волновались. Он вскоре окончил учебу и стал профессорствовать в Свято-Сергиевском институте. Его оставили при кафедре истории Русской Церкви.

— *Его учителем был Антон Владимирович Карташев?*

— Отец Александр был его учеником и ассистентом. Когда он прочел первую лекцию, то Карташев сказал: "Ныне отпускаеши раба Твоего Владыка!" Он был очень доволен. В Свято-Сергиевском институте отец Александр преподавал с 1945 по 1951 год.

— *Чем был вызван переезд в Америку?*

— Профессор-протоиерей Георгий Флоровский, который перед войной также был профессором Свято-Сергиевского института в Париже, пригласил его. Свято-Владимирская семинария в Нью-Йор-

ке была очень маленькая, размещалась поначалу на частных квартирах. Было всего лишь 20 студентов, профессоров не хватало. Все надо было начинать с азов. Позже, когда отец Александр стал исполнять обязанности декана, он пригласил из Парижа С.С.Верховского, а вслед за ним — Иоанна Мейендорфа, своего друга. Постепенно сформировалась группа квалифицированных преподавателей. До своей смерти в 1951 году, в семинарии преподавал Г.П.Федотов и другие профессора. Но лишь по одному — по два года.

— *Переезд в Америку не был случайным, и диктовался отнюдь не тяжелыми бытовыми условиями. Существовала, наверно, какая-то глубинная причина?*

— Глубинная причина заключалась в том, что в моем муже всегда сильно ощущалось миссионерское начало. В послевоенном Париже жила вся старая эмиграция и как-то все тихонько шло, и не обнаруживалось нужды в молодых силах. Кроме того, отец Александр в конце 40-х годов начал отходить от преподавания истории Церкви. Он уже тогда тяготел к литургике. Начался этот процесс еще в Париже, а в Америке стал совершенно очевидным. Литургия стала делом его жизни. Через богослужение, через Литургию он старался зажечь людей и показать им, что богословие по-настоящему заключается в молитве, а молитва является подлинным богословием.

— *Его первая книга "Церковь и церковное устройство", посвященная истории Церкви. "Исторический путь православия", опубликованная в 1954 году, открывает американский период?*

— Да. Поначалу он продолжал преподавать историю Церкви и в Свято-Владимирской семинарии, пока в 1958 году не приехал отец Иоанн Мейендорф. Тогда он ему передал преподавание истории Церкви.

— *В каком году он заменил на посту декана отца Георгия Флоровского?*

— Это произошло в 1958-м году. Поначалу он был только исполняющим обязанности декана довольно долго даже после ухода Флоровского. И лишь в 1962-м году, когда было отстроено нынешнее здание Свято-Владимирской семинарии в Крестовде, тогда его окончательно утвердили в должности декана. В США это выборная должность. Претендент обязательно должен быть доктором богословия, а большинство приходов, которые субсидируют семинарию должны поддержать его.

— *Можно ли сказать, что "Введение в литургическое богословие" знаменует окончательный переход к литургике?*

— Не совсем. Не было существенной разницы: сначала одно, а потом другое. Уже "Исторический путь Православия" вобрал все его литургические интересы. Но раскрывать их он стал позже. Весь его литургический пафос совсем не означает, что он вводит нечто новое, совершает какие-то открытия в этой области. Наоборот. Это, прежде

всего, возврат к самому основному, что живет в Православии. Литургия — это основа Православия. Отец Александр объясняет это в своих книгах. О чем бы он ни писал, будь то "Великий пост", "Крещение" или о других праздниках, — он призывает вернуться к истокам. Трагедия произошла еще в средние века, когда люди стали делить свою жизнь на бытовую и церковную. Именно тогда литургический цикл перестал ощущаться как стержень человеческой жизни. Это он постоянно подчеркивал в своих проповедях.

В своей последней книге "Евхаристия" отец Александр показывает, как земное и небесное неразсторжимо пронизывает всю нашу жизнь. Каждый момент нашей жизни пронизан багодатью — все это благодаря Литургии. Если научиться по-настоящему ее понимать, если вникать в то, что дьякон читает, а не только любоваться его голосом, если постоянно размышлять над тем, чему Литургия нас учит, то это и есть подлинное участие в ней. Если мы, находясь на Литургии, обязательно приходим к причастию, лишь тогда познаем, что такое полноценная жизнь.

— *Один из святых отцов сказал, что "причастие — это лекарство, чтобы не умереть". А причастие подается на Литургии. Видимо, не случайно, что и "Введение в литургическое богословие" и последняя книга отца Александра — "Евхаристия" были адресованы России?*

— Да, безусловно. Последняя книга была написана по-русски. Не все, но многие его книги были написаны с надеждой, что они будут прочитаны русскими людьми, которых он так любил. Он постоянно думал о России, мечтал побывать здесь. И отрадно, что сейчас его книги возвращаются в Россию.

— *Чем занимался отец Александр в США будучи деканом, преподавателем, священником?*

— Его работа в Америке была прежде всего посвящена семинарии и совершалась через семинарию, через воспитание будущих священников. Во-вторых, через книги. А, в-третьих, он очень много путешествовал по Америке и проповедовал. Я теперь это знаю сама, так как тоже езжу, — меня часто приглашают с чтением лекций. И я вижу, какие колоссальные следы остались ото всех его миссионерских поездок. Его очень любили. Я не могу похвастаться тем, что всецело объективна, но люди его любили. Потому что он сам любил людей. Он принимал каждого человека. Никогда не лез в душу. Он хорошо проповедовал. А это особый и очень редкий дар священника. Люди доверяли ему, и он старался поделиться с ними двумя дарами. Во-первых, радостью. Он был невероятно радостный человек. Он всегда говорил, что радость — это долг человека!

— *Он предпочитал носить белый подрясник, белую рясу, Даже когда рассматриваешь его фотографии, он как бы светится.*

— Он приносил людям радость и мир. Он, как и все люди, волновался, вникал в церковные дела, занимался административны-

ми вопросы: семинария, церковь, борьба за автокефалию. Потом вдруг ото всего отходил. Он умел жить на другом уровне, куда уходил с любовью и радостью, где был у него свой, высший мир.

Он очень много читал. Его интересы были невероятно разнообразны: богословие, литература, политика, поэзия. Его все интересовало: в последние годы — биографии или переписка. Личностные документы даже самых несправедливых людей. Это не означает, что они были чудными людьми или играли какую-нибудь роль. Ничего подобного — но это были документы человеческой жизни. Человеческая жизнь как она есть, а не мистический идеал.

Он всегда относился с некоторым сомнением к так называемой "духовности". Потому что часто у него возникало чувство, что она построена и зиждется на чисто формальных внешних основаниях: как лоб перекрестить, как сотворить поклоны, не дай Бог, что-то скоромное в пост скупать. Но сам в тоже время был очень строг к себе. Великим постом в нашем доме замолкал телевизор. Он никогда никого не осуждал.

*— Но возникали и в его жизни конфликты. Четверть века быть деканом семинарии! Как он умел ладить с преподавателями и со студентами, как разрешал конфликтные ситуации?*

— Его манера разрешать конфликты заключалась в том, что он отходил и давал им, как волне, разбиваться о скалу. Люди волновались, требовали, — мол, надо что-то пересмотреть, необходимо прийти к тому или иному заключению... Он смотрел, словно издали, на это бушевание страстей и не принимал участия в распрях. Он прекрасно понимал, что утихнут страсти и тогда можно будет разрешить все вопросы. Он предпочитал не вмешиваться в споры, когда люди ожесточенно защищали свои позиции. Он не был противником компромиссов, особенно в тех случаях, когда не было нужды поступаться основным. Профессора требовали, чтобы им дали больше часов, рассматривался вопрос — заставлять их ходить в храм или нет. Отец Александр был очень дипломатичен и никогда не стремился настоять во что бы то ни стало на своем.

*— И все-таки он был довольно жестким человеком, насколько я могу представить себе его общественную позицию. Он трезво, ясно и четко оценивал все события, которые происходили в тогдашнем Советском Союзе. Он ни на минуту не соблазнялся уловками коммунистов. За это здешние власти его всегда ненавидели. На обысках его книги изымались без каких-либо колебаний. Особенно проповеди!*

— Я бы не употребляла этого слова — жесткость. Вряд ли это понятие приложимо к нему. Несомненно, он всегда оставался твердым относительно того, что касалось основных вопросов веры. Когда я говорила о компромиссах, то имела в виду прежде всего житейские ситуации: как лучше наладить образ жизни студентов или какому курсу дать три часа в неделю, а какому — два. С детства нам было

совершенно ясно, что в политическом или, скажем, церковном аспекте чрезвычайно важно все, что относится к свободе человека. Он всегда связывал эти два понятия — свободу и веру. Вера оскудевает в нашем мире. Люди считают, что им надо доказывать и показывать. Этот процесс бурно развивается с XVIII века и связан со свободой человека. Но важно понять — я свободен, поэтому могу поверить. Я верю, потому что я свободен. Эти два понятия он всегда увязывал во всех своих проповедях и, конечно же, в самом себе. Он был абсолютно свободным и в то же время глубоко, сознательно верующим человеком.

*— Отец Александр Шмеман и отец Иоанн Мейендорф были творцами американской Автокефалии. Почему, не питая никаких иллюзий относительно Советской власти, ее воинствующего безбожия, они тем не менее решились на установление канонических отношений с РПЦ?*

— Мне трудно отвечать, потому что это очень серьезный вопрос. Думаю, что отец Александр верил в то, что Церковь является богочеловеческим Организмом, который живет на земле. Поэтому Церковь нуждается в структуре. Он никогда не сомневался в необходимости канонической структуры: патриарх, епископы, священники. До этого в Американской Церкви царил некий канонический беспорядок. Она была оторвана от корней. А своими корнями она все-таки тесно связана с Русской Церковью. Автокефалия даровала статус, который позволил Православной Церкви в Америке утвердить полноправное существование. Не в смысле человеческих прав, а прежде всего в каноническом. Дарование Автокефалии было широко задумано и достигнуто невероятным трудом. У нас никогда не было сомнений в том, что в этом акте проявилась воля Божья. Отец Александр принимал непосредственное участие во всех переговорах, в то же время оставаясь в тени. Три человека были творцами Автокефалии — отец Александр Шмеман, отец Иоанн Мейендорф и митрополит Никодим (Ротов). Они подготовили почву и все необходимые документы, укрепили отношения и связи для того, чтобы все обстоятельства совпали и Автокефалия стала возможной.

*— Отец Александр был человеком мудрым, и не мог не предвидеть, что это вызовет яростные нападки со стороны "карловчан", непонимание в СССР, да и на Западе. Может быть, даже отпадения от Церкви.*

— Так и произошло. Его проклинали, обвиняли, требовали объяснений. Но история Церкви полна таких случаев и это никого не должно пугать. Правда всегда остается правдой. Евангелие повествует, что Христос довольно рискованно вел Себя и не получил одобрения ни от кого. Между прочим в моем муже, будь то проблемы в семинарии, со студентами, с епископами или с Автокефалией, никогда не было страха. Если он был убежден, что так необходимо было поступить, он так и поступал. Правота его позиции подтверж-

дается тем, что сегодня Церковь в Америке действительно развивается на верных началах. Открываются новые приходы. Мы не выступаем против кого-то, а стоим за правоту Православия.

— В конце 70-х годов в Москву из Пскова приехал отец Сергей Желудков. Он ко многим обращался с просьбой: помогите достать записи проповедей отца Александра, которые он в течение 20 лет читал на радио "Свобода". Отец Сергей утверждал, что это единственный православный проповедник, говорящий с людьми на понятном им языке.

— Дирекция радиостанций предоставляла ему девять минут. И он всегда умудрялся сделать свои проповеди содержательными. Они были выстроены и завершены.

— Помню, отец Сергей говорил, что последние годы жизни он хотел бы посвятить распространению проповедей отца Александра в России.

— Во-первых, отец Александр любил проповедовать, о хорошо это делал. Я слышала многие его проповеди. Их было легко понять. Он говорил не для себя, а для людей. Говорил невероятно близким и понятным для людей языком. И горел вместе с ними. Один наш епископ, когда умер отец Александр, сказал, что у него в проповедях самое замечательное то, что он большими усилиями с неба стягивал для людей небесную радость и подавал им на их уровне. Его проповеди всегда были проникнуты радостью.

Люди его помнят, потому что уходили из храма радостными. У них рождалось чувство, что подлинная жизнь рождается здесь, в храме. Когда он умирал и читали отходные молитвы, то последние три слова, которые он произнес, страшно радостный, громко: "Аминь, аминь, аминь". И для всех, кто слышал, это осталось как квинтэссенция его проповедей — "аминной" жизнью. В этих словах как бы прозвучало: "Да, я люблю жизнь. Да, я не умру и буду жить. Да, буду жить так же, как жил здесь, на земле".

— Его проповедническое наследие весьма велико, но издана только малая часть его проповедей?

— В сборнике "Воскресные проповеди" издано по одной проповеди на каждый праздник, тогда как он их записывал с 1952 года. Каждый раз, когда ему предстояло выступать на радиостанции "Свобода", он тщательно готовился. Когда я разбирала его наследие, все проповеди были отпечатаны. Лишь после этого они наговаривались на аудиокассету и он отправлял их в Мюнхен.

— Если кто-то захочет издать полное собрание его проповедей, то они все подготовлены?

Не совсем. Для сборника я лично выбирала. К примеру, на Преображение было 9 проповедей. Я выбрала две, которые мне показались лучшими. В сборники я включила по одной проповеди на каждый Дванадесятый праздник, на "Символ веры" весь цикл и три вступительные проповеди о вере. Потом Рождественский и Велико-

постный циклы.

Ему всегда говорили, пока он был жив, что надо издать проповеди. А он отвечал: "Нет, они предназначены для восприятия со слуха. Как это будет выглядеть в печатном виде? Я не привык к упрощенному языку, да еще с повторениями. В проповедях даже другой словарь". У меня также во время подготовки сборника возникали большие сомнения. Когда я готовила их к публикации, старалась выбрать те, которые более всего подходили к печати. Конечно, для тех, кто его слышал, они весьма характерны. Но для тех, кто его не знал, они не звучат так четко и ясно, как другие его книги.

— *Думаю, что если издавать таких проповедников, как отец Александр, то обязательно прилагать аудиокассеты.*

— Хотелось бы, если они сохранились. Но он не оставлял дублей. Все его проповеди для России хранятся в Мюнхене. Если я смогу найти в Мюнхене его проповеди, то постараюсь сделать их доступными для людей. Те, которые у меня сохранились и которые присылают, произнесены по-английски.

— *Меня поразил, когда мы беседовали с Вашим сыном, его рассказ о вашей даче в Канаде. Там, на даче, был построен собственными силами храм. Даже во время отдыха продолжалась литургическая жизнь?*

— Мы не поехали бы отдыхать, если б там не было храма. Мы поехали первый раз в Канаду на озеро — чудное место — поставили палатку и отец Александр совершал в ней богослужение.

— *Каковы ваши впечатления от России?*

— Я ее люблю, особенно Москву. И чем чаще я сюда приезжаю, тем сильнее становится это чувство. Первый раз я приехала в 1980 году. Тогда было страшно, я немножко боялась. Тогда я чувствовала, может быть, и в себе, но и вокруг царство страха. А теперь оно исчезло. Его больше нет. Раньше в метро едешь, и люди видят, что я иностранка, и даже не смотрят. А теперь охотно беседуют. В Москве я чувствую себя дома. Я абсолютно уверена, что Бог поможет, что русский человек любит Бога, кто бы он ни был. Порой люди этого не знают, затемняют это чувство в себе. Но это есть. И это ощущается. Иногда происходит неожиданная встреча. Вчера была в театре, познакомилась с дамой в гардеробе, — она у меня пальто брала. Мимолетный разговор на три минуты. Но это подлинная встреча и такие встречи происходят каждый день. Я дома!

— *Как Вы считаете, в чем залог будущего России?*

— Любовь к Богу и к людям — это залог и настоящего, и прошлого, и будущего. Это и есть Россия. Я не очень люблю говорить о будущем. Такой возраст, — я понимаю, что меня тут скоро не будет. Я не верю, что когда-то наступит рай на земле. Этого никогда не будет. То, что необходимо замечать и чему верить — это наша повседневная, сиюминутная жизнь. Есть у нас Евангелие, а вот сегодня — Сочельник. Будет утренняя служба, потом — обедня со

всеми чтениями, с пением — "С нами Бог", со звездой — это же замечательно! Если слишком о будущем задумываться, то можно с ума сойти! Цены в одну минуту не переменятся, не станет вдруг тепло, — за окнами 20 градусов мороза. Но это прекрасно! Смотрите — голубое небо, Сочельник. И мне больше не нужно ничего! Я бы хотела передать свое ощущение людям. Вот такое у меня счастье! Я счастливый человек!

*Беседу вел Сергей Бычков*

## ВОСПОМИНАНИЯ О.В.ТАТАРИНОВОЙ О ВАСИЛИИ ЗЕНЬКОВСКОМ

### "...И В ДУШЕ МОЕЙ ЛИКОВАНИЕ"

*Глядя на ее прекрасное, живое, почти без морщин, очень русское лицо, совсем не выдающее человека, в России практически не жившего, было трудно подумать, что недавно она справила свое восьмидесятилетие. Именно с ее чествования в приходе Рождества Богородицы на rue Jacques Martin в предместье Женевы и началось мое знакомство с Ольгой Васильевной Татариновой.*

Недели через две я отправился к ней в гости на тихую rue des Asters, и первое, что услышал, было: "Хоть я и прожила всю жизнь в Европе, вы не подумайте, что найдете у меня дома швейцарский порядок. У меня тут все разбросано, как в России."

Беспорядка особого я не приметил, зато у меня было полное ощущение, что я попал в русскую квартиру где-нибудь в Москве или Петербурге. Две небольшие комнаты, очень скромно обставленные, но без бедности, русские книги - изданные в России собрания сочинений Чехова, Толстого, Четьи Минеи, Евангелие, некоторые тома "Богословских трудов", стихи (заметил томик Брюсова), "Русские мыслители и Европа" о.В.Зеньковского, подаренные им с дарственной надписью в 1950 г., и его же двухтомник "История русской философии", подаренный друзьями на день рождения. Над кроватью, возле красного угла я заметил портрет нынешнего Римского Папы - "я к нему питаю особые чувства, ведь он славянин, а я провела мою молодость в Варне и мне дух славянства очень близок".

В Варне Ольга Васильевна прожила с 8 до 17 лет и очень тепло о ней вспоминает: "Конечно, моя родина — Россия, но земля моя, где я выросла — это Варна. Русские эмигранты создали там гимназию для своих детей. Худо-бедно, но там я получила образование на родном языке..."

Тем временем завязался разговор. Ольга Васильевна говорила охотно, чудесным, чистым русским языком, который гораздо ближе к русскому, чем тот, что мы слышим каждодневно на родине.

Отец ее, Василий Васильевич Татарин, последний предводитель каширского уездного дворянства, мать - земский врач; поженились они поздно — отцу было 46, матери — 34. Ольга Васильевна родилась в 1912 году; в 1917 г. родилась ее сестра (сейчас живет в Париже). Война, революция, трудности с питанием вынудили их оставить Каширу и перебраться сначала в Санкт-Петербург, затем в Армавир, а оттуда — уже в 1920 году — в Новороссийск, где мать пролежала в сыпном тифе (в это же время и от этой же болезни там умер кн. Е.Н.Трубецкой). Далее путь лежал через море в Варну. Я спросил, как ее семья встретила революцию. "Помню только, — сказала она, — что когда мы проезжали возле Ростова-на-Дону, который много раз переходил из рук в руки, на столбах вдоль дороги висели повешенные, и лицо одной женщины врезалось мне в память и долго потом являлось ео снe"...

В Варну они поехали потому, что там мать могла найти работу. В Болгарии не готовили своих врачей, посылали студентов на учебу в Россию или Румынию, и по возвращении все они оставались в крупных городах, в провинцию ехать никто не хотел. И вот как раз под Варной и получила мать место. Утром, только приехав, они шли по пустынному городу, часов в 5 утра, и только дворники мели улицы. Отец наклонился к дочке и сказал: "Запомни, это все царские генералы".

"Так вот, - сказала мне Ольга Васильевна, - знайте, что теперешняя эмиграция улицы мести не будет. Она ищет место почище, и чтобы денег заработать побольше."

Уже после моего возвращения в Москву Ольга Васильевна написала мне, как бы продолжая начатый тогда разговор: "Что касается моих воспоминаний, то они лишь семейные; что же касается первой эмиграции вообще, то она ждет своего настоящего писателя и, может быть, позже - вроде как "Война и мир" были написаны много позже. Заслуживает потому, что теперь, когда на Западе все время спорят, где проходит грань между эмиграцией политической и экономической, тут все ясно. Она была политическая. Люди не только ничего не искали за границей, а, за небольшим исключением имущих за границей капиталы или вывезших драгоценности, теряли все, имущество и положение; мои родители вывезли фамильную большую икону, снявши с нее кивот, и несколько книг, а также совершенно необходимую одежду. Правда, что они, как почти все, думали, что это временно, а главное надо было спасать жизнь моей младшей сестры... Мы уехали на юг, а потом с общей волной в 1920 году в Болгарию. Если бы родители знали, что это навсегда, то, наверное, пошли бы на все и не покинули бы родину.

Но все они (эмиграция вообще) вывезли за границу самое главное, почему и войдут в историю. Они вывезли русскую культуру, с которой познакомили Запад, а также православие, которое вообще было известно только специалистам. Вот если Вы говорите, что нашли

во мне русского человека, то этим я обязана эмиграции. Самой мне еще не было 8 лет, когда я выехала за границу”.

В Варне, как уже сказано, Ольга Васильевна получила образование. В русской гимназии, где преподавали эмигранты, была даже латынь, — правда, греческого не было. “Но читать меня выучил отец, по Евангелию, которое мы вывезли из России, оно у меня здесь так и хранится”. Хранит она и ордена отца — Владимира и Анну, святые крохи памяти, частичку прошлой России. Отец был октябристом, сторонником конституционной монархии и Николая не любил. Но когда узнал о цареубийстве, был в ужасе и сказал, что теперь не позволит никому произнести плохого слова о царе, ибо он смыл кровью все свои грехи. Ольга Васильевна тоже далека от монархизма, в этом она расходится с карловацкой церковью. Говорить о монархии и ее возрождении в современной России, считает она, бессмысленно, но ее упразднение было для России большой бедой. “Вообще, — заметила она, говоря о первой эмиграции, — все они чувствовали вину перед Россией и действительно были виновны и старались все время искупить эту вину. У теперешней эмиграции никакого чувства вины нет. А может, — добавила она, — ее и нет, этой вины-то”.

Отец Ольги Васильевны умер рано, еще в Варне. 17-ти лет она с матерью переехала в Париж, где Ольга Васильевна сразу же включилась в деятельность Русского Студенческого Христианского Движения. Сблизилась с матерью Марией, в доме которой одно время жила, и училась у нее на курсах псаломщиков. “Псаломщицей я быть не собиралась, зато теперь в нашем приходе свободно могу читать псалмы. А было время, когда и хора-то не было и я пела всю службу одна”. Церковь РСХД в Париже в то время кочевала: помещалась то в квартире, которую специально снимали для этого, то в каком-то гараже. На мой вопрос, помогла ли ей церковь сохранить связь с Россией, Ольга Васильевна ответила: “Конечно. Где бы ни появлялись русские, первое, что они делали — строили церковь”. И рассказала по этому поводу забавный случай. При церкви РСХД была четверговая школа (четверг был тогда вторым выходным днем во Франции), и туда приходила молодежь. И вот один юноша спросил другого, чем отличается католическая церковь от православной, а тот ему ответил, что католическая — это та, которая с колоколами и в большом храме, а православная — та, что на квартире или в тесном помещении...

Священниками в приходе РСХД были о.С.Четвериков (он состоял одно время священником движения) и о.Г.Флоровский. Четверикова молодежь любила и звала его “старец”. В нем и впрямь было что-то от оптинского старца — доброта, необыкновенный внутренний свет. Ему было очень хорошо исповедоваться — он умел слушать, как никто. Сестра Ольги Васильевны однажды исповедовалась о.Сергию и вдруг сказала: “Что это, батюшка, я каждый раз прихожу к вам и говорю одно и то же, какой в этом смысл?” “А руки ты зачем каждый

день моешь?" — ответил о.Сергий. Отца же Флоровского, напротив, недолюбливали. Он был необыкновенно образован, читал блестящие лекции, но проповеди его были скучными. Перед войной о.Георгий уехал в Сербию, преподавал там и пользовался большой популярностью, а потом снова вернулся в Париж. И тут прихожане встретили его уже как родного.

Еще одним священником в приходе был о.Дмитрий Клепинин. Его Ольга Васильевна знала еще студентом только что учрежденного Сергиевского православного богословского института. Он был первого набора, учился вместе с Андреем Блюмом, теперь митрополитом Антонием, тоже другом юности Ольги Васильевны. Фотография о.Дмитрия вместе с женой и дочерью стоит у нее на книжной полке. Когда началась война, за временным отсутствием о.Сергия Ольге Васильевне пришлось исповедоваться о.Дмитрию. Тогда он ей и сказал, что война - это умножение зла, а в зле участвуем мы все и поэтому все косвенно повинны в войне. Когда в 1943 г. нацисты пришли арестовывать мать Марию (ей было предъявлено обвинение в укрывательстве евреев), то о.Дмитрий был в комнате наверху и его не видели, но он подумал, что как священник он не может оставить ее одну, спустился и тоже был арестован. Вскоре он умер в тюрьме.

Позднее в приходе стал священствовать и о.Василий Зеньковский, который был духовником Ольги Васильевны вплоть до своей кончины в 1962 году. Но еще до принятия священства (в 1942 г., по совету митрополита Евлогия и по личному душевному влечению после 14 месяцев, проведенных в тюрьме La Sante и фашистских лагерях) он стал очень яркой и заметной фигурой в религиозно-философских кругах русской эмиграции.

Профессор созданного в 1925 году Сергиевского института в Париже, основатель религиозно-педагогического кабинета при нем, создатель и идеолог РСХД (здесь именно его талант педагога, неустанная энергия и внимание к молодым и помогли сплотить стихийно возникавшие по всей Европе кружки русской православной молодежи); наконец, признанный в Европе специалист в области педагогики и детской психологии (с 1923 по 1926 гг. он занимал кафедру в Педагогическом институте в Праге, был постоянным участником издававшегося силами русских эмигрантов журнала "Русская школа за рубежом"), В.В. Зеньковский принадлежал к младшему поколению деятелей "русского религиозного Ренессанса". Он был почти ровесником уехавшим на Запад И.А. Ильину, Ф.А. Степуну, Г.П. Федотову, С.Л. Франку, о.А.Ельчанинову и принявшим смерть в застенках ГУЛАГа о.П.Флоренскому и Л.П. Карсавину. Как и большинство из них, Зеньковский заявил о себе еще в дореволюционной России: печатался в "Вопросах философии и психологии", в 1915 г. защитил у Челпанова в Москве докторскую диссертацию "Проблема психологической причинности", председательствовал в киевском религиозно-философском обществе. И -

опять же как и у многих других русских религиозных мыслителей, - веками его духовного становления стали детская религиозность, затем юношеский нигилизм, связанный с непременным чтением Писарева и резанием лягушек на естественном факультете университета, затем столь же непременное увлечение Соловьевым и русской литературой XIX века (у Зеньковского это Гоголь с выстраданной им идеей религиозной культуры, работу о котором он написал еще в университете и хотел даже двухтомник издать в "Пути", но не вышло; работа погибла, а изданная книга о Гоголе в YMCA-PRESS написана заново), чтение философов и прежде всего Платона и Канта в интерпретации неокантианцев, модных тогда.

Вместе с тем этот образ оратора, лектора, религиозного организатора неотделим в воспоминаниях О.В.Татариновой (как и в воспоминаниях других близко знавших его людей) от скромного образа старосты маленькой церковки движения на rue Olivier de Serres в Париже, стоявшего у свечного столика или читающего Часы перед литургией. По свидетельству прот.А.Князева<sup>2</sup>, служившего в то время в храме чтецом, В.В.Зеньковский всегда просил оставить ему утром для чтения фрагмент из Деяний апостолов о проповеди апостола Павла на афинском ареопаге перед греческими мудрецами:

...И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам... (Деян. 17:22-23)

Зеньковскому должны были быть близки слова Иустина Мученика, греческого святого II в., о том, что философия — это "детоводительница ко Христу". Путь веры и путь разума не были для него разными, пусть и параллельными, путями. Всю его теоретическую деятельность, по-рыцарски благородную, можно было бы назвать "оправданием философии". И античная философия — прежде всего платоническая традиция в ней — тоже была для него молением "неведомым богам". В 1950 году он пишет (изданную уже посмертно) автобиографическую рукопись "Из моей жизни"<sup>3</sup>, с посвящением "Моим друзьям": "Я ненасытимо люблю мир идей, люблю изучать разные отрасли знания..." А написанное 11 лет спустя и публикуемое нами письмо к О.В. Татариновой, в котором душа его ликует, отчитываясь в прожитом: "...А музыка, а мир идей?"? Да это же сущий платоник, для которого нет большего наслаждения, чем созерцание идей в занебесной области, чем слушание сверхразумной музыки сфер! Человека, оставившего личные амбиции, честолюбие, помысл сказать миру что-то неслыханное (Зеньковский боялся синтеза, построения систем, считая, что он не готов к этому; лишь "Основы христианской философии", написанные перед смертью,<sup>4</sup> стали его подступами к теории познания), такая позиция делает на редкость чутким и терпимым. В "Истории русской философии" он

старается максимально приблизить к себе того, о ком он пишет, увидеть, что мыслитель близок церкви, а уж потом — в чем он далек. Вспомним хотя бы его оценку К.Н. Леонтьева как православного мыслителя, лишенную расхожих обвинений в "сатанизме" и "эстетизации христианства".

"История русской философии" Зеньковского, вышедшая в Париже в 1949 г. и вскоре переведенная на английский и французский языки, была издана и в России в 1958 году, правда, с грифом "Для служебного пользования" (в то же время вышел и перевод английского издания "Истории русской философии" Н.О. Лосского) и залегла в столах секретарей обкомов и "литературоведов в штатском". Но, несмотря на все меры предосторожности и недоступность спецхрана, она ходила по рукам студентов университета в ксеро- и фотокопиях, диссонирова с наводящими попеременно тоску, ужас и смех университетскими лекциями о ленинской теории "двух культур".

Для Зеньковского всякое дробление, разделение культуры было тягостным. Вообще, все его творчество стоит под знаком борьбы за единство культуры и признание примата Церкви в ней. В выпущенной в 1952 г. в Париже брошюре "Наша эпоха" он писал: "В нашей культуре *нет единства*, ее отдельные сферы не просто оторвались одна от другой, но и по существу они ничем не связаны между собой — кроме только того, что субъектом всех этих отдельных сфер является один и тот же человек, которому формально они принадлежат. "Обладание" культурой именно потому и является неизбежно "частичным" — и сама гениальность, как сила творчества, подчинена ныне этому закону "частичности"."<sup>5</sup>

Критика, которую XIX век адресовал Западу, обвинив его в утрате цельности, в подмене власти Христа царством Великого Инквизитора, господством мертвого рассудка и прагматизма, оказалась актуальна и для России, плененной западными идеями социализма. Кризис культуры, жаждущей религиозного обновления, соединил Запад и Россию, и для Зеньковского судьба России и Запада были неразрывно связанными, а традиционная казалась бы для русской историософии дихотомия "Восток-Запад" применительно к России потеряла смысл<sup>6</sup>. Дело восстановления единства культуры стало делом жизни Зеньковского, и делом прежде всего религиозным, а не политическим. Он стремился быть вне политики, стоять вне партий и группировок; может быть поэтому его блестящая публицистика и не присвоена до сих пор ни одним из ныне существующих в России лагерей и движений.

Важнейшим практическим делом Зеньковского на этом пути было создание РСХД, начало которому было положено весной 1923 г. в Чехии на съезде русских религиозных кружков молодежи из стран рассеяния. Опыт этого движения, бессменным председателем которого он был вплоть до своей смерти, очень важен и до сих пор для

Православной Церкви, не имеющей такого многообразия форм институализации, как у католиков. Движение заключало в себе идею воспитательной и социальной работы на пользу Церкви, которую должна была вести мирская молодежь, стремящаяся к воцерковлению культуры. В движение входили люди совершенно разных политических убеждений — от монархистов до социалистов. Церковная иерархия поначалу настороженно встретила появление движения: карловацкая церковь (отколовшаяся от московского патриархата) осудила его, но митрополит Евлогий одобрил и назначил священника — духовника движения. В очерках идеологии РСХД, опубликованных В.В. Зеньковским в нескольких номерах "Вестника" за 1929 год, он отмечал, что движение отвергает тот христианский спиритуализм, который отделяет правду Церкви от правды жизни и истории. В основе идеологии движения лежит глубоко православная, идущая от Афанасия Великого идея теозиса, идея преобразования жизни.

РСХД, вдохновлявшееся В.В. Зеньковским, братьями Зерновыми, о.Л.Зандером, Лига православной культуры, основанная бывшими социалистами матерью Марией (Е.Д. Скобцовой) и Г.П. Федотовым, Религиозно-Философская академия Н.А. Бердяева — все это звенья одного дела, искупления той самой вины, о которой говорила Ольга Васильевна.

Свои воспоминания о духовном отце она принесла мне на всенощную. Русская церковь на Западе — не просто церковь, но и место встречи и общения людей одного языка, одной родины, одной тоски. Я как-то спросил Ольгу Васильевну, почему из трех православных приходов Женевы она выбрала именно приход московской патриархии. "Знаете, что я вам скажу, — ответила она, — я ни минуты не сомневаюсь в личном благочестии священников карловацкой церкви, хотя и не согласна с их отделением и считаю, что им нужно вернуться. А уж с тем, что в Москве появляются их приходы, не согласна, кажется, и они сами. И потом мне не нравится их монархизм, сейчас это не путь для России. Хотя их храм — настоящий, с хорошим хором, двумя священниками и двумя дьяконами. А у нас каждые три года священник меняется, ведь он же и представитель России в Совете по делам религии, и прихода как такового нет. Но я считаю, что старухи спасли русскую церковь. И вот я представила, что я такая старуха, которая должна здесь помочь русской церкви, ее приходу, поэтому я сюда и пошла. И потом в этом приходе (он был тогда в другом здании) мать мою отпевали..."

Она не спешила отдавать мне эти воспоминания, видимо, желая убедиться, что мне это действительно нужно, интересно. Даря, написала: "...на добрую память. Писалось это для друзей..." Я сразу же вспомнил посвящение Зеньковского: "моим друзьям". Вообще, культура, наверное, только тогда и становится живой и продуктивной, когда творится для кого-то — не для своего самоуслаждения и не для "города и мира" вообще — с претензией на покорение всех.

Не таков ли смысл и этих двух посвящений?..

Публикую с позволения О.В. Татариновой ее воспоминания, которые "писались для друзей", я надеюсь, что появление их в России, в вернувшемся из эмиграции "Континенте", хотя бы в какой-то мере выразит нашу общую признательность одной из тех, кто хранил и сохранил милый нам образ России на чужбине.

<sup>1</sup> В недавно вышедшем "Романе небытия" А.А.Королькова (С.-Петербург, 1992, Изд. Спб. ун-та), который переносит нас в русскую Прагу тех лет, герой, попадая в Земгор (Объединение земских и городских деятелей в ЧСР) встречает там профессора Зеньковского и вспоминает о его лекциях об Ушинском в Педагогическом институте и докладе о Достоевском в Философском обществе.

<sup>2</sup> См.: Прот. А.Князев, Отец Василий Зеньковский. Вестник РСХД № 66/67, 1962, с.17.

<sup>3</sup> См.: о.В.Зеньковский. Из моей жизни. Вестник РСХД № 72/73, 1964.

<sup>4</sup> См.: о.В.Зеньковский. Основы христианской философии. т.т. 1-2. Франкфурт, 1960-1964.

<sup>5</sup> о.В.Зеньковский. Наша эпоха. Издание Религиозно-Педагогического кабинета при Православном Богословском институте в Париже, 1952. с.7.

<sup>6</sup> Это была идея его книги-очерка "Русские мыслители и Европа", которая писалась для сербского читателя и вышла в 1929 г. в Белграде по-сербски, а затем уже появилось русское издание в 1955 г. в YMCA-PRESS.

*Алексей Козырев*

## Воспоминания О.В.Татариновой

Мне очень трудно говорить и писать об отце Василии. Он сыграл такую большую роль в моей жизни, что, говоря о нем, я невольно перехожу на себя, а это не представляет интереса. Поэтому я хочу ограничиться некоторыми фактами, не воспоминаниями, а штрихами, которые, может быть, помогут дополнить образ отца Василия не как ученого и философа, а как человека, пастыря и друга молодежи, к которой я принадлежала сама 50 лет тому назад.

Первое мое точное и ясное воспоминание о проф. В.В.Зеньковском - это его доклад о марксизме в кружке молодежи А.Е. Матео. Тема доклада была для него не характерная, не помню, почему мы попросили его говорить именно на эту тему. Скажу кстати, что почти в то же время и в том же кружке я увидела второго значительного человека - отца Георгия Флоровского, который тоже говорил на необычную для него тему - о Герцене. Оба доклада были блестящи

и запомнились. Но впечатление от личности докладчиков было совершенно разное. Если о.Георгий вызывал уважение и часто восхищение, но всегда издали, то Василий Васильевич сейчас же вызывал на диалог. Не знаю, как это выходило, но выходило совершенно естественно. Начиналось с разговора, а кончалось в большинстве случаев подлинной дружбой. Думаю, что главная привлекательность Василия Васильевича для нас была в том, что он принимал нас всерьез. Он внимательно и терпеливо нас выслушивал, никогда не был шокирован даже самыми смелыми и неожиданными заявлениями, как настоящий психолог по нашим вопросам составлял для себя представление о нашем внутреннем мире и как-то незаметно входил в нашу жизнь. Ученый, профессор психологии, он становился "своим". Этим объясняется, кажется мне, одна его черта, о которой я потом часто думала. Около него не было атмосферы поклонения, которая сопутствовала другим профессорам. Я не помню около него поклонников или поклонниц. Все было ясно, просто, трезвенно. Это даже дало повод матери Бландине (Оболенской), человеку большой душевной тонкости, сделать мне одно интересное замечание. "Все любят Василия Васильевича, сказала она мне, но он ни для кого не первый человек". В этом была своя правда, но когда наши идылы момента бледнели или совсем стирались, Василий Васильевич всегда присутствовал в нашем сердце. Как родной, как семья.

Раз и навсегда почувствовавши его "своим", мы беспокоили его безмерно. Он становился нашим советником по всем вопросам, часто не имевшим никакого отношения к его деятельности и компетенции. Приведу свой личный пример. Упоминаю об этом эпизоде еще потому, что в нем сказались некоторые отличительные черты Василия Васильевича.

В тридцатые годы мне жилось очень трудно материально. Мне хотелось выбиться, и я решила изучить английский язык. Это было время расцвета англо-русского содружества Св.Албания и преп.Сергия. Наши студенты-богословы ездили учиться в англиканские колледжи, девушки ездили в английские семьи работать au pair\* и изучать язык. Я решила тоже поехать. Во главе содружества стоял Н.М.Зернов. Но мне почему-то не хотелось обращаться к Н.М.Зернову, и я решила действовать через Василия Васильевича, который не имел к этому никакого отношения.

Мы встретились, как обычно, в кафе. Он был холостяком, жил в отеле и назначал нам свидания в кафе недалеко от N10, бул. Монпарнас. Когда я изложила ему свою просьбу, он вдруг стал очень пространно говорить о том, что, конечно, сердцу не прикажешь, но лучше не выходить замуж за иностранца. Я сначала не поняла, но потом догадалась. Несколько из уехавших в Англию девушек вышли

---

\* На полном пансионе за услуги по дому (прим. публикатора).

замуж за англичан, даже за пасторов, а Василий Васильевич был против брака с иностранцами. Я его тут же успокоила, что не еду искать мужа, но в Англию так и не поехала.

Еще больше был он против принятия иностранного гражданства. Правда, родители наши все жили мечтой вернуться, и иностранное гражданство казалось ему изменой России. До какой-то степени он и был прав. Но меня удивляло в нем другое.

Он прекрасно знал западную культуру и любил ее. Читал свободно на трех языках: французском, немецком и английском (говорил он на этих языках, как сам мне признавался, посредственно, на три с минусом), следил за всем, что выходит на Западе. Но делал это как-то отвлеченно, научно, именно как ученый. Жизнью Запада он не жил. Всеми своими корнями он продолжал оставаться в России. Делал часто (да и написал прекрасную книгу "Русские мыслители и Европа") интересные замечания, из которых я запомнила одно: он считал, что русским полезно жить в Англии и Германии, т.к. из этих стран они умеют извлекать все лучшее, тогда как из Франции и Америки они берут все, что у них есть худшее. Америки я не знаю, относительно Франции он, может быть, и прав.

Также и к экуменизму, которым в большей или меньшей степени живет все мое поколение, он относился очень равнодушно. Это не мешало ему интересоваться западной богословской мыслью и ценить католичество. Будучи священником, он очень советовал мне совершить паломничество в Лурд и говорил мне, что когда к нему пришел художник-француз с просьбой перевести его в православие, первое, что он ему сказал, был совет не делать этого шага. Но я, например, не могла понять, как его не огорчает разница христианских календарей, что всегда так огорчало меня.

Правда, практически иностранца для него не было, был человек. Первые, кто это прекрасно учли, были французские клошары (бродяги). Они регулярно его посещали, и он знал их по имени. Что касается русских бродяг, то, став священником, он же их и отпевал и провожал к месту последнего упокоения.

Вскоре мне пришлось встречаться с Василием Васильевичем каждую неделю. М.П. Толстая ввела меня в семью Четвериковых-Верховских, а Василий Васильевич у них столовался. Мой свободный день был понедельник. Четвериковы раза два пригласили меня в этот день к завтраку, а потом это вошло в традицию. До самой войны я каждый понедельник завтракала у Четвериковых, и эти завтраки одно из светлых воспоминаний моей молодости. Я приходила немного раньше и болтала с сестрами Четвериковыми. Затем приходил Василий Васильевич и к самому завтраку выходил отец Сергей. Разговор за завтраком всегда был чрезвычайно интересный, и душой разговора был Василий Васильевич. Он всегда рассказывал что-то интересное или из своего прошлого, или о Движении и Богословском Институте, или о новой книге, только вышедшей, или о том, что сам писал в эту

минуту. Делал часто очень интересные и тонкие замечания. Одно запомнилось мне на всю жизнь, т.к. одинаково было характерно и для него и для меня.

Василий Васильевич не любил монашества. Не любил - может быть, сильно сказано. Вернее было бы сказать, что идеалом его жизни было делание в миру, а мечтой - создание православной интеллигенции. Как-то за одним из таких завтраков он мне сказал: "Я боюсь, что вы уйдете в монашество". "Почему?" — спросила я очень удивленная. "А потому, — отвечал он мне, — что идеал вашей жизни тонченное эпикурейство". Не знаю, был ли он прав относительно монашества, но относительно меня был совершенно прав. Но тут на страже стояло Провидение, и эпикурействовать в жизни мне не пришлось.

Не помню, он или М.П. Толстая, а может быть оба вместе, ввели меня в Церковный совет как представительницу от молодежи. Там я пробыла бессменно до своего отъезда в Швейцарию. Церковь тогда еще была не приходская, а домовая, Движения, и Совет назывался Церковным, а не приходским. В него входили члены Движения и некоторые из постоянных посетителей церкви. Заседания наши проходили всегда на очень высоком уровне. Но мы были люди, и разногласия, конечно, были неизбежны. Однако я не помню ни одного резкого разговора или спора. Объяснялось это двумя вещами: нашим безграничным уважением к о.Сергию и его престижем, а также миротворческой деятельностью Василия Васильевича. По натуре и по убеждению он был миротворец. Лучшим доказательством этого может послужить игра, которой тогда забавлялись некоторые члены Движения. Они рассаживали его членов по станциям метро. Так о.Сергий сидел на Сен-Огюстен, его дочь Александра Сергеевна на Жасмен, один очень молчаливый член Движения на Мюзет, а Василий Васильевич прочно восседал на ...Конкорд. Переезд церкви с Бул. Монпарнас на Оливье де Серр очень сплотил всех членов Совета. Мы много обсуждали и много работали. Василий Васильевич больше всех, я сама стала активным членом Движения только на Оливье де Серр, раньше я больше молчала и как самая молодая сидела в уголке.

В момент переезда церкви на Оливье де Серр старостой ее был Н.Н. Меньшиков, а помощником старосты - Василий Васильевич. Н.Н. Меньшиков, ученый-геолог, часто бывал в научных экспедициях, и практически вся работа старосты лежала на Василии Васильевиче. Он первым приходил в церковь, последним уходил. Он же и стоял у свечного ящика. Знал всех прихожан по имени и отчеству и тут тоже был "своим", единственным и незаменимым.

Я любила стоять в церкви около свечного ящика (становлюсь и теперь туда, когда приезжаю в Париж). Мне было хорошо молиться около Василия Васильевича. Его молитву я чувствовала как смиренную и с оттенком грусти. Думаю, что это было очень субъективно,

и я просто переносила на него свои собственные чувства. Но так я чувствовала. Поскольку я была под рукой, он часто меня брал делать сбор. Как-то я ему сказала, что не люблю никакой администрации, в частности и Епархиального управления. Не знаю, сознательно ли и с педагогическими целями, но когда бывал сбор на Епархиальное управление, он именно мне давал эту тарелку.

Чего я совсем не думала - это того, что я сменю его на этом посту на довольно продолжительное время.

Осенью 1939 года была объявлена война. Когда я пришла в первую субботу после объявления войны в церковь, члены Совета с тревогой сказали мне, что Василий Васильевич исчез. Его не было в его отеле, он не появлялся в Богословском Институте. Я тоже очень заволновалась, а через день получила от него "пневматик"\* из тюрьмы Сантэ. Трудно даже выразить, что я почувствовала, прочтя адрес отправителя! Василий Васильевич писал, что он арестован, сидит в тюрьме и просит прислать ему немного денег, чтобы купить что-нибудь в кантине. Потом я узнала, что таких "пневматик" он послал несколько, но или адресатов не было в Париже или они не откликнулись, сейчас сказать трудно. Денег сама послать я ему не могла по той простой причине, что их у меня не было. Я жила до войны в большой бедности, а со дня объявления войны вообще оказалась без работы. Но я ответила ему немедленно, написала, что пришлю деньги и забила тревогу. Известила членов Совета и показала письмо. Мы сделали сбор и решили не посылать денег по почте, а передать через о.Михаила Черткова, который исполнял тогда обязанности православного духовника при тюрьмах. О.Михаил навестил Василия Васильевича и передал ему деньги. Я же получила от Василия Васильевича очень трогательный ответ на мое письмо. Но пробыл Василий Васильевич в Сантэ не долго. От того же о.Михаила мы узнали, что все заключенные "подозрительные" иностранцы направляются в лагерь в Пиренеях. Помнится мне, что из Сантэ я получила только два письма.

Никто толком не знал, за что сидит Василий Васильевич, но дело явно шло в затяжку. Скоро я получила его первое письмо уже из лагеря.

Описание этого лагеря можно найти в книге Артура Кестлера «*La lie de la terre*»\*\*. Заглавие взято из французской прессы. Она сообщала, что в ночь, следующую за объявлением войны, полиция очистила Париж от подонков земли. Среди этих подонков оказались Артур Кестлер, проф. В.В. Зеньковский и К.Г. Шевич (теперь отец Сергей). Правда, Кестлер не долго оставался в лагере. Америка еще

---

\* Пневматическая почта - способ передачи письма в пределах города по трубам с помощью сжатого воздуха (прим. публикатора).

\*\* "Подонки земли" (франц.)

тогда не вступила в войну, и за него хлопотала г-жа Рузвельт. Кестлера скоро выпустили, и он уехал в Америку. Василий Васильевич и К.Г. Шевич были выпущены немцами и всю зиму 1939/40 года просидели в лагере.

Я уже сказала, что материально не могла помогать Василию Васильевичу. Этим занялся Л.А. Зандер. Он получал его жалование от Института и вел все денежные дела Василия Васильевича. Я же решила писать ему каждую неделю. Писала я почему-то по четвергам и не пропустила ни одного четверга, пока почта действовала.

Эта переписка и послужила началом нашей настоящей, по-своему единственной дружбы, которая продолжалась до его смерти. По содержанию своему наши письма напоминали те письма, которые мы пишем в социалистические страны. Только о религии и церковных делах я могла писать свободно. Писали мы друг другу по-французски. Это облегчало задачу цензуры, и все наши письма доходили.

И несмотря на это письма Василия Васильевича носили свой, ему свойственный характер. Отмечу две черты, очень меня поражавшие.

Во-первых, полное отсутствие жалоб. Он никогда не жаловался. И не потому, что боялся цензуры. Уже будучи на свободе, он мало и редко говорил о лагере. Для меня у него вырвались два признания: он говорил мне, что в тюрьме вспоминал слова "и со незаконными вменился". Еще более целомудренно он мне сказал, что "удары он получил только раз", и третье, что один из комендантов лагеря, очень приятный человек, вызвал его к себе и спросил его, почему он здесь находится. На это Василий Васильевич ему ответил, что это, собственно, надо спросить у него самого. Потом мы узнали, что сидел он за брата, который перед войной вел во Франции какие-то сомнительные финансовые операции и сам уехал. Когда наступило освобождение, Василия Васильевича чуть опять не посадили, потому что выпустили его немцы, знавшие его как профессора. Но тут вступилась С.М. Зернова, и дело уладилось.

Вторая удивительная черта его писем - это была забота о других. Они были полны поручений: пойдите к тому-то, узнайте, как прошла операция такого-то, как поживают дети такого-то, поклонитесь такому-то или такой-то. Очень заботился о своей крестнице Е.Леввицкой и ее отце, своем старом друге. Раз попросил меня зайти в маленький подозрительный отель на Монмартре, где раньше жил один из заключенных с ним русских. У него совсем не было вещей, и он просил зайти в отель, взять его вещи и прислать ему. Я даже побоялась пойти туда одна и попросила А.В. Морозова пойти со мной. На нас посмотрели очень подозрительно и ничего не дали. Может быть все уже было разграблено при его аресте.

Иногда я получала письма, написанные явно его почерком, но подписанные другой фамилией. Мне потом объяснили, что заключенные имели право на ограниченное число писем (одно или два в неделю, теперь не помню), но были люди, у которых не было на воле

решительно никого и они передавали свою очередь Василию Васильевичу.

Что касается меня, то я очень много писала ему о церковных делах. Действительно вышло так, что я заменила его у свечного ящика. С началом войны наша церковь лишилась своей верхушки. О.Сергий застрял на Валааме, где он проводил свой отпуск. Н.Н. Меньшиков застрял в Африке с научной экспедицией, Василий Васильевич сидел в лагере. Церковным хозяйством никто не занимался.

Тогда ко мне явилась делегация в лице о.Льва Липеровского, временно исполняющего должность настоятеля, казначея А.В. Морозова и регента Ф.Г. Спасского с просьбой стать у свечного ящика и заняться практической стороной прихода, поскольку я была в это время свободна, т.е. безработная. Я была очень смущена, но отказаться было трудно, и я согласилась. Это было героическое время нашей церкви. Потом мне стали помогать два богослова: Игорь Верник, теперь о.Игорь, настоятель прихода, и Н.В. Остахович. С обоими меня связывает большая дружба. Никаких новых должностей мы не заняли, мы продолжали оставаться только членами Совета, и называли нас "свечниками". О работе у свечного стола следует рассказать отдельно.

Обо всем этом я писала Василию Васильевичу. Часто просила его указаний и совета, описывала, как проходят наши службы и праздники.

Когда немцы вошли во Францию и начался разгром, письма прекратились. Только случайно дошло одно, единственное, написанное по-русски. Очевидно цензура уже не действовала, а потом наступило молчание. И вот как-то раздался звонок у нашей двери, я пошла открывать и на пороге стоял Василий Васильевич. Наше свидание так же трудно описать, как и то чувство, с каким я смотрела на "пневматик" из тюрьмы. Василий Васильевич благодарил меня за письма. Говорил, что это была для него живая связь с вольным миром. Я и сама понимала, что дело было не в качестве моих писем, а в их постоянстве. Мы вместе пережили эпопею. До сих пор не могу без волнения об этом думать и писать. Уже в Париже, на воле, он некоторое время продолжал мне писать по старой привычке, но потом это прекратилось, т.к. стало уже искусственным.

Для Василия Васильевича началась новая свободная жизнь. Ему посчастливилось найти комнату в том же доме, где жили Четвериковы. Он бросил свой отель и понемногу стал приступать к своим обычным обязанностям. Но к свечному столу он не вернулся, он стал готовиться к более высокому служению в Церкви - в священстве.

О священстве он думал давно, да и был он внуком священника. Но по разным обстоятельствам это как-то не выходило. Его и раньше называли "священником в пиджаке" (тогда священники обязательно носили расы). Очевидно лагерь дал возможность окончательно со-

зреть и претвориться в жизнь его давнишнему желанию.

Я была на его диаконовской хиротонии, но на священнической почему-то не была. Он был приписан вторым священником, без оклада, к нашей Движенской церкви. Да и где в другом месте мог бы он служить! Это было так естественно, органически. В одном из своих последних писем, уже почерком больного, он пишет: "а весь наш приход, несмотря на многочисленные отдельные отталкивания, все же одна семья и ее церковно-интеллектуальный уровень очень велик (тут церковь много была обязана о.Сергию Четверикову и Феодосию Георгиевичу Спасскому). Все же я радуюсь, что Господь связал меня с нашей церковью".

Таким образом на довольно долгое время наш приход возглавлялся двумя священниками: о.Виктором Юрьевым, настоятелем, и о.Василием Зеньковским. Люди очень разные по характеру, уму и культуре. Казалось бы величины несравнимые, но равные по благочестию. Такого братского единения, взаимного уважения и заботы друг о друге, как это было между о.Виктором и о.Василием, я больше не встречала в среде духовенства. Оба они вошли в мою память как пастыри и учителя. О.Василий скромно занял свое второе место. Скромность его была удивительная. Помню как в первый год его служения у нас он служил вечером в Страстной вторник. Пасха была поздняя, и стояли чудные весенние дни. Не помню уже почему, было ли у меня к нему какое-то дело или просто мне хотелось побыть с ним, но я попросила позволения проводить его домой. Это было довольно большой путь. Он согласился. Не успели мы выйти из ворот, как он мне сказал с настоящей болью: "Оля, читал Евангелие и думал — все читаю о себе самом: книжники — это ученые, фарисеи — это священники" (Мф.23).

Но Богом данных талантов не утаить, рано или поздно они сами выходят на поверхность. О.Василий сейчас же выдвинулся как проповедник и духовник. Он служил через воскресенье и на неделе - в пятницу. По воскресеньям всегда произносил проповеди. Они были краткие, ясные, сказанные прекрасным языком и доходящие до сердца. Особенно помню одну, сказанную в неделю о Расслабленном. Он говорил о человеческом одиночестве, о том, что когда помощи не видно нигде и ни от кого, то приходит Бог. Я стояла у свечного ящика и плакала, а оказавшийся около меня Феодосий Георгиевич Спасский, тоже глубоко растроганный, как истый уставщик пробурчал однако: "только в проповедях вместо "господа" говорят "братие". Это было верно. Первое время по своей профессорской привычке о.Василий нередко говорил "господа" вместо "братие". Говоря о проповедях, приведу еще один пример его простоты и скромности. Надо признаться, что мы, "свечники", часто во время проповеди просто тихонько считали деньги. О.Василия приходилось слушать. Мы были молоды и любили шутить. И у нас хватило дерзости сказать ему, что он "мешает" нам считать. Он

рассмеялся и сказал - "простите". Никому другому мы не посмели бы этого сказать!

Если я не ошибаюсь, первый раз он начал исповедовать под праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, наш престольный и Движенский праздник. Первая из нашей группы молодежи к нему подошла покойная Люба Шибаева. Когда она вернулась с исповеди, мы, несколько удивленные, спросили ее: "Ты пошла к Василию Васильевичу"? Люди всегда как-то стесняются идти к тому, кого хорошо знают вне церкви. Это далеко не всегда правильно. Но Люба нашла прекрасный ответ. "Я уже давно у него исповедуюсь" — сказала она нам. Это было верно. Мы все у него давно исповедовались, только не получали отпущения грехов. После нее пошла я.

Скоро будет 20 лет, как о.Василий умер, и я могу сказать, что такого исповедника у меня нет, не было и не будет, вероятно. Тому, кто не исповедовался у о.Василия, трудно передать его исповедь. Может быть, она не была классической исповедью. Это был скорее разговор, но о последних вещах, как перед смертью. А уходил человек утешенный, успокоенный, с силами для дальнейшей жизни. Может быть тут играла роль одна характерная черта о.Василия: он очень любил жизнь и часто об этом говорил. В одном письме, маленькой почтовой открытке к моему дню Ангела, он пишет: "Вот мне исполнилось 80 лет, и в душе моей, когда я думаю о своей жизни, ликование! Столько света было в моей жизни, столько душ я узнал и полюбил! А музыка, а мир идей? Все, все это — "от земли", во все входим мы горячо. Порой схватит скорбь (ибо чем ярче свет, тем тени кажутся более темными!), но я благодарю Бога за свою жизнь, даже за глупости и ошибки свои. Дай Вам Бог любить жизнь (подчеркнуто в тексте)". В другом письме, написанном, как он сам пишет, "в последний день отходящего 1960 года", уже в тоне более грустном он говорит: "столько было неверного, ненужного и пустого в моей жизни, но я радуюсь, что почти всегда был Дон-Кихотом. С этим, даст Бог, и уйду в другой мир".

К каждому человеку у него был свой подход. Хочется мне привести еще одно свидетельство, поразившее меня своей непосредственностью и искренностью. Привожу так, как его услышала.

Когда умер о.Василий, мы все, его духовные дети, постарались собраться в Париже. Тело было привезено в нашу церковь, и священники начали чтение Евангелия. Но священников было не так много, и чтение должно было скоро прекратиться, а нам хотелось, чтобы чтение продолжалось всю ночь, вплоть до погребенья. Тогда мы решили просить архиепископа Георгия разрешить нам, мирянам, читать Евангелие над усопшим. Разрешение было сейчас же дано, и мы начали чтение. Когда я около 11 часов вечера пришла читать, Евангелие читал человек, которого я очень хорошо знала по церкви, но никогда не видела в окружении о.Василия. Я удивилась и подумала, что, вероятно, и он очень его любил. На следующий день на

кладбище я снова на него наткнулась. Он бродил как потерянный между могил и, увидевши меня, вдруг разразился. "Не могу утешиться, что его нет, — сказал он мне. — А видел я его только раз в год в Страстную среду, когда приходил к нему исповедоваться. И он меня крыл. Да, он меня крыл. Крыл за то, что я только в Страстную среду прихожу на исповедь и причащаюсь только в Страстной четверг. Говорил мне, что это немыслимо причащаться только раз в году и брал с меня обещание делать это чаще. Я обещание давал и не исполнял. Приходил снова через год, и он меня крыл. Но так крыть, как он меня крыл, уже никто и никогда не будет".

Я тоже могу сказать - никто и никогда. По этому поводу я тоже думала, что никакие пышные некрологи не стоят такого вот простого свидетельства человека, любившего покойного.

Из наставлений о.Василия как-то больше всего мне запомнились три. Их стараюсь по мере моих слабых сил приводить в жизнь.

О.Василий очень любил слова ап.Петра (Рим. 12, 10): "Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью". Он особенно упирал на слово "нежность". Сам был нежен и других тому же учил.

"Если уже не можете воздержаться от злословия, — говорил он, — старайтесь по крайней мере не передавать то злое, что Вы слышали о людях".

От меня он всегда требовал лучшей келейной молитвы. "Вы же не забываете чистить зубы, — говорил он мне, — а домашняя молитва — это та же совершенно необходимая духовная гигиена". Тут я часто походила на человека, о котором говорила выше. Обещала и не исполняла. К старости мне это стало легче, да и то под влиянием внешних условий. В дневное правило, кроме вечерних и утренних молитв, он советовал включать главу из Евангелия и один псалом. Говорил, что сам всегда включает в свое правило псалмы.

Очень большое значение он придавал разумным развлечениям. Говорил, что они составляют часть нашей духовной жизни.

Но в нашем несовершенном мире совершенства нет, и потому нельзя делать из о.Василия икону. У него были человеческие недостатки, были свои симпатии и антипатии, которые нам иногда казались неоправданными и странными, но это все проходило как-то незаметно. Терялось в том добре, которое мы от него получали. Огорчала нас и досаждала нам, пожалуй, одна его черта.

Для русского человека он был человеком необыкновенного порядка. Его открытость людям была безгранична, но как человек порядка он имел то, что он сам называл "бюджетом времени". Этому бюджету подчинялось все, кроме исповеди. Когда вы хотели иметь с ним свидание, отказа не было. Он тут же вынимал свою записную книжку, смотрел в нее и деловито говорил: "в 2.30 у меня такой-то, значит вы можете придти в 3 часа". Свидание назначалось очень быстро, ждать не приходилось, но вы знали, что на вас приходится полчаса или какое-то строго ограниченное количество времени.

Конечно, без этого жить нельзя, но человек создан так, что самое главное, что ему хотелось бы сказать, приходит не сейчас же, а когда оно придет, то надо уже уходить. Та же мать Бландина сказала мне: "о.Василий, несомненно, пойдет в рай, а часы его пойдут в ад"!

И тем не менее иногда я в минуту грусти и одиночества вспоминаю о нем и думаю: ушел человек, у которого всегда было для нас хоть четверть часа времени, когда он полностью отдавался нам. А главное, он души наши любил! Любит ли сейчас кто-нибудь мою душу? Не знаю. Вот за эту его любовь, да будет ему Вечная память!

*Публикация А.Козырева*

## Дмитрий ГАЛКОВСКИЙ

### "ХА!!.. БЛЯГЕР!.. ДУРА!.. БИМ, БАМ!" (Н. Ленин в «Бесконечном тупике»)\*

400. Примечание к с.25 «Бесконечного тупика» (большевики): "купание в параграфах, циркулярах и протоколах, и звериное упорство в глазах:"Миру провалиться, а мне чаю пить!"

Весь толстый волюм II съезда РСДРП наполнен такого рода диалогами:

"Троцкий: К резолюции, предложенной т.Мартовым, нахожу бесполезным добавить, что под редакцией подписаны имена товарищей-евреев, которые, работая в российской партии, считали и считают себя представителями еврейского пролетариата.

Либер: Среди которого они никогда не работали.

Троцкий: Прошу и мое заявление, и возглас т.Либеры занести в протокол.

Либер: Прошу занести в протокол, что председатель не остановил Троцкого, когда последний своим заявлением совершил грубую бестактность.

Председатель: Особое занесение этого обстоятельства в протокол излишне, так как все равно видно будет из протокола, что я не остановил т.Троцкого.

Либер: Настаиваю на занесении этого обстоятельства в протокол.

Председатель: Тогда будьте любезны внести ваше заявление письменно в бюро съезда.

---

\* Продолжение публикации отрывков книги "Бесконечный тупик", начатой "Континентом" в № 77.

---

**Дмитрий  
ГАЛКОВСКИЙ**

— родился в 1960 году в Москве. Окончил философский факультет МГУ Автор статей, опубликованных в периодике.

Либер вносит заявление следующего содержания: "Отмечаю, что председатель не остановил Троцкого, когда он заявил о принадлежности к еврейской национальности лиц, внесших резолюцию, совершив грубую нетактичность, перенося весь спор по этому вопросу на почву национальных страстей".

И далее все в том же духе страницами, страницами.

Ленин писал в 1922 году специалисту по советской торговле Льву Хинчуку:

"Цена чая? не низка ли? сознаете ли Вы, что это *предмет роскоши*? (курсив Ленина)".

Хуже еще: и миру провалиться, и чаю не пить.

402. Примечание к с.25 «Бесконечного тупика». "Мышление русского похоже на заевшую пластинку".

Минимальный радиус разрушительной обрачиваемости, равный нулю, наблюдается в мышлении Ленина. Это делает его, конечно, определенного рода олицетворением национальной идеи. В первом своем произведении Ленин сказал: "Мы отвергаем вздорную побасенку о свободе воли". Это какое-то неслышанное пренебрежение элементарной логикой. Свобода воли отвергается, то есть, происходит чисто волевой акт. Более того, это отвержение происходит в максимально грубой форме, в форме ругательства. Свобода воли просто обзывается. В этой взрывающейся на ходу куцей фразочке весь Ленин, вся его фантазмагорическая никчемность.

Конечно, идея никчемности вызревала постепенно, по мере такого же постепенного развития великой русской культуры. Так, Чернышевский достиг уже достаточно высокой стадии нулевого мышления, и Набоков необычайно верно пишет о его интеллектуальной манере:

"Чернышевский сколачивал непрочные силлогизмы; отойдет, а силлогизм уже развалился, и торчат гвозди".

Но все же тут разваливание, а не аннигиляция. Ленин - это максимально возможное, "до упора", развитие Чернышевского. В то же время, скажем, и мышление самого Набокова такое же чернышевское, но развившееся в другую сторону - в сторону бесконечного радиуса. Владимир Владимирович этого совершенно не понимал, но его свободное творчество само собой выстроило структуру "Дара" в виде филологического космоса, так что в результате связь между автором и его героем оказалась двусторонней. Получилось, что в каждом из нас сидит маленький рогатый чернышевский. И, следовательно, в Чернышевском, в этом лесном клопе, Набоков заставил увидеть человека.

Но ниже Чернышевского национальный тип уже начинает вырождаться в нечто нечеловеческое. Я долгое время полагал, что все отличие Ленина от Чернышевского только в том, его "нашли", купили шапку и сапоги. Мысль "есть Люди" при органической

неспособности к минимальным обобщениям, к продумыванию и обработке своих мыслей. Ленинская ленность мысли, ведь, собственно, и "Ленин" от "лени" (один из его псевдонимов - Ленивецын). Чернышевский же в определенный момент "потерялся". Вот и вся разница. А сейчас думаю - нет, не вся, тут различие качественное.

412. Примечание к № 402. "Минимальный радиус разрушительной оборачиваемости, равный нулю, наблюдается в мышлении Ленина".

Это выламывание из логоса. Молчание Ленина уже не русское. это молчание клоуна. Клоун, раскрашенный, в жабо и с дурацкой карликовой гармошкой в руках, ломяще упорным волчьим взглядом смотрит на зрителя. И зритель ощущает себя клоуном.

В своей политической деятельности Ленин всегда прятался за спины "товарищей" и почти никогда не спорил, не вступал в полемику живьем, глаза в глаза. Стоял сзади и смотрел: "туда умного не надо":

"Бывает иногда, что опытные и осторожные политические деятели... посылают вперед, вроде как на разведку, молодых и неосторожных вояк. "Туда умного не надо", говорят себе такие деятели, предоставляя юнцам выболтать кое-что лишнее, чтобы таким путем позондировать почву".

Ленин полное небытие. Собеседник с ним говорит, а он молчит, ждет, когда тот выговорится, и, дав на себя материал, бессильно повиснет сдувшимся шариком. Собеседник сжимается, а Ленин раздувается до циклопических размеров, возрастает во вселенную, превращается в нечто величественное, зловеще-бесконечное.

477. Примечание к № 471. "Во всех дооктябрьских прожектах Ленина мракобесие неслыханное".

Но венцом ленинского прожектерства конечно является "план электрификации всей России". В январе 1920 года Кржижановский послал Ильичу научно-популярную статью об электрификации. Ильич прочел. Тут же, в полчаса созрел гениальный план:

"Глеб Максимилианович!.. Статью получил и прочел. Великолепно. Нужен ряд таких. Тогда пустим брошюрой. У нас не хватает как раз спецов с размахом или с "загадом"... Нельзя ли добавить план не технический (это, конечно, дело многих и не скоропалительное), а политический или государственный, т.е. задание пролетариату? Примерно в 10 (5?) лет построить 20 - 30 (30 - 50?) станций, чтобы всю старну усеять центрами на 400 (или 200, если не осилим больше) верст радиуса; на торфе, на воде, на сланце, на угле, на нефти (примерно перебрать Россию всю, с грубым приближением). Начнем-де сейчас закупку необходимых машин и моделей... (План) надо дать сейчас, чтобы наглядно, популярно, для массы увлечь

ясной и яркой (вполне научной в основе) перспективой: За работу-де, и в 10 - 20 лет мы Россию всю, и промышленную и сельскохозяйственную, сделаем электрической. доработаемся до стольких-то (тысяч или миллионов лошадиных сил или киловатт?? черт его знает) машинных рабов и проч."

Пропагандистский аппарат раскрутили на всю катушку. С точки зрения бюрократической успех электрификации был полный. Под это дело еще несколько тысяч полуобразованных получили место в стремительно разрастающемся аппарате управления. Был составлен фиктивный "план ГОЭЛРО", суть которого состояла в "электрификации" лампочками географической карты европейской России. Это было слишком даже для Ленина и сами большевики окрестили электрофикацию "электрофикцией". Через год начался НЭП и о нелепой затее забыли. Но в 30-х опыт бешеной пропагандистской шумихи (как и ленинский процесс против эсеров) очень пригодился. И тогда уже действительно "доработались до стольких-то (черт его знает) машинных рабов".

Почему это удалось? Дело в том, что кривой ум Ленина давал гениальные предлоги. Суть власти была в напряженной, злой культуре - вызове. Но создавать такое общество надо под какое-то дело. Нужен был предлог. И его нашли в "электрификации", "индустриализации". Или, глубже, если рассмотреть причину "планового хозяйства" — в отмене собственности. То есть, в нарушении естественного, природного права человека. Даже животной его потребности. Оно есть и у головастика, пускай и в зачаточной форме. А у собаки, например, это уже достаточно развитая форма психической жизни. И вот "отбирать вещи". А для этого нужен аппарат, а для аппарата — падишах.

Можно было бы построить такое же общество и на уничтожении других принципов человеческого общежития. Например, построить Союз Советских Гомосексуальных Республик. Объявить нормальную половую жизнь гнуснейшим пороком, судимым по какой-нибудь 121 статье УК РСФСР, и наказывать, как сейчас некоторые виды частнопредпринимательской деятельности — "вплоть до..." А поскольку проклятые гетеросексуалисты от своих пороков все равно ведь не откажутся, то проблема с "машинными рабами" опять будет решена. Но в таком обществе, наверно, их будут использовать не на государственных, а на частных предприятиях и как домашнюю прислугу. Общество все же будет гуманнее социалистического, так как госаппарат будет менее централизован... Хотя если учесть склонность гомосексуалистов образовывать всякого рода союзы и общества...

А можно, например, запретить людям думать. Обозвать умников, скажем, "нусистами" и уничтожить. А чего они пользуют умом для собственного удовольствия? Или запретить жить больше 40 лет. Много чего можно. Важно только придраться "с загадом", придраться

к чему-нибудь существенному и важному для человека. Придраться и издеваться, издеваться десятилетиями.

478. Примечание к № 462. "Набоков назвал правление Ленина "нероновским пятилетием".

Нерон выступал в цирке наездником. Ленин тоже вскоре после революции выступал с речами в цирке Чинезелли. Слово "цирк" в новейшей истории несколько изменило свое значение и в этой связи интересно устойчивое обращение Ленина к теме клоунады, шутовства, балаганного скоморошества.

Например, в июне 1906 года он пишет:

"Взаимные подножки гг. Треповых и Набоковых будут использованы нами для того, чтобы обоих почтенных акробатов свалить в яму".

В июле этого же года Ленин возмущается, что эту точку зрения либералы называли "шутовством или непроходимой тупостью" и уточняет:

"Кадетов постиг скоропостижный крах от одного росчерка пера "возлюбленного монарха" (наплевавшего, можно сказать, в рожу Родичеву, который объяснялся ему в любви)".

(Любопытное пересечение темы гомосексуализма и чаплинских тортов).

Вот еще характерная фраза:

"Господа Плеханов, Чхенкели, Потресов и К<sup>о</sup> играют роль марксистобразных лакеев и шутов".

Вот из тезисов по поводу декларации временного правительства:

"Либо комедь, либо всемирная революция против капитала".

(Получился диалектический синтез: первое в виде второго). Характерный ленинский оборот, встречающийся десятки раз: "меньшевики и эсеры петушком побежали за кадетами". (Или наоборот).

От петушков легко перейти к Петрушке:

"Почему бы тем же пролетарским делегациям не "использовать" Совещания так, чтобы издать и показать по казармам и фабрикам, скажем, два плаката в объяснение того, что Совещание есть комедия? На одном плакате можно бы изобразить Зарудного в дурацком колпаке, пляшущего на подмостках и поющего песенку: "Нас Керенский оставил, нас Керенский оставил. А кругом Церетели, Чернов, Скобелев, кооператор под ручку с Либером и Даном, - все покатывающиеся со смеху. Подпись: "им весело".

Тема "кооператора под ручку" должна раскрываться, по мысли Владимира Ильича, во втором плакате, где изображен "солидный Церетели" (в другом контексте у Ленина, правда, "шут гороховый"), который

"Пишет незаметно в свою записную книжку: "Этакий балбес Зарудный! Такому олуху навоз бы возить, а не министром быть!".

Плакат следует подписать так: "Революционно-демократическое" совещание публичных мужчин".

А вот опубликованные в 29 томе собрания сочинений пометки на книге А.Рея "Современная философия":

"ха!!

блягер!

дура!

бим, бам!

уф!"

По поводу одной из брошюр Ленина оппонент сказал: "Тут безумие становится методом". Ленин ответил росчерком на полях статьи: "Шут!" (Грумбах. "Ошибка Циммервальда-Кинтала").

Горький вспоминал об огромном интересе Ленина к цирку, где различные эстрадные номера тут же получали с его стороны метафизическое обоснование. Ильич был в своей стихии:

"Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не могут работать с такой быстротой, — сказал Ильич (по поводу аттракциона рубки леса канадскими рабочими в лондонском мюзик-холле). Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане!"

"Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел, он уже интересно говорил об "эксцентризме" как особой форме театрального искусства! (это по поводу вышедших на арену клоунов) — Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть на изнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато — а интересно!"

Действительно.

Смысл этих аналогий Ленина хорошо раскрывается в киносъемке беседы Владимира Ильича с американским журналистом Линколном Эйром. Эти губы, топырящиеся юродской vareжкой, прыщ на щеке, гротескная мимика и жестикуляция... Портрет юродивого в "Боярыне Морозовой" Сурикова. Но очерченный злобным ехидством боярина в шубе с лисьим воротником — на противоположной, левой стороне полотна: "Так-то, матушка! попалась! там из тебя человека сделают!"

А ведь как подумаешь - рухнула колоссальная цивилизация.

Даже не государство, а цивилизация. Аналог римской империи. Масштаб вполне соотносим. "Ты победил". Но как все по-русски издевательски просто. Совсем без молний и грома, колесниц и тог. А так, "в кепочке".

Бердяев писал в "Русской идее":

"Характерно, что русским не свойственна риторика, ее совсем не

было в русской революции, в то время, как она играла огромную роль во французской революции. В этом Ленин со своей грубостью, отсутствием всяких прикрас, всякой театральности, с простотой, переходящей в цинизм, — характерно русский человек". Можно уточнить, что риторика русским как раз более чем свойственна, но относятся они к ней всегда как к чему-то примитивному и некультурному, как к риторике. "Туда умного не надо". Риторика получается максимально грубая и откровенная. Но что такое "откровенная риторика"? Риторика для того и выдумана, чтобы скрыть грубую реальность событий. И, конечно, не только в смысле простой драпировки, но и в смысле внутреннего сглаживания, адаптации. Шестов по этому поводу писал:

"Естественное - в Европе об этом и не спорит никто - безобразно и страшно... У них утешительный конец и разрешающее последнее слово припасены задолго до начала и первого слова. У них прикрасы и риторика — необходимое условие творчества, единственное лекарство против всех зол... Итак, нам предстоит выбор между художественной и законченной ложью старой, культурной Европы, ложью, явившейся результатом тысячелетнего трудного и мучительного опыта, и бесхитростной, безыскусственной простотой и правдивостью молодой, некультурной... Кто ближе к истине?.. Разве искусная риторика не так же соблазнительна, как и правда? И то и другое жизнь. Невыносима только риторика, которая хочет сойти за правду и правда, которая хочет казаться культурной". Именно отсутствие хорошей, добротной риторики так вгнездило революцию в Россию.

Наполеон весь вышел из риторики французской революции. И сам был, конечно, насквозь риторичен (что некоторых русских писателей доводило до белого каления). Но ведь Наполеон спас Францию. Если бы риторика так и осталась пустой оболочкой, "трезвый реализм" якобинского террора вырос бы в такую гнусную фантастику...

488. Примечание к 402. "(Ленина) этого в высшей степени никчемного человека "нашли".

"Никчемности" с 17-и лет в голову ключ вставили и наvertели пружину ненависти до упора. Ленин уже вступил в жизнь "с марсианской жадью хамить". Пружина в конце концов лопнула и он, как топор в "Братьях Карамазовых", обернулся вокруг земли. Отвел душу. Это воля к власти в голом виде. Тут даже не триумф римских императоров. Там всками вытачиваемая форма, наполняющая и примитивные эмоции смыслом благородства. А тут скромно, тихо, в кепочке. Чисто формальное и чисто интимное отношение к миру. Позвонил по телефону, а на другом конце провода застрелились. Пришел на конспиративную квартиру в сереньком пальто,

сидит, пьет чай на кухне: "Вот ты завтра без меня пойди на площадь под нагайки. До свидания, *товарищ*". И "товарищ" идет и прыгает под плеткой. Вот русская идея власти. Скромная, тихая, интимная. Голая. И Ленину больше ничего не нужно было. Ни денег, ни женщин, ни интеллектуального авторитета, ни придворных церемоний. А только власть. И никчемность. И поругание. Идея, что он — в сущности, такой хороший, добрый, неприспособленный к реальной жизни — общается с этими подонками. Какое-то непрекращающееся унижение, издевательство. Жалкий, смешной. Пролитвал чай на брюки, постоянно грохался с велосипеда, умудрился на заре автомобилестроения попасть под машину. (С детства физическая аномалия — слепота на один глаз (ленинский прищур)).

Его соратница, Мария Моисеевна Эссен, вспоминала о прогулке с Лениным по горам Швейцарии:

"Ландшафт беспредельный, неописуема игра красок. Перед нами, как на ладони, все пояса, все климаты. Нестерпимо ярко сияет снег; несколько ниже — растения севера, а дальше — сочные альпийские луга и буйная растительность юга. Я настраиваюсь на высокий стиль и уже готова начать декламировать Шекспира, Байрона. Смотрю на Владимира Ильича: он сидит, крепко задумавшись, и вдруг выпаливает: "А здорово гадят меньшевики".

Ленин — это русский деловой человек. Чичиков. Чичиковская безликость Ленина хорошо угадывается по дошедшим до нас фотографиям. Лучше всего это видно на фото, сделанном на похоронах Елизарова. Картинно утрированная скорбная поза. Руки в позе Гитлера, легкая сгорбленность, брови домиком, опущенные уголки губ. Он ничего не видит. "Убит горем". Слишком уж не видит (единственный из десятков стоящих вокруг). Это *динамическая* безликость. Комедианство, юродство. И идея зла, олицетворенная в Ленине, тоже имеет активный, динамический характер. Нигилизм, мировой пожар. Сталин уже статичен, это устоявшееся зло. Статика возобладала над динамикой примерно к 1937 году. Что ясно видно на примере архитектуры. До 1937 года она не антигуманна, а негуманна вообще. Это нечеловечность лунного ландшафта. После 1937 года это именно антигуманизм, то есть, нечто рассчитанное именно на *человеческое* восприятие, на подавление человека.

Как и всякая абсолютная идея, идея мирового зла хрупка. Ее носителю нужно помогать. Таких людей, абсолютных идеалистов, убивает ненужность. То, что с ними спорят, доказывают, это для них опора, хлеб. А вот если одернуть: "Ш-што? Кто это? Да вы понимаете, с кем вы разговариваете? Молча-ать!!!" И все. Это смерть. Нужно, чтобы такого человека нашли, убрали все возможные препятствия для его безграничного расширения. Убрали внешние границы. И тогда, на свободе, какой-нибудь Фома Опискин может разрастаться до вселенной, до божества.

504. Примечание к № 390. "Но оказалось, что это сухой, пресный снег. А Бланк (50-летний) хохотал, хохотал".

Последняя реприза старого клоуна. У Ленина, полупарализованного, теряющего остатки разума, были припадки капризности и бешеной злобы. Речь пропала, но мышцы лица сохранили подвижность. Их вело, лицо кривилось. Он мычанием отгонял врачей, кидал в них здоровой рукой тарелки и подушки. Отказывался принимать лекарства. Только хинин от великой злобы всегда ел охотно. И когда врачи, удивляясь, говорили ему, как это он принимает такую горечь, даже не морщась, Ильич радостно хохотал.

544. Примечание к № 488. "Идея зла, олицетворенная в Ленине".

Ленин — центральная фигура XX века. Старый большевик Ольминский в порыве подхалимского славословия сказал однажды пророческую фразу:

"Познать В.И.Ленина для нас означает познать самих себя".

557. Примечание к 544. "Ленин — центральная фигура XX века".

Набоков писал, что "слово мстит за пренебрежение к нему" и приводил в качестве примера Ленина, "употреблявшего слова "сей субъект" отнюдь не в юридическом смысле, а "сей джентльмен" отнюдь не применительно к англичанину, и достигшего в полемическом пылу высшего предела смешного: "... здесь нет фигурового листочка... и идеалист прямо протягивает руку агностику".

Фраза эта взята из "Материализма и эмпириокритицизма". Но Набоков ошибается, считая ее простой оговоркой. мечь слова гораздо сложнее и глубже. Язык заставляет неовладевшего им человека не запинаться и оговариваться, а проговариваться. Постоянные аналогии мутносексуального характера, столь характерные для Ленина, достигли в "Материализме и эмпириокритицизме" предельной концентрации и сделали это произведение настоящим кладом для сексопатолога. Дело в том, что "Материализм" написан, собственно говоря, ни о чем, так как философская проблематика для его автора является тайной за семью печатями. Ленину оставалось довольствоваться пустопорожной риторикой. Но риторикой-то он по-русски не владел. Слова вырвались на свободу, взвились роем разъяренных пчел, и книга в результате получилась очень и очень содержательной. Судите сами:

Вот стр. 36 - 37:

"Старая погудка, почтеннейший г. профессор! Это буквальное повторение Беркли, говорившего, что материя есть голый абстрактный символ. Но голеньким-то на самом деле ходит Эрнст Мах... Если "чувственным содержанием" наших ощущений не является внешний

мир, то, значит, ничего не существует, кроме этого голенького "я", занимающегося пустыми "философскими" вывертами".

Стр. 41:

"К Маху бросаются на шею имманенты".

Стр. 51:

"Ваша философия, господа, есть идеализм, тщетно пытающийся прихкрыть наготу своего солипсизма нарядом более "объективной" терминологии... Что у кого болит, тот о том и говорит!"

Стр. 69:

"В философии — поцелуй Вильгельма Шуппе ничуть не лучше, чем в политике поцелуй Петра Струве или г. Меньшикова".

Стр. 114:

"Это как раз и есть та основная нелепость... за которую лобызают Маха с Авенариусом отъявленные реакционеры и проповедники поповщины, имманенты. Как ни вертелся В.Базаров, как он ни хитрил, как ни дипломатничал, обходя щекотливые пункты, а все же в конце концов проговорился и выдал всю свою махистскую натуру!"

Стр. 131:

"Заслуженные вами объятия имманентов".

Стр.148:

"Старый-престарый субъективный идеализм, нагота которого прихкрыта словечком "элемент".

Стр. 157:

"Чистый эмпириокритик Валентинов выписал плехановское примечание и публично протанцевал канкан".

(Здесь выход на тему переодеваний подлых шутов. Тема "злого клоуна" представлена в "Материализме" тоже с барочной роскошью форм).

Стр. 193:

"Ухищрения идеалистов и агностиков так же, в общем и целом, лицемерны, как проповедь платонической любви фарисеями!"

Стр. 223:

"И вот эдакие-то немецкие Меньшиковы, обскуранты ничуть не менее высокой пробы, чем Ренувье, живут в прочном конкубинате с эмпириокритиками".

Стр. 226:

"Он ("сколько-нибудь толковый имманент") расцеловал бы Базарова и зацеловал бы его так же, как расцеловали Маха".

Стр.234:

"Комичнее всего тут, пожалуй, то, что сам блюститель чистоты и невинности Петцольдт... совокупил их с проповедником фидеизма Вильгельмом Шуппе".

Стр. 243:

"Эти заведомые соратники и частью прямые последователи Маха своими поцелуями по адресу "подстановки" сказали бы больше, чем своими рассуждениями".

Стр. 255:

"Если бы Энгельс увидел, с какой стороны подходят критиковать Дюринга Леклер под ручку с Махом, он бы этих обоих философских реакционеров обозвал во сто раз более презрительными терминами".

Стр. 196 - 197:

"Открытый идеалист Уорд сбросил все покрывала... Уорд кувывается".

(Опять выход на тему нехорошего клоуна).

"Таково условие сожительства теологов и профессоров в "передовых" капиталистических странах".

Стр. 312:

"Фиговый листочек, пустое словесное прикрытие материализма".

Стр. 332:

"(Современная физика) идет к единственно верному методу и единственно верной философии естествознания не прямо, а зигзагами, не сознательно, а стихийно, не видя ясно своей "конечной цели", а приближаясь к ней ощупью, шатаясь, иногда даже задом. Современная физика лежит в родах. Она рождает диалектический материализм. Роды болезненные. Кроме живого и жизнеспособного существа, они дают неизбежно некоторые мертвые продукты, кое-какие отбросы, подлежащие отправке в помещение для нечистот".

Стр. 366:

"Никакие усилия в мире не оторвут этих реакционных профессоров от того позорного столба, к которому пригвоздили их поцелуи Уорда, неокритицистов, Шуппе, Шуберта-Зольдерна, Леклера, прагматистов и т.д."

И т.д. и т.п.

Не удивительно, что даже сестра Анна писала Ленину:

"Некоторую ругань надо опустить или погладить. Ей-Богу, Володек, у тебя ее чересчур много... Для философской книги особенно уж пестрит ею... поэтому ходатайствую, чтобы ты выбросил "Гоголевский Петрушка";... "литературное неприличие". Эта фраза и по себе очень некрасива. "Не улыбку, а омерзение"... Пожалуйста, выкинь это "омерзение" невозможное... Потом "проповеди платонической любви истасканными..." фуй, даже дописать неприлично... Ведь это же прямо неприличная фраза". Ну, "истасканных" Ильич, скрепя сердце, заменил фарисеями (стр. 193). Петрушку же и прочее оставил. ибо как же без Петрушки-то? О чем же писать? Книга и так наполовину состоит из цитат.

Никакого отношения к реальности. Все из книг, в книгах. В сущности, Ленин писатель ведь. Графоман. Философия в бездарном романе.

Философия бездарного романа Ленина превращается в неизменное шарлатанство, а сами философы изображаются жуликами и шпаной, цель которой в открытом и исподтишка пакостничестве друг другу, окружающим и всему миру. Философская проблематика

становится фарсом и злой клоунадой: "Если на удочку Авенариусу попало несколько молодых интеллигентов, то старого воробья Вундта, провести на мякине не удалось. Идеалист Вундт весьма невесжливо сорвал маску с кривляки Авенариуса." И далее: "Субъективные идеалисты в костюме Арлекино, "клоуны буржуазной науки", "тарабарщина", "философские выкрутасы", "ужимки", "моральное шарлатанство или крайнее скудоумие", "невероятно пошлая галиматья", "квазинаучное шутовство в костюме терминологии Авенариуса", "критические Бобчинские и эмпириокритические Добчинские" и т.д. и т.д. и т.д.

Вольно или невольно в этот подлый кухонный фарс втягиваются и соседи-коммунисты (с волками жить — по-волчьи выть). И все — уже не отмоешься. "Идеологическая невинность" все равно разрушена, раз связались с этими подлецами. Оттого переписка Ленина пестрит, например, следующими оборотами: "очевидно, еще раз захотелось большевикам, чтобы их провели за нос и плюнули в физию... Конечно, центристы все равно не пойдут на *наш* съезд, но к чему же давать повод лишний раз плюнуть себе в харю?"

Все проплевано. Стыдно. Грязь. Смерть.

600. Примечание к № 557. "Еще раз захотелось большевикам, чтобы их провели за нос и плюнули в физию..." (В.И.Ленин)

Это уже сниженная лексика героев Достоевского. Вообще Ленин — персонаж из "Бесов".

Достоевский "полемизировал", возражая своему оппоненту, назвавшему его "эмансипатором" (то есть, "эмансипатором", сторонником женской эмансипации):

"Этот способ оплевания, осмеяния и даже заушения прекрасен. Главное - удобен и выгоден. Тотчас же можно собрать толпу, которая, окружив противника, будет высовывать ему язык, плясать перед ним на одной ножке, показывать ему шиши и кричать: "У-у! эмансипатор! эмансипатор! смотрите, эмансипатор идет! хочет понравиться дамскому полу; ишь, пачулей надушился, оболбститель, ловелас, эмансипатор!" Это ленинский кордебалет. Пометка в стенограмме его речи на VIII Всероссийском съезде Советов: "Ленин делает красноречивый жест ногой. Смех. Аплодисменты".

Бунин писал в дневнике за 1918 год:

"Съезд Советов". Речь Ленина. О, какое это животное!" Конечно, речи Ленина это нечто звериное, нечеловеческое. Какая-то оруэлловская "утко-речь". Своего ничего. Обрывки фраз — магические заклинания. Он не понимал их смысла, смысла происходящего. Шаманские всхлипы и выкрики заворачивались, как гайки на конвейере. Зачем эти гайки-фразы, что из них в конце концов где-то там, у ворот цеха, собирается — непонятно и понятно быть не может. Не ясен сам процесс. Все основано на принципе "сама пойдет". Это

не совсем живой человек. Оживший человек. Он умер-то совсем, потому что и не жил. Чтобы создать неживого человека, потребовалась тысяча лет. Просто глупый — неподвижен и выпадает из истории. Не хватает инициативы, авантюризма. Он может совершить какое-нибудь страшное преступление. Но первое преступление оказывается и последним. Дурак попадает и гибнет. Или становится уголовником, то есть, опять же выпадает из центра истории, из собственно человеческого. А тут соединение страшной живости темперамента с такой же сильной мертвостью и пассивностью. и эти индивидуальные черты Ленина были переданы, тысячекратно повторены всем послеоктябрьским ходом истории. Бунин писал в дневнике (необычайно интересный документ того времени — как тогда дешифровались события меркнувшим от ужаса русским сознанием, что это такое было для русского глаза):

”В том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким. И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая вот уже скоро два года. Да, конечно, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское несомненно есть”.

И удивительная, загадочная судьба. Ни одной книги (настоящей), ни одной настоящей биографии. Даже судьбы вождей нацизма просвечены со всех сторон по сравнению с Лениным. Это человек не XX века, не нашего века. Он принадлежит будущему. Там будет понят.

Понятный Соловьев — это неудавшийся Ленин. Крохотная, не пошедшая в рост легенда. Был и такой вариант вселенной. Но не прошел по ряду причин. Миф же о Ленине удался. Осуществился, расцвел со всеми ответвлениями. Стал каноническим. Судьба попробовала в Соловьеве с начала. (А ранее в Белинском, Чернышевском и др.). А потом отбросила как излишне сложный, хрупкий и тесный вариант.

Ленин — человек без биографии. Его биография (конечно, до сих пор активно фальсифицируемая всеми сторонами - уж слишком сильно поле грубо-политического напряжения вокруг этого имени), даже подлинная, совершенно несоразмерна его подлинному значению. Исходя из нее, совершенно непонятен феномен Ленина. И тут странная схожесть с Христом, Буддой, Магометом. Непонятно, почему эти люди оказали такое тотальное воздействие на мировую историю. Чем? Исходя из *биографии*, непонятно. Их суть находятся за биографией, за фактами. Ленин становится хотя бы частично понятен лишь в контексте русской национальной бесконечности - универсуме. Вне духовной истории России это какая-то абстрактная картинка, тушь, пролитая на чертеж и расплывшаяся — если посмотреть при желании — забавным чертенком А с точки зрения духовной это Итог.

614. Примечание к № 579. "Вот преступник, юноша. Гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости..." (И.Бунин).

Ленин в 16-летнем возрасте бросил свой крест в мусор. Уже первые его статьи поражают своей хулиганской злобой. А из ссылки Ленин приехал только с одним желанием: все жечь, коверкать, ломать, мстить за свой хвост отдавленный. Тут месть именно мелкая, женская, месть маленькой ведьмы Маргариты, перебившей молотком стекла, разломавшей рояль и испачкавшей чернилами постельное белье. Месть носила низменно-животный, мелкий и поэтому злокомичный, "чарли-чаплиновский" характер: пинки, бросание тортов, обрывание фрачных фалд, подножки, плевки, удары палкой по голове.

В январе 1901 года Ильич пишет с восторгом:

"Хорошим образчиком может служить харьковская демонстрация... перед редакцией "Южного края". Праздновался юбилей этой паскудной газеты, травящей всякое стремление к свету и свободе, восхваляющей все зверства нашего правительства. перед редакцией собралась толпа, которая торжественно предавала разодранию номера "Южного Края", привязывала их к хвостам лошадей, обертывала в них собак, бросала камни и пузырьки с сернистым водородом в окна с кликами: "долгой продажную прессу". Вот такого чествования поистине заслуживают не только редакции газет, но и все наши правительственные учреждения".

Это писалось во времена относительно тихие и мирные. Что же орал Ленин в 1905? Да вот:

"Пусть тотчас же вооружаются... кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога и т.д.... Не требуйте никаких формальностей, наплюйте, Христа ради, на все схемы, пошлите вы, бога для, все "функции, права и привилегии" ко всем чертям... Одни тотчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие — нападение на банк для конфискации средств для восстания... Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избитии городовых..."

"Отряды должны вооружаться сами, кто чем может (ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином... веревка или веревочная лестница, лопата для стройки баррикад, пироксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди (против кавалерии) и пр. и т.д... Даже и без оружия отряды могут сыграть серьезнейшую роль:... нападая при удобном случае на городского, случайно отбившегося казака... забираясь на верх домов, в верхние этажи и т.д. и осыпая войска камнями, обливая кипятком... (Следует наладить подготовку) кислот для обливания полицейских и т.д. и т.п."

Тут же реплика по поводу "соглашателей":

”Вместо того, чтобы разжечь огонек, сломав окна и дав простор притоку свободного воздуха рабочих восстаний, они потеют, сочиняя игрушечные мехи и раздувая освобожденский революционный пыл скоморошескими требованиями да условиями”. Программа ясна: ”ломать окна”. И тут злорадство: ”хорошо пошла”:

”Метание Треповых и либеральных профессоров доставляет нам величайшее удовольствие; значит, хорошо дует революционный ветерок, если политические командиры и политические перебежчики подпрыгивают так высоко на верхней палубе”. Но и 1905 — это ведь не вершина, скорее подножие. Во всю ширь Ленин развернулся в 1917. Сразу после захвата власти широчайшая программа издевательства над миллионами людей: ”Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богачами, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунарами, мелкими ячейками в деревне и в городе. Разнообразии тут есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей единой цели: очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох — жуликов, от клопов — богатых и прочее и прочее. В одном месте в тюрьму посадят десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом — придумают комбинации разных средств и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправления элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше...”

Какая злобная изобретательность обиженного мещанина. Ильич прямо парит ласточкой: то левым боком, то правым, то вверх, то вниз, а вот еще, еще коленце. Перо удержать не может. Так и видишь: все это быстро, быстро, бисерным почерком, вползьяна.

И уже упившись кровушкой, немножко отвалившись от России, ”убавил громкость”. Но и при нэпе тембр — визгливый, картавый — тот же. По-поводу своих же чиновников в 1922 году:

”Прессе поручить высмеять тех и других и оплевать их. Ибо позор тут именно в том, что москвичи не умели бороться с волокитой. За это надо бить палкой... А идиоты две недели ходят и говорят! За это надо гноить в тюрьме... Москвичей за глупость на 6 часов клоповника. Внешнеторговцев за глупость — на 36 часов клоповника. Так и только так учить надо”. Конечно сам НЭП был злорадной выдумкой, провокацией Ленина. (Прямо писал: ”Величайшая ошибка думать, что нэп положил конец террору. Мы к нему еще вернемся”). При всех качаниях и ренегатстве у Ленина была центральная идея всеобщего хаоса и разрушения. Если он и останавливался, то лишь

для того, чтобы половчей что-то разбить, сломать. В конце концов сломать и разрушить самого себя, свою печень себе выгрызть.

652. Примечание к № 471. "Вместо варварской "расклейки", портящей газету, мы прибиваем ее деревянными гвоздями" (В.И.Ленин)

Это говорилось в эпоху всеобщего разора и разграбления, когда одним мановением руки топились флот, другим - взрывался Петроград. Ленин писал:

"Сидеть в Питере, голодать, торчать около пустых фабрик, забавляться нелепой мечтой восстановить питерскую промышленность или отстоять Питер, это — глупо и преступно. Это — гибель всей нашей революции. Питерские рабочие должны порвать с этой глупостью, прогнать в шею дураков, защищающих ее, и десятками тысяч двинуться на Урал, на Волгу, на Юг, где много хлеба, где можно прокормить себя и семьи..."

Слушай, племя, пойдем на юг, там рыба и птица, там большая еда, там будет хорошо.

Горький вспоминал о жизни в Петрограде после убийства Моисея Соломоновича Урицкого:

"один матрос, расстреливая каких-то, быть может, ни в чем не повинных людей, командовал: "По негодяям — пальба взводом". После этого он сошел с ума". (Далее Горький развивал тему "солдаты устали, солдаты месяцами не видели кроватей" и назвал этого матроса "несчастливым").

И вот в это время протест против "варварской расклейки". Характерно исключительное уважение к газете, свойственное профессиональному журналисту. Уже на вершине власти Ленин с наслаждением по нескольку раз читал очередной выпуск кремлевской стенгазеты. Даже полупарализованный, любил рассматривать вырезанные из газет карикатуры. Кстати, Бухарин отличался тем, что хорошо рисовал карикатуры и шаржи и делал это часто во время заседаний. (Мануильский же славился тем, что мастерски передразнивал всех членов ЦК). В сущности, к власти в России пришли журналисты, "литераторы". И тут возникла определенная газетная поэтика: манера шуток, вообще взаимоотношений, совершенно немислимая и неправдоподобная ни с точки зрения дореволюционной, ни с точки зрения сталинской и послесталинской России. Сама лексика крайне своеобразная, заштампованная, пустая, носящая бессмысленно пародийную окраску. Ибо не просто журналисты (журналисты пришли к власти уже в феврале, а в определенной степени и гораздо раньше), а журналисты плохие, "нехорошие". В журналистской деятельности большевиков бросается в глаза огромное количество примитивных оценок, при полном отсутствии каких-либо фактов, какого-либо содержания. А ведь суть деятельности журналиста как раз заключается в передаче некоторых фактов и

лишь отчасти в их акцентировке и элементарном анализе-полуфабрикате. Здесь же произошло создание чисто формализованной журналистики, то есть, некоей замкнутой и совершенно бессмысленной, бессодержательной лексики. Некоей философской лексики. Некоей философской журналистики. Это, подчеркиваю, особая, особеннейшая языковая среда, отделенная от "дореволюционного языка" несколькими слоями сужающихся матрешечных мифов. Миф Ивано-Разумника отделял от России, но и ниже, внутри его, еще несколько ступеней-матрешек. Ленин — это сверхискусственное образование, так сказать, максимально культурный, максимально созданный человек. Чтобы создать такого человека, нужно было создать вокруг ауру, среду. И главным инструментом создания этой среды являлась литература. Собственно говоря, журналист — это и есть максимально литературный тип людей ("литераторы"). Кто-то зачем-то платит деньги и нас для чего-то (для чего — не наше дело) печатает. Это такое чисто физиологическое существование в литературе, делающее немислимым какое-либо ее осмысление, выныривание из нее. Это приводит к своеобразной филологической (и философской) интоксикации, к определенным образом деформированной лексике, обросшей раковыми наростами синонимов и повторов и совершенно не приспособленной к естественной передаче мысли, чувства, впечатления. Восприятие искажено и всегда осуществляется как исходно кривая стилизации. Ярчайшим примером этой лексической деформированности крайне узкой и своеобразной кремлевской среды 1918 - 193... гг. является, в частности, следующее место из ленинских "Философских тетрадей":

"Единство (совпадение, тождество, равнодействие) противоположностей условно, временно, переходяще, релятивно. Борьба взаимноисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение...

Философский идеализм есть *только* чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизического. Наоборот, с точки зрения *диалектического* материализма философский идеализм есть *одностороннее*, преувеличенное, юбершвендliches (Дицген) развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, *оторванный от* материи, от природы, обожествленный...

Прямолинейность и односторонность, деревянность и окостенелость, субъективизм и субъективная слепота вуаля гносеологические корни идеализма. А у поповщины (= философского идеализма), конечно, есть *гносеологические корни*, она не беспочвенна, она есть *пустоцвет*, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, объективного, абсолютного, человеческого познания".

Черно-белое мышление, гниущее в бесчисленных и бессмысленных повторах:

Черное (черное, черное, черное) черно, черно, черно, черно.

Белое белое как бело белое белое.

Черное есть *только* черное с точки зрения белого черного, черного, черного. Наоборот, с точки зрения белого белого черное есть *черное*, черное, шварц (Бланк) беление (беление беление) одного из оттенков, оттенков, оттенков белого в черное, *чернеющее* от белого, от белого, очерненное...

Черность и черность, черность и черность, черность и черная черность вуаля гносеологические корни черноты. А у черного (= черному) конечно есть *гносеологические* корни, она не черна, она есть *чернота* бесспорно, но чернота, растущая на белом белой, белой, белой, белой, белой, белой белой белизны. Мышление черно-белое, но диалектическое, то есть динамическое. Черно-белые лопасти крутятся и получается философский вечный двигатель. А ну-ка, сунь руку — оторвет.

653. Примечание к № 471. В торфе привлекала наглядность.

Несомненно, болотные фантазии Ленина имеют и символическое значение. Болото — это максимальное падение материи, первородная грязь, из которой произошло все сущее. Характерно, что Платон, человек, впервые рационально зафиксировавший иррациональное стремление к смерти, считал, что построение небесного идеального государства должно привести к максимальной деградации на земле. Атлантида гибнет, и на ее месте образуется илистое мелководие, непроходимое для судов и вызывающее ужас у мореплавателей. Осуществление утопии является, таким образом, с одной стороны, завершением очередного цикла и возвращением на круги своя, а с другой — разрывом времени и выпадением в иной, надвременной мир вечных идей. Можно логически продолжить рассуждения Платона, и тогда окажется, что следующий цикл будет уже совершаться целенаправленно, "идейно". Вечная идея государства (то есть фактически Бог-Логос) будет сознательно руководить процессом исторического развития. Это будет означать разрыв бессмысленного временного круга и в конце концов радостное слияние преображенной материи с одухотворенным космосом. Элементарной моделью этого слияния и является идеальное государство, воссозданное индивидуальной волей философа из погрязшего в грязи пороков мира. Согласно платоновскому мифу, государственное устройство начинается с высшего типа — монархии, и потом начинает деградировать, сначала в тимократию, потом в олигархию и, наконец, в наиболее сложный и вместе с тем порочный тип — демократию. Именно из этого типа путем жесточайших репрессий образуется идеальное государство, которое по необъяснимым причинам затем гибнет и растворяется в Океане. Идеальное государство есть и конец, и начало мира. Символом такого крайнего положения и является болото. болото, с одной стороны, максимальная степень материального за-

пустения, а с другой — максимально наглядный и удобный материал для утопии, для идеализации, улучшения, мелиорации. Именно на торфоразработках возникла идея строительства каналов, и со временем (параллельно с темой лагерей) дренажные каналы разрослись в циклопические "волгобалты". Идея болота непосредственным образом связана с идеей мирового пожара. Торф горит, это горячая земля. И я могу даже точно установить, когда торфоразработки запали в голову Ленина. Это произошло в 1917 году, во время возвращения в Петроград из Разлива. тогда Ленин с Зиновьевым попали в лесной пожар, вызванный самовозгоранием торфа. Идея земли, горящей под ногами ("предателя мнили во мне вы найти"), являлась символическим выражением идеи мирового революционного пожара. Эти-то ассоциации и вызвали письмо Зиновьеву о торфоразработках. тут же и идея получения спирта — огненной воды — из торфа. Вообще на болото проецировался образ "старого мира", погрязшего в грехе и обреченного на уничтожение (болота ведь осушаются). В высказываниях Ленина постоянно присутствует тема луж, грязи, бони, экскрементов, гноящихся ран и струпьев, тухлых яиц, да уже и буквально болота и болотных огоньков.

Вообще обращенность к теме гнилой покинутой материи крайне характерна для постхристианского утопизма. (Платон от нее свободен и даже продукт разрушения Атлантиды — это нейтральный и вполне абстрактный ил, а не какая-нибудь вонючая навозная жижа). Об этом писал и Энгельс, и Пьер Леру (впервые введший в обиход само слово "социализм"), и Кампанелла. Обращение к подобной теме является определенным симптомом. Если вы заметили, что человек стал про это говорить, то все, за логической нитью можно не следить — перед вами больной человек. Обращение к грязи и экскрементам это часть теневого коррелята программы святости, света, содержащейся в психологической структуре каждого человека, но актуализирующейся в полной мере лишь у ничтожного меньшинства людей. Это какие-то архитипические комплексы дня и ночи. Христианство необычайно усилило и очистило эти постоянные изгибы человеческого "я". Связь тут очень сложная: религиозные воззрения являются одновременно и причиной, и следствием. Черное мессианство с точки зрения узко медицинской — типичное психическое заболевание, но причины его лежат не только в физиологической и психической, но и в духовной области. Образно говоря, изменения в нервной ткани могут вызвать больную мысль. Но и порочные цепочки мыслей способны разрушительно воздействовать на свой материальный субстрат. Возникает своеобразное короткое замыкание. Но и в этом случае влияние идет с двух концов. Впрыскивание некоторой суммы предложений вызывает стойкую фиксацию и окаменение ряда мозговых образов. Эти образы воздействуют на материальные образования и — начинается каменная болезнь сатанизма. По цепи нейронов оцепенение передается все

дальше и дальше. Происходит вторичное воздействие на содержание мышления. Мышление еще понижает свою температуру и нейроны вянут от изморози. Потом новая волна раскачки. И так все глубже и глубже. В конце концов наступает разрушение личности. Не ясно, что здесь является первопричиной. дело в двойной предрасположенности слова и тела.

Можно выделить следующие признаки предрасположенности к подобному рода заболеванию:

1. Наличие своеобразной структуры языка, провоцирующей создание всякого рода бессмысленных словосочетаний и являющейся следствием очень слабой связи слова как с реальной действительностью, так и с внутренней жизнью индивида.

2. Некоторые особенности мышления: повторяемость и заикленность, возникающие от потенциально высокого уровня мыслительных способностей и слабой заинтересованности в их использовании.

3. Накал порождающего поля: высокий уровень религиозности.

4. Особенности психики: склонность к мечтаньям и одновременно гипертрофированный реализм, замороженность реальностью. (Ближайшие следствия этого: подозрительность, скрытность, переходящая в коварство, склонность к двойному обману, который приводит к раздвоению и разрушению личности).

5. Незрелость, а, может быть, и органический дефект общества - отсутствие адаптации к сатанизму: неспособность распознавать охваченных этой болезнью людей и если и не лечить, то хотя бы изолировать от незараженных. Признак этой черты национальной культуры — отсутствие демонологии и общее снисходительно-пренебрежительное отношение к идее потустороннего зла, что в лучшем случае приводит к ложному, поверхностному снятию проблематики путем дурашливой иронии. Все психические заболевания с точки зрения социальной опасности можно разделить на два типа: на вырождение и на перерождение. В первом случае происходит выпадение из духовного мира, во втором — одержимый остается внутри проблемы добра и зла. Первый тип больных легко изымается из общества (по сути, больные делают это сами), второй тип — не то что изъять, но часто и обнаружить необычайно трудно. На Западе в течение тысячелетия разрабатывался механизм селекции второй категории сумасшедших. И механизм этот чрезвычайно продуман, разработан. В конце концов возникла известная психологическая ориентированность, среда прозрачная для выявления сатанизма. Конечно, если бы не это чудо инквизиции, Европа погибла бы подобно Риму (и наоборот, одна из причин гибели Римской империи — отсутствие психологического сыска).

Вот хрестоматийный пример строгой западноевропейской оформленности идеи зла. В начале XVII века венгерская графиня Елизавета Баторий приказывала своим слугам выкрадывать для нее маленьких девочек. Девочек она убивала, а из их крови делала себе

ванны, которые, по ее мнению, придавали коже необыкновенную прелесть и способствовали общему омоложению... Таким образом было зарезано более 80 детей. Следствие поймало убийц с поличным. Сама Баторий отравилась (или была отравлена в тюрьме, а ее пособники были сожжены живьем. Простое, ясное, хрестоматийное дело! У русских же совершенно отсутствовал инструментарий борьбы и инструментарий самого проявления сатанизма. Бред Ленина не вошел в знакомое русло. К каким жутким последствиям это привело!

Западная, проявленная форма зла органична и гораздо менее жива, так как, во-первых, легко распознается, а во-вторых, сам человек, одержимый дьяволом, вполне понимает себя, что порождает неустойчивость его личности, хрупкость. Он не выносит тяжкого, нечеловеческого груза негативной свободы. Иными словами, в России не была разработана форма духовного преступления (хотя гений Достоевского предпринял мучительную попытку ее создания). Совершивший "материальное преступление" знал, что он преступник. Но совершивший преступление "идеологическое" жил криво, так как на него также распространялись элементарные этические законы, но отчего была эта кривость, он не чувствовал и, следовательно, не мог раскаяться.

Интересно, что все русские попытки создания демонологии были моментально и благодарно восприняты Западом. "Доктор Фауст" Томаса Манна — это радостное усвоение роскошной, пышной и широкой западной демонологией нового, экзотического типа сатанизма. Встреча черта с Адрианом Леверкюном есть вариант соответствующей главы из "Братьев Карамазовых". Интересно, что русский опыт Манн воспринял с учетом истории XX века, и черт является к Леверкюну в кепке и потертом пиджачке, работая "под пролетария". И все это так органично вливается в богатейшее и роскошнейшее германское средневековье с его суккубами и инкубами. Наконец Леверкюн находит у себя в постели примитивную и понятную русалку. Он (как и его прототип Ницше) честно сходит с ума по заботливо подставленной лестнице тысячелетней демонологии. Лучший исход! А Ленин искал лестницу и не находил. Мысль раскалялась и сам он рос, освещенный красным inferнальным пламенем.

Отличие Ленина от всех предыдущих больных в его осуществленности. У прочих в конечном счете бессилие, погружение в собственные фантазии и оцепенение, смерть. Томазо Кампанелла — его одиночное заключение. Это как наиболее грубый пример. А наиболее тонкий — Ницше, его трагическое одиночество. Ленин же осуществился. И это не вульгарная осуществленность Марата или Робеспьера. Тут неизмеримо глубже и "удачнее". В Ленине холод сатанинского окаменения души вызвал красное раскаление плоти. Ледяной пламень.

Сталин понятен: полутиран-полупадишах (здесь сказалось европейско-азиатское происхождение грузина) — неинтересная личность. Он пришел на готовое, когда его уже ждали. Ленина тоже

ждали, но пришел он вовсе не на готовенькое. В нем русской истории "повезло", и без него, конечно, ничего бы не было, кончилось бы кризисом, но не крахом. Нужен был такой катализатор, биоключ, отворивший ворота в ад сатанизма. А ад бушевал, кипел столетиями. Но на поверхности, на корке все было хорошо. Даже лучше, чем обычно - земля у вулкана удивительно плодородная, теплая, ласковая. И никаких искусственных скважин, клапанов, отводящих давление, никаких "костров инквизиций". И вот появился буравчик, который эту цельную сплошную кору просверлил. Кора мозга соприкоснулась с его содержимым и произошел аннигиляционный взрыв. Этого 1000 лет не было. Как же нужно было изогнуться лентой Мебиуса, каким в высшей степени странным и необыкновенным человеком нужно было быть, чтобы прийти в аккурат в углубление, ждущее катализатора молекулярного замка, и вызвать цепную реакцию вырождения. И сколько нужно было потратить сил, энергии, сколько неудачных проб и опытов нужно было сделать, чтобы создать такого вот человека. Это же огромная, циклопическая работа, тут все силы нации были на это брошены. Выращивали сотни тысяч уродов, в секретных подземных фабриках уходили в бесконечность ряды причудливо изогнутых китайских ваз, в каждой из которых выкармливали определенный сорт личинок будущего. И сколько пошло в отвал — тысячи имен. А какая нужна была беззаботность, если только два-три гения додумались приложить ухо к тучному, плодороднейшему чернозему и услышать подземный гул будущего архилагерь, готового в любую секунду вырваться на поверхность и погрузить всех и вся в архаический мрак ада. И даже в начале XX века, когда "ума большого не надобно было", когда почва уже тряслась так, что падали с ног, все отделывались стилизацией. Мережковский, ясно же, не верил своим пророчествам. И когда летел потом в бездну, еще думал: "Господи, неужели я оказался прав".

Ленин — фигура мифологическая. В нем вся мифология нашего времени воплотилась с угловатой наглостью классического конструктивизма. Кто бы мог предположить, что из Володеньки Ульянова, Мурки Ульянова, кудрявого отличника и любимчика директора, сделают мумию и захоронят оную в пирамидальной гробнице на Красной площади? А как же реализм, как же "правдивость русской литературы"?! А вот так получилось. А литература наша именно из-за своей "реалистичности" оказалась муторным бредом... Непрошибаемая мифологичность русской литературы в ее донельзя утрированном антимифологизме. "Ничего нет, а есть то, что есть". Чернышевский был потрясен "мудростью" Фейербаха: "Человек есть то, что ест". Но афоризм этот принадлежит Парацельсу и первоначально означал совсем иное, ибо под едой подразумевалась пища духовная, книги и мысли. А у нас книги и мысли хотели сделать максимально материальными, чтобы их можно было жрать, да так, чтобы за ушами трещало.

Михаил ЭПШТЕЙН

### РОЗА МИРА И ЦАРСТВО АНТИХРИСТА: О ПАРАДОКСАХ РУССКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ

Даниил Леонидович Андреев (1906 - 1959) - уникальное явление русской культуры: поэт, романист, мыслитель, историк... Но прежде всего - визионер, чьи видения и "слышания" иномерных миров слагаются в грандиозную философско-мистическую эпопею "Роза Мира. Метафилософия истории" (1950 - 1958). "Роза Мира" - это панорама иноматериальных миров, от "галактического дна" до "сакуалы просветления", через которые автор проводит нас с уверенностью очевидца.

Даниил - младший сын писателя Леонида Андреева, как бы взваливший на себя отцовское бремя проклятых метафизических вопросов. Сама судьба Даниила создает магнетическое поле вокруг его книги: она писалась во Владимирской тюрьме, где автор, как политзаключенный, провел 10 лет (1947 - 1957), воспринимая внутренним слухом откровения тех голосов, которые он отождеств-

---

**Михаил  
ЭПШТЕЙН**

— родился в 1951 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. С 1990 г. живет в США, преподает в университете Эмори (Атланта). Автор книг: "Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX - XX веков" (1988), "Природа, мир, тайник вселенной... Система пейзажных образов в русской поэзии" (1990), "Релятивистские модели в тоталитарном мышлении: исследование советского идеологического языка" (1991), "Отцовство. Роман-эссе" (1992), вышедших в России, Германии и США.

для с высшими духами и водителями человечества<sup>1</sup>. Физическое заточение в камере освободило его для трансфизических странствий в прошлое и будущее многочисленных миров, составляющих многослойную структуру вселенной. Выйдя на волю, Даниил Андреев успел завершить свой главный труд за несколько месяцев до смерти.

С середины 1970-х годов "Роза Мира" начинает распространяться в самиздате, завоевывая множество почитателей и пользуясь возрастающим авторитетом. После издания "Розы Мира" и двух поэтических книг Андреева<sup>2</sup> его имя становится центральным в ряду космософских и историсофских движений российской мысли, восходящих к наследию Николая Федорова, Николая Рериха, Велемира Хлебникова, Константина Циолковского, Александра Чижевского, Владимира Вернадского и пытающихся синтезировать естественные и общественные науки с религиозными перспективами человечества, а исторический опыт Запада с мистическими прозрениями Востока.

В настоящее время "Роза Мира" - источник вдохновений и интуиций для самых разных течений общественной мысли. К Даниилу Андрееву и его "вестничеству" с равным пиететом относятся либеральные западники, сторонники религиозного плюрализма, экуменического общения и слияния церквей - и неоязычники, ищущие арийскую прародину русского национального духа и углубленные в мифологические корни "прароссианства". Диапазон влияния "Розы Мира" - от крайней эзотерики до текущей политики: от оккультного

---

<sup>1</sup> В 1947 г. Андреев за чтение в дружеском кругу своего романа "Странники ночи" был приговорен к 25 годам тюрьмы, при Хрущеве этот приговор был сокращен до 10 лет... "...Именно в тюрьме начался для меня новый этап метаисторического и трансфизического познания... Я имел... великое счастье бесед с некоторыми из давно ушедших от нас и ныне пребывающих в Синклите России". Даниил Андреев. Роза Мира. Метафилософия истории. М., "Прометей", 1991, сс. 34, 35. Все дальнейшие цитаты из "Розы Мира" будут приводиться по этому изданию, номера страниц будут указываться в скобках в тексте статьи.

<sup>2</sup> Русские боги, М., "Современник", 1989; Железная мистерия. Поэма, М., "Молодая гвардия", 1990. В соавторстве со своими сокамерниками, известными учеными - биологом и историком, Андреев написал также фантастическую пародийную энциклопедию: Д.Л.Андреев, В.В.Парин, Л.Л.Раков. Новейший Плутарх. Иллюстрированный биографический словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен. М., "Московский рабочий", 1991. Все произведения Андреева, написанные до его ареста, были уничтожены органами безопасности.

журнала "Уrania", поставившего целью астрологическое истолкование андреевских идей<sup>1</sup>, до публицистического сборника "Площадь Свободы", где эти же идеи привлекаются для истолкования августовского путча 1991 года<sup>2</sup>.

Задача нашей статьи - соотнести "Розу Мира" с пророческой традицией русской мысли, которая оттеняет парадоксальные моменты андреевского учения и прежде всего — внутреннее противоречие между его визионерством и его утопизмом.

## 1. Утопия и катастрофа

Свой метод Андреев называет "метаисторическим", поскольку история - и прежде всего история России - рассматривается им как часть космического таинства, происходящего одновременно во множестве физических миров. Метаистория - это "совокупность процессов, протекающих в тех слоях иноматериального бытия, которые, пребывая в других видах пространства и других потоках времени, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история" (274). Собственно, такое метаисторическое видение издавна принято называть "эсхатологическим". Эсхатология - это учение о последних судьбах мира и человека, о конце истории и ее переходе в иное, сверхвременное и сверхпространственное измерение.

Эсхатология занимала центральное место в российском умозрении, которое влеклось к истории и боялось ее<sup>3</sup>. Русская мысль, ревнующая к славной исторической судьбе Запада, жаждала включить Россию в поток всемирной истории, но таким образом, чтобы сама история достигла в России своего увенчания и прекращения. Россия должна была вступить в поток истории именно для того, чтобы

---

<sup>1</sup> "Уrania". Ежеквартальный журнал. Основан в 1991 году. Издается в Москве на русском и английском языке. Публикации из Д. Андреева и комментарии к ним начинаются с первого номера журнала.

<sup>2</sup> Юрий Арабов. Переворот глазами метаисторика. "Площадь свободы. Литературно-публицистический сборник", сост. Вл. Друк. М. "Веста", 1992, сс. 23 - 47.

<sup>3</sup> Эта эсхатологическая, или метаисторическая, направленность русской души нашла самого последовательного толкователя в Николае Бердяеве. "...Русский народ, по метафизической своей природе и по своему призванию в мире, есть народ конца /.../ Историческое христианство, историческая церковь означают, что Царство Божье не наступило, означают неудачу, приспособление христианского откровения к царству этого мира. Поэтому в христианстве остается мессианское упование, эсхатологическое ожидание, и оно сильнее в русском христианстве, чем в христианстве западном" (Николай Бердяев. Русская идея. Париж, YMCA-PRESS, 1971, сс. 195, 197)

перейти через него на другой берег, начать новое, сверхисторическое бытие для всего человечества. Этот парадокс метаисторического сознания обнаруживается у двух российских мыслителей, наиболее глубоко заглянувших за грань истории, в ее сверхвременное начертание: у Владимира Соловьева в его "Повести об Антихристе" (заключительной части его последней книги "Три разговора") и у Андреева в начальной и заключительной частях его "Розы Мира".

Прежде всего, обозначим антиномию метаисторического сознания в самом общем виде. С одной стороны, история должна получить оправдание с религиозной точки зрения как процесс постепенного воплощения Божьего замысла на Земле. Христос пришел в этот мир не для того, чтобы его осудить и отвергнуть, но чтобы его освятить; церковь как тело Христово должна в конечном счете вобрать и претворить в себе все элементы мира, достигшие в ней гармонии и примирения. Высшей точкой истории может быть только оправдание добра и Бога - теодицея, которая воплотится осязательно в теократию, власть Бога и его священной иерархии во всем человечестве.

Таков тезис метаисторического подхода, который требует и своего антитезиса. Ведь если полнота присутствия Божия утвердится здесь, на земле, упразднится собственно трансцендентная сторона исторического процесса. Царство Христово не от мира сего. История не может замкнуть в себе и исчерпать судьбу человечества - она должна уступить место новому эону. Ангел в Апокалипсисе "клялся Живущим во веки веков..., что времени больше не будет" (Откр., 10:6). История опрокидывается, как лестница, как только одолена последняя ступень к Божьему царству.

Следовательно, конец истории есть торжество гармонии на земле - и вместе с тем изобличение лжи самой истории, изобличение ложной веры, что возможно идеальное обустройство человечества в этом мире. Так возникает представление об Антихристе, который явит на земле поддельный образ абсолютного блага - и тем самым завершит историю, чтобы через разоблачение Антихриста раскрылось сверхисторическое, вневременное измерение мира. Антиномия метаистории разрешается в утопии, которая вместе с тем будет и катастрофой. Полнота земной благодати обернется падением в бездну греха и страдания.

Отсюда трехступенчатое построение многих эсхатологических видений, как бы ни различались они в частности. Первая ступень: гармония, достигнутая на земле и объявленная раем. Вторая: обнаружение фальши этой гармонии, ее внезапный раскол, ее демоническая изнанка. Третья: приход истинного Спасителя и явление новой земли и нового неба.

Лжемессия есть внутренняя необходимость эсхатологического сознания, которое ищет смысла истории - и одновременно выхода за предел истории. Именно Лжемессия завершает историю таким образом, что обнаруживает недостаточность и обманчивость самой исто-

рии. Эсхатологизм русской мысли неотделим от ее страха перед Антихристом: с одной стороны, утопический соблазн, надежда на благой смысл истории; с другой стороны, ужас грядущей катастрофы, когда идеал, на котором замкнется история, окажется лишь подделкой. Утопический катастрофизм и образует две грани метаисторического сознания: антиномия разрешается в образе Лжеспасителя. Этот образ не просто присутствует в эсхатологических видениях, он обусловлен самой структурой эсхатологического сознания. История должна достичь гармонии, но гармония должна обернуться фальшью, чтобы открыть выход в сверхисторию.

## 2. Мистический коммунизм

Обратимся теперь к "Розе Мира". Само заглавие этого произведения имеет двоякий смысл. Роза Мира - это, по Даниилу Андрееву, общая модель мироздания, в котором разные вселенные, со своими пространственными и временными измерениями, образуют как бы лепестки расцветающей розы. Но в более конкретном смысле Роза Мира - это религиозно-социальное учение, проповедуемое Андреевым, образ грядущей всечеловеческой гармонии, достигнутой на основе объединения всех религий светлой направленности, куда Андреев включает три мировых религии (христианство, ислам, буддизм), а также национальные религии, как иудаизм, индуизм, конфуцианство, синтоизм... Исключаются лишь темные, откровенно демонические культы. Роза Мира "есть интеррелигия или панрелигия..., универсальное учение, указующее такой угол зрения на религии, возникающие ранее, при котором все они оказываются отражениями различных пластов духовной реальности, различных рядов иноматериальных факторов... Если старые религии - лепестки, то Роза Мира - цветок..." (13). "В этом воссоединении христианских конфессий и в дальнейшей унии всех религий Света ради общего сосредоточения всех сил на совершенствовании человечества и на одухотворении природы Роза Мира видит свою надрелигиозность и интеррелигиозность" (29).

Роза Мира - это не просто объединенная религия, но и объединенная церковь будущего, со своей иерархией духовенства и со своим планом социального переустройства человечества. Отличие Розы Мира от традиционных, "старинных" религий, по Андрееву, - это именно "неустанное практическое усилие ради преобразования общественного тела человечества" (14). И не просто усилия отдельных индивидов и организаций, воодушевленных благотворительной целью, - но создание системы надгосударственного контроля во всемирном масштабе. Розу Мира можно уподобить партии новейшего типа, сознательно берущей на себя роль "религиозного интернаци-

онала” и тем самым сближающейся с тем ”орденом меченосцев”, всевластным и всепроникающим, которому Сталин уподоблял партию большевиков. Если партия нового типа близка средневековому религиозному ордену, то религиозный орден, проектируемый Андреевым, несет в себе черты партии. ”... Роза Мира, как всемирная разветвленная организация, придет к контролю над властью во всемирном масштабе” (248).

В отличие от всех предыдущих попыток объединить человечество кровью и железом, Роза Мира придет к власти бескровным путем нравственного воздействия, через ”установление над Всемирной федерацией государств некоей незапятнанной, неподкупной, высокоавторитетной инстанции, инстанции этической, внегосударственной и надгосударственной...”(10). Всемирный референдум или плебисцит приведет к власти ”Лигу преобразования сущности государства” (10, также 249), которая встанет над всеми национальными и политическими деяниями и, под руководством ”святоносца-праведника, грядущего возглавить объединенное человечество” (11), осуществит царство Бога на земле. Вот ближайшие задачи Розы Мира: ”объединение земного шара в Федерацию государств с этической контролирующей инстанцией над нею, распространение материального достатка и высокого культурного уровня на население всех стран, воспитание поколений облагороженного образа, воссоединение христианских церквей и свободная уния со всеми религиями светлой направленности, превращение планеты - в сад, а государств - в братство” (14).

Удивительно, что эти строки, прославляющие грядущий строй социальной гармонии, написаны во Владимирском центре, человеком, который стал жертвой именно социально-гармонических мечтаний, как только пришел срок их реального воплощения с неукротимой волей и во всемирном масштабе. ”Смертельно раненный единоличной тиранией” (7), Андреев ясно дает себе отчет в опасности, которая поджидает объединенное человечество - легкую жертву всемирного тирана. Ему хорошо понятен ”возникший еще во времена древнеримской империи мистический ужас перед грядущим объединением мира..., ибо в едином общечеловеческом государстве предчувствуется западня, откуда единственный выход будет к абсолютному единовластию, к царству ”князя мира сего”, к последним катаклизмам истории и к ее катастрофическому перерыву...” (9).

Какие же у Андреева основания считать, что его Роза Мира окажется успешнее прочих проектов объединения человечества? Различие то, что тирании XX-го века, коммунистическая и фашистская, строились на атеистических или языческих основаниях, тогда как Андреев исповедует объединение человечества на религиозных началах, противостоящих всякому насилию и кровопролитию. Движение Розы Мира будет искоренять ”стремление к тирании и к

жестокому насилию, где бы оно ни возникало, хотя бы в нем самом" (10). Но сама логика объединения человечества во имя высших идей невольно следует уже имеющимся образцам такого миротворительного служения. Тут же, в следующей фразе, Андреев делает примечательную оговорку: "Насилие может быть признано годным лишь в меру крайней необходимости, только в смягченных формах и лишь до тех пор, пока наивысшая инстанция путем усовершенствованного воспитания не подготовит человечество при помощи миллионов высокоинтеллектуальных умов и волею к замене принуждения - добровольностью, окриком внешнего закона - голосом глубокой совести..., пока живое братство всех не сменит бездушного аппарата государственного насилия" (10). Да ведь это совершенно то самое, в чем кровавые утописты XX века заверяли весь мир, потрясенный размахом их зверств, столь расходящихся с их же проектами всеобщего счастья: да, немножко принуждения, но для блага самих принуждаемых, и лишь до той поры, пока оно не войдет в привычку и не станет добровольной потребностью "высокоинтеллектуальных умов"<sup>1</sup>. Слово в слово здесь с воодушевлением повторяется то, что запало в душу всем воспитанникам и жертвам коммунистической идеи: "усовершенствованное воспитание", "изживание бюрократизма" (248), "замена принуждения - добровольностью" (это прямо из сталинской статьи "Головокружение от успехов"). Андреев - редчайший пример честного и благородного двоемыслия: сквозь облик страдальца-пророка, испытавшего на себе гнет идеократии и проникшего в тайну мирового зла, вдруг проглядывает лицо мечтателя-фанатика, свято уверовавшего в будущее высокоинтеллектуальное братство, ради которого приходится допустить и насилие, но только, конечно, по мере крайней необходимости и в самых смягченных формах.

И это у Андреева - не случайная оговорка, а именно смысл учения Розы Мира, причем мыслитель не скрывает, что коммунизм и

---

<sup>1</sup> Вот один из многих образчиков этой демагогии: "Мы ставим своей конечной целью уничтожение государства, т.е. всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще... Стремясь к социализму, мы убеждены, что он будет перерастать в коммунизм, а в связи с этим будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще..., люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общественной жизни без насилия и без подчинения". В.И. Ленин. Государство и революция (1917). ПСС, т. 33, с. 83. А раньше в том же заверял Энгельс: "Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей..." Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства (1884). Маркс и Энгельс. Соч., т. 21, с. 173.

нацизм, хотя и залившие землю кровью, остаются чем-то близкими ему в своих высших мечтаниях. "В деятельности Розы Мира будет и нечто, совпадающее даже с коммунистической мечтой" (249)<sup>1</sup>. Так, "воспитание человека облагороженного облика" предполагает изоляцию его от семьи и помещение в особые интернаты, "способствующие развитию чувств коллектива" (242). "Коммунистическая педагогика... имела в виду развитие также еще трех свойств природы, трех отличительных свойств огромной важности: подчинения личного общему, духа интернационализма и устремления к будущему... Черта, прекрасно и гордо отличающая людей, воспитанных этой системой. Такой человек мыслит перспективно. Он мечтает и верит в солнце грядущего, он вдохновляется благом будущих поколений, он чужд себялюбивой замкнутости" (240 - 241). Советский мотив любви к будущему больше, чем к настоящему, у Андреева восходит на мистическую ступень: будущее - это не только гордое шествие счастливых людей по просторам родной земли, но и по "мирам восходящего ряда", которые возрастают в количестве пространственных и временных измерений. Таков завет мистического коммунизма: "любить жизнь не только такой, какова она теперь и здесь, но и такой, каковой она предощущается в мирах восходящего ряда или в будущем просветленном Энрофе" (240).

Андреев сознательно собирается взять на вооружение "исторический опыт великих диктатур, с необыкновенной энергией и планомерностью охватывающих население громадных стран единой, строго продуманной системой воспитания и образования... Нацистская Германия, например, ухитрилась добиться своего даже на глазах одного поколения. Ясное дело, ничего, кроме гнева и омерзения, не могут вызвать в нас ее идеалы... Но рычаг, ею открытый, должен быть взят нами в руки и крепко сжат" (10). Итак, продуманное воздействие высшей духовной инстанции на психику поколений, планомерный охват населения огромных стран единой системой руководства и воспитания...

В основе "Розы Мира" - образ новейшей Вавилонской башни, или "Чугунно-хрустального здания", знакомый нам по роману Чернышевского "Что делать?"<sup>2</sup>, с той разницей, что этот дворец, служивший у материалиста Чернышевского чем-то вроде коммунального общежития, фабрики-кухни и публичного дома, становится у Андреева "великим очагом новой религиозной культуры". Словесный ряд Чернышевского переходит в текст Андреева почти без запинки:

---

<sup>1</sup> В другом месте Даниил Андреев допускает, что "предположения Розы Мира совпадают в некоторых частностях с панорамой мечты о коммунизме" (251).

<sup>2</sup> Н.Г.Чернышевский. ППС в 15 тт., т. 11. М. ГИХЛ, 1939, с. 277.

"Здание, громадное здание... оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ... Какая легкая архитектура этого внутреннего дома!... Горы, одетые садами... все пространство зеленеет и цветет" (Чернышевский<sup>1</sup>). "Образы этих ансамблей, их экстерьеры и интерьеры, такие величественные, что их хотелось сравнить с горными цепями из белого и розового мрамора, увенчанными коронами из золотых гребней и утопающими своим подножием в цветущих садах и лесах..." (Андреев, 251).

Но фантазия Андреева идет гораздо дальше, у него продуманы до тонкостей все назначения и даже названия этих дворцов будущего: "мистерялы", "медитория", "философияты", "храмы синклитов", "храмы стихвалей", из которых составятся целые "верграды" - города веры, осью которых будут "храмы Солнца Мира, окруженные венцом меньших святилищ" (251). И конечно, все это великолепие будет служить всенародному единению, совсем в духе Замятина или Оруэлла, но только с религиозным пафосом и эзотерическим подтекстом. "Подобный комплекс станет средоточьем духовной и культурной жизни города и района, центром народных празднований, чествований, массовых богослужений, шествий, спортивных состязаний, освобожденных от их прежней бездуховности...; они будут центрами религиозно-просветительской, религиозно-художественной, религиозно-научной работы, источниками солидарности, радости и совершенствования /.../ Во время соответствующих праздников по Золотому Пути будут проходить многонародные шествия, и перед архитектурными символами Эанны..., Небесного Кремля и Аримойи священство и народ будут совершать глубокий мистеряльный обряд, связующий сердца живущих ныне со всем просветленным человечеством" (251, 252).

Роза Мира - это учение мистического коммунизма, обзирающее в коммунистической перспективе не просто социально-историческую судьбу человечества, но "панораму разноматериальных миров" (8), "миллионные содружества душ" (22). Не странно ли, что коммунизм, который на протяжении двух веков заявлял о себе и воспринимался преимущественно как атеистическая и материалистическая доктрина, вдруг вступает в синтез с религиозно-мистическим мировоззрением? Вспомним, что в диалогах Платона "Государство" и "Законы" коммунизм был впервые обоснован именно как религиозно-социальный строй, воплощающий истину самого строгого идеализма и согласный с самым возвышенным учением о едином, неизменном божестве. Да и впоследствии, в эпоху Реформации, коммунизм возникал из горнила самой пламенной, догматически раскованной веры как мистическая ересь, требовавшая немедленно низвести небо на землю. Коммунизм, в своей основе, есть эсхатологическое учение

---

<sup>1</sup> Н.Г.Чернышевский. ППС в 15 тт., т. 11. М. ГИХЛ, 1939, сс. 277, 280.

о совершенной общественной гармонии, о тысячелетнем царстве Божиим на земле как о цели мировой истории.

Вполне вероятно, что именно сейчас, когда коммунизм потерпел полный крах как социально-экономическая доктрина, он станет возрождаться в форме религиозно-мистического учения. Перефразируя Энгельса, произойдет движение коммунизма вспять, от науки к утопии, и даже гораздо дальше, от светской утопии к мессианским и хилиастическим верованиям. Возрождение коммунизма как живой, активной и вдохновляющей религии 20-го века предпринимается сейчас и в России<sup>1</sup>. Не удивительно и то, что "Роза Мира" может оказаться священным писанием этой постсоветской версии эсхатологического коммунизма, а Андреев - святым и мучеником новой "панрелигии".

### 3. Государство-церковь

Для понимания парадоксов андреевской эсхатологии важно привлечь антиутопическую, антитоталитарную традицию русской религиозной мысли, которая в конечном счете и даже вопреки авторским намерениям одерживает победу и в учении самого Андреева.

В первую очередь, конечно, вспоминается "Легенда о Великом Инквизиторе". Если в более ранних произведениях Достоевского, "Записках из подполья" (1864) и "Бесах" (1871), "хрустальный дворец" будущего выступает как мечта убежденных атеистов, мате-

---

<sup>1</sup> Например, такими потенциально влиятельными идеологами, приближенными к власти в позднюю горбачевскую эпоху, как Сергей Кургинян и его соавторы Б.Р.Аутеншлюс, П.С.Гончаров, Ю.В.Громыко, И.Б.Сундиев, В.С.Овчинский, которые пишут в своей книге "Постперестройка", М., Политиздат, 1990: "Рассматривая коммунизм не только как теорию, но и как новую метафизику, ведущую к построению нового глобального верования..., содержащего многие коренные, жизненно важные для цивилизации черты новой мировой религии со своими святыми и мучениками, апостолами и символом веры..., мы относим к числу безусловных предтеч коммунизма Исаяю и Иисуса, Будду и Лао-цзы, Конфуция и Сократа..., (с. 59 - 60). "Альтернативы коммунистической метарелигии, духовно соизмеримой ей по мощи, сегодня не существует" (с. 66). Близки к этим пророкам обновленного коммунизма писатели Александр Зиновьев и Эдуард Лимонов, в свое время от коммунизма бежавшие, а теперь ностальгически его исповедующие.

риалистов и революционеров типа Чернышевского, то в "Братьях Карамазовых" Достоевский приходит к более глубокому проникновению в тайну грядущего Антихриста: он возникает из христианской среды, из логики развития христианской церкви и христианского государства и будет пасти народ от имени Христа. Социалист-безбожник - это легко узнаваемый и нравственно слабый тип; гораздо страшнее, когда социализм проповедуется из полноты религиозных убеждений как необходимость высшей духовной инстанции, которая превратила бы объединенную, всемирную церковь в систему распределения мирских благ и государственного управления народов<sup>1</sup>.

Поразительно, что в самой "Легенде о Великом Инквизиторе" это теократическое завершение истории отнесено к периоду, следующему за торжеством и неизбежным крахом социалистических идей. Теократия придет на смену атеизму. Сначала победят революционеры-безбожники, но они не сумеют накормить народ, - вот тогда-то и начнется царство Великого Инквизитора, тогда-то и достроится до конца Вавилонская башня, когда гонимые христиане выйдут из своих катакомб и получают от народа полную власть строить царство Божие на земле.

Напомним эти слова Великого Инквизитора, обращенные к молчащему Христу: "Знаешь ли ты, что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. "Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!" - вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня..., хотя и эта не достроится, как и прежняя... ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: "Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали" И тогда уж мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя твое, и солжем, что во имя твое"<sup>2</sup>.

Здесь в нескольких предложениях у Достоевского - не только пророчество о социализме XX-го века, которое уже исполнилось, но и дальше идущее пророчество, которое вскоре, быть может, начнет

---

<sup>1</sup> "... Это в Бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех опасаемся, это страшный народ! Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника," - передает в "Братьях Карамазовых" Миусов мнение французского полицейского чина. Ф.М.Достоевский. Братья Карамазовы. ППС в 30 т., Л., "Наука", 1976, т. 14, с. 62. Все другие цитаты из Достоевского даются по этому изданию.

<sup>2</sup> Там же, сс. 230 - 231.

исполняться. Ведь и в самом деле, народ, измученный революционным неистовством, приходит сейчас к тем, которые семьдесят лет были гонимы, к священникам и духовным пастырям, вызывает их из катакомб и из дальних стран рассеяния и взывает: накормите нас, примем и духовную пищу от вас, если дадите нам пищу земную. Вот с этого момента, когда народ будет насыщаем во имя Христа, и начнется, по Достоевскому, настоящее царство Антихриста, а безбожное государство социалистов было к нему только преддверием. Пока велась открытая борьба против Бога, это еще был сатанинский бунт, прометеevo дерзание, возрождавшее древний миф о похищении огня, но еще не конец всемирной истории. Атеизм строит царство насилия, откровенное в своей ненависти к Богу, но это еще не царство лжи и подмены, которое будет воздвигнуто как вселенская церковь, пасущая народы святым именем Божиим - "во имя Твое, и солжем, что во имя Твое".

Главное в Антихристе - не бунт, а подмена. Этим он отличается от своего отца Сатаны, в начале времен взбунтовавшегося против Бога - и низвергнутого, словно молния, с небес. Новая стратегия Сатаны, предназначенная на конец времен, - не бунт, а примирение и уподобление Богу, елейное и благочестивое намерение стать святее всех святых, объединить все церкви и воздвигнуть их друг на друга, этаж на этаж, как Вавилонскую башню, накормить все народы и привести под жезл одного наставника, "превозносящегося выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога" (2 Фессал., 2:4). И тогда, по логике "Легенды", становится ясен и смысл социалистического беснования народов: не просто обман, а обман ради пущего обмана. Вот где Сатана, - скажут люди, опомнившись, - это он хулил имя Божье, а мы пойдем к тем, кто славит Его. И тем вернее, проклиная свое безбожие, они покорятся тому, кто говорит теперь от имени Бога, проповедует большую веру, чем все веры, бывшие до него. В предпоследний час Сатана вновь напоминает о себе прежнем: отчаянном богоборце, революционере и Люцифере, - чтобы тем больше доверия вызвать к облику своего последнего часа: елейному, набожному пастырю, который снимает бремя греха с совести всех людей, превращая их в "тысячу миллионов счастливых младенцев"<sup>1</sup>.

Нельзя сказать, что в своей "Легенде о Великом Инквизиторе" Достоевский распутал все узлы теократической утопии - для него самого оставалась в ней еще немалая прелесть. В частности, католическому решению вопроса о "церкви-государстве" он противопоставлял русскую, православную идею "государства-церкви". В "Братьях Карамазовых" эта идея, каверзно изложенная Иваном Карамазовым

---

<sup>1</sup> Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. ППС в 30 тт., Л., "Наука", 1976, т. 14, с. 236.

в его статье о церковном суде, поддерживается затем духовным авторитетом отца Паисия и даже отца Зосимы. "... Теперь общество христианское пока еще само не готово... но... пребывает все же незыблемо, в ожидании своего полного преобразования из общества как союза почти еще языческого в единую вселенскую и владычествующую церковь"<sup>1</sup>. В ответ на недоумение либерала Миусова, что такое слияние церкви с государством есть сверхкатолическая идея, "ультрамонтанство", отец Паисий возражает: "... Не церковь обращается в государство, поймите это. То Рим и его мечта. То третья диаволово искушение! А напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле, что совершенно уже противоположно и ультрамонтанству, и Риму, и вашему толкованию, и есть лишь великое предназначение православия земле. От Востока звезда сия воссияет"<sup>2</sup>.

В известном смысле отец Паисий прав, и опытом XX-го века наглядно подтвердилось, как государство может обращаться в церковь и, по крайней мере в мечтаниях своих, становиться церковью на всей земле. Свет сей, действительно, воссиял с Востока. Если католичество постоянно искушалось соблазном папоцезаризма, то есть превращения первосвященника в главу государства, то православие, и византийское, и российское, на протяжении веков испытывало противоположный соблазн: цезерепапизма, то есть превращения главы государства в главу церкви. Царствование Ивана Грозного и Петра Великого давало немало примеров такой подмены, когда "государство обращалось в церковь", а царь принимал на себя роль законодателя церкви, первосвященника. Тем легче было продолжиться этой исторической традиции в советское время, когда государство полностью обратилось в господствующую церковь, призывающую всех граждан к исповеди и покаянию, к почитанию святых мощей и жертвенному прославлению непобедимой веры. Слияние государства с церковью, в какую бы сторону, папоцезаристскую или цезерепапистскую, оно ни совершалось, есть самый верный признак тоталитарного господства власти над человеком. Сращение законодательной, исполнительной и судебной властей, столь типичное для тоталитаризма XX века, есть только слабый намек на то сращение светской и духовной власти, которое может стать основой

---

<sup>1</sup> Ф.М.Достоевский. Братья Карамазовы. ППС в 30 тт., Л., "Наука", 1976, т. 14, с. 62. Виктор Террас, на мой взгляд, справедливо замечает, что "эсхатологическая утопия отца Зосимы подозрительна с теологической точки зрения. Она отзывается светскими утопическими идеями Фурье и других социалистов, которые увлекали Достоевского в его юности". Victor Terras. A Karamazov Companion. Madison: The University of Wisconsin Press, 1981, p.153.

<sup>2</sup> Там же, с. 62.

грядущего, еще более могущественного тоталитаризма.

Удивительно, что Андреев повторяет чуть ли не буквально призыв отца Паисия к превращению государства в церковь, как будто перед ним стоит только вымышленный пример католического тоталитарного соблазна, а не вполне реальный пример отечественного, выросшего из исторической почвы православия. "...Иерократией, властью духовенства, следует называть церковное государство пап или да-лай-лам. А тот строй, о котором я говорю (Роза Мира - М.Э.) прямо противоположен всякой иерократии: не церковь растворяется в государстве, поглотившем ее и от ее имени господствующем, но весь конгломерат государств и сонм церквей постепенно растворяются во всечеловеческом братстве, в интеррелигиозной церкви" (16). Надо сказать, что эта формулировка внутренне противоречива. Хотя по видимости она направлена против власти духовенства, "церковного государства пап", по сути предполагается именно поглощение государства церковью, при котором первосвященник, "верховный наставник человечества" (261), будет вершить все церковные и мирские дела, руководя многосложной иерархией золотого, голубого, белого, пурпурного и зеленого духовенства<sup>1</sup>. Разница в масштабе: католическая церковь станет лишь одной из многих христианских или нехристианских церквей, объединенных под властью интеррелигиозной Розы Мира.

Между прочим, несмотря на провозглашаемое братство всех людей в едином Боге и единой вере, Роза Мира, как и все теократии, строго иерархична. Великий Инквизитор подразделяет человечество на тех многих, которым необходимо внешнее принуждение для полноты счастья, и тех немногих, которые понесут на себе бремя знания, свободы и ответственности. "...Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы"<sup>2</sup>. Это разделение на "мы" и "они"<sup>3</sup>, религиозный авангард и обыкновенное человечество, звучит и в подтексте андреевского иерархического деления Розы Мира на внешние и внутренние круги. "Строение Розы Мира предполагает поэтому ряд концентрических кругов" (29). "...Стимул внешнего принуждения быстрее всего будет отмирать во внутренних концентрических кругах Розы Мира: ибо именно людьми, целиком спаявшими свою жизнь с ее задачами и ее этикой и уже не нуждающимися во внешнем принуждении, наполнятся эти внутренние круги" (15). Значит, внешние еще будут нуждаться в принуждении. "Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей - все

---

<sup>1</sup> См. книгу 12 "Розы Мира", главу "Куль", сс. 254 - 261.

<sup>2</sup> Достоевский, цит. изд., т. 14, с. 236.

судя по их послушанию - и они будут нам покоряться с весельем и радостью"<sup>1</sup>.

Точно также и Роза Мира, по мере своего многовекового господства, будет суживать круг лиц, причастный ее тайнам. "...В эпоху господства Розы Мира сложность учения делается так велика, что лишь единицы смогут понять его и обнять во всех частностях. И пусть!" Зато о подавляющем большинстве провозглашается: "Счастливицы! Как прекрасна будет их молодость, как гармонична жизнь, как полна любовь, какие чудесные будут у них дети!" (261)<sup>2</sup>.

Все прихожане Розы Мира, то есть все население земного шара будет вынуждено принять на себя контроль, устанавливаемый высшими культурными и педагогическими инстанциями и, конечно, иерархиями всех пяти священств, включая золотую (почитание Бога-Отца), голубую (почитание Богини-Матери с допущением только женщин-священнослужительниц), белую (почитание Бога-Сына), пурпурную (почитание национальных богов, в частности, культ россианства) и зеленую (почитание природных стихий, "руководство во всем, что касается преобразования и просветления природы") (261). Если эта власть духовенства не есть иерократия, то что тогда называть нерократией? Причем не только религиозная, но и все сферы жизни будут контролироваться авторитетной инстанцией, единой для всего человечества. Так, "одним из первых мероприятий Розы Мира после ее прихода к контролю над деятельностью государств будет создание Верховного ученого совета - то есть такой коллегии, которая выделится внутренними кругами самой Розы Мира. Состоящий из лиц, сочетающих высокую научную авторитетность с высоким нравственным обликом, Совет возьмет под свой контроль всю научную и техническую деятельность..." (18). Искусство тоже никуда не уйдет от всеобъемлющего контроля, целью которого, конечно же, будет создание высокодейных и высокохудожественных произведений, достойных великой религиозной эпохи. Как только "Роза Мира примет контроль над государствами", будет создан "Всемирный художественный совет..., через который будет проходить художественное произведение перед его обнародованием" (22). Этот совет и его местные филиалы, поясняет Андреев, необходимы для того, чтобы плоды свободного творчества "не оказались неполноценными, легковесными или искажающими объективные факты - не вводили бы неквалифицированного читателя в заблуждение" (22) - аргумент, хорошо знакомый еще читателям Платона,

---

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Здесь опять повторяется интонация и словесный ряд Чернышевского: "Как они цветут здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты! Все они - счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения, счастливицы, счастливицы!"

который в своем "Государстве" тоже призывал запретить поэтические и мифологические сочинения, вроде эпоса Гомера, где искажаются объективные факты, а богам приписываются легкомысленные поступки. Правда, в результате многовекового нравственного прогресса человечества под руководством Розы Мира предварительная цензура будет заменена на "последующую". На опубликованные сочинения будет накладываться единодушно принятая официальная резолюция верховной инстанции - и это уже в виде окончательного торжества свободного духа: "...После выхода в свет недоброкачественного произведения Всемирный художественный совет или Всемирный ученый совет опубликует свое авторитетное о нем суждение. Этого будет достаточно" (22), - самой интонацией выражается полная удовлетворенность автора снисхождением Розы Мира к недостаткам будущих сочинителей.

И уж конечно, развитие "новой, наиболее одухотворенной педагогики" потребует со временем "всемирного контроля над всеми школами земного шара" (239). Как тут не вспомнить другого героя Достоевского, Шигалева, который свою теорию социального переустройства выводил из безграничной свободы, а заканчивал безграничным деспотизмом, причем не допускал в промежутке ни одной логической ошибки. У Андреева этот вывод легко очерчен в одной фразе, которая начинается "наибольшей одухотворенностью", а заканчивается "всемирным контролем".

#### 4. Философия оговорок

Но если между первым и последним звеном этой логики нет ни единой ошибки, то встречается, как правило, множество оговорок. Да, деспотизм безошибочно следует из свободы, но требуется оговорить, что этот деспотизм несколько не будет стеснять свободу, а напротив, станет ее глубочайшим проявлением. Всякий последовательный радикал-утопист обычно оснащает свое проект множеством оговорок, которые должны успокоить реформируемое человечество, выказать "душевное тепло и участие", которое смягчило бы резкость предстоящих преобразований и привлекло бы к проекту компромиссное большинство. Заметим, что в сочинениях Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина оговорки занимают чуть ли не половину объема всего преобразовательного и увещательного текста. Эти оговорки, сигнализирующие о принадлежности текста не просто к утопической, но радикал-реформистской традиции, можно свести к семи категориям - все они в изобилии встречаются и у Андреева.

Во-первых, реформатор оговаривает, что все попытки, которые предпринимались ранее с той же целью идеального преобразования и с треском проваливались, не имеют ничего общего с его собствен-

ным проектом и даже не смеют уподобляться ему по имени. "Уж не теократия ли это (Роза Мира - М.Э.)? - Я не люблю слова "теократия"... Никакой теократии история не знает и знать не может ... Не перократия, не монархия, не олигархия, не республика: нечто новое, качественно отличное от всего, до сих пор бывшего... Я не знаю, как его назовут тогда, но дело не в названии, а в сути" (16).

Во-вторых, реформатор оговаривает, что его проект может показаться слишком утопическим, несбыточным, и таким он и в самом деле был в предыдущие эпохи, - но теперь, в связи с новыми обстоятельствами, он впервые делается осуществимым. "Не случайно зло мира ощущалось испокон веков и вплоть до нового времени неустранимым и вечным... Но времена изменились, материальные средства появились, и заслуга всего исторического процесса, а не самой Розы Мира в том, что она сможет теперь смотреть на социальные преобразования не как на внешнее, обреченное на неудачу..." (13).

В-третьих, реформатор оговаривает добровольный и сравнительно бескровный, ненасильственный характер реформ - если же они и включают элементы принуждения, то такого, которое носит временный характер, совершается в интересах подавляющего большинства над подавляемым меньшинством и становится, в конце концов, всеобщей потребностью и сознательной дисциплиной. "Ясно, что сущность государства, равно как и этический облик общества, не может быть преобразована в мгновение ока. Сразу же полный отказ от принуждения - утопия. Но этот элемент будет убывать во времени и общественном пространстве... Возрастает и заменяет его собой императив внутренней самодисциплины" (14). "Конечно, система запретов, наказаний и поощрений в какой-то мере останется, особенно вначале. Но она будет играть только подсобную роль и сведется к минимуму" (242).

В-четвертых, реформатор оговаривает возможность всяких искажений, ошибочных и своекорыстных использований его идей, которые тем не менее остаются верными в принципе, несмотря на все "уклоны" и "перегибы". "Задачи всемирной церкви обретут с самого начала столь огромные очертания, они будут столь обширны и многочисленны, что ограничить число активных членов Розы Мира одними только людьми высокоидейными и морально безупречными не найдется никакой практической возможности... Как и в любое сообщество людей, даже основанное на самых возвышенных принципах, в нее проникнут люди, не свободные от любоначала, от тщеславия, от жажды повелевать..." (263).

В-пятых, реформатор оговаривает, что его проект будет осуществляться с трудностями, постепенно, с временными колебаниями и отступлениями, но в природе человека нет ничего, что препятствовало бы его конечному и полному осуществлению. "Долго еще будут давать себя знать и застарелые национальные антагонизмы. Не сразу

удастся уравновесить и согласовать нужды отдельных стран и отдельных слоев населения... Трудно, трудно это, ясно, что ужасно трудно..." (18). "... Не так-то легко будет выработать такую систему заполнения кресел в этих советах, которая гарантировала бы все области культуры от вмешательства в руководящую ими деятельность людей с узкопартийными или узкошкольными взглядами... Мне не думается, однако, что в психологической атмосфере Розы Миры подобная система не могла бы быть выработана" (22).

В-шестых, реформатор оговаривает, что будущее общество, предначертанное в его проекте, никоим образом не удалится от людей в область сухого, казенного, недостижимого совершенства, а, напротив, будет служить живым людям и их конкретным интересам; совершенное, будет снисходительно к несовершенным, истребляя вредные признаки формализма и бездушия. "Система Розы Миры будет готовить кадры всемирного государства так..., чтобы всякий, обращаясь к представителям власти или входя в учреждение, встречал не бюрократов..., и не односторонних фанатиков, но братьев" (248). "Надо, чтобы интернат (образцовое воспитательное учреждение будущего - М.Э.) стал чем-то средним между товариществом и семьей. Все, отдающее казенной сухостью, чинной официальнойностью, начальственной холодностью, а тем более муштрой, не должно сметь приближаться к этому зданию на пушечный выстрел" (242).

Наконец, в-седьмых, реформатор оговаривает, что даже его ум не в силах предвидеть всех деталей будущего народоустройства, но этим займутся потомки, которым и нужно адресовать все каверзные вопросы: его же учение - отнюдь не законченная догма, а только начало великих преобразований. "Предрешать чисто экономический аспект этих реформ - не мое дело... Регламентировать на десятилетия вперед такие частности (как экономика - М.Э.) значило бы предвзвешивать ненужному и даже вредному прожектерству. Придет время, и авторитетная инстанция (у Маркса и Ленина демократичнее: живое творчество масс - М.Э.) разработает и, со всеобщего одобрения, приступит к практике всемирной экономической реконструкции" (250).

Если мы во всех вышеприведенных контекстах заменим Розу Миру на "революционное движение", "пролетарское государство", "партийное руководство" или "коммунистическое человечество", то обнаружим полное структурное сходство марксистского и андреевского дискурса, которое в оговорках выступает еще яснее, чем в прямых утверждениях. Идеалы могут различаться (хотя и они во многом совпадают), но способ взаимодействия этих идеалов с действительностью, кокетство оговорок, отдаляющих сладкий момент слияния, но призывающих поскорее ему отдаться, разжигающих утопическую страсть реалистическими ссылками на трудные обстоятельства, - все это сближает социальный соблазн с соблазном религиозным. Приобретает ли социальная утопия нерелигиозное

измерение (К.Маркс) или религиозная утопия - измерение социальное (Д.Андреев), они одинаково используют психологию соблазна: то дерзко срывают покров с вождя будущего, то застенчиво окутывают его чуть просвечивающей тканью.

Оговорочный стиль андреевской утопии, столь роднящий ее с писаниями классиков марксизма, коренится в том же двусмысленном источнике, что и сама идея церкви-государства. Поэму о Великом Инквизиторе сочинил, как известно, Иван Карамазов, желая прославить мудрость Дьявола, безуспешно соблазнявшего Христа, но сумевшего соблазнить христианскую церковь. Идея о превращении государства в церковь тоже сочинена Иваном Карамазовым, как другая грань того же всеобъемлющего теократического, точнее, сатанократического замысла. Нужно только удивляться тонкости этого соблазна, если он смог прельстить и старца Зосиму, и отчасти даже самого Достоевского как журналиста, автора "Дневника писателя", в последнем выпуске которого, за 1881 год, хотя и смутно и бегло, высказывается сходная идея, якобы истинно православная и народная<sup>1</sup>. Но Достоевский-художник мудрее и тоньше Достоевского-журналиста, и недаром он "поручил" внести эту идею в общественное сознание именно Ивану Карамазову, собеседнику черта и певцу Великого Инквизитора. "Церковь должна заключать сама в себе все государство", - уверенно проповедует Иван святым отцам, "спокойно и не смигнув глазом", как подмечает Достоевский<sup>2</sup>. Очевидно, что это интеллектуальная провокация, причем рассчитанная на то, что на нее одинаково попадутся и верующие, и безбожники.

Андреев, во всяком случае, принимает эту карамазовскую идею за свою собственную, как основание церковного государства Розы Мира. Он прямо на нее ссылается: "Идея эта изложена в известном диалоге Ивана Карамазова с иноками в монастыре. Заключается же идея в уповании на то, что в историческом будущем осуществится нечто, противоположное римской католической идее превращения церкви в государство...: превращение государства в церковь. Семьдесят пять лет назад такая идея казалась каким-то утопическим анахронизмом, двадцать пять лет назад - бредом мистика, оторван-

---

<sup>1</sup> "...Я про наш русский "социализм" теперь говорю..., цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее... Теперь я об этой лишь главной идее народа нашего говорю, об чаянии им грядущей и зиждущейся в нем, судьбами Божиими, его церкви вселенской". Достоевский, ППС, т. 27, "Дневник писателя. 1881", с. 19. Правда, от своего имени Достоевский ни слова не говорит о поглощении церковью государства, да и оговаривает, что не все царствие Божье поместится на земле, останется еще и для неба.

<sup>2</sup> Достоевский, цит. соч., сс. 56, 59.

ного от жизни, сейчас же она заставляет призадуматься: через десять или двадцать лет она начнет свое победоносное шествие по человечеству" (187). Оказывается, что не только поэма о Великом Инквизиторе, но опосредованно и идея Розы Мира есть изобретение Иванова ума, и Андреев честно отдает герою Достоевского роль основоположника своей грядущей панрелигии.

Не слишком ли много вокруг Ивана согласных с ним? - и Зосима с ним соглашается, и Смердяков, и черт, и Андреев, и чуть ли не сам Достоевский. В том и прелесть такого рода двусмысленных идей, что они легко примиряют людей, во всем остальном несогласных. Для атеистов идея государства-церкви не менее привлекательна, чем для церковников, потому что в оцерковленном государстве никакой церкви, отдельной от государства и его мирской деятельности, уже не останется, и Достоевский, как художник, вполне ясно характеризует эту статью как издевательскую игру Иванова ума. "...Многие из церковников решительно сочли автора за своего. И вдруг рядом с ними не только гражданственники, но даже сами атеисты принялись и со своей стороны аплодировать. В конце концов, некоторые догадливые люди решили, что вся статья есть лишь дерзкий фарс и насмешка"<sup>1</sup>. Именно дерзкий фарс и принят в монастыре за серьезное исповедание православной веры - одна из тех ироний, которыми Достоевский не обходит и положительных своих героев, и даже собственные задушевные убеждения. Статья Ивана Карамазова о превращении православного государства в церковь и его поэма о превращении католической церкви в государство - две стороны одной идеи, суть которой — взаимная подмена царства небесного и царства земного.

## 5. Теократия и атеизм

Идея теократии не случайно импонирует атеистам - она атеистична по своей природе. Иван Карамазов, принимая Бога, вместе с тем не может принять Божьего мира, в котором страдают невинные, истязаются дети. "Мне надо возмездие... и возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я сам его увидел. Я веровал, я хочу сам и видеть... Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. На этом желании зиждутся все религии на земле, а я верую"<sup>2</sup>. Иван Карамазов требует осуществления всех

---

<sup>1</sup> Достоевский, цит. соч., с. 16.

<sup>2</sup> Цит. изд., т. 14, с. 222.

эсхатологических чаяний в этом мире, оттого и возникает у него проект теократии, которая отдаст мирскую жизнь под власть церкви, пусть даже забывшей о Боге, зато утирающей каждую слезинку ребенка. Ивану недостаточно каких-то загробных воздаяний, он хочет гармонии и счастья для всех людей уже здесь, на земле.

Это вопрос теодицеи: как оправдать бытие всемогущего и всеблагого Бога теми страшными делами, которые творятся в божьем мире? Существующий мир построен на крови и слезах, поэтому остается либо отвергнуть Бога, "вернуть ему билет", либо призвать Бога, в лице Его священнослужителей, к прямому вмешательству и наведению порядка на земле, "железной рукой загнать человечество к счастью", поскольку сами по себе, оставаясь свободными, люди только терзают себя и друг друга и счастливы быть не могут. Вопрос теодицеи, казалось бы, имеет два противоположных решения: либо атеизм, либо теократия. Если Бог есть, пусть Он сам правит на этой земле, если же мир остается во зле - значит нет и Бога.

Но как показывает диалектика Ивановой идеи, эти два решения сходятся: теократия несет в себе скрытый атеизм. Тайна в том, что Инквизитор, осуществляя власть Бога на земле, сам не верит в Бога. "Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!" - восклицает Алеша, и Иван одобряет: "Наконец-то ты догадался"<sup>1</sup>. В самом деле, если вся правда и гармония жизни должна и может осуществиться на этой земле, тогда лишней становится сама вера в Бога, в Его небесное царствие. Великий Инквизитор, как и его создатель Иван Карамазов, - теократ и атеист в одном и том же лице. Иван начинает с того, что принимает Бога, но не принимает Божий мир, исполненный детских страданий; а заканчивает тем, что принимает мир "тысяч миллионов счастливых детей", созданный Инквизитором на земле, чтобы уже не нуждаться в самом Боге и предать "человеколюбивому" огню инквизиции Христа, явившегося мешать человеческому счастью.

Подлинно религиозное решение вопроса о теодицее находится там, где Иван видит только неразрешимость. Страдания невинных потому и не могут быть искуплены здесь, на этой земле, что земля наша соприкасается миром иным, которые могут быть только предметом веры и надежды, а не позитивного знания. Семя, попавшее на эту землю, должно страдать и умереть, чтобы дать всходы и плоды в жизнь вечную, - в этой Иисусовой притче из Евангелия от Иоанна (гл. XII, ст. 24), взятой эпиграфом к "Братьям Карамазовым", и заключена вся теодицея, оправдание Бога-Сеятеля. Иван же раздваивается между атеизмом и теократией, несущими в себе одну ложь: ибо призвать церковь к прямому управлению людскими делами и устроению их гармонии на земле - значит отвергнуть Бога, отверг-

---

<sup>1</sup> Цит. изд., т. 14, с. 238.

нуть правду миров иных, в которых таятся и корни, и всходы здешних чувств и мыслей. "...Сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным миром иным..."<sup>1</sup>. Эти известные слова из поучения старца Зосимы могут быть по-настоящему поняты только в соотношении с притчей о зерне, предпосланной роману. Семена иных миров, посеянные Богом на этой земле, только страданием и смертью принесут плоды. Нет Божьего сада без этих погибших семян, и неведом смысл земных страданий для тех, кто утратил чувство соприкосновения миром иным. Как только мы начинаем разлагать эту связь, требовать полного счастья и гармонии здесь, на этой земле - так устраняется чувство иных миров, и теократический энтузиазм вдруг оборачивается атеистическим скепсисом.

Иван Карамазов - всего лишь литературный персонаж, но в его терзаниях пророчески угадана судьба теократической идеи у величайшего русского философа Владимира Соловьева. Знаменательно, что Анна Григорьевна Достоевская, опровергая устоявшееся представление о том, что юный Соловьев был прототипом Алеши Карамазова, воскликнула: "Нет, нет, Федор Михайлович видел в лице Владимира Соловьева не Алешу, а Ивана Карамазова!"<sup>2</sup>. Именно Иванова диалектика придает трагиронический смысл духовному наследию Владимира Соловьева. Срединный, центральный период своего творчества он посвятил защите теократии и проповеди объединения христианских церквей, и только на исходе жизни, в последнем своем сочинении "Повесть об Антихристе" (1900, заключительная часть "Трех разговоров"), ему внезапно раскрылся подлинный, атеистический и "антихристианский" подтекст собственных теократических построений.

Уже в своих "Трех речах в память Достоевского" (1881 - 1883) Соловьев рассматривает теократическую идею как якобы главный завет, оставленный Достоевским потомкам. Он упрекает официальное, или догматическое христианство в том, что оно ставит своей границей "внутреннюю индивидуальную жизнь. Здесь Христос является как высший нравственный идеал, религия сосредотачивается в личной нравственности, и ее дело полагается в спасении отдельной души человеческой. Есть и в таком христианстве истинная вера, но

---

<sup>1</sup> Цит. изд., т. 14, с. 290.

<sup>2</sup> Достоевский, цит. изд., т. 15, Примечание к "Братьям Карамазовым", с. 472.

и здесь она еще слаба: ее достает только на личную жизнь и частные дела человека"<sup>1</sup>. Соловьеву этого мало, как будто "спасение отдельной души человеческой" не есть высшая задача, к которой и может готовить себя христианин, в том числе и участием своим в делах общества, - отличаясь тем самым от ревнителей "вселенской церкви", которые жаждут прямо спасти общество и легко забывают собственную душу. Но для Владимира Соловьева религия призвана быть чем-то большим, чем "только" религия, "только" внутренняя индивидуальная жизнь, - она должна вторгнуться во все сферы жизни, заняться разрешением национальных и профессиональных вопросов. "Истинное христианство не может быть только домашним, как и только храмовым, - оно должно быть вселенским, оно должно распространяться на все человечество и на все дела человеческие. /.../ В действительности все общечеловеческие дела - политика, наука, искусство, общественное хозяйство, находясь вне христианского начала, вместо того чтобы объединять людей, разрознивают и разделяют их, ибо все эти дела управляются эгоизмом и частной выгодой, соперничеством и борьбою и порождают угнетение и насилие"<sup>2</sup>.

Как узнается в этих горячих словах нетерпение карамазовского сердца! Оно никак не может примириться с угнетением и насилием на земле - и требует, чтобы христианство стало вселенским, а значит, вселенная - христианской, чтобы церковь навела свой порядок и возвела в высший обрядовый чин и науку, и искусство, и общественное хозяйство, чтобы во вселенной не осталось ни обид, ни грехов, ни вины... ни тайны соприкосновения мирам иным. Чтобы семя, посеянное в этом мире, не страдало и не умирало - а значит, и не давало всходов в жизнь вечную. В этом противоречие подобных теорий: они хотят, чтобы земля расцвела, как сад, но не хотят, чтобы умирали посеянные в ней семена, не постигают мистической связи между страданием и благодатью, между умиранием и воскресением, между павшим семенем и восходящим ростком. Из Достоевского таким теоретикам понятен Иванов бунт против несправедного Божьего мира и даже понятно Зосимово умиление миру как цветущему раю, но решительно непонятен эпиграф из Евангелия от Иоанна, который только и объясняет, каким образом несправедный мир, в котором засеваются страдания и слезы, может дать духовные плоды в мирах иных. Если Соловьев в своих "речах о Достоевском" и толкует Достоевского, то скорее всего, с точки зрения одного из персонажей, которому сам и послужил прототипом - Ивана Карама-

---

<sup>1</sup> Владимир Соловьев. Три речи в память Достоевского. Сочинения в 2 томах, 2-ое изд. М., "Мысль", 1990, т. 2. сс. 302 - 303.

<sup>2</sup> Владимир Соловьев. Три речи в память Достоевского. Сочинения в 2 томах. 2-ое изд. М., "Мысль", 1990, т. 2. с. 303.

зова, предлагающего "оцерковать" вселенную, поставить ее под власть первосвященника-человеколюбца, чтобы устранить всякое насилие, всякое страдание, а значит, и потребность грешных в прощении и молитве, в самом Христе, который только мешает Великому Инквизитору править от имени Христа.

Итак, задача истинного христианства по Соловьёву - "соединить все народы одной верой, а, главное, в том, что оно должно соединить и примирить все человеческие дела в одно всемирное общее дело..."<sup>1</sup>. Но для того, чтобы объединить человечество, христианство само должно прежде объединиться, восстановить расколотое единство двух своих половин, восточной и западной, православия и католичества. Отсюда и теократический проект, вынашиваемый Соловьёвым на протяжении многих лет: объединить христианское человечество под властью русского царя и римского папы, что символизировало бы не только слияние западной и восточной церквей, но и слияние церкви и государства. Исторически возникшее единство западной и католической церкви и единство российского самодержавного государства должны сочетаться в религиозно-политическом единстве всей христианской экумены, а потенциально - и всего человечества. "...Ни Церковь, лишенная орудия обособленной, но солидарной с ней светской власти, ни светское Государство, предоставленное своим собственным силам, не могут с успехом водворить на земле христианский мир и справедливость ...Исторические судьбы судили России дать Вселенской Церкви политическую власть, необходимую ей для спасения и возрождения Европы и всего мира"<sup>2</sup>. "... Запад, централизованный в Папе, и Восток, централизованный в Царе, друг друга дополняют великолепно"<sup>3</sup>.

Здесь, конечно, Соловьёв уже далеко выходит за рамки Ивановой фантазии, которая ограничивалась только католической церковью позднего средневековья. Нечто подобное по масштабу у Достоевского можно найти только в "Бесах", в горячем воображении Петра Верховенского, который мечтает объединить социалистический интернационал с папским престолом, воссоздав тем самым во всей полноте идею "христианского социализма" - замысел, не лишенный своей внутренней логики и, во всяком случае, более последовательный в своем "интернациональном" пафосе, чем соловьёвский проект объединения католической церкви с русским самодержавием.

В "Повести об Антихристе" этот самый проект, которому Соловьёв

---

<sup>1</sup> Владимир Соловьёв. Три речи в память Достоевского. Сочинения в 2 томах, 2-ое изд. М., "Мысль", 1990, т. 2. с. 305.

<sup>2</sup> Владимир Соловьёв. Россия и Вселенская Церковь. Собрание сочинений в 14 тт. Брюссель, изд. "Жизнь с Богом", 1969, т.11, с. 169.

<sup>3</sup> Письмо Соловьёва епископу Штрессмайеру, 10 окт. 1886 г. Соб. соч., т. 11, с. 387.

предназначал быть осуществлением царства Божьего на земле, предстает как внушение Сатаны и дело Антихриста. Крупнейший русский богослов Георгий Флоровский верно истолковывает соловьевское духовное завещание, "Повесть об Антихристе", как расчет с его собственными всемирно-теократическими иллюзиями: "Нужно здесь отметить и еще одну, очень интимную черту. Ведь в книге Антихриста "Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию" нельзя не узнать намеренного намека Соловьева на его собственные грезы прошлых лет о "великом синтезе". "Это будет что-то всеобъемлющее и примиряющее все противоречия". Это и будет великий синтез. И в нем один только пробел: совмещены все христианские "ценности", но нет Самого Христа... В "Повести об Антихристе" Соловьев отрекался от иллюзий и соблазнов всей своей жизни и осуждал их с полной силой"<sup>1</sup>.

## 6. Верховный наставник

Трагическое прозрение Соловьева состояло в том, что Антихрист явится не как борец с религией, а как великий праведник, миротворец и объединитель религий. Взойдя на свой императорский престол, объединив позитивные и гуманные силы во всем человечестве, он открывает всецерковный собор под "марш объединенного человечества" и обращается к христианам: "Любезные христиане... Я надеюсь согласить все ваши партии тем, что окажу им одинаковую любовь и одинаковую готовность удовлетворить истинному стремлению каждой"<sup>2</sup>. Для католиков, которым в христианстве важнее всего духовный авторитет, он восстанавливает верховный престол папы в Риме; для православных, которым дороже всего священное предание, он основывает в Константинополе Всемирный музей христианской археологии; для протестантов, которые превыше всего ставят личную уверенность в истине, он учреждает Всемирный институт для свободного исследования Священного писания. Католический епископ и восточный маг Аполлоний, возведенный императором на папский престол, провозглашает: "Я такой же истинный православный и истинный евангелист, каков я истинный католик"<sup>3</sup>. В этой формуле ясно выражается стремление Антихриста быть всем для всех, совместить в себе все возможные добродетели и совершенства, стать тем, чем Бог станет в конце времен, по слову ап. Павла: "да будет Бог

---

<sup>1</sup> Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Париж. 1937. с.466

<sup>2</sup> Вл.Соловьев. Повесть об Антихристе. Соч. в 2 тт., т. 2, с. 752.

<sup>3</sup> Там же, с.757.

все во всем" (1 Коринф., 15 : 28).

Вот почему и будущий Антихрист изначально сочетает в себе все возможные дары, художественную и научную гениальность, моральную праведность, политическую мудрость, мистическую прозорливость - в такой степени, что становится сам себе Богом, и никакой "другой" Бог ему и руководимому им человечеству отныне уже не нужен. "Он был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам широко прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель /.../ Помимо исключительной гениальности, красоты и благородства высочайшие проявления воздержания, бескорыстия и деятельной благотворительности, казалось, достаточно оправдывали огромное самолюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа"<sup>1</sup>.

И точно такой же великий спиритуалист, аскет и филантроп является у Андреева во главе Розы Мира. "...Во главе Розы Мира естественнее всего стоять тому, кто совместил в себе три величайших дара: дар религиозного вестничества, дар праведности и дар художественной гениальности. ...Это было бы для всей земли величайшим счастьем. Именно такому человеку и только такому может быть вверен необычайный и небывалый в истории труд: этический контроль над всеми государствами Федерации и водительство народами на пути преобразования этих государств во всечеловеческое братство" (15 - 16).

В своей апологии верховного наставника Розы Мира Андреев почти буквально следует соловьевскому описанию Антихриста, которому именно совокупность его добродетелей и дарований дала законную власть над объединенным человечеством. Считать ли это бессознательным внушением, невольным заимствованием? Вряд ли: Андреев внимательно читал Владимира Соловьева, возводил его в разряд величайших духовидцев и вестников и прямо ссылается на "Повесть об Антихристе" в заключительной главе "Розы Мира" (264). Если же считать, что Андреев, вторя Соловьеву, сознательно соотносит Розу Мира с деятельностью Антихриста, тогда все его сочинение должно быть вывернуто наизнанку и предстать грандиозной пародией именно на то, что ясно и страстно проповедуется в книге.

Не будем торопиться с окончательными выводами, но отметим это поразительное сходство андреевского проекта "Розы Мира" с тем, что излагается соловьевским Антихристом в его сочинении "Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию". Эта книга - образец того "всеединства", которое исповедовал в своей философии и теологии сам Владимир Соловьев и которое, уже после тоталитарных опытов XX-го столетия, заново провозглашается Андреевым. К "Розе

---

<sup>1</sup> Там же, с. 740.

Мира” вполне можно отнести сказанное Соловьевым об “Открытой книге”: “Здесь соединятся благородная почтительность к древним преданиям и символам с широким и смелым радикализмом общественно-политических требований... Никто не будет возражать на эту книгу, она покажется каждому откровением всецелой правды. ...Всякий скажет: “Вот оно, то самое, что нам нужно; вот идеал, который не есть утопия, вот замысел, который не есть химера...”<sup>1</sup>.

Роза Мира, как ее задумал Андреев, тоже есть широчайший путь, открытый для всех и каждого. “Несправедливы религиозные учения, утверждающие Узкий Путь как единственно правильный или наивысший” (21). Роза Мира разрешит все межрелигиозные, межклассовые, межнациональные разногласия и все противоречия между религией и наукой (“между Розой Мира и наукой никаких точек столкновения нет и не может быть”, 18). Она одинаково привлечет к себе не только православных католиков и протестантов, но и шинтоистов и индуистов, буддистов и мусульман. И сам верховный наставник, вторя Аполлонию в новых масштабах, сможет сказать о себе: “Я такой же истинный мусульманин и истинный буддист, каков я истинный христианин”. Роза Мира проведет организационную, богословскую и психологическую подготовку к воссоединению христианских церквей, созывает Восьмой вселенский собор, а затем осуществит унию между христианством и другими религиями (29). Она соединит мистический опыт человечества с самыми радикальными общественными преобразованиями, крайний идеализм - с последовательным реализмом. “Интеррелигиозность, универсальность социальных стремлений и их конкретность, динамичность воззрений и последовательность всемирно-исторических задач - вот черты, отличающие Розу Мира от всех религий и церквей прошлого” (14).

Главное же отличие, по Андрееву, - это “бескровность ее дорог, безболезненность ее реформ” (там же). Верховный наставник придет к власти законным путем плебисцита, он будет избран в руководители всемирной Федерации подавляющим большинством благодарного человечества - примерно так же, как и соловьевский Антихрист. То, что у Андреева названо всемирной Федерацией государств, у Владимира Соловьева именуется “всемирной управой”, “Comité permanent universel”, “международным учредительным собранием европейских государств”. И вот именно этот “человек безупречной нравственности и необычайной гениальности”, “грядущий человек был выбран почти единогласно в пожизненные президенты Европейских Соединенных Штатов”, а затем становится римским и всемирным императором, “новым владыкой земли”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Там же, сс. 743 - 744.

<sup>2</sup> Там же, сс. 745, 746.

Андреев подчеркивает, что в отличие от предыдущих единоличных тиранов, "верховный наставник должен стоять на такой моральной высоте, чтобы любовь и доверие к нему заменяли бы другие методы властвования" (16). Но таков и Антихрист у Соловьева: он открыватель "бескровных дорог", и его первый манифест начинается так: "Народы Земли! Мир мой даю вам... Вечный вселенский мир обеспечен..."<sup>1</sup>. И в самом деле вскоре ростки войны по всей земле были вырваны с корнем. И в этом отношении новый примиритель земли далеко превзошел Христа, который принес человечеству новые разделения. "Христос принес меч, а я принесу мир, - говорит Антихрист ...Суд мой будет не судом правды только, а судом милости... Я всех различу и каждому дам то, что ему нужно" (741).

Соловьевский Антихрист не только отличается глубокой гуманностью, но и распространяет принципы миролюбия и милосердия на животных. "Новый владыка земли был прежде всего сердобольным филантропом - и не только филантропом, но и филозоем. Сам он был вегетарианцем, он запретил вивисекцию и учредил строгий надзор за бойнями; общества покровительства животным всячески поощрялись им"<sup>2</sup>. Эта же гуманность, переходящая собственную границу гуманности, "возрастающая любовь, слишком широкая, чтобы замкнуться в рамках человечества" (107), обнаруживается и в мероприятиях Розы Мира, которая объявляет запрет убийства животных для каких бы то ни было промышленных или научно-исследовательских целей, добровольное вегетарианство, создание обширных заповедников и даже "планирование работы зоопедагогических учреждений во всемирном масштабе" (107), т.е. таких учреждений, где человек, изучив природу животных, "сможет перевоспитать, физически и умственно усовершенствовать, смягчить, преобразить их" (106), в частности, приучить волка к усвоению растительной пищи.

Это убеждение в том, что человеку дано усовершенствовать и самого себя, и окружающую природу до такой степени, что в мире не останется больше ни насилия, ни страдания, составляют общую черту "Розы Мира" и всех подобных проектов "всемирной гармонии", которые подменяют реальное несовершенство человека идеей его совершенства и тем самым религиозное мировоззрение соединяют с тоталитарным. Подобно тому, как человек в этих проектах преобразует природу животных, так и верховный наставник преобразует природу людей, так что в своем средоточии "Роза Мира" есть человекобожеское откровение о совершенстве человека и его способности к самоспасению.

---

<sup>1</sup> Там же, сс. 745 - 746.

<sup>2</sup> Там же, сс. 746 - 747.

Поразительно, что такой духовно чуткий автор, как Андреев, мог не почувствовать антихристового соблазна, давая следующую характеристику верховному наставнику человечества: "...Он - мистическая связь между живущим человечеством и миром горним, проявитель Провиденциальной воли, совершенствователь миллиардов и защитник душ. В руках такого человека не страшно соединить полноту духовной и гражданской власти" (16). Именно что страшно, если один из людей становится "мистической связью" и "защитником душ", да еще соединяет полноту духовной и гражданской власти. Этот другой, не Христос, воплотивший в себе абсолютное совершенство и сам "совершенствователь миллиардов", может быть, с христианской точки зрения, только Антихристом.

В соловьевской повести первым результатом работы Антихриста стало "прочное установление во всем человечестве самого основного равенства - равенства всеобщей сытости"<sup>1</sup>. Точно так же и в андреевском проекте: "Смысл первого этапа правления Розы Мира заключается в достижении всеобщего материального достатка и в создании предпосылок для превращения Федерации государств-членов в общественный монолит" (246).

## 7. Учение о Христе

Вспомним, что соловьевский Антихрист проявляет все христианские добродетели, но есть у него странный изъян: он не может прямо исповедовать Христа, что и служит началом его разоблачения. "...Исповедуй здесь теперь перед нами Иисуса Христа, Сына Божия, во плоти пришедшего, воскресшего и паки грядущего", - на эту просьбу православного старца Иоанна Антихрист отвечает странным молчанием, после чего старец и возглашает: "Детушки, антихрист!"<sup>2</sup>. "Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист" (2 Иоанн, 1 : 7). Да и во всей книге "Открытый путь", хотя и "проникнутой истинно христианским духом деятельной любви и всеобъемлющего благоволения", ни слова не было сказано о Христе<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Там же, с. 747.

<sup>2</sup> Там же, с. 744, 755.

<sup>3</sup> Там же, с. 744.

В книге Андреева о Христе сказано много слов, но в главном его земная миссия признается неудавшейся и незавершенной. "О, Христос не должен был умирать" - не только насильственной, но и естественной смертью. После многолетней жизни в Энрофе (в нашем физическом мире - М.Э.) и разрешения тех задач, ради которых Он эту жизнь принял, Его ждала Трансформа, а не смерть - преобразование всего существа Его и переход Его в Олиру (первый из миров восходящего ряда - М.Э.) на глазах мира. Будучи завершённой, миссия Христа вызвала бы то, что через два-три столетия на земле вместо государств с их войнами и кровавыми вакханалиями установилась бы идеальная Церковь-Братство. Число жертв, сумма страданий и сроки восхождения человечества сократились бы неизмеримо" (114).

Опять, вопреки намерению автора, здесь слышится голос Ивана Карамазова - Великого Инквизитора, упрекающего Христа за то, что он позволил себя распять и не установил своей сверхъестественной властью, при долголетней жизни своей, мира и благополучия на земле. "Ты не сошел с креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: "Сойди со креста и уверуем, что это ты". Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной /.../ Итак, беспокойство, смятение и несчастье - вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их /.../ Приняв мир и порфиру кесаря, [ты] основал бы всемирное царство и дал всемирный покой"<sup>1</sup>. И тот же упрек Христу, не принесшему счастья народам, звучит в размышлениях соловьевского Антихриста: "Я дам всем людям все, что нужно. Христос, как моралист, разделял людей добром и злом, я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым, и злым. Я буду настоящим представителем того Бога, который возводит солнце свое над добрыми, дождит на праведных и неправедных"<sup>2</sup>. Именно "недовершенство" миссии Христа и оправдывает в глазах Антихриста его собственную миссию устроителя и завершителя человеческого счастья и позволяет смотреть на того "нищего, распятого" как всего лишь на своего "предтечу".

Получается, по Андрееву, что миссия Иисуса Христа была бы выполнена более успешно, если бы после "многолетней жизни" он преобразился бы на глазах всего мира и, совершив эффектное чудо, перешел бы в высший план существования - тогда, за два-три столетия, на земле устранились бы войны и установилась бы идеальная Церковь. Если так следует понимать и исповедовать Христа, то как же тогда понимать и исповедовать Антихриста?

Наконец, Андреев подвергает сомнению и основу христианских

---

<sup>1</sup> Достоевский, цит. соч., сс. 233, 234.

<sup>2</sup> Соловьев, цит. соч., с. 741.

представлений о самом Христе - догмат о вочеловечении. Гораздо удобнее, по его мнению, считать, что Бог не вочеловечился, а выразил себя в Христе - что сразу превращает христианство в какое-то гностическое или теософское учение, где Христос только символически представляет собой человека, а не становится человеком в полном смысле, чтобы принять на себя страдание и освятить плоть человечества. "Как понимать, например, слово "вочеловечение" в применении к Иисусу Христу? Неужели мы и теперь представляем себе так, что Логос вселенной облекся составом данной человеческой плоти? /.../ Не нестерпима ли для нас эта диспропорция масштабов: сближение категорий космических в самом предельном смысле с категориями локально-планетарными, узкочеловеческими? /.../ Не точнее ли было бы поэтому говорить не о вочеловечивании Логоса в существе Иисуса Христа, а о Его в Нем выражении при посредстве великой богорожденной монады...? ...Бог не воплощается, а выражает Себя в Христе... А если так, то отпадает еще одно из препятствий к соглашению христианства с некоторыми другими религиозными течениями" (27).

Автор Розы Мира озабочен именно тем, чтобы согласовать христианство с другими вероисповеданиями - и ради этого готов пожертвовать человеческой природой Христа, единосущной Богу, признав его за один из многих символов, через которые Бог являл себя представителям разных религий. Андреевский Христос - это не Богочеловек, а "Логос, Себя в Иисусе Христе выразивший преимущественно, но не исключительно. В этой идее нащупывается, на мой взгляд, путь к такому углу зрения, на котором могут прийти к взаимопониманию христиане и многие течения восточной религиозности" (26 - 27). Но зачем такое взаимопонимание, которое ведет к утрате того, что в данном случае как раз и подлежит пониманию, - Богочеловеческой природы Христа? Так что на решающий вопрос старца Иоанна: "исповедай Иисуса Христа, Сына Божия, во плоти пришедшего" - пожалуй, и автор Розы Мира был бы вынужден ответить таким же мучительным молчанием, как и тот, кому был задан вопрос.

## 8. Всеединство как лжеподобие

Интеррелигия Розы Мира, приводя все религии к общему знаменателю, жертвует в них тем главным, ради чего и попустил Бог их существованию на земле, - их разность, несводимость друг к другу. Пока церкви разделены, ни одна из них не может представлять Бога в Его полноте, никакой первоиерарх не может выступать как наместник Бога на земле - и подменять своей волей Его волю. Разделение церквей есть не только признак человеческого несовершенства,

неспособности к взаимопониманию, но и выражение прямой власти Бога над миром, которая не передоверяется полностью ни одной из священнических иерархий. Церкви для того и остаются разделенными, чтобы единым в мире и над миром пребывал только сам Бог. Если бы одна религия, Роза Мира или другая, сумела бы воцариться над всеми остальными и растворить их в себе, это означало бы создание на земле такой иерархии, такого единоначалия, которое могло бы полностью отождествить себя с Богом, говорить от Его имени - и лгать во имя Его.

То же самое относится и к разделению церкви и государства. Когда иудейские вожди искушали Иисуса, чтобы он заявил о своих притязаниях на царство, Он ответил им: "отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Матф., 22 : 21), тем самым ясно отвергнув всякое смешение власти небесной и земной. Монета, на которой отчеканен образ кесаря, пусть кесарю и достанется. Если Христос отверг искушение земной власти, то тем более церковь, которая по собственному учению есть "тело Христа", часть Христа, лишена Его благословения на то, чтобы стать государством или обратить государство в себя.

Миру предстоит оставаться разделенным: на церковь и государство, на религию и науку, на разные религии, науки и государства, пока сам Бог не явит своего единства и не станет всем во всем. Попытки же всеединства, исходящие от человеческого ума и воли, будь это философия всеединства, или сочетание всех возможных даров в одном человеке, или построение единой всечеловеческой церкви и единого государства, или объединение самого государства с церковью, - все эти попытки узурпируют власть Единого и Неделимого и знаменуют собой продвижение Его Лжеподобия на царский престол.

На примере Ивана Карамазова можно рассмотреть три стадии такого движения - и его постепенного саморазоблачения. Иван Карамазов выступает у Достоевского как автор трех работ, которые в последовательности своего появления в романе и обозначают эти три стадии. Первая - это стадия любви к Богу, которая хочет больше услужить Богу, чем служили все предыдущие и существующие религии. Соответственно и первая статья Ивана - о церковном суде, где он пытается превзойти самого Христа, отдать Богу не только Богово, но и кесарево, подчинить церкви - и на этой стадии его чрезмерное усердие в пользу церкви встречает даже понимание и сочувствие со стороны служителей самой церкви.

Вторая стадия - когда Лжеподобие уже вынуждено приоткрыть себя хотя бы наполовину и заявляет о своем несогласии с Богом, о своем протесте против несправедливого Божьего мира, - но все еще во имя любви к человечеству. Эта стадия обнаружена в поэме о Великом Инквизиторе, который из любви к человечеству принимает искушение дьявола и изгоняет Христа, - но делает это с таким

страданием и самоотречением, что удостоивается безмолвного поцелуя Гонимого.

На третьей стадии уже и любовь к человечеству оказывается только прикрытием неутоленной и всепобеждающей любви к самому себе. Эта последняя правда выражена в поэме Ивана "Геологический переворот", о которой напоминает ему сам черт в заключение их беседы. "...Все решено, и человечество устроится окончательно. Но так как, ввиду закоренелой глупости человеческой, это, пожалуй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах ...Новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире... Где станет бог - там уже место божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... "все дозволено", и шабаш!"<sup>1</sup>. Так излагает черт Ивану содержание его поэмы - и обнажает диалектику собственной мысли Ивана, которая от построения "града Божьего" на земле ведет его к обожествлению собственной воли, собственного "первого места".

Нельзя не предположить, что в самом начале этого пути, в величавой теократической мысли Ивана, превозносящей земное царство Христа, от которого отказался сам Христос, уже заключалась та самая гордыня, которая постепенно погасит в его душе и любовь к Богу, и любовь к человечеству, оставив на этом пустом месте только любовь к самому себе. Так в своем последнем звене разоблачает себя и первое звено этого цельного теократического замысла, который начинается с того, что отдает под власть Бога царство кесаря, а кончает тем, что на место Бога устанавливает царство своего Я. "Бога и бессмертия все-таки нет", где стану я, там и будет Бог.

То же самое трехступенчатое движение сжато, на трех страницах, обозначено и в духовной биографии соловьевского Антихриста, который начинает с того, что верит в добро, Бога, Мессию (с. 740), продолжает тем, что хочет спасти человечество, которое не сумел спасти его предшественник (с. 741), и кончает тем, что говорит себе: "Я,я,я, а не Он! Нет Его в живых, нет и не будет. Не воскрес, не воскрес, не воскрес!" (с. 742)<sup>2</sup>.

## 9. Роза Мира в ожидании Антихриста

К чести Андреева и к радости его читателей, в книге "Роза Мира" тоже обнаруживается такое движение от пьянящего теократического проекта к трезвому осознанию его демонической природы. Правда,

---

<sup>1</sup> Достоевский, цит. изд., т. 15, сс. 83 - 84.

<sup>2</sup> Соловьев, цит. соч.

это движение в основном бессознательное, не прослеженное и не выявленное самим автором, отчего и книга в целом производит двоящееся впечатление. С одной стороны, безудержное, искреннее, громогласное восславление Розы Мира, которая низведет благодать на землю и установит совершенный религиозный и социальный строй; с другой стороны, именно из среды Розы Мира и ее священнического единоначалия выйдет грядущий Антихрист.

Утопическая мысль автора постоянно расходится с эсхатологическим смыслом изображаемых им событий.

Эта двойственность отражена и в композиции "Розы Мира", как если бы в процессе ее написания расширялся горизонт самого автора, обострялось его духовное зрение. В первой книге трактата теократическая утопия целиком властвует над сознанием Андреева, который, как дитя своей страны и своего времени, свято верит в "идеальный проект народоустройства" и его сочетаемость с ненасилственными методами и с религиозными чаяниями человечества. Даже язык Андреева, самобытного поэта, хотя и склонного к некоторой риторике и патетике, заражается советскими штампами, как только прикасается к любимой утопической теме: "миллионы высокоидейных умов" (10), "нерушимая броня высокой нравственности" (12), "мирообъемлющее крылатое учение ... претворит эту жажду поколения во всенародный творческий энтузиазм" (11). От современного читателя требуется усилие, чтобы довериться столь наивному автору, мечтающему о "лиге преобразования сущности государства" о "Министерстве разоружения", и последовать дальше за ним, в странствие по нисходящим и восходящим трансфизическим мирам, в метаисторическое измерение российской истории. Там-то истину раскрывается мистический дар и почти дантовская мощь потусторонней фантазии Андреева, как одного из немногих "великих посвященных" XX-го столетия. Духовный взор автора постепенно углубляется - и когда в последней, двенадцатой книге трактата снова падает на Розу Мира, то проникает уже дальше, сквозь нее, в то страшное будущее, которое через нее готовится миру.

Нет, Андреев сознательно никогда не отказывается от Розы Мира, но она была именно рассудочным плодом его сознания, схоластической мечтой, тогда как подсознательно он готовит себя и читателя к тем демоническим искушениям, которые несет в себе этот обещанный рай. В двенадцатой книге автор, вернувшись из своих метаисторических странствий в прошлое и настоящее России, вновь возвращается к Розе Мира как возможному и желанному будущему человечества. Первые три главы сияющими красками описывают воспитательные, социальные и природо-преобразовательные мероприятия Розы Мира, ее города и храмы, многообразные, но строго упорядоченные и соподчиненные религиозные культы, весь этот совершенный строй общественного единоначалия. Как истинно заботливый реформатор Андреев не забывает предусмотреть в своей программе даже важные

мелочи: "руководство Розы Мира обеспечит образование кадров судебных работников нового типа" (247). Но в начале четвертой главы происходит надлом, у автора вырываются горькие строки: "Не странно ли, что Роза Мира, долгое время господствуя над человечеством, все-таки не сможет предотвратить пришествия князя тьмы? - Да, не сможет. Ко всеобщему величайшему горю - не сможет" (261).

И далее, в описании пришествия князя тьмы, у Андреева борются две тенденции, сознательная и бессознательная. Как утопист — он хочет сохранить возвышенный идеал Розы Мира и резко противопоставить ее Антихристу, как мистик — он выводит Антихриста из самой Розы Мира как ее закономерное, хотя и непреднамеренное порождение. Только в течение семи или восьми первых понтификатов (единоличных царствований или папств) Роза Мира будет владычествовать на земле, а остальные восемнадцать или девятнадцать будут проходить в период царствования Антихриста, которого сама же Роза Мира и возведет к власти, поплатившись за это впоследствии гонениями и мучительством своих верующих. Все те превосходные эпитеты, которыми раньше Андреев наделил Розу Мира, начинают теперь прочитываться с обратным знаком, хотя вина за это возлагается на людей, инволютируемых демоническими силами, а не на саму систему Розы Мира.

Главным условием, благоприятствующим приходу Антихриста, окажется скука. Всеобщая атмосфера гармонического спокойствия, которая воцарится на земле к эпохе последнего правящего (7-го или 8-го) понтификата, будет отравлена ядом тоски, равнодушия, пресыщения. Одни пожелают "удовлетворения неизжитых страстей, а других будет томить скука. Она перестанет быть гостьей, она сделается хозяйкой в их душевном доме, и лишнее коллизий общественное бытие начнет им казаться пресным" (262). По внешнему складу андреевской фразы выходит, что виноваты "они", "эти авантюристические натуры", которые "с тоской, раздражением и завистью будут знакомиться с насыщенной приключениями, столкновениями, преступлениями и страстями жизнью других эпох" (262 - 263). Значит, виновата авантюрная природа человека - но разве скука, охватившая все человечество в период полного расцвета Розы Мира, не коренится в самом этом всемирном устройстве, о чем предсказывал еще Достоевский?

"Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Конечно, никак нельзя гарантировать..., что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего. Скверно то..., что чего доброго, пожалуй,

и золотым булавам тогда обрадуются"<sup>1</sup>. Тут у Достоевского сразу предсказаны, как последствия хрустального дворца, не только скука, но и склонность к утонченным истязаниям, жестокому разврату (имеются в виду те золотые булавки, которые Клеопатра втыкала в груди своим невольникам). Именно эти две черты, скука и жажда острых ощущений, по Андрееву, и подготовят появление Антихриста. "Заходящее солнце еще будет медлить розовым блеском на мистериалах и храмах Солнца Мира, на куполах пантеонов, на святилищах стихиаелей с их уступами водоемов и террас. Но сизые сумерки разврата, серые туманы скуки уже начнут разливаться в низинах. Скука и жажда темных страстей охватят половину человечества..." (264). Все признаки здесь уловлены верно, только автор пытается вознести свой "хрустальный дворец", эти роскошные мистериалы, святилища и пантеоны, над "сумерками разврата и туманами скуки". Андреев ставит между двумя предложениями противительный союз "но" - там, где по связи событий, предвосхищенной Достоевским, напрашивается союз следствия "так что", "потому", "тогда"... "Тогда выстроится хрустальный дворец... Тогда будет ужасно скучно..."

По мысли Андреева, Антихрист явится вопреки Розе Мира, а по логике его собственного пророчества - благодаря. "Человечество устанет от духовного света. Оно изнемоет от порываний ввысь и ввысь. Ему опостылет добродетель. Оно пресытится мирной социальной свободой..." (263). Да не от духовного света оно устанет, а от блесков и переливов хрусталя, от всех этих подделок духовного света - бело-розовых зданий и "золотых гребней"; и не от порываний ввысь, а от бесчисленных куполов верграда, заслоняющих настоящее небо. И не добродетель опостылет человеку, а та вымученная добродетель, которую привьют ему в интернатах вместе с "подчинением личного общему", "высокой идейностью" и "устремлением к будущему". И не мирной социальной свободой пресытится он, а стадной социальной несвободой - и захочет такой свободы, которая будет вызовом благочинию всех пяти священств и авторитету высших контролирующих инстанций. "Роза Мира", какой ее изображает Андреев, и есть величайшая душеубийственная прелесть, ведущая к скуке и опустошению.

Еще одна причина появления Антихриста - техника, которую Андреев обвиняет в том, что она не поддалась преобразующим усилиям Розы Мира, хотя по его изображению видно, что именно поддалась, даже слишком. "...Специфика техники - ее рассудочность, утилитарность и бездуховность не преодолеваются тем одним, что перед техникой будут поставлены более возвышенные задачи, а ее методам будет навязан этический контроль. Эта внутренняя безду-

---

<sup>1</sup> Достоевский. Записки из подполья, цит. изд., т. 5, 1973, с. 113.

ховность и утилитарность сохраняются до тех пор, пока именно эти свойства техники не понадобятся пришедшему во плоти противобогу" (262). Но ведь совершенно ясно, что пока техника ограничивается сферой рассудочности и утилитарности, она и не посягает на человеческую свободу, а как только ей начинает "навязываться" этическая задача духовной трансформации человечества, тут она и выказывает демонические свойства. Этический контроль "навязан" технике Розой Мира - характерная обмолвка Андреева, его "бессознательное", которое противится его же утопическому сознанию. И если впоследствии Антихрист станет пользоваться техникой как орудием черной магии, то ведь именно Роза Мира начала пользоваться техникой как орудием "Божьего чуда".

Сам же Андреев и предназначил технике такую роль духовной подмены в своих "мистериалах": "Вырисовываются перспективы такого технического могущества, когда иерархии (то есть высшие духовные существа иных миров - М.Э.) смогут быть сценически отображены не в сниженном, упрощенном, убого очеловеченном виде, но в гигантских обликах, туманных или светящихся, пронесшихся, как веяние ветра, или вздымающихся, как огненные смерчи" (253). Если такого рода технически оснащенная "мистерия стоит на полдороги от театра к культу, и многие стороны роднят ее с богослужением" (253), то чем же оно отличается от Сатанослужения, от такого манипулирования техникой, когда Антихрист "сможет по собственному произволению видоизменять свои тела, молниеносно переходя из слоя в слой, из мира в мир путями самопроизвольной трансформы" (267)? Роза Мира, используя технику как средство манипуляции духовными сущностями, тем самым прямо подготавливает ее демоническое использование в будущем, под властью Антихриста, когда "изобретения, которые естественно ожидать от техники XXII или XXIII века, позволят правительству осуществлять совершенный контроль над психикой каждого из жителей земного шара" (266).

Но ведь еще в начале книги сам автор на примере нацистской Германии доказывал, "какой силы рычаг заключен в этом пути воздействия на психику поколений" (10) - и призывал Розу Мира взять в руки и крепко сжать этот рычаг. Так что Роза Мира, укрывшаяся при Антихристе в катакомбах и разрабатывающая "систему психической и трансфизической защиты" от его технических ухищрений (266), на самом деле пожинает те плоды "технизации духа", которые еще недавно объявляла своим достижением. Только что автор мечтал о том, чтобы техническими средствами расслоить пространство "на любое число планов, таким образом отражая параллелизм событий и процессов, в нем совершающихся" (глава "Внешние мероприятия", 253) - и вот уже с гневом пророчествует о том, что "анти-Логос будет ужасать и морочить людей своими явлениями одновременно в трех, четырех пунктах земного шара" (глава "Князь тьмы", 267).

## 10. Антихрист и Мировая Женственность

Но кто же такой сам этот анти-Логос, грядущий Князь тьмы? В его изображении Андреев близко следует Владимиру Соловьеву: "Умнейший их всех, кто когда-нибудь жил, превосходящий гениальность всех гениев человечества без сравнения, он к тридцати трем годам станет общепризнанным главой мировой науки. Молниеносный охват мыслью сложнейших научных и трансфизических проблем, мгновенное проникание в глубь разнообразнейших дисциплин, и естественных и гуманитарных, беспрецедентная разносторонность дарований, включая гениальность, поэтическую и зодческую, ряд фундаментальных открытий, которыми он начнет обогащать человечество, показная доброта к людям по праву стяжают ему наивысший авторитет в глазах большинства населения земного шара" (264). Из одного этого описания ясно, что верховный наставник Розы Мира, каким он раньше виделся Андрееву, и есть самый достойный кандидат в Антихристы - ведь "во главе Розы Мира естественнее всего стоять тому, кто совместил в себе три величайших дара: дар религиозного вестничества, дар праведности и дар художественной гениальности" (15).

Правда, по мысли Андреева, наставник может прийти на свой пост только сквозь строгий искуc (16) - но ведь и Антихрист пройдет этот искуc и "примет духовный сан" (265). И метод его прихода к власти будет точно такой же - через референдум. "Смерть верховного наставника даст ему право возложить на себя эту тиару..." (265). Не просто Антихрист станет во главе Розы Мира, но сама Роза Мира породит Антихриста - такова логика андреевского духовидения, которому сопротивляется его сознание утописта. Правда, доброту Антихриста автор называет "показной" (264), а референдум - "фальшивым" (265), но эти типичные оговорки, оценочные эпитеты - единственное, что позволяет отличить Князя тьмы от той "светлой и могущественной" силы, которую Андреев мечтал вознести на престол Розы Мира. Не в этом ли и состоит обольщение: тот, кто вначале видится "светлейшим", "Люцифером", в конце предстает Князем тьмы? Не есть ли сама идея Розы Мира - последовательное самообольщение автора и его же последующее невольное саморазоблачение?

Да и сами дела, которые к ужасу Андреева творит Антихрист, и создаваемые им лжеучения слишком напоминают вольное богословие самой Розы Мира, только теперь представленное автором со знаком минус вместо плюса. Едва взойдя на престол и возложив на себя тиару, антихрист "объявил себя вестником Мировой Женственности" (265). До такого иронического переосмысления Вечной Женственности как демонического культа не дошел даже Владимир Соловьев: рассчитавшись в "Повести об Антихристе" со своими идеями все-

единства и всемирной теократии, он оставил в стороне ссю третью главную идею - Вечной Женственности. По Соловьеву, именно в половой любви совершается восхождение человека к Богу и соединение его с "вечной Женственностью Божьей"<sup>1</sup>. Характерно, что Андреев именно этот эротический момент соловьевского богословия считает его величайшей заслугой. "Именно в пророчестве о Звенте-Свентане и в создании исторических и религиозных предпосылок для возникновения Розы Мира заключалась его (Соловьева - М.Э.) миссия" (194). Имя Звенты-Свентаны служит у Андреева символом Вечной Женственности, значение которой и предстоит раскрыть Розе Мира, как не только единой религии человечества, но и религии, совокупающей мужскую и женскую ипостаси Бога. "...Звента-Свентана - это не что иное, как выражение Женственной ипостаси Божества" (194), "Женственной ипостаси Троицы" (124).

Роза Мира есть откровение об эротической природе Божества, и в этом она прямо подготавливает Царство Антихриста, которое, по описанию самого Андреева, есть стихия сексуальности, возведенной в религиозный культ. "Выдававшая себя за Женственность воплощенная Лилит станет чередовать бесстыдные действия с анти-Логосом и оргии-мистерии, открытые сперва для сотен, а потом, в принципе, для всех... Все направится на то, чтобы разнуздать сексуальную стихию" (266, 267). Но ведь соединение двух полов составляет едва ли не главную мистерию самой Розы Мира, к чему и направлено догматическое творчество ее основателя. Андреев предлагает грядущему Восьмому Вселенскому собору пересмотреть догмат о божественной Троице. По его мнению, Бог-Отец и Святой Дух - это не две разные ипостаси, а одна, первая ипостась, от которой и зачинает Богородица вторую ипостась, Бога Сына, третья же ипостась и есть сама Богородица, то есть Мировое Женское Начало. "...Извечный союз между Отцом и Матерью... и в этой любви рождается Третье: Основа Вселенной. Отец - Приснодева - Мать - Сын" (121).

Получается почти по Фейербаху, доказывающему, что христианская Троица есть всего лишь отражение реальных взаимоотношений внутри земного семейства. Правда, Андреев оговаривает, что наоборот — в его "учении о Троице и о Женственном аспекте Божества наличествует не перенесение "слишком человеческого" на сферы горние, а, напротив, понимание объективной полярности наших

---

<sup>1</sup> "Для Бога Его другое (т.е. вселенная) имеет от века образ совершенной Женственности, но Он хочет, чтобы этот образ был не только для Него, но чтобы он реализовался и воплотился для каждого индивидуального существа, способного с ним соединиться. К такой же реализации и воплощению стремится и сама вечная Женственность... В половой любви, истинно понимаемой и истинно осуществляемой, эта божественная сущность получает средство для своего окончательного, крайнего воплощения в индивидуальной жизни человека..." Соловьев. Смысл любви. Соч. в 2 т., т. 2, с. 534.

слоев - мужского и женского начал - как проекции непостижимой для нас полярности в существо Бога. "Бог есть любовь", - сказал Иоанн" (121). Но достаточно представить эту любовь, которая есть Бог, как взаимоотношение мужского и женского, чтобы карикатурой предстала истина, заключенная в выражении "Бог есть любовь". Андреев рационализирует тайну Троицы, вносит в нее муже-женскую полярность, которая начисто в ней отсутствует, поскольку Троица не есть "двоица", хотя бы и с добавлением "производного третьего члена", не есть "тезис - антитезис - синтез", не есть взаимоотношение полов и порождение потомства...Такая рационализация сводит Троицу на уровень то ли языческого мифа о браке земли и неба, то ли на уровень "науки логики" с ее диалектическими триадами.

А между тем для Андреева замена "Святого Духа" на "Женственный аспект Божества"<sup>1</sup> есть "решающий тезис" всей его книги (119). Чтобы совместить христианство с Розой Мира, Андрееву приходится идти на ломку главного христианского догмата о Троице, той "основы основ", на которую, по его признанию, раньше не смели покушаться самые отчаянные секты и ереси (119). И это не чисто теоретическое рассуждение, но и предвосхищение такой культовой практики Розы Мира, когда молодые будут просить благословения на брак не у христианских священников, а у плодородящих женских начал. "...Не нужно налагать на них брачные обеты на больший срок, чем на несколько лет, да и помощи им уместно просить не у инстанций христианского трансмифа, а у Матери-Земли и даже у Всенародной Афродиты человечества" (257).

Всенародной Афродитой в Греции называли богиню грубой, плотской любви. Удивительно все-таки сходятся концы с началами утопического сознания: ведь и у Чернышевского четвертый сон, со знаменитым хрустальным дворцом, показывала Вере Павловне не кто иная как Афродита, точнее, олицетворенная Женственность всех времен. Она - царица всех цариц, которые для разных народов воплощались то в Астарте, то в Афродите, то в страшных и сладострастных богинях индуизма, то в образе Богоматери - она есть интеррелигиозная женственность, именно то, что Андреев называет Звентой-Свентаной. "То, что было в "Непорочности", соединяется во мне с тем, что было в Астарте, и с тем, что было в Афродите... Мое

---

<sup>1</sup> "...Идея Мировой Женственности не может не перерасти в идею Женственного аспекта Божества, а это, естественно, грозит ломкой догматизированных представлений о лицах Пресвятой Троицы" (120 -121). Андреев все-таки не решается употреблять каноническое слово "ипостась", чтобы избежать слишком явной ереси, и употребляет вряд ли уместное, мертвенное слово "аспект".

царство будет над всеми людьми"<sup>1</sup>. Заметим, хоть непорочность ради полноты и присутствует в Царице цариц, а все же Чернышевский разумно берет это слово в кавычки: какая же Непорочность, если Астарта? И вот получается, что от соединения Астарты с Непорочностью остается сама собой только Астарта, а Непорочность все-таки оказывается в кавычках (не так ли и при соединении всех религий получается интеррелигия, внутри которой христианство, например, по излюбленному определению Андреева, оказывается уже даже не религией, а "трансмифом"?). Именно эта Женственность, она же Наслаждение и Равноправие, царит в хрустальном дворце, который служит также приютом и "алтарем" для брачующихся, по благословению Царицы, только на одну ночь или даже на несколько часов. "...Ты видела, они уходили, они приходили; они уходили - это я увлекала их, здесь комната каждого и каждой - мой приют... Здесь царствую я"<sup>2</sup>. Оказывается, что хрустальное царство будущего принадлежит ей, Вечной Царице, которая и словом не упоминает о Вечном Царе. Утопическому сознанию, жаждущему остановить мужественный напор истории, всегда по сердцу матриархат, царство материи без Отца. Так и Андреев, строя свой дворец Будущего, тоже ключи от него доверяет Женственности: "торжество Розы Мира невозможно" до тех пор, пока не осуществится сполна "устремление религиозного человечества к Вечно Женственному началу" (180).

Самому Андрееву предельно ясно, что "такие идеи, вытекающие из откровения Вечной Женственности, не совпадают с пониманием Троичности в ортодоксальном христианстве" (194). И тем не менее он последовательно исповедует Женственность как новый богословский догмат, занимающий центральное место в Розе Мира и реализуемый в особой, "голубой" иерархии женского духовенства - отражении второго, Женского лица Троицы. Невольное саморазоблачение Андреева-мыслителя - и одновременно подтверждение его честности как духовидца - состоит в том, что собственное исповедание двоеполого, двуполярного Божества он вдруг обнаруживает у Антихриста, правда, в искаженном виде. Главное дело Антихриста и источник его власти над человеком - сексуальная вседозволенность, которой он подыскивает религиозное оправдание. "Анти-Логос объявит себя воплощением Бога-Отца, а женщину, чей облик приняла при помощи дьявольского чуда Лилит, - воплощением Вечной Женственности /.../ Вокруг себя и воплощенной Лилит Антихрист создаст кощунственный - культ мирового совокупления, и гнусные действия между ними, окруженные сказочными эффектами и одурманивающим великолепием, будут разыгрываться перед лицом всех и вся, якобы отображая в нашем мире космический брак двух ипостасей

---

<sup>1</sup> Чернышевский, цит. соч., сс. 275, 276.

<sup>2</sup> Там же, с. 283.

Троицы" (265).

Пусть "якобы" - но ведь если бы не представление о Троице как о космическом браке двух ипостасей, возведенное Розой Мира на культовую и богословскую ступень, то и отображать Антихристу было бы нечего. Невозможно ведь создать культ мирового совокупления из взаимоотношений двух соответствующих ипостасей, как они понимаются в христианстве - Бога-Отца и Святого Духа. Подлинная христианская Троица просто не создает предпосылки для такого кощунства, гасит всякий помысел о нем, а вот Троица, исповедуемая Андреевым и воссоздающая "тайну союза Отца и Матери" (121) - это уже прямой шаг "к культу мирового совокупления". Да и как отразить Троичность, понятую в смысле совокупления мужского и женского начал, если не в бесконечной череде подобных совокуплений, к чему все человечество и соблазняется Антихристом вкупе с его женской ипостасью?

То, что для Розы Мира автор провозглашает как "решающий тезис", в царстве Антихриста он проклинает как "кощунственный культ", но нельзя не видеть, что это одно царство, увиденное с двух сторон: социально-религиозной утопии и всемирно-исторической катастрофы. Роза Мира не только уже содержит в себе все основные элементы Антихристового царства, но с самого начала пронизана духом Антихриста, хотя бы и за несколько поколений до его персонального воплощения.

## 11. Сознательное и бессознательное в андреевской эсхатологии

Парадокс эсхатологического мышления осуществляется в работе Андреева как двояние сознательного и бессознательного. Тезис его эсхатологии - утопический, антитезис - катастрофический. Идеальный социально-религиозный строй есть последний фазис истории - и он же есть царство Антихриста, на котором история обрывает свой ход и открывает новый эон. Вопрос в том, почему сам Андреев не опознал этой двойственности в своей заветной идее, почему в его сознании Роза Мира и царство Анти-Логоса до конца остались противоположными духовными полюсами мира. Как мог он не понять того, что сам с таким блеском изобразил: что Роза Мира с ее верградями, возносящимися до небес, и столица Антихристового царства с ее "умопомрачительным великолепием" - это две стороны одной картины мира, "утопическая" и "катастрофическая"?

Нам не дано ответить на этот вопрос. Мы не можем объяснить, почему мыслитель не понял чего-то, как и не можем объяснить, почему он понял многое другое. Такова, очевидно, мера человеческого разума: избыток понимания в одной области покупается

недостатком понимания в другой. Андрееву было дано увидеть и пережить столь многое, недоступное обычному разуму, что его непоминание вещей довольно очевидных есть обратная сторона такого сверхпонимания. Не приведи Господь, чтобы все дарования одновременно совместились в одном человеке - такой универсальный гений, "сам себе Бог", и стал бы самым успешным кандидатом в Антихристы.

Андреев, несмотря на все антихристианские мотивы своей книги, в том числе превознесение универсальной гениальности, сам таким не был - к счастью для него и для всего человечества. Он был сверходаренным, быть может гениальным мистиком, в меру одаренным поэтом - и совершенно бездарным политическим мыслителем. Как только он касается чего бы то ни было, связанного с политикой, с практическим управлением общества, будь это церковный, или социальный, или экономический, или педагогический вопрос, - тон его сочинения снижается до самых плоских и общих мест, до банальностей, не только недостойных его пера, но и неприличных в интеллигентном кругу. Невозможно понять, как та же самая рука, которая описывала миры возмездия или духовность природных стихий, могла всерьез выводить такие жалкие, чужие слова, вроде "ослабить эксплуатацию неимущих имущими", "распространение высокого культурного уровня на население всех стран", "усовершенствованное воспитание при помощи миллионов высокореактивных умов и воле"? Мысль сразу уплощается, теряет свою мистическую многомерность - и в то же время не приобретает той политической бойкости, остроты, которая легко дается даже средней руки журналистам. Именно в этой плоскости - сплошной и безбрежной пустыни духа - лежит описание Розы Мира, того религиозно-политического учреждения, которое дало название всей книге Андреева и составляет ее самую слабую, бесцветную, вымученно-оптимистическую часть.

Но в этом, быть может, обнаруживается истинная сила того духа, который вел Андреева в его метаисторических странствиях: ничего, кроме уныния и пошлого великоления, не обнаруживает в себе та картина "прекрасного будущего", какую ему хотелось нарисовать. Если бы ему удалось вдохнуть в нее живые краски, если бы она затрепетала, повлекла за собой - еще один тонкий соблазн явился бы в мир. Но то, что не удалось Чернышевскому, еще меньше удалось Андрееву. Его художественные краски столь же аляповаты и безвкусны, как у Чернышевского, а политической остроты, которая в середине прошлого века могла раззадорить читателей вилюйского узника, у владимирского зека уже нет и быть не может. Какая острота может быть в картине счастливого будущего для людей, которые в этом будущем уже живут, испытали его на собственной шкуре, опознали план хрустального дворца в проволочных ограждениях Гулага?

Неудача Андреева в его попытке описать идеальное будущее тоже можно отнести к победам его мистического дара. Андреев пророчествует об Антихристе не только тогда, когда с ужасом изображает его грядущую тиранию, но и когда с вымученным, плоским восторгом изображает интеррелигию будущего. Бездарность гимна может столь же красноречиво свидетельствовать о его предмете, о богооставленности идеального государства, как и вопли самого неподдельного отчаяния.

## 12. Историческое обольщение: ложь опыта

И все-таки мы попытаемся обозначить одну из возможных причин андреевского "вещего" самонепонимания. Почему Владимир Соловьев, скончавшийся до революционных потрясений XX века, сумел угадать в религиозном объединении человечества пафос грядущего Антихриста - тогда как Андреев увидел в Антихристе только богорборческий пафос и противопоставил ему свою интеррелигию как истинно Божеское дело? Ведь Андреев, по сравнению с Соловьевым, был обогащен драгоценнейшим опытом нескольких революционных и послереволюционных десятилетий. И ведь именно он, Андреев, в своем трансфизическом описании русской истории глубоко раскрыл сатанинскую природу ее ленинско-сталинских эманаций задолго до тех, кто впервые "прозрел" только в 1960-е или 1970-е годы. Когда вся страна еще молилась на Сталина, и чуть позже, когда самые передовые, уже отбросив икону Сталина, еще неистовее молились на Ленина, проповедуя нравственный социализм и объявляя себя беспартийными большевиками, - Андреев писал, точно и страшно, как багровый зверь революции пил кровь из сердца своего отца, демона великорусской государственности, и затем возлагал на себя, воцарившись в Кремле, золотую корону. Андреев лучше, чем кто-либо из его современников и соотечественников, лучше, чем Мандельштам, или Булгаков, или Пастернак, понимал сатанинскую природу коммунистического государства.

Но великая печаль в том, что страшный опыт послереволюционных десятилетий не только обогащает, но и обольщает. Государство Ленина-Сталина обнажило перед Андреевым свою демоническую природу - но обмануло его насчет природы самого демонизма. Он воспринял антихристово начало именно в том виде, в каком оно преподносилось ему и его современникам, - как бешеную, злобную проповедь против Христа, как открытую борьбу с верой и Богом. Вот почему религиозное обращение неверующих и религиозное объединение всех вер казалось Андрееву самым верным средством противления Антихристу.

В предисловии к "Розе Мира" Алла Андреева хорошо объясняет

влечение своего мужа к интеррелигии, его пафос всемирного объединения церквей, как форму сопротивления господствующему атеизму его эпохи. "Все, относящееся к религии, рассматривалось как преступление. Атеизм был не просто властвующей государственной религией. Он был воинствующей, командующей, облаченной неограниченной властью программой уничтожения всего, что мы обобщаем понятием "духовный" /.../ В такое время, в такой атмосфере возникает ... живое ощущение основного противостояния: Бог - и - дьявол. И все, кто служит Богу или тихо и неумело стремится к Нему каким-либо путем - спутники ... Родившееся в отчаянии противостояние духовного братства тех, кто с Богом, во имя Бога, разными путями, но - к Богу - тем, кто против него. Вот тот трагический "экуменизм", который рождался в тюрьмах и лагерях безбожного времени" (6). В тех условиях торжествующего атеизма казалось: где есть церковь, священство, молитва, богослужение - там Антихристу уже не быть. В противоположность безбожному государству, объединенному идеей отрицания Бога, Андреев и возвестил свою Розу Мира, как религиозный интернационал, как объединение всех государств с целью осуществить царство Бога на земле. И в этом он стал жертвой тончайшего обмана, поскольку Антихрист, в глубине своего замысла, не противостоит Богу, а выступает от имени Бога, как Его двойник, как самое совершенное из всех его возможных подобий. Соловьев не имел того исторического опыта, который приобрел позже Андреев, - но зато и не был обманут грубой коммунистической подделкой Антихриста (ибо если Антихрист есть подделка под Христа, то коммунизм явился подделкой самого Антихриста). Соловьев угадал в Антихристе не врага, а именно покровителя и объединителя всех религий, с целью создать в самом себе достойный объект их общего поклонения, заменить собой Бога, стать всем для всех. В том-то и состоит гениальность Антихриста, что он преподносит себя в таких формах, разоблачение которых не затрагивает его самого, а напротив, делает еще более неуловимым и облегчает ему дальнейший путь. Антихрист - это не только ложь о Христе, но и ложь о самом Антихристе, ибо там, где ложь уже началась, она продолжается бесконечным лганьем о самой себе. Антихрист как лжеподобие Христа, создает множество своих собственных лжеподобий. Сатанинская воля открыто проявляла себя в большевистском государстве, сокрушая церкви, - но одновременно и хитроумно скрывала себя под маской этих прямых антирелигиозных действий. Теперь, когда ее привычно отождествляют с антирелигиозностью, она легче всего действует как повышенная религиозность, как такая религиозная сверхзабота, которая ищет скорейшего возвышения церкви над государством.

В том и суть, что самые откровенные проявления сатанинской воли служат одновременно ее наилучшему сокрытию, т.е. движутся одновременно и прямо, и в обход поставленной цели. И большевист-

ское государство, объявившее небывалые гонения на религию, тоже не обнажило до конца природы сатанизма, а только глубже запрятало ее. Действие сатаны - противобожеское, а сущность - лжебожеская, в расхождении же действия и сущности заключается самый тонкий обман. Сатана гонит человечество в пропасть атеизма, чтобы оно, повернув в обратную сторону, тем вернее попало в ловушку теократии, чтобы оно искало спасения от Сатаны у самого Сатаны, от его злобы и мучительства - в его покоящих и нежащих объятиях.

Многие признаки Антихриста у Андреева и Соловьева сходятся, принципиальное же расхождение - в оценке того идеального строя, который, по Андрееву, противостоит Антихристу, а по Соловьеву - возглавляется и вдохновляется Антихристом. Роза Мира, вместительница всех вер, - перевернутое изображение той эпохи, которой не знал Соловьев и которую довелось пережить Андрееву, - эпохи тотального гонения на веру. Ужас пережитой атеистической эпохи отразился у Андреева в эсхатологически перевернутой проекции как восторг грядущей теократической эпохи. Но теократия - это лишь завершение той "двухходовой" левкой комбинации, в которой атеизм - первый отвлекающий маневр.

### 13. Моральное обольщение : зло добра

Помимо этой исторической подоплеку, можно указать и на морально-психологическую подоплеку андреевской эсхатологии, хотя здесь приходится быть крайне осторожным и опираться лишь на то, чем сам автор захотел поделиться со своими читателями. Выше уже говорилось, что, по наблюдению А.Г.Достоевской, прототипом Ивана Карамазова с его комплексом неверия и компенсирующим проектом "сверхверы" был Владимир Соловьев. Теократия, в этом смысле, есть "прибавочная стоимость", выжимаемая из обладания личной веры. Проект всеобъемлющей веры, объединяющей людей в целокупное общественное тело, может исходить из недостатка личной веры и оправдываться тем логическим соображением, что личная вера - это еще слишком слабая, ограниченная форма веры. Куда прельстительнее требовать Богоначалия во всех без исключения формах действительности, чем искать и сосредотачивать его в своем маленьком сердце. Ведь и человечество всегда любить легче, чем одного человека, - так и веру легче утверждать сразу во всем человечестве, чем самому постепенно в ней утверждаться. Этот скачок от неверия к всеверию, через ступень личной веры, - характерный самообман тех порывистых, "карамазовских" натур, которые хотят в делах веры прямо из "никого стать всем", святее самого Христа, а в делах церкви - святее самого папы.

И эта же глубоко карамазовская, "подпольная", "достоевская"

черта неожиданно обнаруживается в Андрееве. В молодости он решил поставить над собой нравственный эксперимент. "Я решил практиковать, как я тогда выражался, "служение Злу" - идея, незрелая до глупости, но благодаря романтическому флеру, в который я ее облек, завладевшая моим воображением и повлекшая за собой цепь поступков, один возмутительнее другого. Мне захотелось узнать, наконец, есть ли на свете какое-либо действие, настолько низкое, мелкое и бесчеловечное, что я его не осмелился бы совершить именно вследствие мелкого характера этой жестокости... Поступок был совершен, как и над каким животным - в данную минуту несущественно. Но переживание оказалось таким глубоким, что перевернуло мое отношение к животным с необычайной силой и уже навсегда. Да и вообще оно послужило ко внутреннему перелому" (102).

Таков первый толчок нравственного развития. Человек совершает исключительную, невероятную, нарочно придуманную жестокость - и в нем пробуждается такое отвращение к ней, теперь он не может безболезненно переносить даже убийство надоедливой насекомого или разъятия червя с анатомической целью; тем более омерзительным кажется ему удовольствие от охоты и от рыбной ловли. Андреев - один из самых глубоких и последовательных защитников права животных на жизнь, он требует прекратить мучительное вторжение человеческой хищности в мир природы. Таково следующее, "срединное" звено нравственного развития: сострадать животным, охранять их от зла, от той человеческой "пытливости", которая так родственна пытке. "...Умерщвление и тем более мучительство животных безобразно, недопустимо, недостойно человека" (102).

Но импульс, заданный первоначальным "служением Злу", оказался слишком силен, - и толкает Андреева в противоположную крайность. Из мучителя животных он хочет стать их благодетелем: не просто щадить, но совершенствовать их, делиться с ними своими познаниями и умениями, вернуть свой долг с лихвой, заплатив не только состраданием и раскаянием, но сокровищами человеческого разума и души. Необходимо обратить животных на путь мыслящей добродетели: среди "группы мероприятий", осуществляемых Розой Мира - "особо внимательное изучение проблем, связанных с искусственным ослаблением в животных хищного начала" (107). Вроде бы, хищность и в самом деле не хороша - значит, заложенное в животных от природы придется укрощать искусственными мерами.

Сама животность вдруг оказывается главным препятствием животного на пути к тому, чем желает ему стать Андреев. "Лошадь, в умственном отношении продвинувшаяся весьма далеко..., обладает, к сожалению, свойством, мешающим ее скорому вступлению на этот путь: копытностью" (106 - 107). Да, смешна эта нотка утопического отчаяния: дескать, как несовершенен мир, как умна была бы лошадь, если бы копытность не была причиной ее отсталости! И до чего словесно неуклюжа, ненатуральна андреевская мысль: лошадь про-

двинулась далеко, но копытность мешает ее скорому вступлению на этот путь. Путь, подразумеваемый здесь, обратен пути самой природы, на который лошадь выносят именно ее копыта, делая символом скорости, как бы чистой субстанцией движения. Весь первичный слой значений перевернут, от слов торчат выдернутые корешки. Но вспомним, что к такому сверхидеалу Андреева привело отчаяние от собственного эгоизма и стремление как-то компенсировать свое юношеское злодейство. Неестественность давнишнего мучительства вдруг возрождается в неестественности доброжелательства, наивысшим результатом которого стала бы совершенная бескопытная лошадь. Вопрос в том, чем такой идеальный проект выведения лошади без копыт лучше многовековой практики забивания гвоздей в копыта - одной из форм того мучительства, против которого страстно выступает Андреев. Пожалуй, лошадь с подкованными копытами все-таки больше остается сама собой, меньше терпит от человеческого вмешательства, чем лошадь вообще без копыт...

Или вот, например, проект превращения слона почти что в муху, ради наивысшего блага самого слона и восхищения любви к нему автора. "У слона, обладающего изнурительным хватательным органом, имеется другое тормозящее свойство (как у лошади - копытность - М.Э.): его размеры, требующие громадного количества пищи. Возможно, впрочем, что наука найдет способы уменьшения его размеров и этим устранил основное препятствие к его стремительному умственному развитию. Можно полагать, что необыкновенное обаяние слона не убавится, если он, обладая даром речи, размерами не будет превышать нынешнего слоненка" (107). Эх, если бы кто-нибудь вздумал так рассуждать о человеческой природе, что для полноты обаяния ей стоило бы оставаться в детских размерах и приумножить взрослый ум в крошечном теле... А ведь Андреев негодует против науки, расчленяющей лягушек и проводящей опыты на животных - "какое моральное убожество, какое одеревенение совести слышится в этом противоестественном тупоутилитарном словосочетании: "живой - материал" (105) - и тут же сам призывает науку заняться уменьшением слонов. Пусть утилитаризм плох - но по крайней мере он относился к насилию как к вынужденной неизбежности зла, тогда как утопизм придает такому же и еще более радикальному насилию значение наивысшего добра.

Так, пролетая через "среднюю" ступень гуманного и сострадательного отношения к животным, утопизм мгновенно возносится на "высшую" ступень: переделки животного мира. И тем самым высший благотворительный импульс смыкается с начальным, истязательным, хотя по сознательной установке противоположен ему. Замучить животное из злобы к нему - или для его же блага: между этими крайностями лежит страдание самого мыслителя, его нравственное отчаяние и просветление. Но конечным звеном в этой цепи, как и начальным, оказывается страдание самого животного.

Можно, конечно, возразить: причем здесь Иван Карамазов? Такой поступок, который совершил Андреев в юности, подобает скорее Смердякову - ведь это он любил в детстве вешать кошек, а потом торжественно их хоронить, с соблюдением церковной обрядности<sup>1</sup>; это он научил мальчика Илюшу воткнуть иголку в кусок хлеба и дать на съедение собаке. Но вспомним, что Смердяков - это двойник Ивана, его темное подобие, находящее удовольствие именно в мелкой жестокости. И самое поразительное: именно для Смердякова, да еще другого мелкого беса Петра Верховенского, у Андреева находятся слова удивительного, благоговейщего проникновения в тайну подлости и пизости. "Обнаружение "искры Божией" в Верховенском или Смердякове служит плохим утешением: их преступных действий оно не оправдает и не смягчит. Дело в другом: в том, что их в какой-то мере не то что оправдывает, но заставляет нас верить в высокие возможности их потенций иррационально нами ощущаемый масштаб их ...У нас (во всяком случае, у читателя, обладающего метаисторическим мироощущением) возникает уверенность, что чем глубже спускались эти одержимые соблазном души, чем ниже были круги, ими пройденные опытно, тем выше будет их подъем, тем грандиознее опыт, тем обширнее объем их будущей личности и тем более великой их далекая запредельная судьба" (186). Получается, что оправдать Смердякова и Верховенского за их преступления, конечно, нельзя, - но они и выше всякого оправдания, не нуждаются в нем, ибо с метаисторической точки зрения они обладают духовным величием, недоступным для обыкновенных людей.

Поверим опыту самого Андреева, поверим, что из низших соблазнов, через муки раскаяния, рождаются высочайшие устремления души. И пусть Смердяков, в должном метаисторическом переосмыслении, предстанет как величайшая личность, достойная грандиозной запредельной судьбы. Вопрос в том: а не возрастет при таком увеличении духовных масштабов и сам масштаб причиняемого страдания? Так что из мелкого инквизитора-лакея вдруг вырастет Великий Инквизитор-кардинал - второй, могущественный двойник Ивана, отсекающий и бросающий в костер больные члены человечества. Из мучителя одного животного вдруг, через "расширение объема будущей личности", вырастет создатель вида бескопытных лошадей и миниатюрных слонов. Из мучителя кошек, хоронившего их с подобающей церковной обрядностью, вырастет мучитель всего человечества и глава грядущей церкви - Антихрист.

"Квазирелигия, навязанная человечеству антихристом, будет отнюдь не лишена духовности в широком смысле этого слова. Борьба

---

<sup>1</sup> "Он надевал для этого простыню, что составляло вроде бы как ризы, и пел и махал чем-нибудь над мертвой кошкой, как будто кадил". Достоевский, цит. соч., т.14, с. 114.

с духовностью нужна лишь на определенном этапе, чтобы расчистить место для разлива и всеобщего затопления умов и волею духовностью демонической, философские и религиозные формы которой ныне представить еще крайне трудно" (268). Это предсказание Андреева невольно возвращает нас к нему самому, к тайному смыслу его религиозно-философских исканий. Визионер в Дачнике Андреев приоткрывает грядущее место и значение его собственного визионерства. Вот почему эсхатологию Андреева можно назвать автоэсхатологией: она не только сознательно провозглашается, но и бессознательно осуществляется в его книге. Она пророчествует о самой себе.

*Стихи Д.Андреева - на наш взгляд - наименее интересная часть его литературного наследия. Несмотря на это, мы печатаем три никогда не публиковавшиеся стихотворения Д.Андреева в качестве приложения к статье, посвященной его творчеству, полагая, что личность философа предстанет более полной.*

*Полностью стихи Д.Андреева будут изданы в 3-ем томе его Собрания сочинений, выходящем в издательстве "Московский рабочий".*

\* \* \*

Над тальми кровлями ранней весной  
Призывные ветры нам шлет юго-запад:  
В них - жизнь непохожих народов и зной,  
Густых виноградников приторный запах.

Пьянящие образы их на лету  
Лови, и услышишь - в горячем просторе -  
Лязг якорной цепи в далеком порту  
И ропот и смех лучезарного моря.

И, в море отчалив, сплуют издали  
Соленые, пестрые, рваные флаги  
Про женщин тебе неизвестной земли,  
Про гавани, бури и архипелаги.

Мечта зазвенит, как натянутый лук,  
В младое скитальчество, в мир многолюдный,  
И звонкими брызгами блещущий юг  
Ворвется в твои безысходные будни.

И станет постылым знакомый причал,  
Твое ремесло и поденная плата...  
О, бросить бы жизнь на кочующий вал,  
Поверив лишь морю, как старшему брату.

Но ветру и волнам, их вольной хвале  
Ответишь ты страстным и жалобным стоном,  
Прикован, недвижим, - как кедр на скале -  
Меж синью морей и песком раскаленным.

\* \* \*

Сколько ты миновал рождений,  
И смертей, и веков, и рас,  
Чтоб попять: мы земные сени  
Посещаем не в первый раз.

Эту память поднять, как знамя,  
Не всем народам дано:  
Есть избранники древней памяти,  
Отстоявшейся, как вино.

Им не страшны смертные воды,  
Заливающие золотой путь...  
Как светло у такого народа  
Глубокая дышит грудь!

Будто звезды в облачной ткани,  
Словно жемчуг на смутном дне  
Цепь рассветов и увяданий  
Ныне брезжит сквозь смерть и мне.

## ВОСХОЖДЕНИЕ МОСКВЫ

Тот, кто лепит подбигами бранными  
Плоть народа, труд горячий свой,  
Укрывал столетья под буранами,  
Под звездами воли кочевой.  
Тело царства, незнакомо с негою,  
Кренло в схватках бури боевой,  
Где моря играют с печенегами,  
Где поля гудят под татарвой.

И призвал он плотников, кирпичников,  
Тысячами тысяч, тьмою тем,  
Бут тесать для сводов и наличников,  
Укреплять забрала белых стен.  
С давних лет водителями горными  
Труд могучий был благословлен  
Это созидалась плоть соборная  
Для души - сосуд ее и плен.

День вставал размеренно и истово,  
Свежестью нетронутой дыша,  
Жития с молитвой перелистывал  
И закатывался не спеша.  
Что завещано и что повелено,  
Знала ясно крепкая душа,  
И брала всю жизнь легко и медленно,  
Как глоток студеной из ковша.

И в глуши, где ягод в изобилии,  
Где дубы да щедрая смола,  
Юной белокаменной лилией  
Дивная столица расцвела.  
Клирным пением сменялись гульбища,  
Ярмарками - звон колоколов;  
Золотом сквозь нищенское рубище  
Брезжили созвездья куполов.

1949 (?)

*Публикация А.А.Андреевой и Б.Н.Романова*

**Евгений ЕРМОЛИН**

---

---

## ЗОНА ПРЕМИАБЕЛЬНОСТИ

Слова у нас, это известно, ветшают, как платье. Но неужели все подряд - от самого неважного до самого важного? А если не все, то отчего сегодня в литературе так много слов ветхих и мертвых, как иссохшие прошлогодние листья? Откуда литература берет необветшавшие, свежие слова, падающие в душу тяжелыми виноградинами? И где этот виноград?

Упали тиражи литературных журналов, пропали куда-то многие их читатели, зато появилось много литературных премий. Премии приобрели небывалое и экстраординарное значение в литературной жизни. Перипетиям выдвижения, присуждения и вручения посвящаются глубскомысленные статьи, хлесткие комментарии, телесюжеты, радиопередачи... Полушутя-полусерьезно стали говорить, что литература вступила в премиальный период. Откуда этот странный поворот? И как связаны премиальные бум, шум и столпотворение - и тишина вокруг, словно ватой обложило литературную среду? Поразмыслим об этом.

Десять без малого лет перемен дали возможность убедиться в том, что "литпроцесс" - это именно тот поток, в который никак не удастся ступить дважды. Все в литературе волшебным образом переменялось, вчерашние мерки оказались бесполезными, вчерашние намерения улетучились, бывшие знаменитости куда-то запропали. И только

---

**Евгений  
ЕРМОЛИН**

— родился в 1959 году в д.Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Кандидат искусствоведения, преподаватель Ярославского педагогического университета. Автор литературно-критических и культурологических статей, книги по истории Ярославля.

старательные учителя словесности еще по инерции надиктовывают в тетради школьников обтекаемые фразы о сомнительных классиках советской литературы. Автор сам приложил руку к развенчанию дутых величин в российской словесности. Жалеть об этом не приходится. Но когда бы только уходом в нести литературы-содержанки, литературы-лгуни проявила себя новая эпоха! Процесс пошел гораздо дальше и привел нас к ситуации неожиданной и не слишком радостной.

С литературой случился семнадцатый год. В ее взаимоотношениях с обществом произошли - одна вслед другой - две революции.

Первая освободила литературу от гнета госзаказа, от надзора и принуждения. Позорящее и государство, и литературу цензурное право первой ночи, купля-продажа талантов - вся эта легендарная советская быль стала неправдоподобней страшилкой. Это был пьянящий Февраль (достать чернил - и плакать). Самые верные русланы растерялись: сначала всех облаяли, а потом обиженно замолкли. Прочие принялись осваиваться в новой ситуации.

Нам давно говорили, что свобода - это испытание и ноша. Что путь свободы - тернистый путь. Но бесполезны теоретические наставления. А попробовать свободу на деле, в жизни, да по большому счету, без оговорок, без рамок и скобок - удавалось до поры до времени немногим. Художественное творчество - одна из самых, по определению, свободных сфер человеческой самореализации - еще недавно было едва ли не сильнее всего сковано цепями внешних ограничений. И вот литература осталась без надзора. Тут-то и пришлось увидеть, сколь тяжела бывает свобода, особенно с привычки, какими неприятностями, огорчениями и разоблачениями она чревата.

Один из энтузиастов первого переворота С.Чупринин в конце восьмидесятых оптимистически возвещал: "Наше сознание, наша культура литературоцентричны, как, может быть, никогда". Он связывал это явление с преобладанием в журналах "произведений с отчетливо выраженной социально-гражданственной и - часто - идеологической нотой" и угадывал впереди у литературы "просторы уж вовсе океанские". Теперь мы вправе спросить: не свернулся ли чаемый океанский простор до размеров чайного блюдца? Как бы то ни было, назрела и разразилась вторая, роковая революция. Следом за властью интерес к литературе потеряло и общество. Оно словно бы перестало испытывать нужду в диалоге с писателем и его творениями. Как же так вышло, что литература лишилась общественного резонанса и читательского интереса?

Разумеется, читатель и виноват. За последние годы нанорама обновлялась так разительно, что "человеку с улицы" трудно было поспеть за царским поездом литературы, утекающим в неведомую

словесную даль. Читатель устал, утомившись от калейдоскопической динамики имен и названий. Он теперь смотрит очередную "Санта-Барбару" и читает на ночь детективы...

Сконструировав образ публики-дуры, одни высокомерно отказались принимать ее в расчет, другие взялись творить дополнительный шум вокруг своих имен в расчете на любопытство массы. Хороши здесь, скажем, политические скандалы, имидж социально опасной личности. И нельзя отказать в остроумии писателю, актуализировавшему амбивалентную символику шинели. Многие писатели выходили из гоголевской "Шинели" - а вот Э.Лимонов ее надел и носит - по праву сильного.

Впрочем, иным литераторам "заниматься скандальной саморекламой воспитание не позволяет". Для таких панацея - премия. Полезность ее критик А.Архангельский обосновывал путем риторических вопрошаний: "А разве не нуждаются сочинители в интересе публики к их сочинениям? Разве не нуждаются в том же просвещении издатели? Разве нормальна сложившаяся в перестроечные годы ситуация, когда у всех на слуху имена писателей, давно переставших писать или пишущих все хуже и хуже... а тех, кто активно работает в сегодняшней словесности, знают лишь специалисты?"

Итак, премия нужна, чтобы привлечь внимание заинтересованных лиц к се литераторам? Должно быть, так. Но это только часть правды. В нынешней ситуации, когда литература и общество идут порознь, премия оказалась чуть ли не единственной меркой значительности того или иного труженика пера. И здесь таится источник огромной власти, потенциал давления на уязвимую душу художника. Не знаю, будут ли завтра сочиняться шедевры специально в расчете на какую-нибудь премию. Может быть, и не будут. Но новая форма зависимости писателя появилась, это факт. Так что отсутствие грубых внешних форм принуждения вовсе не освободило литератора от более тонких и даже иногда рафинированных уз.

Если не играют больше никакой роли госзаказ и читательская реакция, то зато непомерно большое значение приобретает мнение узкого круга знатоков, экспертов, ценителей. Неслучайна эта газетно-журнальная шумиха. Включился механизм лоббирования. Процесс присуждения премии уподобился политической, избирательной кампании. И пресса здесь оказалась мощнейшим оружием литературных партий и групп. Заманчивой стала казаться роль эксперта, способного безапелляционно заявить о том, кому нужно давать премию, а кому ее давать не стоит. Критик не на посту и не в лакейской, где хотели бы его видеть (и зачастую видели) в советское время. Критик - на банкете или в предвкушении одного. Конечно, профессия критика всегда была немного сродни гурманству и гастрономии. Но никогда так близко не стояли впечатления от произведений и блюда банкетной кухни от букеровских и прочих щедрот.

Свой вкус и у членов разных жюри, людей часто весьма почтен-

ных, но и весьма пристрастных, подчас судящих о литературе либо сугубо теоретично, либо чересчур политично. Члены жюри до поры до времени молчат, критики-эксперты довольно навязчиво "предсказывают", кто возьмет верх. А где-то затевается уже и нечто вроде тотализатора. "Ставим на Ермакова!" - провозгласила одна газета, выбрав его имя среди претендентов на премию Букера-93. (Через несколько дней выяснилось, что ставка бита).

В результате определяющую роль начинает играть, как показал наш опыт, не столько качество текста, сколько логика его взаимодействия с культурными реалиями и агентами. Писатель и произведение должны быть премабельны.

Не будем говорить обо всех лауреатах. Среди них много шестидесятников, имена которых не требуют рекламной подсветки. Но есть и другие фигуры, не столь рельефно пропечатанные в истории отечественной словесности. Так, в 1989 году гамбургский фонд Альфреда Тепфера учредил премию для русских писателей, внесших выдающийся вклад в литературу, премия получила имя Пушкина, что логично. И вот несколько месяцев назад мы узнали, что очередными ее обладателями за совокупность литературных заслуг стали Д.А.Пригов и Тимур Кибиров. Случай почти мистический. Весьма немногие читатели в России имеют представление о величине и характере литзаслуг этих двух поэтов. Несколько небольших публикаций не дают возможности разобраться, действительно ли так велик их вклад в литературу, чтобы осенять его именем Пушкина. (Авторский сборник Пригова я увидел недавно на московском прилавке, а в провинции читающий народ лишен и этого! Так применил ли на сей раз гамбургский фонд гамбургский счет?)

Косвенные данные свидетельствуют о том, что Пригов - человек далеко не глупый. Он с толком может порассуждать о литературе и даже о жизни, печатается в "Московских новостях", размышляя о событиях сентября-октября 93-го года в Москве. Но в стихах интеллектуальный багаж востребован Приговым только для того, чтобы сконструировать банальную социальную маску - а затем поэт надевает ее и носит, не снимая, по сути - отказывается от своего лица. Стихотворения Пригова - имитация монотонного примитива. Пишутся они от имени простоватого советского пиита, пропустившего через себя и отразившего в стихе штампы официальной пропаганды. Игра с советскими идеологическими клише и составляет суть пригововского метода.

Вот, для примера, одно стихотворение из "Апофеоза Милицанера", где с нарочитым косноязычием воспевается идеальный социальный агент:

Какой убыток государству  
Когда названный бедный люд  
В рабочий час труда вместо  
Гуляет, шляется и пьет

Так кто ж ему подаст пример?  
О, только ты, Милицанер  
Как столп и символ государства  
И волею исполнен страстной  
Возьмешь их, как в святом бою  
Под руку сильную свою.

В этом есть какой-то духовный изъян. Художник в своем творчестве изводит себя на фальшь, умножает то, что является мнимостью само по себе; советскую идеологию и пораженного ею, как раковой опухолью, человека, как бы лишившегося сущностного начала, духовного ядра. Это мир самодовлеющей лжи, прислужником которой волей-неволей становится поэт, потерявший дистанцию между собой - и своим амплуа. Разумеется, автор-"концептуалист" не обходится без тщательного умозрительного обоснования своего приёма. Однако фантомность приговских произведений (едва ли не всех без исключения) есть вполне самодостаточный факт. Он очевиден и не зависит ни от субъективной творческой задачи, ни от других личных качеств человека, который величает себя на торжественный лад, полным именем-отчеством - Дмитрий Александрович Пригов.

Отчество, что ли, спровоцировало экспертов фонда Тепфера? (Так сказать, от А.С.Пушкина до Д.А.Пригова - путь русской поэзии...) Или произошла более серьезная абберация? Может быть, премию теперь дают не за текст, а за контекст. Текст - мнимость, которую непосвященный того и гляди перепутает с малодаровитыми виршами поэта-соцреалиста из какой-нибудь районной газетки, певца пустоты, отщепенца бытия, не знающего и понаслышке о том, что есть истина. Но в контексте - Д.А.Пригов, москвич, эстет и насмешник, чуть ли не внутренний эмигрант. Словом, специфический продукт особой культурной среды, характерный представитель позднезастойного подполья.

Премирование шестидесятников часто является способом запоздалого признания их давних заслуг. Есть подозрение, что та же самая логика сработала и в случае с Приговым. Премией отмечена творческая принципиальность поэта (а в его лице и всей андерграудной среды застойных лет): отказ от участия в легальной, подцензурной словесности, от литературного успеха, от творческих компромиссов. Возможно, именно эти добродетели и составили заслугу Пригова перед русской литературой. И тут нечего было бы возразить, если бы... Если бы не стихи Пригова и не его новая культурная роль - роль мастера, метра, законодателя литературной моды.

Когда рухнули пышные декорации советской литературы, из потемок вышли художники задержанного поколения, как правило, изолированные от читателя в минувшую эпоху. И вот они, пожалуй, уже претендуют на ведущее положение в литературе - по причине вышеназванных заслуг, да и просто в силу возраста, нерастраченной

жизненной и творческой энергии.

В литературе сегодня неразбериха. Направление литературного движения уловить очень трудно. И все же одна, пусть пунктирно обозначенная тенденция явно стоит за многими критическими оценками, за практикой отбора имен и произведений для поощрения, за упоминаниями и умалчиваниями в прессе. И связана она с критериями Подполья. Здесь - исток принимаемых на веру максим, намеков на поощряемые поэтику и метод. Нелегко было устоять перед диктатом цензуры, оставить надежды на публикацию, на читательское признание. Еще труднее сопротивляться моде. С ней не сопряжена неизбежность бед и лишений, но зато остракизм постигает того, кто отваживается не считаться с мнениями модных авторитетов, с "общим гласом" газетных обозревателей, с шерохами редакционных коридоров и шелестом околотитулярной молвы. Премия - необходимый компонент единого механизма литературной моды, который запущен и работает ныне на полном ходу. И меня никак не оставляет ощущение, что многие произведения возникают сегодня как дань этой моде. Литературный опыт позднесостойного подпольного поколения диктует норму вкуса, и норму далеко не бесспорную. Об этом уже немало сказано в критике. Попробуем и мы вникнуть в болезни модной литературы.

Есть в настоящей литературе веяние истины, которым проникаешься сразу. Истина покоряет, не спросясь. Способность охватить в символическом образе простор бытия - результат подлинного творческого взлета, прорыва к первоосновам. Вот чего вы почти не увидите в модной литературе. Она - как подчас ни притворяется, как иногда даже ни старается - обычно лишена символической емкости. Символ имеет бытийное основание, выражает собой нечто сущностное, передает истину в образе. В нашей же литературе господствует знак: простое обозначение абстрактного понятия, культурной условности. Знаки позволяют манипулировать собою, как кому заблагорассудится. В нашем случае эта манипуляция подчинена головному расчету, связана с алгебраическими (а то и проще, арифметическими) счислениями. Ремесленник высокой марки, конструктор-рационалист - очень характерная фигура в нашей современной литературе. Когда это сочетается с культурной оснащенностью и изобретательностью, появляется мастер, которому открыты не только двери солидных редакций, но и перспективы премирования.

Оба произведения-лауреата британской премии Букера ("Линия судьбы, или Судучок Милашевича" Марка Харитонов и "Стол, покрытый сукном и с графином посередине" Владимира Маканина) построены, по правде сказать, в основном на рационалистических приемах и знаковых формулах. Смысл романа и повести исчерпан тем, "что хотел сказать автор"; результат адекватен предварительно заданной программе. В этих произведениях нет дополнительной,

независимой от умысла, от субъективного намерения глубины. (Больше того, целеустановка автора без труда улавливается и по фрагменту. В сущности, нет необходимости читать текст целиком).

Харитонов, напоминая читателю, придумывает такую конструкцию: провинциальный преподаватель Лизавин по бумажным обрывкам, по отрывочным фразам и случайно зацепленным фактам воссоздает житейский обиход и мирозерцание литератора первой четверти XX века Милашевича. Автор старательно выстраивает сюжет разгадывания исторических загадок. Проблема однако в том, что томления и поиски героев, их духовный опыт не имеют большей значительности. Персонажи, пожалуй, слишком зависимы от автора, отпущены погулять на слишком коротком поводке. Их житейские уроки и запасы их мудрости отчего-то невелики. И в какой-то момент по ходу повествования прирост информации становится совсем ничтожным. Автор, по сути, толчет воду в ступе, превращая роман в изящный стилистический орнамент.

Искусство Харитонова - тщательная филигрань, кропотливое, длительное рукоделье. Автор блеснул начитанностью в русской и мировой литературе, гибкостью тренированного языка. Художественный результат, однако, не слишком значителен; как мне уже приходилось писать в "Континенте", роман лишен подлинной духовной глубины. Это вещь декоративно-изысканная и утонченно-пустоватая, хотя и созданная с лучшими намерениями.

В романе Харитонова весьма приблизительно реконструирована историко-культурная среда 10-20-х гг. Подобных изделий на квази-историческом материале немало. Скажем, возможный претендент на Бухера-94 Михаил Шишкин в романе "Всех ожидает одна ночь" с похвальной стрательностью воссоздает и лексику, и образный строй русской прозы XIX века. Наидобросовестнейший подмастерье дарит читателю эталонный образчик художественной мимикрии. Очень подробно Шишкин рассказывает о герое-идеалисте, офицере, а затем чиновнике первой половины XIX века, который пытается улучшить жизнь, но постепенно расстается с утопиями юности - и утопает в хаосе и нелепостях российской действительности, пропадает, как иголка в стог сена. Герой вполне зауряден, обывательская хроника его трудов и дней довольно скучна, несмотря на философствования о России и свободе.

Один критик предположил, что роман - это притча о России, которая извечно - большевистский концлагерь, где не выжить свободному человеку. С тем же успехом можно вычитать у Шишкина и другое: свободомыслящие люди России не нужны, от них одно беспокойство. Автор как будто блуждает где-то между этих идей, ни к какой в итоге не притулившись. И вышло то, что вышло: строй жизни неизбывен и неизживаем, бунтарство смиряется силой обстоятельств, личность ничего не значит и ни за что ответить не может, хотя бы и за предательство. Унылый фатализм здесь не столько

художественное следствие выстраданного авторского опыта, сколько результат полной неопределенности авторской позиции, туманности авторского понимания человека и истории, дефицита непреложных ценностных ориентиров.

Роман Шишкина - лавка древностей. По крайней мере - объемистый сундук, переполненный траченным молью барахлом. Здесь огромное количество самоценных подробностей: бытовых мелочей, характеристических черточек, всяческих примет, повадок и привычек. На первой странице романа появляется, скажем, тетушка - "старая девушка с костылем и черепаховой табакеркой". Потом она промелькнет еще несколько раз, постепенно старея, приобретет еще две-три приметы, - но это и все, что мы о ней узнаем. Человека определяет черепаховая табакерка - вещь сама по себе, конечно, занятая, но не говорящая о личности своей владелицы ничего важного и никак не участвующая в дальнейшем развитии действия. Следом возникает юродивый Андреюшка, он пригодится автору только раз, но и про него сказано кое-что забавное. Это "злой дурачок, лаявший на всех и евший только с земли, стоя на четвереньках". И так далее, и так далее...

Что же, декорации роскошны. Фон прописан на диво густо. Однако этот ряд наружных подробностей как будто заслоняет собой духовный смысл повествования. В этой смеси ослабляются конфликты, снижается значительность противоборств. В серой водице нескончаемых мелочей растворяются мучительные драматические напряжения. Не диво, что персонажи романа вышли вполне заурядными, что главный герой мелок и неинтересен, а обывательская хроника его трудов и дней довольно скудна.

Застревают в памяти очерковые фрагменты быта. Опознаются экспонаты коллекции культурных топосов, матричных ситуаций, историософских суждений, заимствованных из сокровищницы отечественной литературной классики: детали офицерской и чиновничьей жизни, семейные тяготы, романтические треугольники, болезни и пр.

Роман Шишкина - как озеро. Или, точнее, - как огромная лужа. Всего в ней много, а глубина - всюду по колено, не больше. Вода стоячая, а если и движется, то хаотично. Это парадоксальное следствие абсолютизации техники рассказывания, или хотя бы ее гипертрофии. Автор владеет гладкой речью, умело подбирает эпитеты, но не научился управлять, как следует, потоком бытия. Он только насливал туда разных микстур и снадобий. Вышло пестро, но в этой пестроте потерялись все концы, пропала идейная определенность. Духовный облик героя размыт, расплывчат, как изображение на телеэкране при плохом приеме станции вещания: никак не наведешь его на резкость, сколько ни трудись. Концептуальность этого романа не столько духовная, социально-философская, сколько техническая. Искусство Шишкина и Харитонova - это прежде всего искусство

исполнителя-виртуоза, постоянно подтверждающего уровень своей квалификации, владения художественными средствами, эрудиции и усидчивости.

Олег Ермаков с романом "Знак зверя" долго считался главным претендентом на Букера-93. И неудивительно: молодой писатель - большой искусник. Он начитан в западной литературе, владеет культурой слога, мастерски строит сцену, диалог и т.п., знает жизнь, о которой пишет. Большой эстет, талантливый подражатель. Но великолепные средства несоразмерны скромной цели. Эстетические изыски, чернушная хроника, мифологические реминисценции, лирические шоки не стянуты ободом глубоко продуманной концепции, мир романа распадается на фрагменты.

Спешу оговориться: это вовсе не требование головной идеи, интенсивно подверстывающей под себя образы. Художник создает не рационалистическую конструкцию, а целостный, заверченный мир, высвеченный изнутри единством нового видения и понимания жизни, проникновения к сокровенным истинам. Рассудку известно, что новых истин не бывает. Но тайна искусства в том и состоит, что извечные формулы бытия обновляются в нем, наполняясь новой плотью. Смысл бытия испытывается оригинальным жизненным материалом, вековая истина проходит радикальную проверку в неповторимом опыте художника, в опыте его героев. Здесь и теперь, как впервые, постигаем мы суть вещей. И только во взаимодействии с этой сутью, с глубиной бытия человек обретает себя, убеждается в своем наличии - не на уровне всевозможных комплексов и стрессов, а как онтологическая реальность. Он встает на прочную почву, с которой его не унесет никаким ветром. Эту возможность нельзя упустить.

Пока однако житейская правда и очерковая подлинность в романе Ермакова не получают духовного обобщения. Не состоялась генеральная проверка человека и найденных им оправданий своего бытия в экстремальных условиях. Волей-неволей Ермаков, подобно Шишкину или Харитонову, приходит к фаталистическому мироощущению. В романе об афганской кампании жизненная данность, которая им изображена, оказывается единственно возможной, безальтернативной. Человек у Ермакова обречен быть пешкой в плену у обстоятельств, орудием социальных монстров. Но этого ли добивался писатель? Сомневаюсь. Не хочется в это верить. Скорее его техника, не обеспеченная четким духовным вектором, сыграла с ним злую шутку, увела туда, куда сам автор вряд ли забрел бы по своей доброй воле.

Нечто подобное, пожалуй, приключилось и с определившимся букеровским лауреатом 1993 года Владимиром Маканиным. Кажется, в "Столе..." он пытался создать повесть экзистенциального характера, анализировать положение человека в мире. Вышло однако нечто иное. Маканин устраняет сюжет, рассматривая с разных

сторон одну ситуацию: разбирательство, дознание и судилище где-то на службе или в связи с нею. Ситуация пропущена через психику персонажа-жертвы. Автор описывает тактику допрашиваемого, его психологические реакции, мании и фобии, а также мотивы поведения, уловки, реплики и манеры "эзекуторов", классифицирует их (социально яростный, секретарствующий, партиец, старик, красивая, седая в очках и т.п.). Маканин все туже и туже накручивает вокруг ситуации беседы-допроса, дознания, паутину психологических переживаний, сомнений, страхов. Фиксируются болезненные реакции мнительного, рефлексизирующего интеллигента на вмешательство посторонних лиц, агентов тотального общества, в его личную жизнь. В повести есть характеристика советского образа жизни как социальной болезни, есть социально-этические антиномии и психологические комплексы личности. Возникают, однако, сомнения, так ли уж необходимо было ради решения этих благородных задач взывать к теням Кафки и Беккета. Так ли уж нужно изобретать тот прием, который организует практически бессюжетное повествование, кругами возвращая читателя к одной и той же точке пространства, где человек застыл перед своими мучителями, восседающими за столом, вынесенным в название повести. Ведь конфликт у Маканина носит социальный, но не бытийный характер. Повествование скользит по социопсихологической плоскости, не переходя в более важный план, к анализу человеческих взаимоотношений как бытийного феномена.

По-моему, прием у писателя намекает на большее, чем тот дает. Если человеческая жизнь безысходно кружит вокруг стола, за которым сидят "палачи", то не вправе ли мы предположить, что она уже обратилась в ад, и этим адом является "другой" (по меткому определению Сартра?) Собственно, таким может быть экзистенциальный потенциал абсолютизированного Маканиным приема. Но к такому выводу писатель, кажется, вовсе не готов. Он взял прием на бырофт.

Виктора Пелевина, получившего премию Букера за сборник прозы, дружные похвалы критиков, пожалуй, обрекли на роль "главного открытия 93-го года". Но что открывает нам сам Пелевин? Это изобретательный фантазер, у него много блестящих выдумок, остроумных технических находок. Но очевидна самоцельность многих изобретений. Всерьез же Пелевин заявил о себе в основном как социальный памфлетист. И человека он заключает в рамки самодовлеющей социальности, обычно ущербной. Критик Михаил Золотопосов справедливо сказал по поводу рассказа "Миттельшпиль" о "вкладе Пелевина в разработку темы "Образ коммуниста в литературе СНГ": "при запутанных обстоятельствах встречаются две валютные проститутки, внезапно их тянет друг к другу, после "фер-лямур" выясняется, что до операции обе были мужчинами. Василий Цирук был секретарем райкома комсомола, а Андрон Пав-

лов был его замем по оргработе и посыл кличку Гнида..."

О чем бы Пелевин ни писал: о советских полетах в космос или об экспериментах Дарвина с обезьянами, о тревожнении насекомых (в жанре "все мы немного мухи и блохи") или о воскрешении нацистских летчиков советскими охотницами за женихами, - даст о себе знать эта социальная лимитированность человека, пусть и оттененная иногда сентиментальностью, иногда иронией, а иногда чем-то средним.

Некоторые критики угадывают у Пелевина гуманистическую тенденцию, решительно постулируя, что у него "литературная игра закончилась и стала литературой", что он жалест малых сих и т.п. У меня ни разу не было возможности в этом окончательно убедиться. Что-то похожее на любовь к герою у писателя иногда замечается. Какая-то даже задушевность. И правда ваша, господа: эти жемчужные зерна так редки в литературе, что хочется им просто радоваться...

Писатель-эрудит, который заткнет за пояс знатоков из игры "Что? Где? Когда?". Писатель-Великий Комбинатор. Литературный спортсмен-рекордист. Полубог... И вдруг он сходит с кастальских вершин в долину! Есть, есть повод для ликования. Если только это не померещилось. Ведь вот другой критик пишет о последней повести Пелевина "Желтая стрела", что ее автор "мало склонен к метафизике", зато ему "хватает цинизма" и уж, конечно, у него нет "ложного пафоса"...

Отчего-то дрожь в голосе выглядит сегодня как неуместный форсаж, а полет духа попадает под подозрение в высокопарности. На самом деле мастер не горячится. Горячится графоман, чудак, антик, затесавшийся в чужую эпоху. (Таков Иван Оганов, писатель, дружно нелюбимый критиками, собравший целую коллекцию упреков, где наряду с обоснованными претензиями есть и явно вкусовые: пугает его патетическая стихийность, взлохмаченность...) Горячиться нет причин, удивляться больше нечему, в мире не осталось предметов высокой страсти. Ибо все относительно.

Снова мы слышим, что литература - это игра, пространство манипуляции. Реализация игровой установки фантомизирует художественную действительность особым образом. В литературном произведении всегда присутствует доля вымысла, оно "выдуманно". Но в хорошей выдумке есть и некая непреложность, есть выражение глубинной истины, есть символическая емкость. Игровая же истина - это только точность манипуляции. В этом квазицеремониале абсолютизируется исполнение наперед заданных формальных правил. А придумывает их, как мы видели, сам художник. Причем интуиция, воображение лимитируются, заменяются остроумием и находчивостью. Творчество подменяется ремеслом. Писатель знает, что художественный шедевр есть прежде всего правильно, тщательно и технично собранное изделие. Дизайн - превыше всего. А смысловая нагрузка знака интересна лишь в той мере, в какой с нею можно

сыграть. Писатель апеллирует к культурной памяти знаков, извлекая оттуда интересные ему значения. Он эксплуатирует культурную родословную тех объектов, которые попали ему под перо, даже не помышляя о новой глубине, о духовных открытиях, о прозрении в суть вещей. Мастерская такого писателя похожа на мертвецкую, где размышляются на части мертвые тела и из них изготавливаются препараты и экспонаты.

Гальваническими хитростями удастся создать подобие живой реальности, живых организмов. Но они заведомо неполноценны: распластаны на игровой плоскости и неспособны к самодвижению. Сходство с живущими достигается в результате использования остаточной жизненной энергии знаков, не сбросивших целиком свой смысловой объем, вспоминающих о том, как они были когда-то символами. Отсюда заметная склонность писателей такого рода к историческим сюжетам, нелюбовь их к сегодняшней, становящейся жизни. Если современность и берется предметом изображения, то она наполняется какими-то вторичными, неоригинальными знаками с культурным прошлым. Писатель слишком от них зависим, слишком привязан к этому культурному осадку - как к наркотику. Без него его произведения превратились бы в разновидность абстрактных логических манипуляций.

Созданный таким образом мир лишен опоры и бытия. Лишен всяких гарантий - чистая игровая фикция. Здесь человек - только марионетка. Он не свободен, а следовательно, вовсе и не человек, но лишь зыбкий призрак, имеющий человеческую оболочку. Герой-зомби - типичное порождение писателя-игрока. Самое забавное происходит, когда автор перекладывает свой грех на какого-нибудь персонажа. Так, в романе Анатолия Курчаткина "Стражница" жизненные соки из зомбированной героини сосет... чуть ли не Михаил Горбачев, генсек ЦК КПСС и президент СССР.

Зона манипуляции автономна. В игре есть обязательность - не только внутри этой зоны. Вне же ее результаты игры не имеют силы, не могут влиять ни на какой внешний ход вещей. И это в принципе освобождает игровую литературу от ответственности за свое содержание. Ее создатель неуязвим для критики с духовными критериями. "Изнасилование русской да и священной истории", - пишет Ирина Роднянская о романе Владимира Шарова "До и во время", извлекая из него какие-то серьезные идеи: "Россия - родина маньяков и самозванных мессий; русские утописты Федоров, Скрябин - прямые предтечи Ленина и ленинцев..." Напрасный труд. Шаров только играл, талантливо провоцировал в испытанной традиции литературных кощунств, когда "раскрывал тайны" прошлого, рассказывал о темных делах в институте природной гениальности и невероятном родстве Льва Толстого и его сына-брата Льва Львовича, выводил на авансцену г-жу де Сталь, исполняющую функции универсального медиатора: сия искушенная сладострастница совращает мальчика

Федорова, производит на свет Иосифа Сталина, становится любовницей композитора Скрябина, задушевного собеседника В.И.Ленина, связуя тем самым теорию революции с ее практикой...

Каюсь, я, когда писал о предыдущем романе Шарова "Репетиции", по наивности предполагал, что писатель заинтересован в истине. Я ошибся. Созданный Шаровым мир является безотносительной к истине конструкцией. Это мир всецело условный и произвольный, включая и сакральные вещи и понятия. А потому более обидными и болезненными для писателя должны быть прозвучавшие упреки в низком профессионализме: роман нестройный, рыхлый, действия нет и т.п.

Более искушенная в секретах ремесла Татьяна Толстая не дает оснований для того, чтобы принять ее фантазию за действительность, когда в одном из последних своих шедевров, рассказе "Сюжет", сводит выжившего на дуэли (а отчасти и из ума), состарившегося и всеми забытого Пушкина с маленьким сорванцом Володей Ульяновым и извлекает из этой казусной встречи ряд довольно забавных следствий. За проказу Пушкин отлупил Володю палкой по голове, и жизнь мальчика пошла иначе: он сделался консерватором-ортодоксом, монархистом, дослужился до больших чинов и министром уже "все не за свое дело брался. То столицу предложит в Москву перенести, то напишет "Как нам реорганизовать Сенат и Синод"... А особо норовил переустроить Смольный Институт: либо всю мебель зачехлить в белое, либо перекрыть коридоры".

Очевидная неправдоподобность сюжета, полное отсутствие претензий на пересмотр российской истории остановили тех, кто в другом случае не преминул бы обвинить писательницу в кощунстве. Меж тем, нужно отдать Толстой должное: она обнажила ту условность, которая часто притеняется и затушевывается в работах многих наших беллетристов.

Здесь уместно, пожалуй, будет ответить на критику моей статьи о духовной и творческой эволюции писателей-деревенщиков Валентином Курбатовым в журнале "Москва" (изложение см. в "Континенте", №78). Оставлю в стороне произвольные обвинения в мой адрес и случайные, не идущие к делу ярлыки; утешусь тем, что пострадал от тяжелой руки Курбатова за компанию с Достоевским - это даже лестно. О главном: Курбатов как бы берет под защиту от врагов "деревенскую школу". Странная, однако, защита. Он категорически не хочет видеть того кризисного положения, в котором оказались деревенщики. А этого и слепой не заметит. Критик настойчиво убеждает нас, что патриархальная этика - лучше всякой прочей. Позволю себе смиренный вопрос: в каких палестинах находит сегодня г-н Курбатов таковую этику в ее первозданно-незамутненной чистоте? Где довелось ему наблюдать неповрежденно-целостный строй патриархальной жизни?

Есть в литературе жанр утопии. Но его роль все же невелика,

второстепенна. Есть проза эсхатологического содержания, тоже, в общем, маргинальная. Вот в этом порочном кругу утопий и эсхатологий и будет вертеться писатель, если он захочет следовать советам Курбатова. Станным образом иной деревенщик смыкается тут с авангардизмом новейшей складки. Оба манипулируют готовыми знаками, культурными условностями, очень мало задумываясь об истине. Умозрительные конструкты навязываются живой реальности. Символическая глубина образа теряется и подменяется идеологической маркировкой, знаковыми манипуляциями. Писатель не испытывает истину, пропуская ее сквозь толщу современной жизни. Он навязывает читателю свое готовое, предвзятое мнение об этой жизни. Подобная сказка приключилась, например, с Василием Беловым в его идеологическом романе "Все вперед".

Так отмирает литература, служившая средством выражения истины, - и начинается произвольная игра фикциями, муляжами, музейными древностями. Неудивительно, что на словесности такого рода всегда лежит печать эпигонства, в ход здесь идет старый строительный материал, подчиняемый умозрительной схеме.

Мир тотальной мнимости заразителен. Художественные ценности перестают быть исключением. Всегда найдется эксперт, который скажет: а мне нравится! Вот нравится же критику Ефиму Лямпорту писательница Валерия Нарбикова, в чьей прозе он не находит изъянов, выделяя ее из всего списка претендентов на премию Букера. И, судя по всему, симпатизирует Нарбиковой не только Лямпорт, если ей удалось преодолеть две ступени отбора и только чьи-то подлые происки по формальным признакам устранили ее повесть "Около эколо" из шестерки финалистов. А нехило бы смотрелась лауреатом Букера эта инфантильно-манерная проза о роковых влечениях, которые реализуются в неизбежных плотских актах. Проза, как сказано в рекламной аннотации к сборнику Нарбиковой, "о сексуальной раскрепощенности молодых людей сегодняшнего дня".

Прием Нарбиковой - иноговорение: обо всем сказать по-новому, о простом замысловато, о банальном затейливо и непресно. Всюду - претензия на оригинальность. "Борис обнимал свою девочку, которая была уже не девушкой, и то, что он у нее был не первый, и то, что она у него была не первая, во-первых то, что во-вторых у него это была первая любовь..." - и еще строк пять подобной ахинее, до точки. В поиске такой оригинальности Нарбикова теряет и сюжет, и смысл повествования, успевая, однако, подробно изложить какую-нибудь мерзкую чушь об "Андрюше", монстре, который вылупится из яйца черной курицы, если туда своевременно влить сперму, чем и занимаются два великовозрастных оболтуса в "Около эколо"... Я бы сказал, что повесть - это авангардный вариант извечной дамской прозы, с ее извечной ограниченностью и с новейшими пороками: полным этическим релятивизмом, апофеозом вседозволенности, по-

разительной духовной пустотой. Если Нарбикова стремилась обновить жанр таким вот образом, она своего добилась.

Когда взрослые люди без остатка отдаются игре, у них не остается времени, чтобы жить. Условный, эфемерный мир не знает гибели всерьез. Игра не спасает, и в этом ее коварство. Скорее уж она искушает. В игровом мире современной литературы все легализовано и все обнародовано. Не осталось места сокровенному, потаенным глубинам, надеждам, мечтам и чаяниям. В незабвенном прошлом соцреализм бесконечно искажал и вульгаризировал отношения человека и Бога, обобществлял сферу интимных чувств. Теперь же в игровой литературе все просто-напросто уравнивается па плоскости и выставляется напоказ. Такая игра выворачивает наружу и ее организатора, меняет состав веществ в душе экспериментаторов. Пробы оставляют там осадок, а иногда и вовлекают ткача словесной мишуры в авантюры. От художественной провокации недолго и вполне закономерный путь к жизненной игровости. Его уверенно прошел, например, тот же Эдуард Лимонов, известный охотник до всевозможных пряностей. Он в итоге выбрал игровой политический ангажмент. А вот известный апологет постмодерна Вячеслав Курицын пропагандирует неангажированность художника - и в жизни примеряет эту роль: "... на выборах, увы, не бываю: неохота". Не становится ли при этом человеческая жизнь ничуть не привилегированной конструкцией среди других игровых конструкций?

Литература ушла в игру. И тот самый премиальный процесс, который стал ее непременным спутником, - не вариант ли игры? Причем, кажется, вариант предельно жесткий. Произведение редуцируется до чисто внешних своих сторон: подвергается формальным манипуляциям, отборочным процедурам, презентациям... А выражаемая им истина и тайна творческого процесса естаются в стороне. Убийственно характерен газетный заголовок к публикации списка претендентов на премию Букера: "Тайн стало меньше - жить стало веселее"...

Какое будущее ждет нынешнюю литературную моду? Не нужно быть оракулом, чтобы предсказать ее скорый конец. В сущности, она и сама живет ощущением конца, эсхатологической точки. В ней есть бессознательная преемственность по отношению к кризисным явлениям европейской культуры Нового времени - явлениям, знаменующим его закат, роскошное и кровавое зрелище которого растянулось на весь XX век. Нередко современный писатель - преемник мастеров соцреализма, этой насквозь сочиненной, умозрительной литературы, неумело драпирующейся в ткани жизнеподобия. А та, в свою очередь, наследовала литавангарду 10-20-х годов с его пафасом конструкции, ремесла.

Богоборческий авангардный рационализм давно, казалось бы, обнажил свою нищету. Давно, казалось бы, открылись последствия

шумной кампании за утверждение человекобога, которому дозволено заявлять о себе любыми способами. Но ремесленный вывих в литературе так и не вправлен. Не изжита насильственная власть схемы, технического изобретения, головного приема над образом, который под этим гнетом выпадает из бытийного универсума и теряет свой символический потенциал. Вдохновение подменяется секретами мастерства.

Рассудок изобретателен. Он умеет маскировать себя. Он готов жертвовать жесткой логикой сюжета, даже идти против грамматических норм, готов имитировать при случае буйное неистовство и священный восторг. Но уши Мидаса торчат. Прием остается приемом, эрудиция - эрудицией, техническая грамотность не в состоянии убедительно выдать себя за мудрость творца.

Адепты и пропагандисты современной литературной моды усиленно модернизируют крой и фасон, ищут на Западе актуальных аналогов. Увы, и Запад часто живет сегодня инерционной памятью о прежних культурных событиях и потрясениях, так же находя этим усталым воспоминаниям, этому старческому перебиранию иссохших форм и выцветших манер приличное оправдание и наименование. Здесь не начало, не рассвет над полем битвы, не заря небывалого дня, как это пророчат некоторые наши постмодернисты. Здесь - конец культурной эпохи.

Заметим, что и условия существования и формирования нынешнего литературного истеблишмента наложили двусмысленный отпечаток и на его творческое лицо, и на современную литературную ситуацию в России. Рискну утверждать, что задержанные литераторы лелеют идеи и мысли, которые вполне были уместны в дружеском кругу, за вечерним чаем, но которые явно оказались мелковаты, когда их вынесли на суд читателя. Как порой ощущается на газетно-журнальных страницах спертость прокуренного воздуха, скованность жеста в тесном помещении, приглушенность голоса, искажения в тоне и ритме, стиль намеков и экивоков! Как пугающе натуральны пролежни давно неактуальных для общества забот и слов!..

Можно припомнить, как давил на человека советский воздух. Под этим прессом движение духовных энергий замедлялось, уходило в окольные русла. Выражение духовного опыта затруднялось, да и сам он, вероятно, искажался. Так и складывался язык и стиль культуры. В литературе сегодня неугаимы эти родимые пятна застойного прошлого: тогдашние конвенции, пристрастия, ориентиры. Но плоды кухонной мудрости почти ничего не говорят современнику. Они страшно быстро превратились в мертвый, или по крайней мере эзотерический язык, в герметическую абракадабру, мало кому интересную и едва ли многим необходимую.

Масштабы определились, и тот же Пригов фигурирует ныне в одном ряду с такими же пересмешиками Иртеневым и Вишневым - и всем им большую фору даст Губерман. Значительность индиви-

дуальной судьбы сокрыта для нас, поэзия же Пригова обернулась не слишком находчивым виршенлетством "крокодильского" пошиба. Стихи оказались чересчур зависимы от ситуации, их породившей. Это - рок поколения, в котором оказалось слишком мало творческих личностей, способных и выразить культурный пафос подполья, и - перешагнуть за его порог, выйти на свет Божий.

Иногда кажется, что шанс на это есть у пушкинского лауреата Тимура Кибирова. Залог - в остроте и болезненности его реакций на уродства жизни, на поругание человека и осквернение мира. Увы, тут есть некий ступор. Поэт цепенеет от своих впечатлений, как под взглядом Медузы Горгоны, - и стихи его превращаются в каталог кошмаров, замыкаются в кольцо безнадёги. Возникает искушение и здесь видеть инерцию старой социокультурной позиции, логику приёма, превращающего поэта в безынициативную губку, вбирающую хаос впечатлений и затем выпускающую его на бумагу в непреображенном виде - со всей грязью, а то и понлилкой будней.

Пахнет дело мос керосином,  
Керосинкой, сторонкой родной.  
Пахнет "Шипром", как бритый мужчина,  
И, как женщина, - "Красной Москвой" (...)  
Вкусным дымом пистонов, карбидом,  
Горем луковым и огурцом,  
Бигудями буфетчицы Лиды,  
Русским духом, и страхом, и мхом.  
Заскорузой подмышкой мундира,  
И гостинницей в Йошкар-Оле,  
И соляркою, и комбижиром,  
В феврале на холодной заре!..

Тем же путем проникают сюда и монструозные советские мифы и реалии. Этот бред мазохиста-отщепенца, затерянного в Союзе одиночки, отчаянно пережевывающего свое родословие, редко преодолевается у Кибирова, а следовательно - невозбранно множится, и только.

Характерен феномен социальной индифферентности многих литераторов этой волны. Я уже говорил об игровом характере неангажированности. Но у нее есть и исторические корни. Пропагандист этой позиции Надежда Ажгихина однажды широковысказательно провозгласила: "Литература наконец мучительно обретает собственно литературную функцию вместо былой социально-религиозной". Я совсем после этого поник головой и только все гадал: где же, в чем состоит эта "мучительность"? А потом догадался: это - родимое пятно, воспоминание о подполье, когда неангажированность толковалась иной раз как свобода от идеологических цепей, которой человек добивался не без труда. Часто - ценой добровольного отказа

от общественной работы, от своих гражданских прав, а то и обязанностей.

Но цепи давно упали сами. А борьба с ангажементом осталась. Согласно Ажгихиной, Курицыну и К<sup>о</sup>, время духовной и общественной барщины для литературы навсегда кончилось. Но вот печаль: литература-рукоделье, не нагруженная значительным содержанием, ставшая прихотью мастера, - не привлекает внимания. Оказалось, что ею слишком легко насытиться - и пресытиться. Как говорится, делу время, а потехе час. Мелкие и ничтожные забавы художников слова не вызывают у читателей энтузиазма. Оно и понятно. Претензии на самостийность в этой ситуации, может быть, просто фиксируют отщепенство, невостребованность литератора.

Складывается миф элиты. Перестав быть общепартийным и общегосударственным делом, литература становится крошечным междусобойчиком, занятием узкого круга избранных, допущенных, посвященных. А всенародная слава этим жрецам искусства как бы - воленис-поленис - и не нужна. (Все равно ведь ее не дождешься!) Опять же сказывается и привычка к тесному застолью, где нет чужих. Тонко эти мотивы выражены в рецензии Елены Веселой на книгу стихов Тимура Кибирова. Богат поэт, указывается здесь, друзьями - "каждому из них посвящена одна из поэм в книге. Поэты Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский, художник Семен Файбисович, живущий в Мюнхене Игорь Померанцев стали собеседниками Кибирова... Слава Богу, ... книги все же выходят. Страшно элитарные. Не для всех: Да всем и не достанется".

Как видим, изъян умело превращен в достоинство. Внутри своего круга так и положено. Еще из кухонь и подвалов литераторы вынесли дух спайки, основанной на общности жизненных и творческих ориентаций. "Они сидят в кружок под низким потолком, изучены их речи и манеры" - все свои да наши, милые, домашние, уютные люди. О чем им спорить, ругаться, дискутировать? Серьезная творческая полемика, имеющие важное духовное значение споры нынче не приняты. Быть может, потому, что это небезопасно: а ну, как король, которого так тщательнo, так умело и грамотно наряжали, окажется на поверку голым? А мы еще не во всех журналах отметились, не все премии получили...

Ситуация опасна самоудовлетворенностью литераторов. Но есть, наверное, несоримый ход вещей. И в минувшем году неслучайно, думаю, звучали слова о скуке в литературе, об утомлении от литературных игр. Критик Михаил Золотонос, например, однажды долго шпынял разных авторов, которые "попытались заняться игрой (литература - это игра), однако выяснилось, что взрослым людям, со всех сторон окруженным заботами взрослого мира, играть скучно, неинтересно, недосуг, не дoстает времени и умения; игра оказывается фальшивой, лишенной азарта": "Как играть?" - вопрос, который встал сегодня с той же остротой, с какой некогда стоял вопрос "Что делать?"

Да, вчерашняя по духу литературная продукция и нынче настойчиво ищет если не читателя, то спонсора, а архаичная творческая ориентация объявляет себя последним писком моды. Но есть какая-то закономерность и в том, что у многих литераторов из этой среды короткое дыхание. Несколько рассказов - репутация классика - стипендии - премия - молчание — вот путь, пройденный многими. Утомительный и неблагодарный это труд - изобретение приемов и их эксплуатация. Да и фабриковать мнимость не у каждого хватает сил надолго. Сколько ни старайся, меняя миф подполья на миф элиты, - дело это пустое. В момент, когда начальство ушло, можно даже порезвиться, похулиганить, разбить пару стекол. Звона-то, батюшки! Но это только пара стекол.

Сам сегодняшний триумф задержанных литераторов порой сомнителен. Победа далась им без боя, успех - без серьезной конкуренции. Есть ощущение, что они удачно попали в историческую яму. Проклятое прошлое закончилось, будущее не наступило. Действительность сегодня слабо сконструирована, неиерархична. Это живой, копошащийся хаос. Гигантский клубок, из которого торчат сотни нитей. Опасный, а то и отвратительный мир мерзавцев, проходимцев и хриstopродавцев. Классический Конец Века: впечатление изжитости, исчерпанности культурных форм двадцатого столетия - и нарастающее желание перемены, обновления.

Литература слабо чувствует и плохо формулирует этот запрос времени. Она вся в прошлом, вся в детских слезах: оставьте нам наши игрушки! Легко увязнуть в новом хаосе, попасть в воронку социальной энтропии. Художник сегодня живет в чаду бытия, может быть - даже в аду. Но и "ад" - еще не небытие. И здесь, в суровых битвах повседневности, он может и должен силой творческого духа усмирить чудовищ, внести лад и строй в какофонию текущих дней. Эпохе нужен художник, который пробудит волю к новой жизни в обездуховленном, выхолощенном, почти нежизнеспособном обществе. Жалкие обрывки реальности, миражи и фикции современного существования он свяжет силой духа и разума, он проникнет интуицией в те глубины бытия, где еще не иссякли ключи жизни, и найдет там живые слова.

Уже бесконечно старомоден и до смешного провинциален наш литературный "авангард" (он же "постмодерн") - запоздалый, уродливый выкидыш минувшей большой эпохи. Тайная меланхолия гложет его авторов, и нет в этой прозе подлинной веселости, нет простых радостей бытия, нет ощущения полноты жизни и высокой участи, а есть ущерб и порча и гримасы исторического зла. Но кроме истории у нас есть еще в запасе вечность. В свете ее всякое зло, сколько бы его ни накопилось, все же заклеяно и обречено. И только умертвив в себе жажду неба, можно беззаботно и до конца эксплуатировать реальность и культуру, переводя то, что еще хранит память об идеале и несет боль от его поругания, на капризы. Зерно на труху, бедную жизнь - на безделки.

Писатель Александр Иванченко в своем романе "Монограмма" изрек: "Достоевский, Кьеркегор, Ницше и другие только стояли у пропасти, только заглядывали в бездну - мы жаждем слышать из ее глубин". Сказано хлестко; напоминает, впрочем, и известный анекдот о Западе, который стоит на краю пропасти - и смотрит вниз: чем мы там занимаемся? Но если всерьез, то ведь нет таких бездн, которые бы не измерил падший человек. Самонадеянно и смешно претендовать на открытие новых. Голосом человека говорит сама бездна. А свой подлинный вес слово приобретает в тот момент, когда становится ощутима головокружительная глубина грехопадения, когда слово рвется, что есть сил, из бездны вверх - к Тому, Кто Услышит.

Не вечно мы будем прозябать на дне котлована. Зреют большие и, может быть, роковые события. Наше тяжелое время - канун чего-то небывалого. Наша эпоха - героическая эпоха, когда писатель только и может показать, на что он способен, чего он стоит. Костер истории не щадит культуру, какие бы соблазнительные и рафинированные формы она ни принимала. Но в византийских церковных гимнах слышится временами отзвук эллинской лиры. Срок жизни современной литературы за редким исключением недолог. Но, может быть, ее далекое эхо отзовется в поэзии грядущего века.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА "КОНТИНЕНТА"

---

## ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

*СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, КРИТИКА;  
РЕЛИГИОЗНАЯ, ФИЛОСОФСКАЯ, ИСТОРИКО-  
КУЛЬТУРНАЯ МЫСЛЬ;*

*СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА;  
МЕМУАРНЫЕ, АРХИВНЫЕ, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ  
ПУБЛИКАЦИИ;*

*РЕПУБЛИКАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.*

*В этом номере мы предлагаем читателям второй (пробный) выпуск нашей новой рубрики - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА "КОНТИНЕНТА". Первый выпуск был напечатан в предыдущем номере, и там же вступительной статье мы подробно разъяснили идею рубрики, ее задачи и границы. Поскольку настоящих выпуск преследует те же цели, что и предыдущий, и мы так же заинтересованы в читательских откликах и пожеланиях, редакция сочла целесообразным и этот выпуск предварить теми же разъяснениями, которые мы полностью и воспроизводим из прошлого номера.*

Идея рубрики связана с тем, что современный читатель, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкую область современного культурного процесса, должен быть прежде всего ориентирован в нем - обладать информацией хотя бы обо всем наиболее значительном, что произошло и происходит в интеллектуальной и художественной жизни страны. Понятно, что собственными силами реализовать эту потребность весьма трудно - хотя бы уже по причине весьма большого - и все более увеличивающегося - числа периодических изданий, отражающих и формирующих этот процесс (даже если брать только самые известные). Между тем, ни один из современных литературно-художественных журналов (не говоря уж о газетах) сколько-нибудь регулярно и полно такой информацией своих читателей не снабжает.

Задача нашей рубрики и состоит в том, чтобы предоставить русскому и зарубежному читателю "Континента" такую возможность - стать для него полезным и достаточно надежным ПУТЕВОДИТЕЛЕМ по современному литературному процессу и по современной общественной мысли, по мемуарным, архивным и документальным историко-культурным публикациям и републикациям, в изобилии появляющимся на страницах нашей прессы.

Разумеется, решить эту задачу посредством хоть сколько-нибудь обстоятельного аналитически-оценочного рецензирования всего того материала, на охват которого рассчитана наша рубрика, практически невозможно. Да и вряд ли необходимо. Поэтому мы выбираем иной

путь - сжатого, но по возможности содержательно-смыслового и информативно-точного аннотационного представления читателю этого материала. Мы намереваемся поставить дело таким образом, чтобы в каждом номере "Континента" наш читатель имел возможность познакомиться именно с таким - аннотационным - обзором российской журнальной и газетной прессы за предыдущие три месяца (в соответствии с периодичностью выхода нашего журнала, четыре раза в год) - с тем, чтобы непрерывность такого обзора обеспечивала ему возможность постоянно быть ориентированным в текущем культурном процессе.

Не требуется, видимо, пояснять, что даже и посредством сжатого аннотирования охватить сколько-нибудь полно весь тот материал, который тематически соответствует разделам нашего ПУТЕВОДИТЕЛЯ, тоже практически невозможно. И мы, разумеется, вполне отдаем себе в этом отчет. Поэтому мы сразу же, заранее, вводим в наш ПУТЕВОДИТЕЛЬ некоторый ряд ограничений, которые и будут определять его характер.

Во-первых, мы намерены ограничить поле нашего аннотационного обзора только в е д у щ и м и общекультурными российскими журналами и газетами, оставляя в стороне многочисленные менее значительные, а также специальные издания. Тем более, что даже и без них наше регулярное обозрение будет охватывать собою около пятидесяти названий - количество, вряд ли посильное для сколько-нибудь регулярного индивидуального просмотра.

Во-вторых, что касается материалов по философии, религии, социологии, истории культуры, историософии и т.д., то здесь мы будем фиксировать и представлять вниманию читателя только то, что может иметь, с нашей точки зрения, общезначимый культурный интерес. Те же тексты, которые рассчитаны прежде всего на специалистов, мы намерены оставлять в стороне ( в первую очередь это будет относиться к материалам таких изданий, как "Вопросы философии", "Человек", "Вопросы литературы", "Искусство кино" и т.п.). Иными словами, наш ПУТЕВОДИТЕЛЬ будет рассчитан прежде всего на того широкого читателя, который захочет быть ориентированным в российском культурном процессе в целом, в его стержневых и общезначимых проявлениях, а свои специальные и, может быть, профессиональные интересы способен удовлетворить иным путем - через обращение к соответствующим специальным изданиям.

Тот же принцип мы будем применять и в других разделах нашей рубрики БСК. При этом, впрочем, мы никак не намерены забывать о том, что такого рода общекультурная панорама литературно-художественной и интеллектуальной жизни страны многим представителям целого ряда гуманитарных профессий может быть необходима даже и специально - например, преподавателям гуманитарных дисциплин в наших вузах и гимназиях, зарубежным славистам и

руссистам. Запросы и интересы этой категории наших читателей мы тоже, разумеется, будем постоянно иметь в виду, готовя очередной выпуск нашей БСК.

В-третьих, далее, даже и среди всего того, что наши журналы и газеты печатают в расчете именно на широкую публику, а не на специалистов, мы в тех же целях будем фиксировать и предлагать вниманию читателя тоже далеко не все. Но - лишь то, что считаем наиболее значительным, представляющим собою не частный, а общий интерес, а потому и заслуживающим, с нашей точки зрения, внимания широкого читателя. Так, например, если говорить о потоке публицистики на политические, социальные, экономические и прочие общественные темы, столь обильной в наши дни, то здесь мы планируем аннотировать по преимуществу только статьи принципиального, проблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление стержневых процессов, характерных для сегодняшней России и имеющих определяющее значение для ее сегодняшних и завтрашних судеб. Что же касается бесчисленных и разнообразнейших материалов, обращенных к сегодняшней политической злобе дня, к событиям ежедневной социальной, экономической, гражданской жизни, к экономической конъюнктуре и т.д. и т.п., - то освещение всего этого, мы полагаем, никак не может входить в круг наших задач. Не только потому, что это превышает наши возможности, но и потому, что и по самой сути дела эта область представляет собою для каждого из нас, российских граждан, область нашего собственного, устоявшегося и всегда достаточно четко фиксированного сугубо индивидуального отбора, очерчиваемого кругом той ежедневной прессы, которую мы выписываем и читаем.

Точно так же и в области литературно-художественной критики мы планируем информировать наших читателей лишь о тех работах, которые носят обобщающий проблемный характер, будучи обращены либо к концептуальному осмыслению текущего литературно-художественного процесса в целом, либо к анализу тех или иных заметных течений в нем, либо к переосмыслению каких-то крупных явлений и периодов развития нашей литературно-художественной культуры в прошлом. Точно так же не пройдут мимо нашего внимания и содержательные концептуальные статьи, обращенные к творчеству крупных мастеров нашей художественной культуры или даже к отдельным их произведениям, - равно как и к действительно ярким, достойным внимания новым именам. Но мы, естественно, оставим совершенно в стороне весь более частный материал отдельных рецензий, ограничиваясь, может быть (если только того пожелают читатели), лишь общим сводным списком произведений и книг, отрецензированных за соответствующие три месяца в обозреваемых нами изданиях. Такой список - если, повторяем, этого пожелают наши читатели, - мы также будем регулярно печатать.

Итак, именно потому, что наш ПУТЕВОДИТЕЛЬ, наша БСК

ориентируется на читателей широкого общекультурного запроса, исходной установкой рубрики будет установка на определенную избирательность представляемого и аннотируемого материала.

Сознательно ориентируя наш ПУТЕВОДИТЕЛЬ установкой именно такого рода, мы, конечно, отдаем себе отчет в том, какую ответственность перед нашими читателями мы тем самым на себя принимаем. Ведь отбирая для представления читателю только то, что, на наш взгляд, наиболее интересно и достойно его внимания по своему содержательно-качественному уровню, мы будем руководствоваться при таком отборе отнюдь не только теми более или менее простыми содержательно-тематическими и проблемными характеристиками материала, о которых шла речь выше и которые поддаются более или менее объективной фиксации. И на отбор, и на аннотирование отобранного так или иначе окажут, разумеется, свое воздействие и те более глубинные, менее поддающиеся какой-либо наглядной формализации критерии, которые связаны уже с самой системой духовных, культурных, эстетических ценностей, отстаиваемых "Континентом" и определяющих направление всей его работы. Так, например, это непременно скажется при аннотировании прозы и поэзии, ибо при всем стремлении к предельной информационной объективности представления читателю такого рода текстов, наше хотя бы самое общее оценочное отношение к ним не сможет не найти своего выражения, так или иначе наложить на аннотацию свой общий отпечаток - уже хотя бы тем, что мы сочли именно данный текст достойным отнесения к тому ряду, который, с нашей точки зрения, заслуживает внимания читателя. И мы вполне отдаем себе отчет в том, что здесь - как и в других случаях - неустраняемая наша "субъективность" будет, следовательно, вступать в определенное противоречие с той важнейшей для всякой информативной службы обязанностью, которая заключается в предоставлении потребителю объективной информации.

Однако противоречия подобного рода абсолютно неизбежны в сфере культуры, не существующей для нас вне целостного к ней подхода. Более того, противоречий этих и не нужно стараться избегать. Нужно только, с одной стороны, не прятать, не скрывать свою субъективность, которую все равно скрыть до конца никогда не удастся, а с другой - не выпячивать ее в ущерб всему тому, что может быть передано через более или менее объективные характеристики.

Именно так мы и будем пытаться решить эту проблему - ни в какой мере не претендуя на "полную объективность", ничуть не затемняя того факта, что это именно наш ПУТЕВОДИТЕЛЬ, Библиографическая Служба "Континента". И вместе с тем - стремясь дать всякий раз предельно точное, адекватное представление о реальном содержании, характере и даже, когда это важно и возможно, о жанровой и стилистической среде аннотируемого текста.

Более того, мы будем стремиться к достаточной широте и терпимости и при самом отборе материала для аннотирования, включая в его состав даже и такие тексты, которые, может быть, и не выдерживают наших собственных содержательных и эстетических критериев, но выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном обиходе такие тенденции и такие течения, которые пользуются заметным общественным вниманием и характерны для нашего времени хотя бы отрицательно.

Итак, открывая в нашем "Континенте" новую рубрику, мы, как видит читатель, вполне отдаем себе отчет во всех тех трудностях, которые ожидают нас на этом пути, - даже при всех наших самоограничениях и учитывая все заранее выставляемые нами оговорки. Но, конечно, нам хотелось бы надеяться, что наш ПУТЕВОДИТЕЛЬ в конце концов завоюет все-таки репутацию надежного и нужного нашим читателям библиографического раздела, сочетающего определенность "субъективных" редакционных критериев с предельно возможной информационной объективностью в освещении аннотируемого материала. К этому, во всяком случае, мы будем стремиться. А получится ли это у нас и как получится, - судить читателю.

Однако именно потому, что и читатель, думается, тоже не может не быть заинтересован в том, чтобы новая рубрика оправдала себя, он должен - ибо может - нам помочь. Ведь дело, которое мы затеваем, - дело совершенно новое, непривычное, соответствующего опыта у нас почти нет, хотя разного рода традиции, тянущиеся еще из XIX века, здесь тоже, конечно, имеются. Поэтому нам очень важно было бы получить от читателей журнала как можно больше советов и откликов на первые выпуски новой нашей рубрики. И поэтому же первые два выпуска мы предлагаем именно в качестве пробных, рассчитанных прежде всего на то, чтобы дать читателю представление в первую очередь о самом типе задуманного библиографического обозрения, но не обнимающих еще всю полноту задуманных разделов и планируемого в будущем состава обозреваемых изданий. Так, выпуск БСК, помещаемый ниже в данном номере, как и предыдущий, охватывает только два раздела - художественную прозу и литературную критику и всего лишь 18 изданий (главным образом - журналы). Но зато - тоже, как и в прошлый раз, за целое полугодие (на этот раз - второе) истекшего года. В полном объеме - и в диапазоне уже не шести, а трех предшествующих каждому выпуску номера месяцев - рубрика начнет функционировать лишь с № 80 (второго за 1994 г.), где читатель получит обзор российских журналов и газет за первые три месяца 1994 года. К этому времени мы, надеемся, получим уже достаточное количество читательских откликов и пожеланий, которые помогут нам окончательно выработать структуру новой рубрики, а в дальнейшем, по мере привлечения к работе над ней новых сил, - расширить и ее тематику.

Итак, мы хотели бы знать, в какой мере способен удовлетворить наших читателей тот тип библиографического обзора, которые мы предложили им в прошлом и в этом номере на материале художественной прозы и литературной критики первого и второго полугодия 1993 г. Нужны ли такие обзоры, полезны ли они? Какие пожелания читатели могли бы в связи с этим высказать?

Предлагаемый ниже обзор охватывает вышедшие во втором полугодии 1993 г. журналы "Волга", "Дружба народов", "Звезда", "Знамя", "Иностранная литература", "Молодая гвардия", "Москва", "Наш современник", "Нева", "Новый мир", "Октябрь", "Север", "Согласие", "Урал", "Юность", а также "Литературную газету", "Московские новости" и "Независимую газету".

## 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Для журнальной прозы второй половины 1993 года по-прежнему (см. предыдущий обзор БСК) характерно обилие произведений, так или иначе повернутых к *исторической теме*, что объясняется, видимо, неиссякающей актуальностью обращения к историческому опыту в контексте тех больших, "проклятых" вопросов, которые задает себе и всему миру сегодняшняя Россия.

Так, В. Л и ч у т и н в книге "Крестный путь" ("Наш современник", № 10-12), второй части трилогии "Раскол" (первая часть - "Венчание на царство" - печаталась в журнале "Советская литература" - 1990, №№10-12), отдает свое художественное внимание переломной эпохе русской истории - XVII веку с его никоновскими церковными реформами, в которых писатель видит истоки многих сегодняшних бед. Густая вязь словесно-нарядного письма, усеянного архаичной и диалектной лексикой, воссоздает вековечный своеобразный уклад поморской слободы, таежный быт поморов-охотников, поставщиков ловчей птицы для царской охоты, обиход монашеского пустынножительства. Герои включены в строй общерусской жизни и духовными нитями связаны с Москвой, с царскими и патриаршими палатами, где патриарх Никон, впадая то в гнев, то в юродство, ведет глухую полемику с царем, расширяя церковную власть до пагубных пределов, внося душевную смуту, раскалывая духовное единство русского государства. Один из главных героев романа инок Федор после четырнадцати лет монашеской жизни начинает осознавать, что православная вера подвергается порче: то в храме отпевают торгового человека, а черти вокруг гроба устраивают пляски, то на новой богослужебной книге, присланной патриархом Никоном, выступают бесовские морды, а когда монах бросил книгу на пол, она "поначалу налилась кровью", а потом почернела как головня - и т.п. Инок уходит от нечистоты в скит, но и там

достаёт его мирская жизнь в лице соблазнительницы Олисавы, одержимой бесами.

Среди многих других персонажей в романе действуют, кстати сказать, и представители поморского рода Лычутиных, - черта, характерная сегодня тоже не для одного Лычутина. Если в предшествующие десятилетия интерес писателя к своей родословной ограничивался, как правило, ближайшей историей семьи, поскольку дальнейшее углубление в века могло обернуться непредсказуемыми и нежелательными открытиями, то теперь он сменился стремлением к восстановлению утраченной родовой памяти, к выяснению своих корней, к "легализации" своих предков, которые в качестве действующих лиц вводятся в историческое повествование - а тем самым и в контекст русской истории.

Так, к своему родоначальнику обращается и Н. Н. Б о б р и н с к и й в романе "Сын императрицы. Сцены из жизни графа Алексея Григорьевича Бобринского" ("Москва", №№ 8-9), беллетризованном жизнеописании внебрачного сына Екатерины II и Григория Орлова. Впрочем, прослеживая жизнь своего героя от рождения до смерти, писатель не делает попыток представить его героической личностью или историческим деятелем. Более того, его герой скорее неудачник, в силу особенностей характера и воспитания оказавшийся не на высоте надежд, возлагаемых на него матерью-императрицей. Екатерина II, как показано в романе, умела подчинять свои, не очень горячие, материнские чувства государственным интересам и не умела прощать обманутых надежд и сыновних дерзостей. Автору, собственно, нет дела до исторических заслуг его героя, в котором он склонен видеть искупительную жертву за родительский грех. Куда более, чем карьерные или светские успехи его далекого предка, простодушному повествователю, который рассказывает о своем герое в неприятельно-традиционной манере, с неторопливой обстоятельностью вовлекая в круг своих персонажей многих известных исторических лиц, интересны мотивы его поступков, особенности характера, психологический склад, возможные черты фамильного сходства.

"Сцены" могут привлечь любителей исторической беллетристики.

Повесть И. П ъ я н к о в а "Станичный колокол. Эпизоды на краю империи" ("Москва", № 12), также свидетельствующая о поисках автором своих родовых корней, представляет собой фрагментарное повествование, в котором художественно "оживлены" скупые строки послужных списков и иных документальных свидетельств об истории Оренбургского казачьего войска, сохранившихся в архивах. Писатель обращается к тем эпизодам из жизни казачьей общины - основание Оренбургской крепости, создание Оренбургской военной линии, восстание Пугачева и т.д., - в которых принимали прямое или косвенное участие его предки.

Традиционными задачами исторической беллетристики, воссозда-

ющей облик прошлого, ориентирован и роман Михаила Ш и ш к и н а "Всех ожидает одна ночь" ("Знамя", №№ 7-8). По форме это записки старика, отставного провинциального чиновника первой половины XIX века, по содержанию - рассказ о тогдашней жизни с тщательной реконструкцией исторического быта, с любовными, политическими, моральными коллизиями, с анекдотами и рассуждениями. Слог перенасыщенного подробностями романа-губки кропотливо стилизован "под старину". Стилизованно-"исторична" и сюжетная коллизия: автор представляет нам героя, которого постепенно заедает среда. Освобождаясь от зряшных, неприменимых в жизни теорий, чиновник Ларионов притирается к обыденности, входит в круг простых житейских забот. Вместе с тем дебютная большая форма М. Шишкина не лишена претензий на философичность, попыток вывести некую формулу типичного существования типичного "западника" в условиях России.

Внимание сегодняшних исторических писателей все больше начинает привлекать, видимо, и история русской церкви - в лицах и событиях. Во всяком случае, некоторые публикации последнего полугодия подтверждают эту тенденцию. Здесь прежде всего следует назвать "Северную Фиваиду. Сказания о святом Александре Свирском чудотворце и его учениках" В. И. П у л ь к и н а ("Север", №11) - стилизованное воссоздание жизни и трудов православных подвижников русского Севера, канонизированных в качестве общерусских или местно-чтимых святых. Перед нами конец XV века, чистая христианская жизнь отрока Амоса, в иночестве нареченного Александром, его жизнь в скиту, строительство в Александров-свирском монастыре первого храма Святой троицы, чудеса, творимые святым, явление святому старцу Александру и послушнику Андрею Пресвятой Богородицы и т.п. события. Повествование движется в русле канонических житий, в их стиле и интонации, и обогащается (и оживляется) привлечением исторического и фольклорного материала - легенд, преданий, сказок, поверий.

Малоосвоенной в русской литературе жизни провинциального сельского духовенства посвящена повесть И. М. М а л е и н а "Устинушка" ("Москва", №12) - рассказ о детстве, пришедшемся на 1830-1840-е годы, - рассказ, написанный неким акцизным чиновником в 1909 году для своих детей и хранившийся в тверском архиве. Текст составлен живо и просто, без литературных претензий, но тоже с очевидной ориентацией на житийную литературу. Глазами мальчика Устинушки, сына бедного сельского дьячка, многодетная семья которого жила в глухой деревушке тверской губернии, показана трудовая жизнь семьи и царящая в ней нравственная гармония, воспитание детей, типы и нравы сельского причта, взаимоотношения с крестьянской средой.

Как и в предыдущем полугодии, журнальная историческая проза дает образцы и более прямой, нередко специально выявленной

"переклички" избранного исторического сюжета с нашей современностью. Так, "Конспект частного расследования" Юрия Д а в ы д о в а под названием "Заговор сионистов" ("Знамя" № 12) продолжает в этом отношении художественные искания, обозначившиеся в предыдущей повести того же автора - "Зоровавель" (см. обзор БСК в прошлом номере "Континента"). Это опыт такой же художественно-исторической эссеистики, где автор, щегольски используя знание мельчайших подробностей быта николаевской эпохи, свободно ассоциируя их с советскими реалиями, легко и весело, в шутливо-иронической манере ведет рассказ о созревшем, кажется, у Бенкендорфа плане переселения евреев в Палестину - с тем, чтобы получить там русский плацдарм.

Противоположный образец "современной" обработки и нацеленности исторического сюжета (но благодаря этой своей противоположной нацеленности, обретающей и определенную репрезентативность для современного литературного процесса) являет собою роман А. Б а ю к а н с к о г о "Прикрыть знаменем, вернуть шпату" ("Молодая гвардия", №№ 7-8). Он исполнен в традиции, характерной для "воениздатовской" прозы, и рассказывает о героической судьбе капитан-командора Ивана Прилуцкого, выученика Петра I, помнящего его заветы и превыше всего ставящего благо России. Герой вступил в схватку с временщиками-иноземцами при дворе Анны Иоанновны, за что поплатился каторгой, но в царствование Елизаветы был возвращен, сделан адмиралом и губернатором Сибири, где со славой и кончил свою жизнь - в назидание потомству.

Советский период русской истории тоже представлен в прозе обозреваемого полугодия рядом произведений, среди которых следует назвать прежде всего первую книгу романа Булата О к у д ж а в ы "Упраздненный театр" ("Знамя", №№ 9-10). По форме это семейная хроника, рассказывающая о детстве писателя на Арбате, о его родителях-большевиках, активных строителях нового общества, о соседях по двору, о кавказских родственниках. Жизнь воссоздана подробно - с мелкими деталями, переживаниями, словечками, жестами, что в совокупности дает яркую картину эпохи (20-30-е гг.). С любовью выписывая реалии, воссоздавая облик многочисленных персонажей, Б. Окуджава постоянно возвращается к осмыслению драмы революционеров-идеалистов, которых ослепила идеология, заставив играть в театре эпохи двусмысленные роли. Роман привлекает полнотой воспоминаний и грустной мудростью сегодняшнего авторского комментария.

К началу 1930-х годов, к периоду всеобщей коллективизации возвращает читателя роман Н. С к р о м н о г о "Перелом" (книга 3-я, "Север" №№ 7-9. Первая книга была опубликована в журнале "Север" №№ 10, 11, 12, 1986 г; вторая - в №№ 5,6,7, 1989г.) В многоплановом повествовании, неторопливом, уверенном и обстоятельном, тяготеющем к шолоховской традиции, множество лиц -

низовые и краевые партработники, хозяйственники, чекисты, колхозники, кочевые казахи, украинские "спецпереселенцы", обживающие казахскую степь. На всех уровнях идет обновление власти - правоверных большевиков-идеалистов с революционным прошлым сменяют жестокие и исполнительные демагоги. Насильственная коллективизация выглядит как палаческий эксперимент - вполовину обезлюдившие села, вымирающие от голода "точки" спецпереселенцев и кочевые казахские аулы, ставшие жертвами компании по оседлости, тюрьма и лагеря, набитые невинными людьми. Главный герой, вчерашний активный участник гражданской войны и раскулачивания, ставший председателем колхоза и обещавший односельчанам счастливую и зажиточную жизнь, становится лагерным зеком и неумолимо идет к мысли, что в его судьбе виновата не партия, в правоту которой он уже не верит, не новые люди, пришедшие к власти, а он сам. Содеянное зло возвращается к человеку, предъявляя свой счет за те беды, которые он причинял людям.

Повесть Б. С п о р о в а "Письмена тюремных стен" ("Наш современник", № 10) - свидетельство бывшего политзека, продолжающее "гулаговскую" тему и относящееся ко времени после разоблачения "культа Сталина", которое было, по словам автора, временем "терпимого режима", когда "ни один зек не умер от голода". Краткие бытовые зарисовки, методы "перевоспитания", характеры и типы зеков и охранников, лагерные сны и "тихие думы". Автор видит в лагере "чистилище", где человек может избавиться "от слепоты и дурмана", открыть то, на что "в обычных условиях можно потратить всю жизнь", обрести путь и указать его другим.

В какой-то мере с историческим подходом к недавней действительности связана и содержательная структура таких двух разных вещей, как повесть Юлию Э д л и с а "Сия пустынная страна" ("Октябрь", № 7) и "Экологический роман" Сергея З а л ы г и н а ("Новый мир", № 12). Повесть Эдлеса - это почти мемуарная семейная хроника, воссоздающая своеобразный уклад жизни в румынской Бессарабии до 1940 года и исполненная ностальгического лиризма благодаря обилию любовно воспроизводимых деталей и задушевных детских воспоминаний, хотя есть здесь и драматические повороты, характерные для того времени и увеличивающие историко-познавательную ценность текста.

Роман С. Залыгина, напротив, это именно типичный роман традиционной "идеологической" схемы, главным героем которого является ученый-эколог, борец за сохранение природы Голубев, а главной сферой его романной жизни - эта самая борьба. Но автор напомнил здесь о многих этапах сопротивления безумным советским проектам переделки природы, и это придает роману звучание как бы своего рода летописи недавней советской жизни, тем более, что язык образов, бытовой живописи, исторических деталей сочетается в романе и с языком документов.

Завершая обзор прозы *исторического плана*, следует отметить, наконец, что в "Звезде" (№№ 8-9) публикация "повествования в отмеренных сроках" Александра С о л ж е н и ц ы н а "Красное колесо" завершается конспектом событий "На обрыве повествования". Это род исторического эпилога к основному тексту эпопеи, о которой см. статью Ж. Нива в № 75 "Континента".

Из прозы *мемуарного жанра*, печатавшейся в июльских-декабрьских номерах журналов в 1993 г., отметим следующие публикации:

— Второй том "Записок об Анне Ахматовой" Лидии Ч у к о в с к о й ("Нева", №№ 4-8), продолжающий прежнее, уже получившее широкое признание читателей повествование известной русской писательницы, близкого друга Анны Ахматовой. Второй том охватывает 1952-1962 г. и так же, как и первый, полон ценных свидетельств и подробностей о жизни, мыслях, настроениях великой русской поэтессы.

— Цикл рассказов недавно умершей известной русской писательницы и мемуаристки Натальи И л ь и н о й "В одной отдельно взятой..." ("Знамя", № 11) - фрагменты ее воспоминаний о разного рода нелепых ситуациях советских времен, так или иначе связанных с ее ремеслом (встречи с читателями, радиовизиты и т.п.).

— Мемуары В. Л и в а н о в а "Невыдуманный Пастернак" ("Москва", №№ 10-11), посвященные многолетней дружбе Пастернака с известным артистом МХАТа Б.Н. Ливановым, отцом мемуариста. Опираясь на письма, записки, дарственные надписи Пастернака, хранившиеся в семейном архиве, а также на собственные воспоминания, мемуарист, высказывая полемический темперамент (и мало считаясь со светскими условностями), опровергает те сознательные, как он считает, искажения, которые допустили, описывая эту дружбу, О. Ивинская и А. Вознесенский.

— Мемуары Надежды П л е в и ц к о й "Дежкин карагод", "Мой путь с песней" ("Москва", №№ 11,12) возвращающие нас к истории известной русской певицы, жизнь которой трагически закончилась в эмиграции. (Предваряет публикацию предисловие Ирины Ракши, внучки Плевической). Книга была написана в 1929 г. и содержит две повести о детстве, о жизни в монастыре, о поступлении в шестнадцать лет в балаганный хор - и начале артистического пути. Далее был триумф в России, слава и годы изгнания. Тайна, тяготеющая над смертью Плевической, не раскрыта до сих пор. (Одну из версий странного исчезновения генерала Миллера и мужа певицы, генерала Н.В. Скоблина, дает В. Н а б о к о в в рассказе "Второй режисер", опубликованном в журнале "Иностранная литература", №12, 1993 г.)

Наконец, из произведений *документального характера* назовем: "Семьдесят восемь дней" Георгия З а й ц е в а ("Урал", №6, 1993) - о последних днях жизни царской семьи. Ценность публикации в том, что события в Екатеринбурге описываются в строгом соответ-

вии с документами, которые цитируются по оригиналам. Изложение ведется в строгом хронологическом порядке - день за днем, час за часом. Вторая часть исследования повествует об истории поисков места захоронения узников Ипатьевского дома.

"Сколько стоит подвиг? Документальная повесть о писателе Юрии Домбровском" Н. Кузьмина ("Молодая гвардия", №9-10). Это воспоминания автора о Домбровском и круге его алма-атинских знакомых, а также ознакомление читателя со следственными делами писателя из архива КГБ. Однако интерес читателя, знающего книги Домбровского, к его жизни и судьбе остается неудовлетворенным - автор повести своей личностью заслоняет Домбровского, постоянно отвлекаясь от темы и пускаясь в многостраничные рассуждения по поводу политической злобы дня, в обличения находящихся у власти "мерзавцев", "отщепенцев" и "provokаторов". При этом он весьма непочтительно относится к памяти Домбровского, утверждая, что, будь Домбровский жив, он обязательно разделит бы взгляды и убеждения автора.

В прозе современной тематики по-прежнему весьма большое место на журнальных страницах занимали во втором полугодии 1993 года романы и повести отчетливо идеологической направленности, непосредственно включенные - хотя и с разных позиций - в современную борьбу идей. Особенно популярна была та тенденционная разновидность этой прозы, которая построена на конфликте полярных сил, когда автор однозначно связывает свои пристрастия и симпатии с одной из сторон, изображая противоположную сторону в самом непривлекательном виде (что делает борьбу "идей" в таком романе заведомо бесплодной).

Таков, например, роман А. Прохорова "Последний солдат империи" ("Наш современник", №№ 7-9), события которого стягиваются к кульминационной точке - к августовскому путчу 1991-го года. Главный герой (видимо, офицер разведки в немалых чинах, принадлежавший "к тонкому избранному слою аналитиков, окружавших власть") раскрывает заговор против власти, который состоит в том, чтобы "срезать" все, заманив в ловушку, и обезглавить страну, лишить ее сопротивления. Сеть заговора плетут "отвратительные старики из золоченой гостиной", и в нем, каждый со своими целями, участвуют "Первый" и "Второй" президенты. Описание заговора, набирающего силу, метания одинокого героя между "высокими кабинетами" и презентациями с целью предупредить "своих" и выведать планы "врагов" перемежаются лирическими отступлениями в "исчезнувшее прошлое", когда герой, "десантируя на все континенты", посещал "горячие точки" в самых экзотических местах планеты, "заноса в блокнот моментальные, выхваченные из дыма прозрения", попутно пополняя свой донжуанский список случайными туземками и удовлетворяя свою аристократическую страсть к энтомологии. Поражение путча становится для героя крахом его

собственной жизни. Лишенный сколько-нибудь заметных художественных достоинств, переполненный апокалиптической риторикой, связанной с изображением современности как последних времен, когда всюду разгулялись злые силы, роман показателен, однако, как выражение определенных современных умонастроений, замешанных на мифологии масонского заговора и т.п. модных фантомах.

Герой повести Ю.К о з л о в а "Геополитический романс" ("Наш современник", № 11) лишен тех жизненных благ, которые получал от коммунистической власти столь верно служивший ей герой Проханова, и, может быть, поэтому наделен более или менее трезвой самооценкой и даже чувством юмора, которых начисто лишен прохановский герой. Да и мотивы, по которым он становится в ряды "последних солдат", вызывают определенное понимание и сочувствие. Капитан, вертолетчик-ас, умеющий делать в небе все, он прошел Афганистан, потом служил в Германии, где армия, которая для него, бездомного, была родиной, на его глазах продавала себя, продавала все, что имело хоть какую-нибудь цену в германских марках. Жена с ребенком ушла к немцу за теми же марками, обнаружив ничтожество мужа, неумеющего делать деньги, и он "остро переживал это внезапно открывшееся собственное ничтожество и в то же время сознавал, что это врожденный порок, излечиться от него невозможно". Командир, боевой генерал, с которым он был в Афганистане, начинает участвовать в грязных валютных сделках. Полк если еще и держится, то разве лишь благодаря подачкам некоего новоявленного кавказского миллионера, делающего свой непонятный бизнес и высматривающего для вербовки в Закавказье лучших офицеров и технику. Капитану все равно, какая власть, но власть должна быть. И отсутствие власти вызывает в нем протест, вызревающий в бунт, но бунт этот уже целенаправлен и политически. Капитан поднимает в небо свой вертолет и над Кремлем взрывает взлетающий правительственный вертолет, в котором успевают увидеть лица двух виновников русской катастрофы...

Близок по духу этим двум романам и роман А. Т р а п е з н и к о в а "Уговори меня бежать" ("Москва", №11). Он продолжает ставший уже традиционным с начала девяностых годов список "идеологических" романов, предъявляющих "счет периоду перестройки, гласности и демократии", как характеризует это произведение в своем к нему предисловии Владимир Крупин. Сюжет романа строится на перипетиях судеб разных людей - от писателя до грузчика, населяющих обычный многоквартирный московский дом. Герои, живущие активной соседской жизнью (вместе пьют, философствуют, заводят романы, гуляют на свадьбах, разводах и поминках), становятся все более беззащитными перед искушениями уголовно-рыночной стихии, сдавая один за другим "бастионы крепости духа". Правда, вопрос о том, были ли у них "бастионы", была ли "крепость", не ставится и не обсуждается. Криминальная воронка все более

затягивает их в свой водоворот, корысть и продажность становятся нормой отношений, в том числе любовных и семейных, убийства чередуются с самоубийствами. Пожилой положительный водитель Иван ревнует свою молодую жену, "куколку" Стеллу, и когда та признается мужу в том, что зарабатывает деньги проституцией, выбрасывает ее из окна. После гибели жены Иван уходит добровольцем в Приднестровье и там пропадает. Сосед сверху, Потап, содержит бордель и воюет с рекетирами-кавказцами, именно он втягивает Стеллу в свой бизнес, за что его жестоко избивает его приятель Белый. Юлия, живущая этажом ниже провинциалка, делает карьеру от уборщицы в кинотеатре до директора и т.п. Весь этот калейдоскоп событий и судеб, кружащихся вокруг главного героя романа Никиты, носителя авторского религиозно-морального идеала и резонера, возникает на фоне обнищавшей и одичавшей Москвы, которая превратилась уже "в один большой публичный дом, не надо даже менять рубиновые звезды - своим красным светом они будут напоминать пролетающим в небе "боингам", где можно сделать посадку и развлечься". Герои по привычке еще жмутся друг к другу, но прежние связи распадаются, люди отступаются друг от друга и пропадают в одиночестве...

Абсурдным фантазмагориям сегодняшнего дня достаточное внимание уделяет и М. Попов в романе "Ванечка" ("Наш современник", №12), представляющем собой вольное литературное прочтение офорта Гойи "Сон разума рождает чудовищ". Здесь нет прямых политических аллюзий, но зато есть косвенные, которые каждый волен трактовать по-своему. Ироническая дистанция, литературные реминисценции, скрытые и явные цитаты помещают повествование в некую условную рамку, не вынуждая читателя к сочувствию и сопереживанию, но вызывая интерес к извивам сюжета и к разгадке намеков и подтекстов. В сонной расслабленной атмосфере южного приморского пансионата творится что-то неладное - отдыхающие один за другим без объяснения причин покидают пансионат. Прерывается и дремотная релаксация персонала, который состоит из разношерстной публики - каждый со своим прошлым, которое предпочитает или не афишировать, или тщательно скрывать. Причина все более сгущающегося и поначалу стыдливо скрываемого беспокойства - выходящее из моря страшное чудовище, поселившееся в сновидениях пансионатских обитателей. Чем больше людей, поочередно, "заражается" коллективным сновидением, тем тоньше преграда между сном и явью, тем зримее очертания чудовища и тем очевиднее его агрессивные намерения. Судя по разным намекам, чудовище - это вытесненное из дневного сознания общее чудовищное прошлое, в которое каждый внес свою лепту. Пока доктор, позже всех захваченный эпидемией, составляет анамнез, обрывается телефонная связь, взрывается скала, отрезая путь к бегству. Попытки организовать оборону обнаруживают свою бесполезность, среди ге-

рове появляются свои предатели-идолопоклонники, готовые пойти на сговор с чудовищем и принести ему человеческие жертвы. Далее сюжет делает поворот, смещаясь в сторону конфликта "отцов и детей", приобретающего небанальные очертания. Малолетний сын повара Ванечка, который по-прежнему спит без страшных сновидений, становится последней надеждой на спасение - именно он не дает раствориться истончившейся преграде между сном и явью. Оказавшийся в центре непривычного для него внимания взрослых восприимчивый Ванечка ощущает "собственную драгоценность", он впервые становится свидетелем жестокости и усваивает этот урок, ему не дают спать, и он начинает сновидеть наяву. Роман заканчивается эпизодом, в котором Ванечка, насильно загнанный взрослыми на пустой пьедестал, где прежде высилась статуя юного пионер-горниста, стоит в позе гордого изваяния, а из моря "медленно, но неумолимо" вырастает огромная живая гора...

Отметим, наконец, в этом ряду "идеологических" романов, обличающих "последние времена" современности, и роман Е. Б о г д а н о в а "Причастие" ("Москва", №10). Здесь тоже угол зрения не столько социально-политический, сколько моральный, и герои - вовсе не невинные жертвы политических злоумышленников или исторической неразберихи. Каждый из них причастен греху, и то, что с ними происходит сегодня, лишь справедливое воздаяние за эту причастность. Разветвленный сюжет движется в рамках циклического времени и завязывается в "застойные" годы. Молодой талантливый ученый, имеющий отношение к секретным разработкам, попадает вместе с женой и ребенком в автомобильную катастрофу, подстроенную "компетентными органами". Осиротевшая, с тяжелой травмой, девочка, в которой никто не принял участия, оказывается в казенном заведении для дефективных детей. Проходят годы, девочка, превратившаяся в женщину, вновь возникает из благополучно забытого прошлого, и это прошлое предьявляет жестокий счет всем людям, имевшим отношение к той аварии и к судьбе ребенка. Карающая десница настигает не только тех, кто содейл зло, но и тех, кто не сотворил благо. В конце романа героиня пригревает двух больных бездомных сирот.

Из произведений большой формы, тоже обладающих очевидной идеологической заостренностью, но противоположной, так сказать, направленности, обратим внимание читателя на "Рождественский роман" Юза А л е ш к о в с к о г о "Перстень в футляре" ("Звезда", № 7). Здесь тоже присутствуют и мотив греха, и религиозно-нравственный поворот темы, но в центре повествования - жизнь современного советского литератора, являющегося специалистом по научному атеизму. Ему, естественно, покровительствуют бесенята, но, по законам жанра, однажды в рождественскую ночь герой обращается к Богу, раскаиваясь в своих грехах. В романе ярко показана окололитературная среда застойно-перестроечного време-

ни, в характеристиках которой много памфлетной ярости.

По-прежнему, однако, ведущее место в журнальной прозе, связанной с изображением современности, принадлежит все-таки произведениям, куда более близким к собственно художественным, живописным задачам ее воспроизведения - к воссозданию, если использовать известную формулу Шекспира, "самого образа и давления времени". Разными авторами эти задачи решаются по-разному - от зарисовочно-непритязательной россыпи тех или иных наблюдений над теми или иными любопытными моментами жизни, анекдотов, жизненных ситуаций и т.д., которыми наполнены, например, изящно и остроумно написанные "Очень короткие рассказы" Генриха Сапгира ("Знамя", №10), до попыток запечатления этих характеристик в тех или иных условно-обобщенных, притчевых, сказочных и т.п. формах. Так, в уже упоминавшемся в предыдущем обзоре цикле "Диких животных сказок" и в "Сказках, рассказанных детям" Людмила Петрушевская неблагоприятие и даже абсурдность современной жизни пытается передать, соединяя сказочную фантастику с бытовым натурализмом, иронию и лиризм - с черным юмором. А Юрий Буйда в повести "Дон Домино" ("Октябрь", №9) создает условный образ некоей железнодорожной Станции, мимо которой раз в сутки, в полночь, проходит огромный таинственный состав с неизвестным грузом - "нулевой" поезд. Это притча о советском человеке, который становится "тенью линии", шестеренкой в непонятном ему социальном механизме. Жутковаткая абракадабра советской действительности сводит героев с ума. Рационалистичность конструкции сочетается в повести с тщательностью отделки подробностей, эффектностью образов.

Однако большая часть журнальной прозы этого круга не выходит за рамки традиционного реалистического правдоподобия и более "отражательна" в отношении тех или иных реалий современности - быта, нравов, среды, жизни регионов, социальных групп и т.д. Так, хотя в жанровом отношении роман Александра Крашенинникова "Празднества и поминовения" ("Урал", №8) близок к детективу, однако по существу это повествование о тусклой, однообразной жизни в провинции, о людях, живущих в тоске и бесчувственности. Кто-то убивает полусумашедшую старуху Надежду Петровну, хранившую бюсты своих однополчан, и весь город уверен, что убийцы - мужа ее дочерей, с которыми она враждовала. Смерть старухи высвечивает характеры и жизни многих людей, и прежде всего самой Надежды Петровны, покончившей, как это выясняется в конце романа, жизнь самоубийством.

Повесть Александра Хургина "Страна Австралия" ("Знамя", №7) составлена из натуралистичных историй о жизни современных постсоветских горожан, о духовно убогом, унылом обиходе, об обыденной морали, в которой нет понятия о грехе, добре и зле, а потому все позволено, и прежде всего - блуд без утайки. Хургин расшивает

серое полотно этой реальности анекдотическими поворотами, не оставляя в нем никакого просвета.

К быту, нравам, психологии современной молодежи обращены рассказы Аллы С е л ь я н о в о й "Новое поколение" ("Знамя", № 11), где на фоне подробно выписанного современного городского быта в современном варианте внимательно изображены извечные томления подростка, разброд его чувств, и повесть Марии Р я х о в с к о й "Записки бывшей курехи" ("Юность", №7) - исповедальный рассказ начинающей писательницы о детстве, о деревенских родственниках и знакомых, о тусовках рок-фанатов. Здесь тоже интересен прежде всего очерк из первых рук о молодежном быте и настроениях последних лет в Москве и Петербурге.

Московский пригород, городское дно - вот характерная среда в рассказах Асара Э п п е л я ("Октябрь", № 8; "Новый мир", №9; "Дружба народов", №9). Пластика быта 40-50-х гг., живописные персонажи, элементы лирической исповедальности, смелая эротика, - все это в совокупности создает довольно яркий, но пестрый букет. Мир в рассказах Эппеля полон эстетических контрастов, что сказывается уже на уровне языка, сочетающего барочную пышность и велеречивость с вульгарным сквернословием. Один из рассказов Эппеля (в "Октябре") посвящен вора-карманникам. На сходном материале написан и рассказ Сергея Ш и ш к а н о в а "Про Пианино" - о трудном ремесле вора, об его взаимоотношениях с милицией.

Пристальный интерес к чудовищным, но характерным образчикам современной психологии и нравов, связанным уже не столько с внешними обстоятельствами, средой и т.п., сколько с общим духом эпохи, тоже показателен для многих современных прозаиков - при всем различии их манер, исходных позиций и т.п. Так, Григорий Б а к л а н о в в рассказе "Непорочное зачатие" ("Знамя", №10) не боится моральной тенденциозности и откровенности сентиментально-мелодраматического сюжетного хода, обращаясь к нестандартной, но показательной современной ситуации: молодые супруги, чтобы не возиться с беременностью, наняли женщину, и та выносила имплантированного ей ребенка.

Впрямую к нравственному чувству читателя обращен и рассказ Аркадия Ж а б и н а "Светик-семицветик" ("Урал", № 7), высоко оцененный В. Распутиным. Это рассказ о короткой жизни девушки с "божьей душой", приехавшей в Хатангу, на край Сибири, работать, о том, как окружающее отребье медленно уничтожало ее: сначала заведующая магазином обвинила ее в растрате, потом ее соблазнил и бросил Николай Кудряш, всеобщий любимец. Героиня скатилась на самое дно жизни, потом покончила с собой...

Рассказы Е. П е т р о п а в л о в с к о г о "Тормоз - три головы" и "Оборотень в городе", посвященные жизни горожан, выдержаны, напротив, в подчеркнута объективной манере, призванной акценти-

ровать нормальность изображаемого абсурда. Рассказчик бесстрастно фиксирует "рабочий день" городского дурачка, деловито роющегося в уличных отбросах и кухонным ножом отрезающего голову обидчику, отобравшему у него найденную в отбросах конфету, а заодно - и его жене. Тот же бесстрастный интерес естествоиспытателя сопровождает изображение автором участкового милиционера, определившегося на жительство в Нью-Йорке и по невытравимой привычке ставшего хозяином среди туземного населения, пугая аборигенов своим неотличимым внутренним сходством с гориллой-трехлетком.

Не становится слабее в журнальной прозе и традиция, идущая от 70-х годов и связанная прежде всего с проблематикой нравственного экзистенциального самосостояния человека в окружающем его современном мире. Из прозы этой направленности отметим прежде всего повесть Фазиля Искандера "Пшада" ("Знамя", №8), где старый отставной генерал-абхаз блуждает по улицам современной Москвы и по закоулкам памяти, подводя итоги жизни. Это рассказ о человеке с четкими представлениями о порядке, достоинстве, чести, об его счетах с эпохой, которая не раз испытывала героя на прочность, оставила немало шрамов в душе, поводов для угрызений совести. Яркость образных деталей и пафос нравственной неуспокоенности органично сочетаются в повести.

Отметим и "Жизнеописание Хорька" Петра Алешковско-го — историю о безжалостном, расчетливом, целеустремленном мальчугане, рожденном гулящей матерью от неизвестного отца. Это не без натуралистического нажима выполненное повествование о пьяном, алчном, жестоком современном провинциальном быте. Подрастая, герой мотается по свету, собирая впечатления о bestолковой расейской жизни, о злых, хотя и отходчивых земляках - гуляках, убийцах, балагурах, философах, дураках... Автор проводит Хорька через робинзонаду, сводит его со скитником-аскетом, наделяет даже неким мистическим опытом. Петр Алешковский - мастер детали, уверенный сюжетостроитель, расчетливый эксплуататор своих культурных накоплений. Его вдохновляют христианские ценности, но конструкция отдает холодноватым рационализмом.

К экзистенциальной проблематике, связанной с ситуацией человеческого противостояния жестокому напору времени, среды, окружающих обстоятельств и т.п., так или иначе повернуты и следующие публикации:

Роман Сергея Юрьенена "Желание быть испанцем" ("Согласие", №7 - 8/12) - история любви студента МГУ и дочери лидера испанской компартии. Время действия - 70-е гг. Герой романа - начинающий писатель, социальный отщепенец и гедонист. Влюбленных окружают грубый и убогий быт Страны Советов, опека лицемерных и жестоких властей. Вспышки страсти, неудержимый эрос оказываются противовесом лжи и безумию социума. В романе

сильна исповедально-лирическая струя.

Повесть Игоря Д о л н я к а "Мир третий" ("Звезда", № 10) - рассказ о детстве в Северном Казахстане, в окружении ссыльных и спецпереселенцев, о школьных годах в послевоенном Ленинграде. Мальчик книжно-романтического воспитания попадает в жестокий мир шпаны и воря. В поисках морально приемлемого выхода он совершает убийство одного из своих мучителей.

В рассказах Н. К о н я е в а "Телушка, твою мать..." и "Любка, Любка - сахарные губки" ("Север", № 7) - зарисовки из сегодняшнего раздерганного сельского быта, который, если сдуть пену, ничем не отличается от вчерашнего. Это истории о нечаянном добром слове, распахивающем душу, замутившуюся от водки и корысти, о темпом одиночестве в конце жизни, которая была пропита и прогуляна и в которой некого и нечего вспомнить.

Случайно или нет, но во втором полугодии 1993 года проза этого направления проявила особый интерес к ситуациям, обращающим нас к войне - мы находим здесь целую группу произведений, принадлежащих как видным мастерам русской прозы, так и писателям более молодого поколения. Среди них выделим следующие:

Повесть В. Б о г о м о л о в а "В кригере" ("Новый мир" №, 8) - эпизод из жизни рассказчика, который молодым офицером сразу после войны получил новое назначение. Автор хорошо передает аромат времени и места, нравы в офицерской среде, далекие от кодекса офицерской чести, с безжалостными подробностями описывает психологические метания героя, отчаянно не желающего ехать на службу в какую-то дыру. Главное в повести - моральная коллизия между требованиями долга и повсеместно-повальным угаром, стремлением взять от жизни недобранное, упущенное за военные годы.

Рассказ Е. Н о с о в а "Костер на ветру" ("Москва", № 10), посвященный памяти тех "братков наших шинельных", которые "уже полвека где попало лежат... и по России, и за ее пределами. Кто под братской плитой, а кто и вовсе неприбранно". Тихий разговор у вечернего костра "за поминальной ущицей", рассказ о войне чудом выжившего старого солдата, человека светлой и веселой души, одиноко доживающего свой век и радующегося жизни, людям и всякой земной и небесной твари. Его просветленная душевная открытость оттеняется неласковым нравом его прижимистого и язвительного соседа-однолетка, в войну служившего "в конвое" и "на вышке", а теперь норвящего что-то по мелочи выгадать ("в бизнес ударился"), урвать, прихватить.

Повесть Василя Б ы к о в а "Стужа" ("Знамя", № 11). Она написана на традиционном для автора материале и в традиционной для него манере. Вес военных подробностей на сей раз, однако, меньше, а акцент сделан на истории о том, как советская власть ломает честного и работающего крестьянского парня, заставляя его доносить, предавать, участвовать в разорении белорусской деревни

в 30-е гг. Герой смиряется со своей ролью, хотя совесть его неспокойна. Быков рассказывает о жизни крестьян и районного начальства, выводит образ национального интеллигента, обреченного при Советах на гибель.

Повесть Михаила С м о л я н и ц к о г о "Осведомленный" ("Звезда", № 9). Она рассказывает о солдате, который после демобилизации никак не может освободиться от тягостных видений, воскрешающих кошмары современной срочной службы. Автор стирает грань между реальностью и бредом, делая своего героя заложником безвыходной ситуации.

Продолжают наши журналы и публикацию новых текстов, отдающих ту или иную дань т.н. "постмодернистской" поэтике - с ее по преимуществу игровым отношением к изображаемым ситуациям и эксплуатируемым культурным мотивам. Таков, например, роман Алексея С л а п о в с к о г о "Первое второе пришествие" ("Волга", №№ 8 - 9) - разворачивающаяся на фоне современного быта история о простом и добром малом, которому открылось, что он - Иисус Христос, после чего его жизнь начинает строиться по евангельскому архетипу. Роман - образчик игровой адаптации сакрального текста, выполненный умелой рукой виртуоза-сочинителя.

Этот же автор в повести "Пыльная зима" ("Знамя, № 10) проигрывает несколько вариантов развития одной ситуации, создав, по сути, своего рода пособие по составлению постмодернистских текстов. По одной версии, героиня - вследствие бытовой травмы и неудачного ее лечения - становится инвалидом и кончает с собой, другие варианты не столь ужасны, а в целом повесть являет собой триумф игры и релятивизма.

"Сухие грозы: зона мерцания" Вячеслава К у р и ц ы н а ("Знамя", № 9) - римейк тургеневской "Аси", опус, в своеобразной форме реализующий теории известного апологета постмодернизма, пример культурного коктейля, бесцельно-релятивной мозаической конструкции. Сюжетная канва задана странствиями некоего современника по Москве. Для ценителей своремленного авангарда.

Из двух рассказов Марины П а л е й ("Звезда", № 7) интересен "День Империи". Это утопическая греза о столетней советской Империи, а, может быть, - об Империи как таковой, об ее эстетике блеска, изобилия и мощи. В этот мир введен наблюдатель с подпольным сознанием, тайный оппозиционер. Рассказ не лишен свойств притчи.

С явной ориентацией на постмодернистскую игровую поэтику написан и большой поэтический текст Вадима М е с я ц а под названием "Ветер с конфетной фабрики" ("Урал", № 9). Текст состоит из нескольких глав-новелл, объединенных пунктирным появлением главного героя - Андрея Лебеда, идеального следователя, готового всегда прийти на помощь, совершить подвиг, возможности

для которого всегда предоставляет ему действительность, соответствующим образом поданная автором. Найдем мы здесь и некоего толстого мальчика, ставшего философом Чацким, и ветер, который дует на столицу с конфетной фабрики "Заря коммунизма" и собирает одних на путчи, других на баррикады.

В заключение отметим несколько публикаций, стоящих в кругу журнальной прозы второго полугодия 1993 г. как бы несколько особняком:

В "Новом мире" (№ 10) напечатана завершающая часть "романа-странствия" Андрея Б и т о в а "Оглашенные" под названием "Ожидание обезьян". Это свободная эссеистическая проза, материал которой дают натура середины 80-х гг., встречи, пирушки, ассоциации, воспоминания, разговоры и т.п. Автор размышляет о местоположении человека в этносах, о конце советской империи, оставаясь во всем этом тем Битовым, к которому привыкли и которого любят многочисленные его поклонники и читатели.

Окончание свособразной книги Константина М а м а е в а "Деревянный рай" публикует "Урал" (№ 5; первая часть книги была опубликована в № 7 за 1992 г.). Эссе под названием "Нары рая" исследует сущность вещей, как ноуменов, вступающих в сложные отношения с людьми и с космосом. К.Мамаев выстраивает ряд, в котором каждая вещь "выявляет предельную возможность" из всех возможностей, отпущенных вещам. Начинается этот ряд с государственной печати, далее следует топор - знак уместности человека в труде; портрет - вещь, теряющая статус вещности; мертвое тело, как вещь; народ, как вещь, в качестве "метафизического адреса исторической судьбы", и, наконец, слово, замещающее вещь...

Повесть букеровского лауреата Марка Х а р и т о н о в а "Провинциальная философия" ("Новый мир", № 11) - это центральная часть цикла, в который входит и роман "Линии судьбы". Главный герой там и тут - преподаватель провинциального вуза Антон Лизавин. В повести автор знакомит читателей с житейскими буднями Лизавина, с его рефлексиями и философствованием, рассказывает о некоторых его знакомых.

Наконец, обратим внимание и на "Дело № 34840" Владимира В о й н о в и ч а ("Знамя", № 12), где он вновь - но более подробно и с привлечением документов - рассказывает уже рассказанную им ранее историю покушения на него, совершенного КГБ в 1975 году, и ядовито живописует свои попытки получить свое гбэшное досье в 90-х гг.

## II. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В журнально-газетной литературной критике второго полугодия 1993 года по-прежнему обнаруживается большой дефицит профессионализма и масштабности в подходе к литературным явлениям. Под критической рубрикой проходят зачастую или литературоведческие работы, или публикации, авторы которых используют литературу как повод для изложения внелитературных деклараций, а также для описания своего - в основном неважного - культурного самочувствия и своих, так сказать, упований.

Тем не менее, продолжая линию, намеченную в предыдущем обзоре, зафиксируем некоторый ряд имевших место наиболее содержательных выступлений, связанных с оценкой современной литературной ситуации и творчества тех или иных видных представителей нашей литературы.

Отметим прежде всего группу статей, в которых по-прежнему остро и разноречиво обсуждается состояние литературы сегодня в целом и феномен так называемого постмодернизма - в частности.

**А. П у р и н** в статье "Между мифом и стилем. Две студии" ("Волга, № 8) задается вопросом, какое из сегодняшних поэтических направлений имеет будущее. Размышляя о закономерностях смены художественных стилей в мировой культуре, он предполагает, что после завершения распада "тоталитарного стиля" ему на смену придет стиль "органический". Автор фиксирует потребность в этом новом органическом стиле, с чем связывает интерес к "поэзии арт нуво" (Кузмин, Анненский), к метаболе (метафоре, распространенной на весь текст стихотворения и неразлагаемой на те компоненты, из которых она возникла) и к живой человеческой интонации. Критик негативно оценивает опыт постмодернистов ("иллюзионисты, суфлеры, в лучшем случае - колдуны низшего ранга") и противопоставляет их "искусство коллажа" "искусству синтеза", которое грядет.

**Карен С т е п а н я н** в статье "Назову себя Цвайшпацирен?" (*Любовь, ирония и проза развитого постмодернизма*) ("Знамя", № 11) утверждает, что современная проза стала литературой интеллектуального поиска, писатель превращается в философа, эссеиста, теолога, отвечая на духовные потребности общества. Анализируя творчество Шарова, Галковского, Пелевина, Маканина, Слаповского и др., критик, правда, не очень удовлетворен результатами этих новых поисков. Фиксируется, в частности, двусмысленность иронии в прозе.

**Павел Б а с и н с к и й** в статье "Возвращение, Poleмические заметки о реализме и модернизме" ("Новый мир", № 11) отталкивается от утверждения, что русский реализм - это единственная ценность и национальная валюта. Реализм отличается доверием к

Божьему миру и его сокровенному смыслу, в то время как модернизм враждебен жизни, культивирует произвол. "Модернизм уже старый, как и весь XX век", а "новая волна" в нашей прозе оказалась мелкой (речь идет о Пьецухе, Попове, Нарбиковой, Т.Толстой).

Его же статья "Адъютанты их превосходительств. Новейшая литература в контексте Розанова и Набокова" ("Литературная газета", № 50) - это желчные фрагментарные заметки о растлителях русской литературы - "двух змиях, двух гадах", у которых произошла "подмена собственного творчества проблемой творчества", о некритичном им поклонении и о "старческом младенчестве" современного "постмодерна".

Инна Роднянская в статье "Гипсовый ветер. О философской интоксикации словесности" ("Новый мир", № 12) ставит диагноз болезни современной журнальной прозы. Тексты громоздки и скучны. Постмодернизм лишает слово ответственности. Учительные слова подчас достигают грани святотатства (Иманов). В мифотворчестве на исторические темы происходит подмена исторического пространства несуществующим (Шаров и др.). Герои - это муляжи, у которых нет человеческих глубин. Обстоятельно показывается преломление этих изъянов в "Псаломе" Горенштейна. Некоторые достоинства автор находит у Кураева ("Зеркало Монтачки"), Пелевина ("Жизнь насекомых"), Бутова ("Памяти Севы, самоубийцы").

Марк Липовецкий в статье "Современность тому назад" (*Взгляд на литературу "застоя"*) ("Знамя", № 10) пытается дать новое понимание подцензурной литературы недавних лет. Он анализирует художественные программы деревенщиков, Вампилова, Высоцкого, Искандера, Айтматова и др. Ключевой фигурой критик считает Трифонова - создателя "полифонической прозы" с "иерархической моделью художественного понимания".

С. Стратановский в статье "Религиозные мотивы в современной русской поэзии. Статья четвертая" ("Волга", № 8) довершает построение своей типологии "религиозной" поэзии, выделяя (в условных терминах) поэзию "карнавального толка" ("отвержение всякого утешения как "благочестивой лжи" соседствует с масштабностью образов скептического безбожия"), поэзию около церковных стен" ("желание обрести покой в "Духе и Истине") и поэзию экзистенциального подхода к религиозным темам". Он иллюстрирует свои размышления примерами из поэзии С.В.Петрова, В.Мамонова, Н.Байтова.

В обсуждение романа А.Солженицына "Красное колесо" включается В. А. Юдин в статье "Анатомия революции" ("Север", № 7), размышляя о жанре романа ("роман-мозаика"; "не хроника, не традиционный исторический роман", а "своеобразное историко-политическое и философское исследование, оперирующее великим множеством разнообразных документов, пронизанных пристрастным

живым комментарием автора”), о композиционных особенностях (“марш времени, а не судьбы героев служат организующим принципом романа”), о его художественных недостатках (“обильная фактологическая, историко-архивная стихия... подмяла под себя художественную плоть... Романного воздуха в произведении явно не достает”). Далее автор приводит обширные выдержки из критических работ о творчестве Солженицына П.Паламарчука, Н.Рутыча, М.Розановой, Б.Хазанова, А.Синявского, Ю.Кублановского, С.Залыгина, Н.Струве, Д.Урнова, комментируя их, соглашаясь или отвергая.

Тому же писателю посвящена и статья Ричарда Темпеста “Герой как свидетель. Мифопоэтика Александра Солженицына” (“Звезда”, № 10) - заметки остроумного и тонкого наблюдателя. Автор пытается по деталям воссоздать миф личности писателя в наиболее характерных ее проявлениях, не ставя однако последний точки. Среди аспектов анализа - Солженицын как герой, как писатель - духовный наставник общества и собеседник власти, как создатель образа великого русского писателя, как продолжатель литературных традиций, как разрушитель условностей соцреализма и т.д.

Николай Славянский (“Из страны рабства - в пустыню”, “Новый мир”, № 12) полемизирует с Н.Лейдерманом и М.Липовецким (см. их статью там же в № 7), видящими в Иосифе Бродском положительный пример стояния человека перед бездной экзистенциального хаоса. Н.С. говорит о “рационалистическом укладе мышления Бродского с пессимистическим вектором и передозировкой нигилизма”, полагая, что в творчестве поэта явлен “опыт умирания самой поэзии”, и подробно обосновывая свою точку зрения.

Евгений Голубах в статье “Прогулки с Терцем” (“Звезда”, № 7) анализирует соотношение фамилии и псевдонима у А.Синявского и его жены М.Розановой и своеобразие творческой личности Синявского-Терца: “Его проза - великолепный образец русского искусства для искусства, эталонная мерка для современной “чистой литературы””.

Наконец, одному из популярных современных писателей молодого поколения посвящена статья Романа Арбитмана “Лукавая антиутопия. Юрий Поляков в поисках утраченного апофега” (“Литературная газета”, № 47). Здесь названный литератор рассматривается как писатель “темы” (комсомол, школа, армия), моментального отклика на открытие прежде запретных для критики областей. Однако его разоблачения оказались поверхностными, а сам Поляков излил свою обиду на неоченившую его эпоху в повести “Демгородок”.

В газетной критике прошедшего полугодия обращают на себя внимание обзорные статьи Михаила Золотоносова в

"Московских новостей". В статье "Архаисты" и "экскаваторы" (№37) речь идет о тенденциях литературного процесса: в литературу входит кич (Кенжеев, Власов, Пригов); появилась философская "антилитература", "в которой сюжет и форма ликвидированы" (Маканин, Шаров); происходит поляризация литературы на "для-чтения" и "для-изучения"; поднялась в цене сюжетная неожиданность, упало значение учительности и назидательности... В статье "Дети Арбата" (№ 41) рассматриваются культурно-историческое значение одноименного романа А.Рыбакова и повесть В.Пьецуха "Четвертый Рим" как своего рода пародия на него. Статья "Ленивые вареники" (№ 46) анализирует феномен эстетически вторичной литературы и подвергает критике неразборчивость редакций "Нового мира" и "Знамени", принимающих к печати все, что напишут модные авторы (Оганов, Ермаков, Пелевин, Бородин и др.). В статье "Букеров ковчег" (№ 50) показана эстетическая неполноценность шести произведений-финалистов Букера-93: "... все делается с такой наивностью, словно не сформировались к концу века принципы романа XX столетия".

В 1993 году "Независимая газета" время от времени тоже публиковала "Заметки о премии Букера" Ефима Л я м п о р т а - яркий образчик чрезвычайно субъективной, остроумно-ироничной и ядовито-бесцеремонной критики, подчас рассчитанной на скандальный эффект.

Из статей, претендующих на современное переосмысление классических имен, отметим статью Вадима К о ж и н о в а "Соборность поэзии Тютчева. К 190-летию со дня рождения поэта". ("Наш современник", № 11). Автор пишет о воплощении в тютчевской поэзии духовного состояния, "исстари определяемого словом соборность", и дает пояснение о сути и содержании этого понятия: соборность, в отличие от общинности, "рождается только при совершенно свободном, ничем не связанном и не ограниченном саморазвитии личности".

Творчество Тютчева, по мнению критика, насквозь проникнуто соборностью, "и именно поэтому в этой поэзии цветение утонченной жизни личности неразрывно слито с господством мощного духа". Далее критик пишет о содержательности поэтической формы и о том, что для поэзии Тютчева типично множественное число - "речь от "мы" (и также "нас", "наши", "о нас", "наше" и т.д.), что опять-таки призвано подтвердить его вывод о "безусловной соборности" поэзии Тютчева.

Зато и сам В.Кожин становится объектом переосмысления со стороны его бывшей союзницы по литературному лагерю Татьяны Г л у ш к о в о й - в ее статье "Вычеркнутая нация, или чему учат нас присяжные русоведы?" ("Молодая гвардия", № 10, 11 - 12). Эта статья непосредственно продолжает статью в предыдущем номере журнала под названием "Труден путь к большому народу",

посвященной И.Шафаревичу. Т.Глушкова называет две основные предпосылки его "непререкаемого авторитета": диссидентство (т.е. отступничество и принадлежность к "малому народу" космополитствующих "аборигенов") и академическое звание.

Но, по мнению Т.Глушковой, И.Шафаревич только кажется отступником, ибо он всегда был "типичным буржуазным демократом праворадикального толка". Далее приводится краткая история деятельности И.Шафаревича, которая по своей логике была расчленительной - по отношению к территории страны и к ее истории.

Вторая же статья представляет собой анализ литературной деятельности В.Кожина, "историка смердяковщины". Уверения В.Кожина, что русские - "это не нация, а континент", раскрывают в нем "нарочитого провокатора антинационального сознания русских". Под покровом евразийства Кожин, по мнению Глушковой, предстает проазийски настроенным интернационалистом, из чего происходит его отрицание русской истории, механическое пристегивание ее к общей схеме, к одному мифу о первопричинности евреев во всех бедах мира. Окончание статьи обещано в № 1 за 1994 г.

Иной адрес, но то же направление критического удара - в статье "Исповедь примадонны" С. К о р о л е в а, посвященной книге Г.Вишневской "Галина" ("Наш современник", № 8). Статья написана с целью выявить "определенный тип сознания, распространенный в привилегированной интеллектуальной прослойке общества" доперестроечных лет и выявляет такие компоненты этого сознания, как отрыв от народа, презрение к провинции, "умение выжимать максимум из благоприятных обстоятельств", отсутствие чувства юмора, нежелание терпеть хамство и нищету, неприязнь к театру как "коллективу" и "семье", отказ от исполнения обязанностей, которые накладывает на артиста такое отношение к театру, и т.д.

### ОБРАЩЕНИЕ К РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

*Прошло уже почти три года с того дня, когда в центре Москвы, недалеко от Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, было заложено основание будущего памятника великому русскому мыслителю Владимиру Сергеевичу Соловьеву по проекту московского скульптора Валерия Евдокимова. С тех пор, однако, осуществление проекта не продвинулось ни на шаг, будучи лишено какой-либо финансовой поддержки со стороны городских властей, и вряд ли при нынешней экономической ситуации положение в обозримом будущем изменится. Отдавая себе в этом ясный отчет и обеспокоенные судьбой памятника русскому философу, имя которого чтит весь мир, мы решили создать для координации усилий, связанных с финансированием и реализацией проекта, Общественный Фонд и Совет по установке памятника Владимиру Соловьеву и начать сбор средств для этой цели. Мы призываем граждан России, наших соотечественников за рубежом и всех, кому дорога история русской культуры, оказать помощь в сооружении монумента, призванного увековечить память одного из величайших сыновей России. Пожертвования - с пометкой: "В Фонд Совета по установке памятника Вл. Соловьеву" - просим направлять в Российский благотворительный фонд "Рось" (расчетный счет 700956 в Мосстройэкономбанке МФО 201575, Благотворительный фонд культуры, наук и искусства "Рось"; валютный счет: 0703494/001 в Мостройэкономбанке, Благотворительный фонд культуры, наук и искусства "Рось".)*

**Наши контактные телефоны:**

**(095)426-37-17** Фонд "Рось",  
проф. Аладьин Валерий Герасимович  
**(095)928-97-42** Редакция журнала "Континент"  
**Факс редакции: (095) 201-57-41**

**В.Г. Владыкин** - доктор наук, профессор, президент благотворительного фонда "Рось";

**И.И. Виноградов** - главный редактор журнала "Континент", генеральный секретарь Московского религиозно-философского общества Владимира Соловьева;

Д.Е. Галковский - генеральный директор агентства "Латона";  
Р.А. Гальцева - старший научный сотрудник ИНИОН РАН;  
Е.Ю. Гениева - директор Государственной Библиотеки  
Иностранной Литературы;  
А.В. Гулыга - доктор философии, профессор;  
В.А. Евдокимов - скульптор, Заслуженный художник Российской  
Федерации;  
А.Б. Зубов - доктор наук, доцент Московской духовной академии;  
В.В. Иванов - член-корреспондент РАН, президент Московского  
религиозно-философского общества Владимира Соловьева;  
С.М. Половинкин - доцент кафедры русской философии РГГУ;  
И.Б. Роднянская - член редколлегии журнала "Новый мир";  
В.Ф. Степин - член-корреспондент РАН, директор института  
философии РАН;  
А.М. Хлус - зам. ученого секретаря института философии РАН;  
С.С. Хоружий - академик РАЕН, председатель комиссии  
по творческому наследию Л. Карсавина;  
С.И. Юров - секретарь-организатор Московского  
религиозно-философского общества Владимира Соловьева.

\* \* \*

*В №78 журнал "Континент" опубликовал отклик журналиста А.Стреляного на мою статью о России ("Континент", №73). Напомню первые строки, потому что лишь они касаются содержания статьи. "В №73 "Континента" философ А.Арсеньев, 1923 года рождения, выражает сильную надежду, что капитализм ("рынок") в России не утвердится — помешает характер русского человека — и что Россия найдет-таки третий путь, на котором ее ждет то, чего до сих пор не было нигде: хозяйственные отношения будут подчинены "духовным формам жизни и общения". Россия, по мнению автора, уже была бы заметно ближе к этой цели, если бы реформаторы (Горбачев? Ельцин?) с самого начала учитывали ее своеобразие."*

*По всей видимости, стереотипность мышления заставила А.Стреляного увидеть в моей статье то, чего в ней нет и не могло по смыслу быть: "третий путь", "цель" и даже приближение "к этой цели".*

*Что касается рынка, то некоторые азбучные истины придется повторить в сильной надежде, что А.Стреляный попытается их понять. В статье написано, что рыночная экономика и все, что с ней связано, не может стать основой (слово "основой" выделено*

жирным шрифтом) русской жизни (с. 160), что возможна в каком-то будущем многоукладность хозяйства при подчинении его духовным формам жизни (там же). А. Стреляный не понимает, что это значит. Ну, для простоты, хотя бы то, что не реклама американских сигарет будет определять существование той или иной телевизионной программы.

Вопреки утверждению журналиста, даже те народы и города, для которых торговля была существенным фактором материального благополучия (например, Финикия), не рассматривали ее как основание, смысл и цель жизни. Основанием, определяющим этот смысл, всегда была сфера религии, т.е. духовная. Таким образом, "то, чего до сих пор не было нигде", в действительности было всегда и везде. Единственным в истории примером обратного отношения остается капиталистическое общество. Это, материалистическое по своему существу общество (что бы не говорили по этому поводу входящие в него индивиды) представляет собой систему, из которой как из песни "слова не выкинешь". Она необходимо несет в себе утверждение формального "равенства" и соответствующей демократии, десакрализацию (тем самым "вымывание" духовной сферы как из общества, так и из души индивида), разрушение основ нравственной личности ("дегуманизацию"), деградацию искусства, господство вещных отношений и т.д. вплоть до превращения человека в товар. "Рекламный вестник", рекламирующий проституцию, поместил необыкновенно лаконичное и точное выражение сути этой системы: "Самые красивые девушки по самой дешевой цене". "Войти в цивилизованное общество" Россия может только в качестве такой девушки. Запад, с одной стороны, наше правительство, "демократы" и средства массовой информации — с другой — прилагают к этому максимум усилий. Я же лелею надежду, что "номер не пройдет", и опасюсь, что эти усилия могут повести к невиданному еще социальному взрыву.

Мне остается пожалеть, что существующая по затронутым вопросам громадная литература, видимо, не известна А. Стреляному. Во всем остальном я согласен с его текстом за исключением большевистского требования "тащить и не пущать". Я согласен также, что "русская журналистика должна больше думать о своем достоинстве", что нельзя "путать мысль и недомыслие". В частности, журналистам давно пора перестать, на мой взгляд, "пережевывать жвачку" невежественных политиков, безответственно болтающих о "вхождении России в семью цивилизованных народов".

А. Арсеньев

Художник М.Кудрявцева

Сдано в набор 15.02.94. Подписано в печать 14.03.94.

Печать офсетная. Бумага офсетная №2.

Формат бумаги 84×108/32. Гарнитура "Таймс"

Тираж 10 000 экз. Заказ № 57 . Цена договорная.

Л.Р. № 010184

Издательство "Московский рабочий", 101923, ГСП, Москва, Центр,  
Чистопрудный бульвар, 8а

Адрес редакции журнала "Континент":  
101923, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8а.  
Телефон: (095) 928-97-42.

Оригинал-макет изготовлен  
в Центре информационного обслуживания  
и подготовки печатных материалов АО "ФинСтатИнформ"

Отпечатано в Московской типографии № 13.  
107005, Москва, Денисовский пер., 30.

1994 год, № 1



